

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

1



ОЛЕСЬ ГОНЧАР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ ПЕРВЫЙ

ЗНАМЕНОСЦЫ

роман-трилогия

РАССКАЗЫ

*Перевод с украинского
Льва Шапиро*

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

С(Укр)2
Г65

Вступительная статья
Ю. В А Р А В А Ш А

Художник
Е. Г А Н Н У Ш К И Н

7-3-3

подп. изд.



НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

...И знай одно — *poëta Semper tiro.*

Иван Франко

Через поиски к находкам — может ли быть более естественный для искусства путь? Сколько сказано каждым из нас на эту тему, и сказано в общем не зря, потому что без находок, без открытий действительно нет искусства, а приходят они именно в результате поисков.

Все это так, однако вот вопрос: что следует за находкой? Ведь искусство — живой организм, оно не может удовлетвориться достигнутым, остановка для него равносильна смерти. От поиска к находкам — это лишь одно из звеньев непрерывного творческого процесса. Движение непрерывно, найденное становится как бы новой точкой отсчета, тем рубежом, с которого художник (если перед нами, конечно, настоящий художник) начинает новые поиски.

Мне кажется, формула «от находок — к поискам» в какой-то мере отражает эту важнейшую закономерность художественного творчества, его диалектику. Перемена мест слагаемых в данном случае имеет, в отличие от известного арифметического правила, значение принципиальное, ибо обнажает внутреннюю пружину, раскрывает источник вечного движения и обновления искусства.

* * *

«...Война застала меня в библиотеке», — вспоминает Одесь Гончар.

Как резко, как оглушительно прозвучало в тишине читального зала это вполголоса обреченное бледной, растерянной девушкой слово — война. «Если завтра война...» Теперь это «завтра» стало

днем сегодняшним, и когда, бросив раскрытые книги и конспекты, студенты выбежали на заполненную людьми городскую площадь, выяснилось, что военное пламя полыхает на нашей земле уже несколько часов...

Начинался путь солдата Гончара, начинался путь писателя Олеса Гончара.

Что было у него позади?

Было маленькое село на Полтавщине, где у деда и бабушки прошло детство. По документам здесь, в слободе Сухой, он и родился 3 апреля 1918 года, но, видимо, родился он все же в рабочем предместье Екатеринослава (ныне Днепропетровск), там на заводе работала его мать, там же она вскоре, падорвавшись, и умерла совсем еще молодой. Старшая сестра осталась при мачехе, а Сашко рос у бабушки, которой суждено было сыграть неоценимую роль в формировании нравственного облика и эстетического мировосприятия будущего писателя. В самые трудные минуты жизни и в самые радостные минуты будет он мысленно обращаться к образу этой замечательной женщины, неграмотной украинской крестьянки, преподавшей ему первые уроки человечности, трудолюбия, душевной щедрости, веры в поэтическое слово.

Была школа, радость приобщения к литературе, к шевченковскому «Кобзарю», к книгам Панаса Мирного, Нечуя-Левицкого, Франко, Леси Украинки, Васильченко, Тесленко... И старый учитель, впервые назвавший паренька тем именем, под которым его сегодня знают миллионы читателей в нашей стране и за рубежом, — Олесь¹.

Был Харьков с его знаменитым Госпромом, памятниками Каранцу и Блакитному, а вскоре и Шевченко, с богатейшей и уютной библиотекой имени Королевко. «Я очень любил и люблю Харьков, — писал впоследствии Гончар в одном из писем, — не знаю даже почему. Может быть, потому, что там много голодалось, впервые любилось, и что для меня этот город — столица юности, город больших жизненных открытий, чудесных друзей и светлых надежд...» Техникум журналистики, недолгая работа в газете и — наконец! — филологический факультет Харьковского университета: живые традиции славных Потебни и Багалая; увлекательные экскурсии в глубины лингвистики под руководством Булаховского; блестящие импровизации Белецкого, его незабываемая «вольтерьянская» улыбка; курсовая работа о стилистике Коцюбин-

¹ Миллионы — это не поэтическое преувеличение: по данным Всесоюзной книжной палаты на 1 января 1973 г. произведения О. Гончара издавались на 26 языках народов СССР (не считая переводов на иностранные языки) 225 раз общим тиражом 14 миллионов 256 тысяч экземпляров.

ского... Жадный интерес к русской литературе — Толстой, Чехов, Горький, Шолохов...

И, конечно же, первые литературные опыты — кто из начинающих филологов не прошел через это! С 1938 года и до начала войны в республиканских газетах и журналах увидели свет несколько рассказов Гончара, маленькая повесть, стихи. Кое-что было замечено, один рассказ даже получил премию на областном конкурсе произведений на оборонную тему, автора приглашали в Киев на семинар молодых писателей.

И все же я не обмолвился, сказав, что летом сорок первого года путь Гончара как писателя только начинался. Это прозвучит, наверное, как горький парадокс (не «благодарить» же нам, в самом деле, войну за то, что в ее огне родились книги, ставшие украшением нашей литературы!), но ведь ни «Знаменосцев», ни «Человека и оружия», ни «Циклона», ни многого другого без войны просто не существовало бы. Может быть, были бы другие книги, тоже — кто знает — по-своему интересные, но это уже, так сказать, иные предлагаемые обстоятельства. Сложилось так, как сложилось. Судьбы писателя и солдата слились воедино, и обе оказались неразрывно связанными с суровой, героической судьбой родины. Добровольцем студенческого батальона в первые же недели войны принял будущий писатель боевое крещение за Днепром, под Белой Церковью, на дальних подступах к Киеву, а победу встретил уже в центре Европы, с солдатским орденом Славы и тремя (тремя!) медалями «За отвагу», цену которым знает каждый, кто прошел войну. Это была, как удачно заметил один из критиков, истинная «эпическая биография», из которой и должен был вырасти эпос войны.

Должен был... На фронте, конечно, безраздельно господствовал главный «жанр» — суровая проза боевых будней, однако «святое безумство атаки» целиком поглощало человека лишь в бою, а на коротком привале, в эшелоне, даже на марше, в седле мысли вновь и вновь возвращались к литературе. Странички блокнота заполнялись поэтическими строками, искренними и мужественными и потому находившими отклик у бойцов; не случайно ведь «Дзвизнионка» Михаил Алексеев, так охотно печатала стихи поэта из минометной роты, к тому же на родном языке автора, заменяя букву «і» перевернутым восклицательным знаком...

Но сам автор уже тогда рассматривал собственные опыты лишь как эмоциональную отдушину, а кроме того — как своего рода сгустки фронтовых впечатлений, «конспекты чувств», «пунктир похода», короче говоря, как заготовки для будущей, главной книги. В том, что такая книга нужна и что он обязан ее написать,

Гончар не сомневался: «Твой долг рассказать о товарищах — живых и мертвых. Ведь ты не раз давал себе слово: «Если только останусь в живых...» Остался в живых, вернулся, вновь стал студентом университета, теперь уже Днепропетровского, и окончательно утвердился в мысли: вчерашние фронтовики призваны сказать о пережитом и увиденном свое, новое слово.

Всю первую послевоенную зиму он работал не разгибаясь, — на рабочей окраине разбитого фашистами Днепропетровска, в кое-как сложенной из шлаковых обломков хибаре, где жила со своей многодетной семьей сестра, ночами, при карбидной лампе, в облаках махорочного дыма, нередко служившего главным средством подкрепления сил... «Пишу, — рассказывал он в письме к товарищу. — Для сердца и из верности присяге, данной тем героям в серых шинелях, которые, упав, не поднимались».

Летом 1946 года в журнале «Вітчизна» увидела свет первая часть будущей трилогии — «Альпы». В последующие два года вышли «Голубой Дунай» и «Злата Прага». «Знаменосцы» начали свой победный марш.

Да, именно победный марш, иначе не скажешь. Судьба книги сложилась на редкость счастливо. Государственные премии. Переводы на десятки языков. Ливень восторженных откликов в критике. Признание авторитетнейших мастеров — А. Фадеева, Ю. Яновского, М. Рыльского, Остапа Вишни, А. Упята... Трилогия была принята сразу и безоговорочно, принята всеми.

Сегодня, через четверть века, полезно вновь и вновь поразмыслить над этим феноменом, попытаться понять, чем были «Знаменосцы» для своего времени, чем интересны и поучительны они для читателя нынешнего.

Думается, один из важнейших секретов успеха трилогии Гончара заключался в том, что писателю удалось передать неповторимый дух исторического момента, то характерное для миллионов его современников мироощущение победителей, то радостное чувство с честью исполненного долга, безгранично возросшую веру в собственные силы, гордость за свой народ, свою родину, наконец, жажду жизни, мирного труда, добра, красоты — все то, что, несмотря на горечь недавних утрат, на послевоенную разруху и недостатки, определяло доминанту общественного настроения той нелегкой поры.

Далеко не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что в трилогии нашел свое отражение завершающий, победный этап войны. Бесспорно, глубинный оптимистический пафос, вера в конечную победу над врагом отличали все лучшие произведения советских писателей о войне, посвященные даже самым трудным, самым трагическим ее страницам. Вспомним «Молодую гвардию»

А. Фадеева и «Украину в огне» А. Довженко, «Нашествие» Л. Леонова и «Фронт» А. Корнейчука, «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Дни и ночи» К. Симонова, «Белую березу» М. Бубенилова... Но, не боясь ошибиться, можно сказать, что именно в «Знаменосцах» образ Победы, пожалуй, впервые предстал в своих зримых очертаниях уже не только как далекая цель и мечта, а как нечто реальное, завоеванное, надежно обеспеченное.

«Граница! Мы снова вернулись сюда, и часовой встал на том самом месте, где он стоял 22 июня 1941 года. Мы ничего не забыли, во многом научились. Мы живы, возмужавшие и умудренные опытом. А жив ли ты, вражеский пилот, с Железным крестом на груди, ты, который в то далекое черное воскресенье сбросил первую бомбу со своего самолета на наш пограничный пост? Думал ли ты тогда, что не пройдет и трех лет, как бойцы нового, рожденного в боях 2-го Украинского фронта в своих зеленых бессмертных гимнастерках вновь появятся на берегах этой реки и переплывут ее? «Судьба!» — сказал бы ты. Да! Судьба справедливых армий всегда прекрасна».

Таких слов ждали от литературы давно, и книга, в которой они прозвучали, не могла не затрогнуть читательского сердца. Без этой книги художественная правда о подвиге народа была бы так же неполна, как и без страниц мужественно рассказавших о тяжелых испытаниях первых месяцев войны. Пройдут годы, и в другом романе писатель еще вернется к тем месяцам, но «Знаменосцы» — «Знаменосцы» появились именно тогда, когда и должны были появиться...

Впрочем, мысль о безмерно высокой цене победы прозвучала уже в трилогии. Она и рождалась, эта книга, во внутренней полемике с произведениями, где «вместо подлинной войны читателю преподносилась война выдуманная, легкая, бутафорская». Писателю-фронтовику это претило, он хотел «прорваться к правде, к изображению войны настоящей, реальной, с ее страданиями, кровью и потом, с ее тяжелой солдатской героинкой».

Трагическая нота пронизывает роман Гончара насквозь. Гибнет комроты Юрий Брянский, любимец полка, человек, удивительным образом сочетавший в себе талант математика и талант воина. Гибнет, подорвавшись на вражеской мине, Гай — «ладный, стройный, широкогрудый, настоящий красавец». Гибнет «скромный работяга войны» Кармазин; спокойный, рассудительный, осторожный, он «никогда не вызывал опасений за свою жизнь, все были уверены, что кто-кто, а он «дотянет»... Теряет зрение влюбленный в краску окружающего мира, мечтавший о художественном институте Саша Сиверцев. И еще, и еще, один за другим — молодые,

красивые, полные сил, энергии, надежд. Слепа в своей безграничной жестокости война, и правда о ней беспощадна: в самый День Победы, когда, казалось, все было позади и Шура Ясногорская стоит на пороге новой жизни, новой любви, ее находит-таки фашистская пуля, и вот уже лежит она навзничь на палатке, и гремят над ее могилой трехкратный салют.

А рядом с высоким трагизмом — повседневность фронтовых будней: разведка и перестрелка, атака, переправа, изнурительные ночные марши, окопный быт, пестрота лиц и человеческих взаимоотношений...

Перечитывая сегодня эти страницы «Знаменосцев», невольно думаешь о том, что, право же, немалый грех брали на душу те критики, которые усматривали в трилогии стремление к уходу от реальной правды войны. Им, этим критикам, казалось, что уже в самой склонности автора к романтическим краскам, к лирической интонации кроется, быть может, и неосознанное, жоланше «перехитрить» жизненные противоречия. Трудно сказать, от чего шли упреки подобного рода — то ли от устаревшего, плоского, я бы сказал, «профессорского» представления о романтике, то ли просто от недостаточно вдумчивого прочтения романа.

Нет, в «Знаменосцах» романтический пафос и оптимизм не заменили собою правдивость изображения жизни, как бы ни оценивать эту минимую замену — с плюсом или с минусом. Романтическая стихия — важнейший компонент художественной системы романа, но в этой системе нашлось место и достоверным деталям, и бытовым зарисовкам, и страстям человеческим, и масштабным философским обобщениям; одно дополняет другое, одно не существует без другого, складываясь в единое, многообразное, полифоническое целое.

«Нас влекла прежде всего героика, эпический размах борьбы народа против завоевателей, высокий взлет человеческого духа», — писал спустя много лет Гончар, вспоминая, как собравшиеся после войны в Харькове бывшие университетские однокашники (среди них был, кстати, и Григорий Тютюнник, впоследствии автор «Водогорота») до поздней ночи делились пережитым, обдумывали планы на будущее, спорили о литературе. Приземленные, бескрылые характеры, мелкие людишки, которых, что и говорить, всегда и везде было хоть отбавляй, в том числе и на фронте, как-то не привлекали к себе внимания, воображение волновали натуры сильные, героические. Ведь и среди участников похода Игоря Святославича, рассуждали молодые литераторы, тоже были люди разные, однако автор «Слова о полку Игореве» сумел увидеть главное, существенное, раскрыть героическую суть событий. «Так, по крайней мере,

думали мы тогда», — замечает в своих «Писательских раздумьях» Гончар.

Представления эти не лишены были, конечно, налета некоторого ригоризма, свойственного молодому уму, с годами они станут шире, полнее, многограннее. Но в них заключалась большая правда времени, отразившая, если воспользоваться выражением Гегеля, «героическое состояние общества», уmonoстроение народа-победителя.

И «Знаменосцы» прозвучали в унисон с этим уmonoстроением.

Коллективный герой трилогии воспринимался как символ фронтового братства — «знаменосцев», и шире — как образ советского народа. Рассказ о боевом пути, о делах и днях одного подразделения вырастал в эпическое повествование о великом движении великой армии, несущей Европе освобождение и мир. Хроника «полка Самиева» как бы вписывалась в Историю.

Впечатляющее воздействие книги было тем сильнее, что ее героический пафос нашел свое выражение не только в описании подвигов и мужественных поступков, не только в достигающих высокого гражданского накала лирико-публицистических авторских отступлениях, а и в героических по своей природе образах людей.

Имеет известное хождение взгляд на героическое как на категорию, якобы несовместимую с богатством человеческих индивидуальностей, как на нечто такое, что неизбежно придает персонажам одноплановость, нивелирует их. «Знаменосцы» принадлежат к числу тех книг, которые нагляднейшим образом опровергают подобные выдумки. *Многообразие* проявлений героики — один из коренных принципов эстетики и поэтики романа. Героическое предстает здесь в широком спектре живых характеров, удивительно разных, нередко чуть ли не противоположных, но в то же время объединенных общей героической сущностью. Красивый, утонченный, цельный, словно из звонкого металла отлитый, Юрий Брянский — и хитроватый балагур Хома Хаецкий; сдержанный, исполненный скрытой внутренней силы замполит Воронцов — и порывистый Самиев; поэтичный, целомудренный, совсем еще юный Черныш — и «железный» ветеран, напористый Вася Багиров... А мечтательный Маковойчик-соловейчик, а Чумаченко, Кармазин, Казаков, братья Блаженко — разве в каждом из них не раскрывается той или иной своей гранью героическое начало? Разве не оно, не это начало, составляет сердцевину характеров их, хотя они менее всего похожи на плоских, бескровных «идеальных героев»?

Хорошо сказал об этом когда-то Юрий Смолич, характеризовав первую часть трилогии: «Прекрасно, что Гончар решил «проблему» показа положительного героя. Но еще лучше, что он этой проблемы

и не «решал». Показ людей у него лишен какого бы то ни было «конструирования» — это просто словно выхваченные из жизни реальные люди...»

Еще в самый разгар войны Довженко задумывался над тем, как «много благородного труда, много ласки, добра и доброго согласия пужно принести в жизнь, чтобы как-то залечить душевные увечья и раны людей». Гончар был одним из тех, кто чутко уловил эту нравственную потребность времени; я говорю о той высокой, чистой ноте человечности, доброты, лиризма, которая, казалось бы, должна была явным диссонансом прозвучать в те годы, когда еще такой воспаленной оставалась память о недавних страданиях и жестокости, и которая, напротив, вызвала в читательской душе немедленный и благодарный отклик.

Вспомним примечательный спор между Брянским и лейтенантом Сагайдой. Сагайда посмеивается над «рыцарским упрямством» своего командира роты, над его наивной верой в неизменяемую любовь, в «гармонию сердец». Тот задумчив: может, и впрямь он, как говорит Сагайда, «осолдафонился», нет уже в нем ни чуткости прежней, ни нежности, и, кажется, изшло кровью, сгорело за эти годы сердце... «А может, и не сгорело? Может, обожженное огнем, оно только закалилось и стало от этого еще крепче?» Как перед врагом на поле боя, так и перед аморальной, опустошающей силой войны нельзя отступить, нельзя дать ей падругаться над благородством человеческих отношений. «...Самая высшая, по-моему, красота — это красота верности... И пусть бы пришлось мне быть на фронте еще двадцать, тридцать лет... Быть еще семь раз раненым... Посесть, состариться, а я все оставался бы ей верен». «...И кто не изведал этого счастья, этой... красоты верности, тот не жил по-настоящему».

Нравственный максимализм Брянского бросает особый ответ на весь роман, но прежде всего, разумеется, на взаимоотношения Шуры и Черныша. У обоих боль утраты неразрывно переплетается с мучительными сомнениями в правомерности, «законности» их любви. «Они одновременно подумали о Юрии. Брянский как бы сошел сюда с далеких трансильванских гор, встал между ними и смотрел на обоих. Они молчали, обращаясь мысленно к нему, спрашивая у него совета, проверяя свою совесть, как проверяют дорогу по далекой неподвижной звезде». Дорога их была верна, а совесть чиста перед памятью Брянского, но и Шура и Черныш знали, что смогут стать по-настоящему счастливыми лишь после победы, лишь «по другую сторону смерти, болей и кошмаров». Можно, вслед за некоторыми критиками, расценивать это как аскетизм, только Брянский, думается, увидел бы здесь нечто совсем иное...

«Хорошо спасать людей! Лучше, чем убивать!» Эта мысль неожиданно приходит на ум Казакову после того, как он спас от верной гибели прикованного фашистами к скале пулеметчика-смертника, венгерского хорвата. Неожиданными были и для Сагайды случайно услышанные им слова двух беседующих солдат о том, что «не только печальность, а прежде всего любовь двигает наши армии вперед... Тяжелая и трудная любовь, освященная нашей кровью...». Ему, как и Казакову, пожалуй, впервые со всей ясностью раскрылся до недавнего времени заслоненный буднями и ожесточением войны глубокий гуманистический смысл великого освободительного похода, участниками которого им довелось стать.

Не меч, но мир посетит советский солдат народам, и не только мир, не только избавление от фашизма, а и высокие идеалы подлинной справедливости, классовой солидарности, идеалы социализма. «Будем, как вы!» — эти слова звучат повсюду, рождая в душе освободителя гордость за свою родину, за ее великую историческую правоту. В беседах с румынскими, венгерскими, чехословацкими тружениками Хома Хаецкий каждый раз проникался ощущением огромной личной ответственности за все, что делалось и делается в его стране, и величие этих дел «отсюда, со стороны, самому Хоме становилось как бы более понятным и видимым». Творцом мировой истории, никак не меньше, чувствует себя Хаецкий, когда в палате депутатов будапештского парламента обращается с речью к воображаемым министрам, предупреждал, что «теперь Хома не захочет, чтобы вы снова гнули фашистскую политику и загибали ее на войну», из своего подольского села он внимательно будет смотреть «и на Дунай, и за Дунай, и на весь белый свет».

Будь министры (давно, причем, сбежавшие) на своих местах, они наперняка не увидели бы за этими словами ничего, кроме чванства победителя либо наивности «варвара», бог весть каким чудом оказавшегося в самом сердце Европы. Где им было бы понять, что Хаецкий говорит не просто от себя лично, а от имени своей страны, от имени советского народа. Неотъемлемой частицей этой общности выступает в романе родной полк Хома — живое воплощение интернационального единства: плечом к плечу, под одним ленинским знаменем сражаются белорус Брынский, русский Воронцов, украинец Черныш, таджик Самиев, башкир Багиров, сыны других народов нашей страны... Это и есть одно из «чудес» социализма.

Сила воздействия «Знаменосцев» была такова, что читатель долго еще оставался в сфере их притяжения. Не знаю, как кто, а я, помню, во всем, что выходило тогда из-под пера Гончара, прежде всего искал приметы знакомого почерка, знакомые мотивы,

вагляд, пятаццю. Искал — и находил. Рассказы военного цикла, такие, как «Модры Камень», «Весна за Моравой», «Усман и Марта», «Илонка», примыкали к трилогии непосредственно, воспринимались как ответвления, своего рода «естественные спутники» романа. В произведениях, посвященных мирным будням, эта преемственность была не столь очевидна, но все же она обнаруживалась и здесь. Жизнелюбие, философский склад ума, народная мудрость садовника Микиты Братуся, героя одноименной повести (1950); пафос утверждения душевной красоты и внутреннего богатства человека-труженика («Подсолнухи», 1950); обостренное внимание к проблемам нравственности («Пусть горит огонек», 1954); проникновенный лиризм («Жаворонок», 1950) — все это, несомненно, так или иначе восходило к «Знаменосцам» и именно поэтому импонировало. Правда, чуткий читатель не мог не заметить, что новым произведениям, при всей их привлекательности, не доставало все же ни глубины, ни напряженного драматизма, свойственных трилогии; но мы наделись, мы ждали, и ждали именно «вторых» «Знаменосцев»...

Между тем искусство не терпит ничего вторичного. Без «Знаменосцев» Гончар, конечно, не стал бы Гончаром. Однако он не был бы подлинным художником и в том случае, если бы попытался жить, так сказать, процентами с однажды приобретенного капитала. От найденного к новым поискам — это самый трудный путь, но Гончар выбрал его.

Выход в свет дилогии о юге Украины — «Таврия» (1952) и «Перекоп» (1957) — был для многих полной неожиданностью. После книг о современности и о недавней войне, которая тогда, в начале пятидесятых годов, еще воспринималась как наисовременнейшая современность, — 1914 год, гражданская война... После романтического порыва, после акварельной тонкости лирических миниатюр — строго документальная основа, крутой реалистический замес характеров, пристальный интерес к социально-экономическому фону... Шаг в сторону или более того — отступление?

Критика не раз писала о дилогии Гончара как о первой его «чисто профессиональной», то есть лишенной оноры на собственный жизненный опыт, работе. Сам писатель, впрочем, не совсем согласен с таким мнением. В одном из своих выступлений перед читателями, записанном автором этих строк, он заметил, что в годы его детства события, нашедшие отражение в «Таврии» и тем более в «Перекопе», не подвергались еще дымке истории. Живы были те, кто, подобно Даянку и Вутапке Яреско, ходил когда-то отсюда, из полтавского села, на заработки в далекую Таврию, щедро поливал своим потом землю необозримой степной империи Фальцфейфов. Многие односельчане носили еще старые

буденовки, им было что рассказать о погонях за махновскими та-
чанками, о боях на Наховском плацдарме, о переправе через Сиваш.
В этой атмосфере формировалась эмоциональная память будущего
писателя, которая впоследствии, во время работы над диалогией,
и известной мере и восполнила отсутствие у него личного опыта.

И все же не детские воспоминания, разумеется, предопределили
обращение Гончара к историко-революционной теме. При-
чины следует искать глубже.

У Гончара необычайно развито — не будет преувеличением ска-
зать, — обострено историческое мышление. Говоря об этой особен-
ности художественного дарования, я имею в виду склонность (и, ра-
зумеется, способность) автора к изображению событий и человече-
ских судеб в их закономерной сопряженности с магистральными
тенденциями времени, стремление раскрыть глубинную связь каж-
дого «остановленного» искусством мгновения — относится ли оно
ко дню нынешнему или дню минувшему — с огромным движу-
щимся потоком, именуемым Историей.

Л. Новиченко заметил однажды, что присущее таланту Гон-
чара «бесценное качество современности» обнаруживает себя даже
в пропавших, которые обращены к прошлому. Это верное
наблюдение; я лишь позволю себе дополнить его мыслью о том, что
историзм художественного мышления в такой же мере свойствен
всему творчеству писателя, — в том числе и его книгам о современ-
ности.

В «Знаменосцах» едва-едва «остывшая» современность обрета-
ет эпические черты живой, на наших глазах творимой истории. То же
диалектическое двуединство в «Тюринах» и «Перекопе» повернуто
иной гранью: история предстает как своего рода предыстория
современности, то есть, в сущности, одно из важнейших ее слагае-
мых. Историзм здесь, как и в трилогии, определяется не хронологи-
ческими параметрами повествования, а авторским углом зрения,
мерой постижения жизни народа на переломных этапах его бытия,
в условиях жестокой конфронтации враждебных социальных сил.
С очевидностью выявляется общий подход к трактовке народного
характера: в точке пересечения силовых линий эпохи оказываются
и Хома Хаецкий, и строгановский комбедовец Иван Оленчук, о су-
ществовании которого даже не догадываются Врагелъ и его ино-
странные советники, что, однако, не мешает именно ему, Олен-
чуку, а не черному барону, стать подлинным «выдвиженцем исто-
рии».

Таким образом, диалогия Гончара — не просто неожиданное и
необъяснимое отступление от современности в прошлое, это про-
диктованный внутренней логикой творческого мышления автора
шаг на пути к дальнейшему углублению своей исторической

концепции. «Таврия» и «Перекоп»¹ отнюдь не были, как поначалу могло показаться, отказом от достигнутого.

Но они не были и повторенным пройденного — это не менее важно осознать.

Я хочу обратить внимание только на два момента, существенно важных для понимания того нового, что пришло в творчество Гончара вместе с «южной» диалогией.

Читатель помнит, ваверное, то место из «Писательских раздумий», где Гончар вспоминает, как в свое время ему и его товарищам, таким же молодым литераторам, представлялись нехарактерными персонажи, которых принято называть отрицательными. Действительно, вспомним: в «Знаменосцах» отсутствуют образы, персонафицирующие враждебную героям силу — фашизм, эта сила остается, так сказать, «за кадром»; нет здесь, в сущности, и просто плохих людей, кроме разве что пьяного пулеметчика и чересчур навязчивого ухаживателя капитана Сперанского, но первый искупает свою вину в бою, второй же, оказывается, пользовался репутацией отважного офицера. Интересы автора, весь его художнический темперамент без остатка отданы людям героического склада.

Однако диалогия по своему замыслу и эстетической природе во многом принципиально отличалась от «Знаменосцев». Она задумывалась как широкое социально-бытовое полотно, реалистически воссоздающее картины жизни и борьбы крестьянства юга Украины в канун первой мировой и в гражданскую войну, и это предполагало прежде всего многосторонний охват действительности в самых различных ее «разрезах», максимальное расширение диапазона художественного исследования.

С этой точки зрения примечателен уже сам факт включения в поле авторского зрения таких фигур, как София Фальцфейн, Врангель, Махно, и не просто включение, но и пристальное внимание к ним. Без этого картина неизбежно была бы неполной. Причем Врангель и Махно выступают не в роли статистов, они активные действующие лица исторической драмы. И тот и другой лишены в изображении Гончара ставших традиционными черт поверхностной карикатурности. Писатель не ограничивает себя единственной задачей — осудить, он хочет еще и *понять*. Понять скрытые социальные и психологические мотивы их поступков и действий, понять секрет их, несомненно, незаурядной внутренней силы и своеобразного «отрицательного обаяния», которые в немалой мере способствовали тому, что эти люди оказались в какой-то момент на гребне событий.

¹ Я говорю в данном случае о диалогии в целом, не уделяя специального внимания ощущаемым различиям между ее частями, это вопрос особый.

Впрочем, это, разумеется, лишь одна сторона вопроса. Главное же заключается в том, что вообще доминирующим принципом изображения человека в дилогии становится реалистическая полнокровность характера, исследование его многообразных, сложных, порою неоднозначных взаимосвязей со временем, с обстоятельствами.

Обычно принято считать чуть ли не единственным определяющим признаком реализма эволюцию характера. Между тем изменяться могут ведь и герои произведений романтических — вспомним хотя бы Хому Хаецкого или Сагайду из «Знаменосцев». Важен не столько сам факт эволюции, сколько логика этого процесса, степень его мотивированности, важно не просто движение характера, а его самодвижение, обусловленное целой суммой факторов — социальных, психологических, нравственных. Именно к этому стремится в дилогии Гончар, прослеживая путь духовного развития Давыда Ярыска, трагические, роковые заблуждения Ганны Лавренко, отчаянные метания, мучительную внутреннюю борьбу белогвардейского офицера Дьяконова.

Другая особенность «Таврии» и «Перекопа», к которой представляется важным привлечь внимание читателя, — более высокая по сравнению с предыдущими вещами Гончара степень реалистической конкретности изображения, большая насыщенность социально-экономического фона, на котором разворачиваются события. Как и в подходе к характерам, здесь главенствует исследовательское начало, художественный вымысел вырастает на документальной основе, на почве исторических фактов. Это отнесется, между прочим, не только ко второй части дилогии, где действуют известные из истории личности, описываются подлинные события, но не в меньшей мере и к «Таврии». За исключением, кажется, представителей семейства Фальцфейфов, здесь перед нами главным образом персонажи вымышленные, и тем не менее в романе не только переданы дух и атмосфера эпохи, но, можно сказать, сама эта эпоха воссоздана в своих реалиях, в той достоверности исторических связей, общественных отношений, которая обнаруживает, кроме всего прочего, доскональное знание предмета.

Пожалуй, особенно показательное в этом отношении описание Каховской батрацкой ярмарки. Упоминание об этой ярмарке как об одном из многих примеров проникновения в российскую деревню капиталистических отношений мы находим в ленинской книге «Развитие капитализма в России». Ленин ссылается на авторов, подробно рассказывающих о формах найма рабочей силы на Каховской и других ярмарках, где царит «бессердечный чистоган»¹.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 3, с. 240.

Никак нельзя, разумеется, рассматривать «Таврию» как своего рода литературную иллюстрацию к экономическим трудам, хотя, скажем, сцены купли-продажи живого товара невольно заставляют нас мысленно обратиться к тем наблюдениям, которые содержатся в ленинской книге, в частности, в разделе «Значение вольнонаемного труда в земледелии». Суть дела в другом: художественное исследование действительности здесь включает в себя как необходимую предпосылку и органический компонент научный марксистско-ленинский анализ социальных явлений. Картины Каховской ярмарки, что можно сказать, впрочем, и о многих других страницах диалогии Гончара, написаны художником, сочетающим дар живописца с вдумчивостью аналитика и фундаментальной социологической подготовкой.

Новые задачи, новые особенности подхода писателя к художественному освоению действительности не могли, естественно, не повлечь за собой — и повлекли — известные изменения в поэтике. «Таврия» и «Перекоп» свидетельствуют о стремлении Гончара расширить свой арсенал за счет сугубо реалистических средств. Тщательно разрабатываются социальные и психологические мотивировки, исследуется весь комплекс факторов, определяющих поступки и действия персонажей, линию их поведения. Прослеживается история того или иного характера, процесс формирования его типических черт. Писатель широко пользуется внутренним монологом как средством психологической характеристики, причем интересно, что особенно эффективен этот прием при описании отрицательных персонажей, в частности Врангеля и Махно. Большое внимание уделяется портрету, в котором Гончар стремится к максимальной полноте, достоверности, пластичности, не довольствуясь отдельными выразительными деталями. Изобразительная палитра и интонационная гамма автора обогащаются за счет сатирических средств, сарказма, иронии.

И наряду с этим в диалогии живет и продолжает выполнять важную эстетическую функцию характерная для писателя, типично «гончаровская» лирико-романтическая стихия. Она проявляется то в пейзаже, то в авторском отступлении, то в символическом образе черной бури, то, наконец, в структуре фразы, в ее ритмической структуре. Сдержанно-суровые краски, подчеркнутая достоверность описаний соседствуют с экспрессивными, метафорически насыщенными картинками, приобретающими почти символическое звучание: «Словно ветром вынесло Ярьско в первых рядах атакующих на высокую гулкую эстакаду, и, с грохотом промчавшись по ней, конь его встал на самом краю. Разгоряченный, так бы и мчался дальше, но дальше было море...»

В диалогии перед нами и прежний, и в то же время, несомненно, «новый», в чем-то изменившийся Гончар.

Хочу ли я тем самым сказать, что «Таврия» и «Перекоп» стали явлением в художественном отношении более значительным, нежели, к примеру, «Знаменосцы»? Нет, конечно. Я вообще думаю, что абсолютные критерии для такого рода противопоставлений вряд ли существуют. Да и нужны ли они, эти противопоставления? Творение искусства уникально, неповторимо, в этом его прелесть и ценность. В этом же, если угодно, и предпосылка постоянного обновления искусства, непрерывности его движения. Процесс этот, однако, далеко не всегда идет по восходящей прямой, «от большого к большему» (использую удачную формулу С. Наровчатова). Пожалуй, в рамках конкретного авторского замысла, в рамках тех идейно-эстетических задач, которые решал писатель, «Знаменосцы» отличаются большей цельностью, большим совершенством, чем «Южная» диалогия; я даже рещусь определенно утверждать, что это так именно и есть. Но «Таврия» и «Перекоп» знаменовали появление *нового* качества в творчестве писателя, они свидетельствовали о движении от найденного к искомому, и, быть может, в этом (хотя, безусловно, не только в этом) было главное их достоинство.

А вслед за тем вновь вступает в свои права память о войне...

«...Ни расстояние, ни время этого не сотрет... Есть такая боль, которая, наверное, навсегда в душе запекается... Кровоточит, к чему ни прикоснешься... Окровавленный наш студбат стоит во ржи, склонившись над первой молодой смертью... И живой ДнепрогЭС, взятый на короткое замыкание, где уже горят генераторы и пламя полыхает из окон машинного зала...»

Это раздумья одного из героев Гончара, но кажется, что они принадлежат ему самому.

Ни расстояние, ни время... Ни написанные уже прежде книги, добавил бы я. Победный порыв, на гребне которого родились в свое время «Знаменосцы», лишь на время мог приглушить боль сорок первого года. Она должна была выплеснуться в творчестве.

Конечно, одной только боли, взятой как нечто всепоглощающее, еще недостаточно для большого искусства. Но, органически слившись с мыслью, с поиском истины, она, эта боль, может стать сильнейшим творческим импульсом, и роман «Человек и оружие» (1960) — одно из ярких тому свидетельств. Гончар не мог его не написать — и потому, что остро ощущал необходимость душевной «разрядки», свой долг перед трагическим прошлым, перед памятью погибших товарищей, и потому, что время, исторический опыт, степень художнической зрелости властно влекли его к познанию всей полноты правды о войне. Эти две линии, две стихии — субъективная,

глубоко личная, и объективная, переплетаясь и взаимодействуя, определяют структуру романа, его тональность и направленность.

Щемящей нотой начинается роман: «Еще никто ничего не знает». Счастливые влюбленные, Богдан Колосовский и Таня, отгородившись в аудитории от всего мира, штудируют перед очередным экзаменом историю, не подозревая, что они, как марионетки их ровесников, уже ввергнуты этой историей в грозный водоворот войны. И Мiron Духович, факультетский эрудит и философ, так и не осиливший на военной кафедре устав караульной службы, не знает, что скоро, очень скоро не на муляжном, а на настоящем поле боя суждено ему совершить подвиг, прикрывая отступающих товарищей. И Андрей Степура, томимый муками неразделенной любви, — знает ли он, что завтра будет выносить из боя смертельно раненного своего соперника, Славика Лагутина, и плакать над его могилой?..

Нет, никто ничего еще не знает. Знает только автор — и на мгновение, словно в кинохронике, останавливает он течение событий: «Запомните этот миг! Навсегда запомните эту последнюю свою студенческую аудиторию на третьем этаже истфака, где, ворвавшись сквозь забаррикадированную дверь, постигло вас страшное, ошеломляющее слово:

— Война!»

Жесток, искажен страданием и ненавистью ее лик. «Дым пожаров, песмолкающий грохот, печаль, тревога на лицах людей — это твоя Украина, такой ты видишь ее! Не песня, которая еще недавно раздавалась в лунные ночи над этим краем, над садами и лугами, а великая народная печаль разливается повсюду... Прощальная мольба в глазах, крики, стоны, канонада и рыдания материнские...» Страшная симфония... И словно кульминация всенародного горя — гибель красавца Днепротэса. «Взрыв, был он или нет? Это, скорее, напоминало землетрясение. Содрогнулась земля всеми своими гранитами. Инженеры и рабочие сняли фуражки и напряженно глядели с берега, как медленно, будто при замедленной киносъемке, разламывается плотина...» Оглушенные, подавленные, стоят люди на берегу, перед «черной клокочущей раной» Днепротэса, — «то были минуты, когда горячие слезы сами застилают взор, и мир темнеет, и хочется умереть».

Напряженный драматизм, составляющий одну из отличительных особенностей романа «Человек и оружие», безусловно, предопределен в известной мере драматизмом самого материала, того исторического момента, к которому обратился Гончар. Горечь потерь и неудач не могла не дать себя почувствовать в повествовании о лете сорок первого, и не приходится удивляться, что взгляд писа-

теля заметно «посуровел» по сравнению с предыдущими его вещами о войне, посвященными главным образом ее завершающему периоду.

Однако с тем же периодом связан, скажем, и рассказ «За миг счастья» (1964), но насколько он внутренне драматичнее, чем вроде бы близкий ему в тематическом отношении «Модры Камень» (1946). Значит, дело не только в материале, не только в хронологии. Сказалась и общая тенденция к углублению аналитического, исследовательского начала, характерная для творчества Гончара, как, впрочем, и для нашей литературы последних лет в целом.

Тенденцию эту не следует истолковывать односторонне, в духе представления о так называемой «всей правде», согласно которому степень правдивости литературного произведения находится в прямой зависимости от насыщенности его натуралистическими подробностями и жестокими сценами. Гончар не отворачивается от неприглядной, страшной изнанки войны — с горем, страданиями, кровью, смертями, с собственными нашими тогдашними бедами и ошибками (вспомним хотя бы мучительные переживания Богдана, связанные с отцом, или затеянную Девятым роковую атаку у переправы), однако он и не делает изображение этой изнанки самоцелью. Трагическое для него — только один из компонентов (важнейший, существенный, необходимый, но все же «один из») правды о войне, оно неотрывно от *героического*. Центральной темой романа становится не ужас, не бесчеловечная жестокость, но фатальная обреченность человека, а, напротив, вера в этого человека, в его духовную несломленность, идейное и нравственное превосходство над фашизмом. С обнаженной достоверностью изображенные в романе трагические обстоятельства приобретают смысл и значение прежде всего в той мере, в какой они способствуют раскрытию стойкости и мужества героев, помогают ответить на те вопросы, которые через много лет, уже в другой книге Гончара, в «Циклоне» (1970), задаст Богдану Колосовскому его молодой друг Сергей: «Что вам светило? Что удерживало каждого из вас в жизни средь того вселенского хаоса?»

Действительно — что?

Мало сказать, что в «холоднгорских» главах «Циклона» перо Гончара достоверно в изображении жестокости, оно здесь беспощадно, как, кажется, ни в одной из прежних его книг. Жуткая, опустошающая, обезчеловечивающая сила фашизма предстает в виде кровавой дизентерийной клоаки, в которой корчатся люди «с припухшими мозгами, с потускневшими глазами». Мир обезображенный, смердящий, мир, где все беды и потрясения человечества меркнут перед потерей котелка и смерть перестала быть

вагадкой, таинством, мир, «опрокинутый в небытие», неправдоподобный, почти ирреальный, как буйные «прощальные фильмы разгоряченной психики», — и в то же время мир пугающе реальный; в памяти возникают офорты Гойи, гравюры Кете Кольвиц, скульптуры Саласпилса...

Вот-вот воображение наше взбунтуется против невыносимо тяжкого груза жестокой правды. Ведь есть же предел силам и стойкости человека... Но, оказывается, нет такого предела. Все способен он вынести и, главное, способен сохранить в себе человечность, свет идеала, который поддерживает его «в том пекле, где повсюду происходил норовный бой между человеческим и животным, где обнаженный дух человека сражался с кровавой трясиной, собственным отчаянием, преодолевал слепую силу инстинктов...». Герои «Циклона» выигрывают это сражение, хотя и находят смерть в страшном, все сметающем циклоне войны. Выигрывает это сражение и веселый, гордый Шамиль, буквально ошарашивший фашистов своим новеньким орденом Ленина на изодранной гимнастерке. И цепкий к жизни, не теряющий веры ни при каких обстоятельствах Решетняк. И тот, безымянный, безвестный, которого козвойный убил не за то, конечно же, что травянку сорвал на дороге, а за то, что не покорился, остался человеком.

Центральной для военных произведений Гончара тема гуманизма, веры в человека, в его высокое предназначение на земле выступает как важнейший лейтмотив романов «Человек и оружие» и «Циклон», и здесь их прямая преемственность со «Знаменосцами». Но тема эта обретает здесь новые грани в большей степени, чем в трилогии, «прорастая» через картины трагедий и страданий человеческих.

Дальнейшее развитие получила и другая магистральная тема творчества Гончара — тема истории, соотносительности и взаимосвязи времен. Человек у Гончара — всегда человек исторический, глубоко осознающий или, во всяком случае, ощущающий личную причастность к истории человечества, к героическому прошлому своего народа. В «Человеке и оружии» это ощущение особенно обострено. Только иногда, в минуты невероятной усталости и отчаяния, Богдану и его товарищам, пробивающимся из вражеского окружения, кажется, что они идут «словно вне времени»; на самом деле мысль их с необыкновенной ясностью постигает историческую суть событий, свидетелями и участниками которых им довелось стать. При этом история выступает не только в одном, ретроспективном измерении, но только в раздумьях о героических традициях предков и извечной борьбе прогресса с реакцией, света с тьмой, но и в своей обращенности к будущему. «...Даже погибал, — так кончает свои «Письма из почей окруженческих» Богдан, — будем твердо верить,

что после нас станет иначе, и все это больше не повторится, и счастливый человек, разряжая в солнечный день победы последнюю бомбу, скажет: это был последний кошмар на земле!»

В «Циклоне» эта устремленность в завтрашний день находит выражение в композиционном приеме контрапунктического сопряжения и взаимопроникновения двух временных планов. И дело не только в чисто сюжетной связке (съемки Колосовским кинофильма о своей юности, о товарищах-студбатовцах), главное — преемственность проблематики, гуманистического содержания. Молодой оператор Сергей гибнет в мирные дни, в пучине циклона, стремясь запечатлеть на пленке борьбу людей с разбушевавшейся стихией. Что делать, человек смертен, а подвиг — в бою ли, в искусстве ли — немыслим без риска. Зато дело человека, творчество его — бессмертно. Кто знает, быть может, тот мальчишка с морского берега, «юный сфинкс в красном пуловере», закончит начатое Сергеем... Как Решетняк-сын, продолжающий сегодня то, что не успели его отец, Шампль, Прися, и Мирон Духнович, и Славик Лагутца, и Юрий Брянский, и тысячи, миллионы таких, как они. Можно обгадить кровью страницы истории народа, но зачеркнуть эту историю не под силу никому, вот о чем думает Колосовский. И сам он, как бы живущий в прошлом и настоящем одновременно, своей судьбой утверждает эту связь времен и поколений.

Тема будущего, и не только будущего, а и прошлого, вообще — тема истории, звучит и в «Тронке» (1963), одной из самых современных книг Гончара, этом «романе степи».

«Ничто так не пахнет, как наша степь...» В развитие давней традиции украинской литературы — от народных дум и песен до поэзии Шевченко, от пьес Карпенко-Карого до произведений Яновского, Кулиша, Довженко, Корнейчука, Сосюры — через все творчество Гончара проходит образ степи. Безводной, измученной черными бурями — в «Таврии». Клокочущей классовыми битвами невиданных масштабов и остроты — в «Перекопе». Овеянной поэзией социалистических преобразований — в новеллах цикла «Юг». Изрытой окопами, взрыленной гусеницами вражеских танков, в черном дыму и кровавом отсвете пожаров — в «Человеке и оружии».

И вот теперь степь сегодняшняя, мирная, цветущая, с ее изобильными «позывными», позваниванием тронки.

Довженко когда-то заметил, что содержание его «Земли» предельно просто: земля, на ней — хата, в хате — жизнь людей... Так же непритязательна, на первый взгляд, и «Тропка»: степь, небо и люди с их повседневным трудом и житейскими заботами. Но эти степные будни исполнены глубокого исторического смысла, поэтичности, острого драматизма. Сегодняшний день, самая что ни на есть горячая наша современность предстает в романе Гончара как

звено в непрерывной цепи развития человечества, как быстротекущее мгновение, лежащее на пересечении того, что также было когда-то современностью, и того, что станет современностью завтра.

Эта концепция художественно реализуется в целой системе «двуединств», составляющих основу образной структуры романа. Древняя нехитрая мелодия тронки — и оглушающий рев реактивных самолетов. Видавшая виды чабанская герлыга, «жезл пастуха», свидетельствующий о принадлежности старика Горпищенко к древнейшей профессии на земле, — и крылатая эмблема на фуражке Горпищенко-сына, который «полжизни проводит в небе», осваивал скорости, недоступные и самым быстрым крыльям. Молчаливая, старчески неподвижная, словно степная скифская баба, Чабаниха Дорошенчиха, живая легенда совхоза, пришедшая из того неправдоподобно далекого времени, когда пашский дворец в Аскании-Нова стоял, как остров, в дикой степи, — и ее сын капитан Дорошенко, который всякого повидал на трудных и бурных дорогах нашего двадцатого века...

С образом капитана Дорошенко, где-то в чужих океанских просторах хватившего чрезмерную дозу атомной радиации, связана одна из тех драматических нот, которые сливаются в мотив тревоги о будущем человечества. Загадочна смерть маленькой дочки Уралова, потрясшая весь полигон, всю степную округу; для самого Уралова и для художника, чуткого к страданиям, это горький укор: «Так ли ты жил? Так ли живешь? Так ли все вы, люди, живете»... Неотвязно преследует Уралова мысль, что, быть может, права была старая Чабаниха, когда говорила, что полигон не место для ребенка, что «только под тихими звездами, а не среди грохота и взрывов здоровым и счастливым будет зачатие человеческое...». Но где они, эти тихие звезды, в наш век? Кто-кто, а Уралов знает, что полигон должен существовать, не здесь, так в ином месте, знает это и старый Горпищенко: «Пока бандиты вокруг хаты ходят, разве можно ликвидировать?» Да только от этого знания горе не перестает быть горем. Не утихает и тревога писателя: образ «железного острова», мертвого, разъеденного коррозией старого крейсера, ставшего мишенью для бомбардировщиков, образ «рыже-ржавой» раскаленной палубы, на которой приплясывает босая Тоня, — это словно предостережение, и только ли двум безрассудным влюбленным адресовано оно?

Драматизм, однако, проявляется отнюдь не исключительно в глобальных, общечеловеческих масштабах. Разве не драматична, к примеру, фигура Лукии Рясной, председателя рабочкома, ее несложившаяся судьба, несостоявшаяся любовь, ее повседневные заботы о строителях канала, постоянные изматывающие стычки «со лбами покрепче железобетона», с «пустозвонами, закованными в

панцирь инструкций», служаками, «которых голыми руками не возьмешь»? А герой-севастополец Мартын Мамайчук, инвалид, коротающий жизнь между мастерской, где он, стиснув зубы, «вырезает проржавевшие болячки и опухоли на тракторах», и своими ежевечерними законными СПГ — «сто пятьдесят гвардейских»? А непутевый сын его Гриша, этот «неуправляемый Мамайчук», в котором наигранный скепсис и дешёвое провинциальное битничество странным образом уживаются с неутолимым душевным беспокойством, с тщательно скрываемой тягой к чистоте и правде. А отставной «гражданин начальник» Яцуба, «наш родной Держиморда», как называют его острые на язык школьники, — и нелепый, и страшноватый, и в то же время чуточку жалкий в своей всепоглощающей, слепой, но безответной отцовской любви...

С пристальным вниманием всматривается Гончар в этот бурный поток жизни, в эту пеструю мозаику индивидуальных человеческих судеб. Как летчику Горпищенко из герметизированной кабины реактивного самолета не кажутся «кузьками и букашками» ни отец его, ни другие чабаны, так и писатель, поднимаясь на высоты философских обобщений, не теряет из поля зрения реальные очертания реального степного житья-бытья, бесконечное разнообразие неповторимых жизненных сюжетов. Новеллистическая композиция «Тропки» призвана отразить это разнообразие и по сложным, «неэвклидовым» законам художественной логики объединить в целостную панораму современности, в образ эпохи.

Перестал ли Гончар быть романтиком? Ответу на вопрос вопросом: а кто сказал, что романтика мешает постижению жизни в ее противоречиях, в вечном движении и борьбе? Разве несовместима она, романтика, с исследованием и углубленной трактовкой насущных проблем современности, с проникновением в сложности мира и человеческой души? Я думаю, прав Г. Ломидзе, когда, опираясь на творческий опыт Гончара, решительно оспаривает мнение о том, «будто романтическим произведениям не под силу глубокий анализ жизненных противоречий, будто сторонники романтического течения в советской литературе способны рисовать лишь обобщенные, аллегорически приближительные картины возможного и предполагаемого, а не реальную действительность с ее подлинным обликом».

Иное дело, что есть романтика, а есть и псевдоромантика, и надо отчетливо видеть принципиальную разницу между ними.

Гончар не раз выступал в защиту настоящей романтики, «сердцем рожденной для выражения героического начала нашей жизни», в защиту того течения в литературе социалистического реализма, которое тяготеет к романтическим краскам, к «высокому регистру» в изображении человеческих мыслей, чувств и деяний.

Но при этом он неизменно подчеркивал, что имеет в виду «романтику реалистически правдивую», такую, которая «вырастает из реализма». «...Только из реализма, только из правды жизни! — подчеркивает писатель. — Без этого «романтика» ничего не стоит, она превращается в риторику, в напыщенную декламацию...»

Если бы мы увидели эволюцию Гончара от «Знаменосцев» к последним его вещам лишь в преодолении романтического начала, мы сильно упростили бы проблему. Не отказ от романтизма в пользу реализма (последний вовсе не пуждается в такой жертве!), а поиски *синтеза* этих двух художественных стихий — вот что определяет суть эволюции писателя, динамику его развития.

Гончар говорит об этом и сам, правда, применительно к творчеству другого художника, необычайно высоко им ценимого, — Юрия Яновского: «Краски романтической поэтики, символика и строго реалистическая деталь, причудливое сплетение фантазии и реальности, научно точного современного выражения и фольклорных песенных мотивов — все это в лучших произведениях Яновского выступает в органическом сплаве, в естественном многоцветье, выверенном чутьем художника».

* * *

«Нельзя ни в одном случае повторяться, а тем паче повторять других. Ведь повторение того, что уже было, все равно не даст творческого удовлетворения».

В этих словах — весь Гончар. Каждое новое его произведение и похоже, и одновременно не похоже не только на «Знаменосцев», так глубоко запавших в нашу читательскую память, но и на предыдущую его книгу, каждая припосит нам и радость встречи с давним другом, и радость нового знакомства.

А ведь, пожалуй, в искусстве нет ничего труднее, чем оставаться самим собою, непрерывно изменяясь. Привлекательно постоянство художника, его верность однажды выбранной дороге, каким-то коренным, исходным принципам, а значит — и самому себе, но разве природа искусства не предполагает и вечный поиск, изменение, движение? Это сочетание цельности и динамизма, это диалектическое единство «*semper idem*» (всегда тот же) и «*semper tigo*» (всегда начинающий) — явление, прямо скажем, не такое уж частое. Что ж, тем выше ему цена.

Ю. Б а р а б а ш

ЗНАМЕНОСЦЫ

РОМАН-ТРИЛОГИЯ

АЛЬПЫ

О, Русская земле! уже за шеломянемъ еси!

«Слово о полку Игореве»

С тех пор как передовые части перешагнули границу и скрылись за горбатыми холмами чужой земли, прошло уже несколько дней. На переправе встали пограничники, проверяя документы бойцов и отдельных команд, догонявших фронт. Словно из-под земли выросли новый пограничный столб и пестрая, полосатая будка поста.

Граница! Мы снова вернулись сюда, и часовой встал на том самом месте, где он стоял 22 июня 1941 года. Мы ничего не забыли, но многому научились. Мы живы, возмужавшие и умудренные опытом. А жив ли ты, вражеский пилот, с Железным крестом на груди, ты, который в то далекое черное воскресенье сбросил первую бомбу со своего самолета на наш пограничный пост? Думал ли ты тогда, что не пройдет и трех лет, как бойцы нового, рожденного в боях 2-го Украинского фронта в своих зеленых бессмертных гимнастерках вновь появятся на берегах этой реки и переплывут ее? «Судьба!» — сказал бы ты. Да! Судьба справедливых армий всегда прекрасна.

1

Когда Черныш подходил к посту, его внимание привлек коренастый, плечистый сержант, о чем-то беседовавший с пограничниками. Голова его, с золотисто-рыжими, подстриженными под бокс волосами, все время тянулась вперед, а руки были согнуты в локтях так, словно он подкра-

дывался, чтобы внезапно накрыть перепела, притаившегося в траве. Насколько Черныш мог понять, этот рыжий сержант отбывал службу в 1941 году именно здесь, на границе. Сейчас он довольно комично, жестами и восклицаниями изображал, как их впервые бомбили. Смешнее всего сержант показывал, как он сам искал укрытия в лозняке, как каждая ямка казалась ему слишком мелкой и он прямо вгрызался в землю зубами, а вражеский самолет охотился за ним, как ястреб за полевой мышью. Сейчас сержант по-тигриному выгибал свою кряжистую, широкую спину, вспоминая, видимо, как мурашки бегали тогда по ней. Времена, времена!..

Когда пограничник, прочитав документы Черныша, переспросил наименование части, сержант вдруг прервал свой рассказ и обратился к Чернышу:

— Вы в Н-скую?

— В Н-скую.

— Буна зива¹, товарищ. Мы — попутчики!

По лицу сержанта нельзя было угадать — шутит он или говорит серьезно. Скуластое выразительное, с колючим, настороженным взглядом из-под нависших бровей, лицо его было полно той лукавой напускной дурашливости, от которой можно ждать всяких неожиданностей. Бойцы смотрели на него и заранее улыбались.

— Только простите, товарищ младший лейтенант, но я вас что-то не помню.

— Ничего удивительного. Я... впервые.

— А-а! — разинул рот сержант, как будто очень удивленный этим. — Впервые! Тогда, будьте любезны, отступите на пять шагов...

— ?

— ...Отступите, я вам откозыряю!

Черныш вспыхнул:

— Товарищ сержант! (Сержант щелкнул каблуками с подчеркнутой лихостью.) Что вы из себя Швейка корчите? Почему у вас такой неопрятный вид?

И в самом деле, из-под куцей гимнастерки сержанта выглядывал край нижней рубахи; она была довольно грязная, и это как будто смутило сержанта. Но он не растерялся, не покраснел. Да и вообще трудно было представить, чтобы он когда-нибудь краснел. Лицо его было землисто-серым, оно осталось таким даже после того, как он

¹ Добрый день (молдавск.).

стер с него пыль. Казалось, дорожная пыль навсегда въелась в его тело.

— Не сердитесь, товарищ младший лейтенант, на мою сорочку, — сказал сержант, заправляясь, и веки у него нервно задергались. — Видите ли, не мама ее стирала, а девчата из фронтовых прачечных, а у них руки уж давно мылом разъело... Эх, сорочка моя, сорочка! Я сам тебя скоро выстираю, в Дунае тебя выполощу!.. На вас вот — другое дело! Все новенькое да чистенькое... С иголки. Разрешите спросить, вы из-за Волги на Украину поездом ехали?

— Ну и что? Поездом.

— А я... на брюхе полз, — сказал сержант почти шепотом и с такой откровенной сердечностью, что Чернышу стало вдруг неловко за свою горячность.

— Так вы в самом деле из Н-ской? — спросил Черныш уже примирительно.

— Шельмой буду!

— Ну что ж... пойдем вместе?

— В натуре. Вы да я — вот уже и команда... А фамилия моя Казаков.

Козырнув пограничникам, они вступили на переправу, истоптанную за эти дни тысячами ног.

— Счастливо, товарищи! — кричали вдогонку пограничники.

— Ждите телеграммы из Берлина! — отвечал без улыбки Казаков.

Гудели под ними сосновые доски переправы. Солнце тускло, как перед дождем. Шумела река, покрытая белыми сережками пены, — мутно-желтые волны катились откуда-то с высоких гор в далекое море. Впереди из-за горы вставала синяя туча; дорога за переправой поднималась все выше, и казалось, будто это не туча перед ними, а тоже гора и до нее можно дойти.

Казаков в своих трофейных сапогах с широкими низкими голенищами выглядел немного раскорякой, шел, ступая на пятки, подавшись всем корпусом вперед. Он рассказывал, как удрал из госпиталя. Там, видите ли, после контузии его лечили электрическими лампами, чтобы не дергались веки и не тряслись руки, когда волнуется. Однако, услышав, что его часть вместе с армиями 2-го Украинского уже перешла границу, он больше не вытерпел «кантования» в тылу: его смертельно потянуло к братве.

— Тянет, ой, как тянет, товарищ, — говорил Казаков. — Наверное, для «гражданки» я уже окончательно пропащий человек. Так, верно, и останусь вечным солдатом.

— Вечный солдат! — улыбнулся Черныш, добрея. — Это раньше когда-то были вечные студенты... А кстати, как вы про меня догадались?..

— Что из училища?

— Да.

— Еще бы не угадать... У меня же глаз разведчика.

На самой горе над дорогой маячил белый столб. Поднявшись выше, они увидели, что это не столб, а высокий каменный крест, побеленный некогда известью и прикрытый дощатым козырьком, почерневшим и покособившимся от времени. К кресту было прибито распятие. Оно тоже потемнело и потрескалось от солнца и ветров.

— Вот наше «Л», — показал Казаков на большую букву со стрелкой на запад, кем-то размашисто начерченную углем под самым распятием. — Значит, идем правильно.

На запад, на запад! словно охваченные одной мыслью, они одновременно оглянулись и посмотрели вниз, на переправу, на реку, ставшую снова границей. За рекой в дрожащем мареве расстился родной край. Казалось, не будь этого дрожащего синеватого марева, вся Украина видна была бы им как на ладони: и широкие зеленеющие поля, изрытые окопами, и сожженные села, и взорванные города, и нескончаемые разбитые дороги, заваленные скелетами обгоревших машин. Разоренный край, кровавый перекресток, трагическое поле битвы! Отсюда ты еще роднее сыновнему сердцу.

Лицо Казакова стало сосредоточенным, выражение легкомысленного лукавства исчезло с него.

— Товарищ младший лейтенант, видел бы ты нас год назад, когда мы только вступили на Украину... Весной было, на рассвете... Грязища по колено, голодные, изнуренные. Подумать только: два года были в разлуке с ней, два года только слышали, как она стонет, да видели издали, как она горит. И вот кончается Курщина, и за совхозом, знаем, уже Украина. Не спали перед тем несколько ночей, ели одни бураки, и откуда только сила взялась! Штурмом заняли совхоз, поле перелетели на крыльях. «Вот это, — взглянув на карту, кричит комсорт Ярославцев, — уже Украина!» Сколько было нас там разных наций — сибиряки, и таджики, и украинцы, и белорусы, —

все как один упали на колени и целовали землю... и, поверишь, плакали, как дети. Глянешь — стоят все на коленях, среди непаханого поля, бородатые, в шинелях, заляпанных грязью, без шапок... Эх!

Не заметили, как набежала тень, кочковатая земля потемнела и, казалось, слегка закачалась под ними, как шаткая палуба. Они впервые заметили и впервые почувствовали, что земля чужая. Залопотал дождь, и среди щебня по рыжеватой пыли запрыгали дымки, словно от разрывных пуль.

— Где твоя шинель, сержант? — спросил Черныш, сбрасывая свою.

— Шинель я пайду, — нехотя ответил Казаков. — Давай переждем под этим грибком. — Сержант стал под козырьком у распятия. — Святой авось не прогонит?

— Это спаситель... Прячься под мою шинель, сержант. Они накрылись шинелью оба.

Дождь все сильнее стучал по шинели, а там — далеко внизу, на родной стороне — еще светило солнце. Матово-белая дождевая коса, словно огромный занавес, медленно двигавшаяся над полями, еще не дошла туда: зеленеющие поля в последний раз посылали оттуда солпечную улыбку на эту неприветливую гору с одиноким распятием. И Черныш, еще совсем юный, затянутый в новые ремни, и Казаков, который горбился около него, чтоб, выпрямившись, не стянуть с офицера шинель, — оба долго и внимательно вглядывались в эту солнечную даль, словно хотели вобрать ее в свои сердца и унести с собой.

II

— Ты откуда? — спросил Черныш Казакова.

— С Донбасса.

— Отец, мать живут?

— Я из детдома. Шахтарчук.

— Сирота?

— Сирота! Какой я сирота? Сироты — это дети. А мне уже... сколько ж это мне? С двадцатого... Да... С тысяча девятьсот двадцатого.

Все реже стучали гулкие капли по распятию. Дождь смыл с него пыль, и кровь из пробитых гвоздями ног сочилась тонкими струйками, будто живая.

Вышли из-под навеса, и Казаков стал свертывать цигарку.

— А боги у них такие же, как и у нас, — заметил он, исподлобья поглядывая на белый крест. — За что же его распяли?

— Это целая история, — сдержанно ответил Черныш, но рассказывать не стал.

— Итак... вперед, на запад?

— Марш!

И они двинулись дальше. Размокшая глина налипала на сапоги, и стало тяжело идти.

— Трудная земля, — заметил Казаков, мрачней. — Там было легче.

Они оглянулись еще раз. Глаза Черныша засветились и стали глубже.

— Мать-отчизна! — невольно вырвалось у него по-юношески звонко и торжественно. И даже для Казакова, который терпеть не мог никакой торжественной пышности, эти слова прозвучали сердечно и убедительно.

— Жди нас, — сказал сержант. — Вернемся победителями или же... не вернемся совсем!

Они стали спускаться с горы, и родная сторона скоро скрылась за холмом.

Вдоль дороги тянулись незнакомые поля, изрезанные узкими длинными полосками.

— Даже странно видеть такие заплатки, — сказал Казаков. — Неужели и у нас когда-то было так?

Черныш молча смотрел на нищенские полоски, которые тоскливо тянулись по склону.

— Все же я не такой представлял себе Европу, — признался Казаков. — Думал, что здесь сплошные города и села, где с человеком не разминешься, — так всюду перенаселено. Все им территорий не хватает... А у них, оказывается, села еще реже, чем у нас в Донбассе.

Хлеба, омытые дождем, ярко зеленели. Вдоль кювета выстроились гибкие стебли, один в один, неисчислимые, как солдаты. Снова прояснилось, показалось солнце. До самого села они не встретили ни одной живой души, только каменные кресты белели вдоль дороги да указки, написанные на них углем, все были устремлены на запад.

В селе хаты с выбитыми окнами и распахнутыми настежь дверями словно ждали кого-то. Но никто не входил в них, только шмыгали взад и вперед одичавшие без хо-

заяв коты. По центральной улице села многочисленные надписи, покрывавшие сверху донизу стены, молчаливо свидетельствовали о том, что здесь недавно прошла большая жизнерадостная армия. На стенах еще оставались ее веселые отголоски: «Васька и Колька, догоняй!», «Балабуха с быком в Бухаресте!» (до Бухареста еще сотни километров вражеской территории), «Владимиров, жми!» и т. п. А над всем этим:

«Л→», «Л→» — и большая стрелка на запад.

Внезапно среди пустого села гулко ударил бубен, запиликала скрипка. У облупленной, жалкой пазенки кругом собрались бойцы, догонявшие часть. На завалинке, прижав бородой скрипку, сидел старый цыган, возле него — пучеглазый паренек с бубном. Перед музыкантами, разбрызгивая грязь, отчаянно танцевали двое цыганят — мальчик и девочка. Кудрявые, взлохмаченные, высоко подобрав свои рубашонки из сурового полотна, они то и дело выкидывали такие коленца, что все собравшиеся раздражались громким хохотом. Старик подбадривал детей энергичными выкриками. Заметив на Черныше офицерские погоны, скрипач быстро вскочил ему навстречу и, изогнувшись дугой, заиграл «Катюшу». Чернышу стало стыдно и за старика, и за его угодливость, и за жалкий танец детей. Он взял Казакова за локоть:

— Пошли!

— Посмотреть интересно.

— Не очень веселое зрелище... Пошли.

Снова вышли на дорогу.

Теперь им часто попадались навстречу румыны и бесарабцы, они везли на волах наших раненых. Волы, сбившие ноги на каменистых дорогах, попуру шагали, прихрамывая, а румыны в серяках и высоких черных шапках брели с кнутами у возов, как чумаки. Некоторые кормили волов на ходу, с рук. Почерневшие от солнца, сухие, изможденные, с выпуклыми скорбными глазами, румыны напоминали собой те распятия на белых крестах, что извечно стоят вдоль дорог их страны. Иногда на возу из-под окровавленной шинели тяжело поднималась солдатская стриженная голова:

— Браток!.. А, браток!.. Дай закурить.

Казаков раздавал остатки своего табака. Черныш впервые пожалел о том, что не курит.

— Далеко фронт? — допытывался Казаков.

— Да-ле-ко...

— Сколько километров?

— Уже... двое... суток.

Не километрами, а временем, болью своих растреванных ран измеряли эти люди расстояние до фронта.

Возы, проезжая, монотонно, тоскливо скрипели. Черныш смотрел на раненых почти с благоговейным уважением. Они уже были там, где он еще не был, и, забинтованные, казались ему какими-то особенными людьми. Он стыдился, что идет мимо них румяный и здоровый. Чувствовал, как лицо его пышет молодой, неистраченной кровью.

Ему представлялось, что вот он уже сам лежит на возу, накрытый шинелью, корчась от боли каждый раз, когда деревянное колесо каруцы¹ насккивает на камень.

На почлег остановились у хмурого румына, в хате, полной детей, цыплят и блох. Хозяйка подала на ужин брынзу, выкинула на стол горячий круг мамалыги и разрешила его ниткой. Хозяин в постолах и узких шерстяных штанах молча сидел на кровати с трубкой в зубах, хотя табаку в ней и не было. Из угла на гостей испуганно сверкали глазами черные, замурзанные дети. Их, видимо, очень удивляло, что эти незнакомые люди не начали еще резать всех подряд, как об этом говорилось даже в букваре, а тоже умеют смеяться, шутить и есть мамалыгу. Женщина бросила и детям круг мамалыги, и малыши облепили ее в углу, как воробьи подсолнечник. Казаков долго смотрел, как детвора жадно давится горячими комками, и неожиданно поднялся, вздохнув:

— Такие же и у нас... Когда шли зимой по Украине, зайдём, бывало, в село — завить хочется. Все сожжено, все разбито. Копоятся дети в теплой золе, греются. «Где батько?» — «Нету». — «Где мать?» — «Нету». Скинем шинели, сложим оружие, возьмем лопаты в руки. Выроем им землянку, оставим еды и спова... вперед, на запад.

— После этой войны, — сказал Черныш, — ни наши, ни их, ни чьи-либо дети уже не будут копошиться на пепелищах... Люди не будут сгибать спину, как тот сегодня, со скрипкой... После этой войны все люди должны стать наконец... настоящими людьми.

— Понимаешь, кучерявая, чего мы хотим? — подошел Казаков к худощавой девочке с крестиком на груди.

¹ Повозка (рум.).

— Ну штиу...¹

Он положил ей на голову свою тяжелую, заскорузлую руку.

— Чтоб ты не резала мамалыгу ниткой, понимаешь?

— Ну штиу...

— Чтобы свободной росла...

— Ну штиу...

Черныш встал из-за стола и, скрипя сапогами, в задумчивости прошелся по хате.

— Наша война не на год и не на два, — говорил он словно сам себе. — Нам нужно не только разгромить вражеские армии и снять с Европы военное положение. Нет, не только, не только...

Ночевать хозяин пошел в овчарню — он боялся, чтобы у него не угнали овец. Хозяйка постелила Чернышу на кровати, а Казакову на полу, — она считала его денщиком молодого офицера, как она это видела в своих войсках, находившихся здесь на постое. Однако Черныш не захотел ложиться на кровать и тоже стал устраиваться внизу на соломе. Хозяйка дала им тяжелый, сбитый из шерсти ковер, от которого густо несло овчиной. Казаков не раздевался, только расстегнул ворот гимнастерки.

— Это роскошь, — говорил он, — в которой я себе никогда не отказываю. Даже в окопе, если не расстегнусь, не засну как следует. Расстегнешь всего две пуговицы, а словно разденешься догола и лежишь дома на подушках. Прекрасно!

Хозяйка, уложив детей, села над ними и так дремала всю ночь, не гася огня.

Проснувшись далеко за полночь, Казаков увидел, что Черныш сидит рядом в нижней рубашке — раздетый, он выглядел совсем мальчишкой — и беспокойно оглядывается по сторонам.

— Что такое? — спросил Казаков, инстинктивно потянувшись за оружием, хотя при нем его не было. — Что случилось?

— Блохи, — пробурчал Черныш беспомощно. — Бло-хи! Казаков сразу успокоился.

— Ничего не поделаешь... Европа, — пробормотал он и, повернувшись на другой бок, снова заснул.

¹ Не понимаю (рум.).

На следующий день указка вывела их на центральную дорогу. Тут былолюдно и шумно; без конца мчались машины с боеприпасами, орудиями, кухнями; обливаясь потом, брели офицеры и бойцы со скатками на плечах.

Казаков повеселел, словно приближался к родному дому, и шел, как по воде, высоко поднимая ноги. Медали с замусоленными лентами ослепительно сияли на его груди, вбирая солнце. А он беззаботно поглядывал вокруг, пил светлую воду из зеленых криниц при дороге, черпая ее пригоршнями, а потом весело помахивал пилоткой проезжающим девушкам из полевых пекареп.

Чернышу хотелось поскорее увидеть настоящую войну, однако он до сих пор нигде ее не находил. Она убегала, как мираж в пустыне, оставляя за собою дороги, забытые народом. А народ, сорванный с насиженных мест, плыл и плыл, серый от пыли, и казалось, этот людской поток не кончится пикогда.

Вокруг звучали шутки и смех.

Казаков, всюду поспевая, вмешивался во все разговоры, во всем разбирался, и похоже было, что все тут давно ему знакомо. Его приподнятое настроение постепенно передавалось Чернышу, который в конце концов стал думать, что нет на свете никакой войны, никаких ужасов, а есть только какой-то большая оргия, безумное мировое гульбище, куда все они торопятся.

— Люблю фронтовой край! — восторженно восклицал Казаков. — Ты чувствуешь, что здесь даже воздух иной, чем в тылу. Волею пахнет. Никакого тебе черта!

Чабаны-румыны выходят на дорогу клянчить табак. Они сгибаются в три погибели, снимают шапки и протягивают высушенные, загорелые руки.

— Чего вы гнетесь? — не мог равнодушно смотреть на них Черныш. — Выпрямьтесь — и идемте с нами!

А чабаны думали, что русский офицер смеется над их бедностью, и испуганно пятились. Немцы научили их: разговаривая с военными, всегда держаться в отдалении.

На другой день Черныш и Казаков уже подходили к селу, в котором расположился штаб полка. Полевая дорожка вилась меж высоких хлебов. Она была хорошо укатана, хотя сейчас па ней не было никакого движения — ни подвод, ни машин.

— Здесь ездят только по ночам, — заметил Казаков, разглядывая свежие колеи под ногами.

За селом, возникшим перед ними в буйной зелени, мрачно вздымалась, как огромный верблюд, двугорбая высота. Там уже был противник. Но высота молчала. Вокруг — пастороженная тишина. Все словно замерло. Никаких признаков жизни. Луга, холмы, пышные сады — все зеленое и притихшее. Солнце неподвижно стоит над этим зеленым морем. Горячий ослепительный свет льется так обильно, что режет глаза. Правее, в десятках или, может быть, в сотнях километров, молча высятся темно-синие Карпаты в клубах серебристых, слепяще-белых облаков... Не слышно ни-единого выстрела. Это и была война, которую Черныш представлял себе в грохоте и в громе. Теперь она встретила его неожиданно этой неестественной тишиной, горячей дремотой юга, зловещим безлюдьем степных дорог.

В селе тоже залегла тишина. Дворы заросли бурьяном, жители отсюда были эвакуированы в тыл. В садах кое-где сновали бойцы, собирая горькую мелкую черешню. Черешни тут росли высокие и роскошные, как дубы, издали поблескивая на солнце густыми гроздьями ягод.

Возле штаба Казаков встретил своих разведчиков.

Среди других бойцов их сразу можно было узнать и по уверенно-развалистой походке, и по речи, и по движениям, в которых было нечто солдатски-аристократическое. Их любил весь полк, их баловал весь полк, и со временем это дало себя знать независимостью и уверенностью в их поведении. Полк давно стал для них родным, и они держались в нем непринужденно, как в семье. Они даже в свои рапорты и приветствия старшим умели вложить что-то особенное, домашнее.

За несколько минут разведчики, толкаясь, смеясь и перебивая друг друга, успели рассказать Казакову, что они сейчас «кантуются», то есть быют баклуши, так как три дня назад с огромным трудом достали «языка», и «хозяин» дал им отдых на несколько дней. Кончилось тем, что, объявшись, они потащили Казакова куда-то пить румынскую пуйку. Приглашали и Черныша, но он отказался, так как хотел сегодня же быть на месте.

Сдав документы в штаб, Черныш, прежде чем идти в батальон, явился, по офицерскому обычаю, представиться командиру полка. Адьютант-таджик сказал, что

«хозяин» сейчас в соседнем блиндаже, у майора Воронцова, и посоветовал зайти туда.

В блиндаже гвардии майора Воронцова, заваленном газетами, картами, книгами, стояла приятная, свежая прохлада. Деревянный пол здесь, видимо, часто поливали холодной водой, чтобы не было так жарко. Из угла в угол по блиндажу не ходил, а почти бегал «хозяин» — гвардии подполковник Самиев. Из рассказов Казакова Черныш представлял его себе именно таким. Маленький, энергичный, удивительно подвижный таджик, он внимательно оглядел Черныша с головы до ног и, очевидно, остался доволен безупречной курсантской выправкой молодого офицера, который стоял у порога вытянувшись, с запыленным вещевым мешком за плечами.

— Черныш? — Самиев вдруг стукнул себя по лбу коричневым пальцем. — Черныш... Вы откуда? Родом, родом?

Черныш, смущаясь, ответил ему по-таджикски. Самиев весь просиял.

— Ваш отец инженер-геолог? Всеволод Юрьевич?

— Так точно. Всеволод Юрьевич.

— Воронцов, слышишь, посмотри: первый земляк, который встречается мне на фронте! Такое совпадение!

Оказывается, Самиев еще задолго до войны знал отца Черныша по совместной работе в одной из экспедиций на Памире. Сам Евгений Черныш, которого отец часто брал в свои поездки по Средней Азии, еще с малых лет хорошо знал те места, о которых сейчас, волнуясь, расспрашивал его Самиев. Подчиненные Самиева, которые видели в нем лишь сурового, с норовом человека, способного часто вспыхивать, словно порох, сейчас не узнали бы своего командира. Он пригласил Черныша сесть и, когда тот замялся, сам усадил его и, бегая по блиндажу, разгоряченный, сухой, возбужденный, поглядывал на Черныша ласково, словно встретил здесь, в чужом краю, свою далекую молодость.

— Я рад, рад, что вы попали именно в мой полк, — говорил подполковник скороговоркой. Черныш едва успевал разбирать. — Воронцов! Уже у моих друзей сыновья — офицеры! А мы все еще считаем себя юношами!

Гвардии майор Воронцов лежал в постели, накрытый кожухом и тяжелыми пестрыми коврами. Уже несколько дней его трясла малярия. В разговор он не вступал, лишь иногда молча бросал пыливый взгляд на Черныша. По

дороге Казаков рассказывал настоящие легенды о Герое Советского Союза майоре Воронцове. Политрук роты под Сталинградом, герой Днепра, он вырос за это время до заместителя командира полка по политчасти. Этот гвардейский стрелковый полк невозможно было представить себе без Воронцова. Другие могли болеть и ложиться в медсанбат. Воронцов должен был болеть в полку, не допуская и мысли, что можно поступить как-то иначе. Когда болели другие, к ним нельзя было заходить и беспокоить. К Воронцову же и к больному заходили и разговаривали с ним, как со здоровым, потому что это же Воронцов! У других могло быть что-то неладно в личной жизни, и тогда они имели право жаловаться, требовать сочувствия и помощи. У Воронцова все должно было быть всегда в порядке, и было бы странно слышать, что он вдруг на что-то жалуется: ведь это же Воронцов!

В самом деле, Воронцов никогда не жаловался, а ему жаловались все, и он сам считал это вполне нормальным. Когда его посылали на учебу, он отказался, и послали другого. Брели на работу в штаб фронта — отпросился, никого этим особенно не удивив. Разве могло быть иначе? Воронцов как бы составлял важнейшую и неотъемлемую часть сложного организма полка. Он был в полку будто мать в семье. Естественно, что мать должна всех утешать, выслушивать, лечить, наказывать и пестовать, а сама никогда не сваливаться с ног. Она до того привычная и родная, что ее не всегда и замечают в семье, и только когда ее не станет, все сразу поймут, что она для них значила.

Не раз и не два Воронцов ходил в боевых порядках пехоты, когда бывало туго, а иногда — когда и не совсем туго, за это штабисты дивизии упорно называли его комиссаром. И вот сейчас Черныш увидел этого человека, который еще раньше, по рассказам сержанта Казакова, стал для него образцом офицера. Правда, до сих пор Черныш представлял себе майора, Героя Советского Союза, не таким — накрытым кожухом и трофейными коврами, с желтым, измятым болезнью лицом. Воронцов рисовался ему не иначе как в гордой воинственной позе впереди пехоты, с пистолетом в руке и газетами, торчащими из кармана, — таким рисовал майора Казаков. Теперь же Черныш видел утомленное лицо, совсем не воинственное, а какое-то мирное, задумчивое. Воронцов лежал пожелтевший и сосредоточенный, натянув кожух до самого подбородка, светя широкой лысиной, окруженной рыжими

колечками редких волос. Серые, глубоко запавшие глаза майора то и дело вскидывались на Черныша, внимательно оглядывая его черный, с глянцем, курсантский ежик. Чернышу хотелось услышать от майора хоть слово. Но Воронцов молчал, иногда беззвучно шевеля пересохшими, потрескавшимися губами. Зато Самиев, потирая маленькие живые коричневые руки, говорил неумолимо.

— Вы не смущайтесь, будьте задирой, держитесь смелее, — поучал он Черныша, — а то вам будут наступать на пальцы. Конечно, вам тут все незнакомо, странно, я знаю. Я сам только год как выпорхнул из академии. Да, я академик, будьте любезны! Я убежден, что вам понравится наша семья. У нас вы быстро возмужаете, у нас люди быстрее растут, нежели в тылу, если, конечно... Но я думаю, вы не из трусливых?

— Бой покажет, товарищ гвардии подполковник! — ответил Черныш, заливаясь румянцем.

Воронцов вдруг повернул голову и посмотрел на Черныша из-под лохматых рыжих, словно выгоревших на солнце бровей.

— Комсомолец? — спросил Воронцов, хмурясь.

— Так точно, комсомолец, товарищ гвардии майор! — поднялся Черныш со стула.

— Сядьте, — сказал Воронцов и повернулся к стене.

— Бой, бой — это для вас наилучший аттестат, — продолжал Самиев. — Конечно, храбрость — самое ценное качество в человеке. По крайней мере, я считаю людьми только храбрых. Вы спортсмен?

— Альпинист, товарищ гвардии подполковник.

— Прекрасно! Это сразу видно: жилистый, легкий. Это вам пригодится... в Альпах.

У Черныша от радости захватило дух:

— А мы и там будем?

— Будем! Будем, гвардии младший лейтенант («гвардии», — подумал Черныш), всюду, всюду! Наши крылья только раскрываются!

— А наступление скоро, товарищ гвардии подполковник? — не удержался Черныш, хотя понимал, что спрашивать об этом не совсем тактично.

Самиев и Воронцов посмотрели друг на друга и одновременно улыбнулись. Улыбка изменила лицо Воронцова и будто всего его преобразила. Чернышу показалось, что он уже видел майора когда-то давно, и сейчас почувствовал себя с ним непринужденно и свободно.

— Какой нетерпеливый, а! — заговорил Самиев. — А вы готовы?

— Готов, товарищ гвардии подполковник!

— Хорошо. Не волнуйтесь: наш поезд тронется точно по графику. Минута в минуту, именно тогда, когда будет нужно. Вас к Брянскому? В третью минометную? Чудесно. Брянский — ветеран полка, сталинградец-коммунист, культурный офицер, в прошлом студент, кажется, из Витебска.

— Из Минска, — поправил Воронцов, медленно опуская усталые веки.

— Да, да, точно — из Минска! Золотая голова! Когда кончим войну, я его обязательно направлю в академию. Его место — там. Ты как смотришь на это, майор?

— Не торопись, — ответил Воронцов, не открывая глаз. — Война же не сегодня кончается? — И после паузы сам себе ответил: — Нет.

Прощаясь, Самиев на мгновение задумался и, словно между прочим, спросил Черныша:

— Нам, кстати, нужен ПНШ-три¹. Что бы вы сказали, если бы я... вам предложил?

Черныш покраснел. Хотя ему и понравилось предложение подполковника, однако, глядя доверчиво и открыто Самиеву в глаза, он ответил:

— Весьма благодарен, товарищ гвардии подполковник, но лучше я пойду на завод. Мне уже и так совестно, что я до сих пор не принимал непосредственного участия...

— Понимаю, понимаю, — перебил командир полка, беря его за плечо, словно Черныш именно своим отказом стал для него дорожкой. — Желаю успеха в предстоящих боях...

Воронцов выпростал из-под кобухи горячую руку и подал ее Чернышу. Рукав нижней рубашки закатился по локоть, и майор казался Чернышу гражданским, как отец.

— Мы еще встретимся, — произнес майор сухими губами. — Перед нами дорога... далекая и... очень ответственная.

Потом почти шепотом Воронцов добавил:

— Так вы готовы?

— Ко всему готов.

Чернышу показалось, будто он не в низком блиндаже, затерявшемся среди холмистых просторов зеленой

¹ Третий помощник начальника штаба.

Румынии, а в самом деле выходит на дорогу, ошеломляюще большую, очень ответственную и прекрасную.

Черныш и в самом деле чувствовал в себе готовность, опасности его не пугали, дороги призывали, хотя никто не мог бы сказать, далеко ли они поведут, не оборвутся ли где-нибудь здесь, неподалеку от этого низкого блиндажа, ватерявшегося среди холмистых просторов зеленой Румынии.

Выйдя из блиндажа, Черныш с минуту соображал, куда ему идти. Еще в штабе ему растолковали, как найти третий батальон, и теперь он пошел вдоль заброшенной железнодорожной насыпи.

Проходя мимо штаба, который разместился в бетонированном помещении под виадуком, Черныш увидел запыленного связиста, который привязывал к дереву рослого белого коня.

Накануне Черныш встречал этого бойца в дивизии, что-то спрашивал у него, и теперь боец козырнул ему, как старому знакомому. Чернышу стало приятно.

Из помещения выскочил озабоченный начальник штаба с какими-то бумагами под мышкой и сразу же задрал голову, высматривая, нет ли в небе румынских «музыкантов». Неожиданно взгляд начальника остановился на коне, привязанном к дереву. Штабник уставился на него, как на что-то ужасное, невероятное, и, заикаясь от волнения, накинудся на бойца:

— Почему конь белый?

Вероятно, он хотел сказать: почему белый конь не замаскирован?

Боец молчал, весело покусывая губу.

— Я вас спрашиваю, — потрясал штабник ладонью перед носом бойца, — почему конь белый?

Связист выпрямился и ответил с лукавой четкостью:

— Не знаю, товарищ гвардии майор, почему конь белый! Возможно, от белого жеребца!

Черныш засмеялся и пошел, не дожидаясь конца разговора. Начиналась новая жизнь с новыми взаимоотношениями, с новыми интересами.

Тропинка вилась в высокой траве вдоль насыпи. Теплый воздух вокруг был напоен густыми запахами степных цветов. Дремали пашни, млея в солнечном благоухании. Среди хлебов белела разрушенная железнодорожная будка, вокруг которой торчали изуродованные снарядами стволы деревьев. Из-за будки ударило трупным смрадом.

— Младший лейтенант Черныш — в ваше распоряжение.

— Ладно. Опустите руку.

Командир минометной роты откладывает газету в сторону и застегивает воротник. Шея у него по-девичьи красивая, нежная и белая, словно он никогда не выходит из этой землянки на солнце.

— Мне уже звонили от «хозяина», — продолжает командир роты и, подавая Чернышу руку, тоже белую и твердую, рекомендует: — Гвардии старший лейтенант Брянский.

Они садятся на бруствере у входа в землянку и, обмениваясь незначительными вопросами, внимательно изучают друг друга. У Брянского юношеское красивое лицо с тонкими чертами, бескровное, но не худое. Из-под длинных светлых ресниц внимательно смотрят голубые, без блеска, глаза.

Пылает закат. Вдоль насыпи строем проходит взвод с лопатами, ломami и кирками на плечах. Тяжело стуча сапогами, бойцы останавливаются против Брянского. Коренастый, широкоплечий лейтенант хриплым басом докладывает ротному командиру, что первый взвод возвратился с работы. Брянский, с туго перетянутой талией, с пышным светлым чубом, стоит облитый лучами предзакатного солнца. «Как подсолнечник в цвету», — думает Черныш о нем. Брянский внимательно выслушивает рапорт, спрашивает, не забыли ли случайно лопаты на месте работы? Записывает, сколько кубометров вырыто. Наконец разрешает распустить взвод. Знакомит Черныша с лейтенантом Сагайдой, командиром первого взвода.

— Ты тоже ванькой-взводным? — интересуется Сагайда, бесперемонно разглядывая Черныша. — Давай, давай, будет наконец и мне облегчение...

— После войны, — добавляет Брянский.

Пошли осматривать огневую позицию. Разветвляясь, как корень, во все стороны, она раскинулась вдоль насыпи ячейками и ходами сообщений. В ячейках, укрытые маскировочными сетками, стоят минометы, настороженно глядя в ясное румынское небо. Бойцы, в большинстве уса-тые, солидные люди, увидев офицеров, вскакивают и замирают в готовности. Они из последнего пополнения, которое Брянский сам отбирал и сам обучал, пока стояли в обороне. Бойцы — преимущественно винницкие, подольские,

надднестровские колхозники — исполнительны и работники. Здесь были одпосельчане, соседи, даже два брата. Все они держались вместе, жили еще общими воспоминаниями о доме и запасном полку, еще называли друг друга по имени:

— Эгей, Хома!

— Что хочешь сказать?

— Куда ты девал паклю?

Словно спрашивал: «Куда ты положил вилы?»

Казалось, они так, всем колхозом, и пришли сюда и, вместо того чтобы пахать или сеять, взялись за угломер-квадрант, за новую, незнакомую науку. Однако они ею овладели достаточно быстро, и Брянский был вполне доволен своими усатыми воспитанниками.

— Я не ошибся, отбирая именно этих усачей из пополнения, — говорил он теперь своим офицерам. — Я видел, что они добросовестно относятся к работе, а это на фронте так же необходимо, как где-нибудь на заводе. Между прочим, вы замечали, из кого выходит больше всего героев в бою?

— Из бывших беспризорных, — сказал Сагайда. — Из беломорканальцев.

— Все-то пет, — возразил Брянский. — Я, наоборот, знал немало таких, которые в тылу, как говорится, на ходу подметки рвали, а здесь, перед лицом смерти, оказывались жалкими трусами. Лучшие войны — это вчерашние рабочие, шахтеры, слесари, колхозники, вообще люди честных трудовых профессий. Ведь война — это прежде всего работа, самая тяжелая из всех известных человеку работ, без выходных, без отпусков, по двадцать четыре часа в сутки.

— Товарищи, — сказал Сагайда, словно перед аудиторией, — вы прослушали краткую информацию научного работника, исследователя проблем войны гвардии старшего лейтенанта Брянского. У кого есть вопросы?

— Давай, — сухо усмехнулся Брянский. — Валяй!

В эту ночь Черныш долго не мог уснуть. В землянке было жарко, рядом храпел Сагайда, он весь пылал и, бормоча во сне, то и дело забрасывал на Черныша тяжелую горячую руку, пытаясь обнять его. На противоположных нарах ровно дышал Брянский. Лунный свет стелился через порог землянки, исчезая всякий раз, когда мимо блиндажа проходил часовой. У изголовья Брянского сидел телефонист, тихо мурлыча нежные мелодии и то и дело вызывая кого-то:

— «Заря», «Заря»! Я «Гром», — проверка.

И снова наступала такая тишина, что казалось, настояженные шаги часового слышны на весь мир.

Черныш лежал с широко раскрытыми глазами и смотрел на перекрытый бревнами и рельсами потолок, вспоминая мать, которая где-то там, в горячих краях, за Каспийским морем, думает, наверное, сейчас о нем, представляя себе, как он бросается своим телом на амбразуру дота.

— Женья, — говорила она ему в последнюю встречу, — я знаю, каким ты бываешь горячим, безрассудным... до самозабвения. Ты большой романтик. Конечно, я не советую тебе быть плохим воином или прятаться за чужие спины. Я знаю, что ты и не способен на это, и, может, именно за это больше всего люблю тебя. Будь таким, какой ты есть, будь мужественным, отважным, уничтожай их, но, Женья, мальчик мой... не бросайся своим телом на амбразуру дота. Потому что я знаю — это такие, наверное, как ты, бросаются. Но ведь это так... так страшно!

Бедная мама! Сколько она сейчас передумает! А он лежит в спокойной землянке, и войны нет, есть только лунный свет на пороге, да гулкие шаги часового, и какая-то странная «Заря», которой молодой телефонист то и дело свидетельствует свою готовность.

И все же Черныш чувствовал, что сегодня он достиг чего-то необычайного, что-то очень важное произошло в его жизни. Завтра утром он уже не будет идти по дороге с ясными указками и пить студеноую воду из зеленых криниц. Отныне перед ним встала каменная стена, и Черныш уперся в нее. Дороги все сомкнулись впереди и уже никуда не поведут до тех пор, пока он сам не пробьет эту стену, чтобы сверпутье, как пружины, пути распрямились и снова устремились вперед с указками для других. Нет, здесь нельзя себя жалеть. Что было бы, если бы мы все начали вдруг жалеть себя?

Черныш сдержанно вздохнул.

— Вы не спите? — спросил телефонист.

— А?

— Да... вот, девчата надоели, звонят и звонят...

— Чего им надо?

— Гвардии старшего лейтенанта. И все не наши позывные: какая-то «Березка», какая-то «Фиалка».

— Так разбуди его.

— Нельзя. Старший лейтенант приказал отвечать всяким фиалкам, что его... нет.

Утром Шовкун, ординарец Брянского, вносит котелок, ложки, расстилает полотенце и нарезает на нем хлеб. Все это он делает с какой-то особенной крестьянской деликатностью.

— Что там? — поднимается взлохмаченный Сагайда, чтоб заглянуть в котелок. — Опять гвардии горох! Здоров будь, давно виделись!.. Шовкун!

— Я вас слушаю.

— Я знаю, как ты меня слушаешь! Водка есть?

— Сегодня не давали.

Сагайда глубоко вздыхает.

— Так вот знай, Шовкун, — говорит он, нахмурясь, — твоя Килина взяла себе приймака. Милиционера!

Сагайда внимательно следит за тем, какое впечатление произведут его слова на ординарца. Всегда после такой жестокой шутки пожилой боец начинает моргать, как ребенок, глаза его заволакиваются мягкой влагой. И весь он тоже как-то обмякает, тает, смущенно улыбаясь.

— Что вы, товарищ гвардии лейтенант... Не может этого быть... У нас и милиции нет поблизости. Она вся в Гайсине.

Сагайда думает.

— Все равно, связалась с бригадиром, — говорит он. — Бригадир привез ей соломы, а она ему за это...

— Довольно тебе, — морщась, останавливает его Брянский.

Садятся есть. Шовкун стоит у двери, и кажется, что его совсем нет в землянке. Вообще он обладает удивительной способностью — исчезать на глазах, становиться совсем незаметным и никогда никому не мешать. Но стоит, кажется, Брянскому хотя бы во сне окликнуть его, как Шовкун сразу тихо отзовется: «Я вас слушаю».

Сагайда ест, громко чавкая. После еды ему хочется закурить. Но он знает, что у всех в батальоне в эти дни уши пухнут без табака.

— Ты не куришь? — спрашивает он Черныша.

— Нет.

— И не пьешь?

— Нет.

— И девчат не целуешь?

Черныш краснеет. А Сагайда уже начинает жаловаться на «Романью». Нищенская, несчастная страна! Хаты без

дымоходов, потому что каждый дымоход Антонеску облагал налогом. Табак не сей, потому что это государственная монополия. Все наши окурки пособирали на дорогах, а говорят — Европа.

Брянский тоже страдает без курева, но стоически переносит свои муки. Шовкун легким движением собрал посуду, перемыл, перетер, и хотя сам он поворачивался медленно, работа в его руках шла как-то сама собой, быстро и споро. Он уже все сделал и опять стоял свободный и, переминаясь с ноги на ногу, несмело поглядывал на старшего лейтенанта, которого, видимо, очень любил.

— Да, прокурились, — жалуется наконец Брянский. — Хотя бы разок потянуть.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, — обрадовавшись, отзывается Шовкун своим ласковым, проникновенным голосом. — У меня немножко есть... В конверте прислала...

— Килина? — крпчит Сагайда. — Так чего же ты молчишь? Давай скорее!

Закурили.

— Шовкуп! — зовет Сагайда, жадно затягиваясь. — Разве это табак? Мерзость какая-то!

— Это я немного буркуна подмешал, — оправдывается Шовкун. — Напи хлопцы все буркун курят. Он душистый. А румыны много его развели на своих полях.

— Тоска, — говорит через некоторое время Сагайда. — Ненавижу эти обороны. Копай и копай без конца. Святое дело — наступление. Я только тогда и чувствую, что живу, когда наступаем. Черныш!

— В чем дело?

— Дай мне адрес какой-нибудь учительницы или агрономши.

Черныш удивляется:

— Зачем?

— Напишу ей письмо. Изолью душу.

Это у Сагайды мания. Он пишет много, куда попало и кому попало, с одной целью — получить фотографию. Если он достигает своего, то несколько дней ходит, размахивая карточкой, показывает каждому свою девушку, которую никогда не видел и наверняка никогда не увидит.

— Но я знаю, — неожиданно добавляет он, мрачней, — это она не свою прислала.

— Почему не свою?

— Потому что сама она конопатая!

— Ты же ее не видел.

— Все равно конопатая!!!

И тогда его лучше не трогать: он сердито спрячет фотографию в свой бумажник и надолго замолчит.

Чернышу все это кажется легкомысленным шутковством.

— Я не понимаю, — говорит он, — как можно писать человеку, которого совсем не знаешь!

— А что же мне, по-твоему, делать? — кричит Сагайда. — Скажи, что мне делать? Хорошо, что у тебя есть там какая-то узбечка, какая-то там селям-алейкум, которая ждет тебя, собирая хлопок и распевая «Темную ночь».

— Каждого кто-нибудь ждет.

— Каждого! Меня никакой черт не ждет!

— А дома?

На лице Сагайды появляется злобная гримаса, а губы начинают мелко дрожать:

— Мой дом, брат... ветер развеял!

И он рассказывает свою историю, давно уже известную всему полку.

— Ты, наверное, не знаешь, что наша дивизия носит имя моего родного города, — с гордостью говорит Сагайда. — Не знаешь? Да, да, это мой родной город, мне выпало счастье освободить его собственными руками. Тому уже скоро год, правда, Брянский?

— Через три недели как раз год, — подумав, говорит комроты.

— Под вечер завязался бой, — с этого всегда начинал Сагайда свою историю, — а в полночь мы уже вступили в город, немцы за Днепр драпали. Вошли мы — все трещит, горит, валится. Отпросился я в ту ночь у Брянского... Лучше б ты меня не пустил тогда, Юрка!.. Иду по городу, наших бойцов мало, гражданских совсем никого, просто жутко. А улица вся горит... И узнаю ее, и признать не могу; и родная она мне, и уже какая-то чужая, страшная. Я никогда не видел такой жуткой ночи!.. Свернул к заводу, прохожу в ворота, где тысячи раз проходил. Пустые обгоревшие коробкизданий, над цехами свисает покореженная арматура, а внизу, под нею, висят авиабомбы, как черные, паленые свиньи. Не успели их подорвать... ть. Кинотеатр в парке догорает, каждое дерево освещено, каждую ветку видно. А ведь там я когда-то... сидел, и обнимал, и ласкал... Чертовщина! Ни черта нет! Свежие вонючие воронки да какая-то проволока под ногами путается!..

Прихожу на окраину, на месте нашего дома — груда кирпичи и пепла, вот и все то мое счастье было, брат! Еле разыскал в одном погребке знакомых соседок — согнулись, трясутся, узнать меня не могут. Долго уверял их, что я действительно Володька Сагайда, тот, от которого все заборы трещали. «Как ты возмужал!» (То есть постарел!) «Как ты изменился!» — «Где мой?» — спрашиваю. Отец, говорят, еще зимой сорок первого подался куда-то на село с тачкой за хлебом, да и не вернулся. То ли умер где-то, то ли снегами в дороге занесло. А сестру в Германию увезли. Писала, говорят, из Гамбурга, еще когда была там на бирже. «А где же, спрашиваю, Муся?» Была такая соседка, лаборанткой у нас на заводе работала. «Эге, говорят, Муся... Муся... За коменданта вышла!» — «Как вышла?» — «Да так. То ли по охоте, то ли по принуждению, а вышла замуж и уехала с ним...»

Некоторое время все сидели задумавшись. Потом вдруг Сагайда вскинул голову, отбросил чуб назад.

— Ладно! За все расквитаемся! За все, за все! Еще заплачешь ты, неметчина, горькими слезами! Все тут перетопчем!

— Мы не дикие кони, чтоб все топтать, — с неожиданной резкостью отрубил Брянский. — Не такими нас ждут.

— Знаю, знаю, ты сразу начнешь подводить базу, — нервно отмахнулся Сагайда. — Не забавляться ж мы пришли сюда! Скажи, Шовкун?

Шовкун, который в это время чистил в углу автомат, видимо, не разобрал, о чем шла речь.

— Скажи, правду я говорю?

Ординарец боялся Сагайды, как напасти, и потому, взглянув сначала на Брянского, не сердится ли тот, наконец согласился:

— А как же, слушаюсь.

Однако эта послушливость не мешала остроумному Шовкуну вечером от души смеяться над Сагайдой в кругу своих земляков.

VI

Вечера в роте, если солдаты не шли рыть траншеи или таскать шпалы для перекрытий, проходили в долгих задушевных разговорах. С замиранием сердца пускались тогда бойцы в волшебные плаванья по океанам далекого, интимного, мирного...

Полная луна в небе, настороженная тишина на земле...

В эти лунные вечера бойцы вылезают из своих нор и собираются на траве, за брустверами ходов сообщения. С тыла к самой огневой подходит степь, и бойцы лежат у ее края, как на берегу огромного теплого моря. Высокое небо незнакомого юга, терпкий запах близких полей, душистых степных трав действуют на бойцов, словно волшебное зелье: забываются дневные споры, утихают страсти, все становятся ближе друг к другу, откровеннее, доверчивее...

— Кто будет эти хлеба жать? — слышен задумчивый голос. — Наверное, и осыплются и сгниют на корню.

— Да здесь не столько хлебов, сколько меж и бурьянов.

— Тут комбайном и работать нельзя.

— Что же у них и родить будет, как не куколь, если севооборота нет? Я видел — на кукурузе опять кукурузу сажают. Кое-как мамалыга растет.

— Не обрабатывают землю, а только мучают.

— А сказывали: культура!

— Культура: законы под бубен объявляют. Ходит колотушечник по селу, бьет в бубен и выкрикивает новые какие-нибудь указы. А бабы перегнутся через плетни и слушают.

— Вывесил бы на стене, и пожалуйста: пусть себе читают.

— Начитают! Темнота у них, братцы, по селам... И школ мало, и ликбезов нет...

— Темные-темные, а вот по своим Бибулештам не бьют.

— Значит, у них там командир батареи земляк, и ему жаль своего села.

— Выдумывай. Это они боятся нас дразнить.

Спокойно, рассудительно течет беседа.

— Смотри, Иван, — говорит один, лежа на животе и поглаживая огрубевшей ладонью травинку, освещенную месяцем. — Смотри, и тут растет пырей! Совсем такой, как и у нас.

— Земля везде под нами одна.

— И солнце над нами одинаково светит...

— Ходил я сегодня, братцы, за обедом через траншею первого батальона. Ой леле! Там целый подземный город выстроили. Если бы не указки, заблудился бы, как в лесу.

Одна стрелка в ту роту, другая в эту. Та — на Бе-О¹, а та — в ленкомнату.

— Хорошо, что есть указки.

— А что оно значит, наше «эл»?

— Может, Ленин?

— Ну что ты... Это фамилия нашего генерала, командира дивизии.

— А как же его?

— Скажут...

— А если кто спросит?

— Скажешь — «людына»², и все. Людына тоже на «эл» начинается.

— Недавно румынешти на наше Бе-О наступали. Но там, молодцы, не растерялись: пустили в самые траншеи, а потом перебили почти всех лопатками.

— ...Бывает, чего ж... Вот братнина жена приняла приймака, он там без году неделя — пожил три дня, да и поминай как звали...

— А слышали, что разведчики говорят? Будто скоро наступать будем.

— Когда я ходил вчера со старшиной на склад, то хорошо все заметил. Ой, сколько там пушек за горой — не счесть! А ребята все такие крепкие и, видать, бывалые. Уже, говорят, все доты у нас на картах обозначены. И каждый имеет свой номер и даже кличку.

— И кличку? Это уже врут.

— ...И уже пристрелян каждый дот. Когда начнут арт-подготовку — каждая батарея знает, по какому ей целиться. Та по этому, другая по тому. Будут садить ему в лоб, пока он не треснет!

— Снаряды их не берут. Сюда Малиновский тысячу самолетов пустит, чтоб на каждый дот — самолет.

— Говорят, что эти доты тянутся от самых Карпат аж до Черного моря, как та линия Маннергейма.

— Это их немецкие инженера настроили.

— Подлюги! У меня хату сожгли.

— А я от Германии спрятал дочку в чулане и заложил его кирпичом — так в управе меня до того стегали, что — верите? — кожа полопалась.

— Признался?

— Дудки!

¹ Боевое охранение.

² Человек (укр.).

— А моего Василька не слышать. Был где-то в Руре. А теперь и совсем не слышно. Развезли, раскидали наших деток по всему свету. Всем они нужны, пока молоды и здоровы и цветут, как мак... Ищи теперь, а где искать? Может, давно уже разбомбили союзники.

— Кому какая судьба, братцы!..

— Руку я, конечно, не хотел бы потерять — очень уж это плохо, — ведь я только две зимы в школу ходил, одной головой трудно было бы жить. А без ноги — право, по страшно.

— А спать как?

— Пустяки: жена сама снимала б деревяшку!

При этом кто-то бросает соленую шутку, всем становится весело, и бойцы смеются долго, вволю и не спеша, словно едят.

Возле штаба батальона тихо заиграл аккордеон, запел общий любимец Леня Войков, комсорг батальона:

Как усталый боец, дремлет война...

Из командирской землянки минроты вышли офицеры п, о чем-то оживленно беседуя, паправились туда, откуда доносилась мелодия песни.

— Файни¹ хлопцы, — замечает один из бойцов, глядя вслед офицерам.

— Больно молоды только.

— Молодые, да ранние. Знаешь, сколько уже Брянский в этом полку? С самого основания. Шесть раз ранен.

— Оттого он и белый такой: видно, кровью изошел на операциях.

— А Сагайду не поймешь: когда — добрый, а когда — как зверь. Особенно не люблю, когда он меня донимает за то, что наркомовской нормы не дают... Будто я в этом виноват... Или про Килину всякое болтать начнет.

— Что ему до твоей Килины? Пусть лучше за своей присматривает...

— Зато в бою с ними будет надежно. Обстрелянные, не подведут.

— А этот новый, чернявенький, — не кавказец случайно? Тараторил сегодня по какому-то с Магомедовым.

— Какой там кавказец: Черныш. Из наших украинских он, из тех, что в ссылку при царе угоняли. Его отец будто бы студептом-революционером был...

¹ Красивые, ладные (укр.).

— Такой вежливый, и бойцов называет на «вы».

— Это поначалу: потом «тыкать» будет.

— Когда он спросил на занятии, кто скурил газету, я хотел соврать, что не видел, да не смог. Как-то он тебе в самое нутро смотрит.

— А моя пишет: хлеба стоят, как солище. Войдешь — и с головою окунешься...

— Никогда, говорит, Грицю, не забуду я дней нашей счастливой жизни, лета наши молодые. Как выйду, говорит, под вечер за ворота с сыном на руках, стану, а теплый ветер дует с юга, так и кажется мне, что то ветер из самой Рومании, от тебя, Грицю!..

VII

Ежедневно рота занималась боевой и политической подготовкой по плану, составленному Брянским. Командир роты не допускал ни малейших отклонений, словно рота стояла в учебных лагерях, а не на передовых позициях под вражеской высотой, среди этой зпойной южной степи. Политзанятия с бойцами Брянский проводил всегда сам.

— Я поведу роту в бой, — говорил он, — и я больше всех заинтересован в том, чтобы она была воспитана как следует, сплочена и дружна, чтобы не подвела ни себя, ни меня. От того, как я ее воспитаю, зависит не только, как она выполнит свой боевой долг. В конце концов от этого зависит и моя собственная жизнь. Я должен воспитать роту так, чтобы в любых обстоятельствах мог вполне положиться на нее и верить ей, как самому себе.

Сегодня в роте бурный день. Парторг батальона принес экстренный выпуск листовки о подвиге Самойлы Полищука, который в бою под Яссами собственноручно уничтожил шесть вражеских танков. По телеграфу из Москвы был получен указ правительства о присвоении Полищуку звания Героя Советского Союза. Слава о никому до сих пор не известном рядовом бойце стрелковой роты за несколько дней облетела весь 2-й Украинский фронт.

В подразделении Брянского на это событие откликнулись особенно живо: Полищук был земляком многих бойцов роты. Это был не какой-то сказочный, маловероятный богатырь, а близкий их пониманию человек, обыкновенный винницкий колхозник-тракторист, который пришел на фронт с последним пополнением, как и многие бойцы роты

Брянского. Еще недавно Полищуку, как и им, жена, верю, приносила в запасный полк самогон и пироги в простой крестьянской торбе.

Командир третьего расчета Денис Блаженко, высокий, крижистый молчаливник, с черными, всегда нахмуренными бровями, заявил неожиданно, что знает Полищука лично, — еще задолго до войны учился вместе с ним на курсах трактористов в Ямполе. Это еще больше усилило общее возбуждение.

— Какой он из себя? Силач? Борец? Сорвиголова?

— Обыкновенный человек, — отвечал Блаженко хмурясь, — такой, как и я, к примеру. Смирный был и не забияка.

— Дело же не в том, силач он или нет, — терпеливо разъяснял Брянский смысл подвига. — Главное, что он не растерялся в решающую минуту. Времена танкобоязни, видимо, действительно отошли в прошлое. В чем тут дело? Все очень просто, товарищи: танки идут, а Полищук ждет. Танки его не видят, а он их видит. Они сверху, а он в траве. В таких условиях человек значительно сильнее танка! Только не растеряйся: бей и жги!

И уже представлялись бойцам сожженные солнцем солончаковые степи под Яссами, горячие, удушливые траншеи полного профиля и вражеские громышающие танки, ползущие на них, как слепые, неуклюжие чудовища — режут, надвигаются все ближе, дышат адским смрадом отработанных газов. А винный тракторист стоит по плечи в сухой надежной земле и, зажав в руке бутылку Ка-эс, ждет, ждет... Ждет, потому что не хочет, чтобы эти слепые чудовища переплыли через него и снова с адским грохотом поползли на Украину, сея всюду горе и смерть. Бей и жги!

— Это каждый из вас тоже смог бы, — говорит Брянский. — Разве нет?

— Я смог бы, — сердито бурчит Блаженко, мигая своими ястребиными глазами.

До самого вечера в ячейках не смолкают разговоры бойцов о подвиге земляка. И горящие взгляды то и дело останавливаются на вражеской молчаливой высоте, переносятся дальше, влево, где до самого моря расстилаются залитые солнцем просторы чужой страны, таинственные, закованные в железобетон.

Брянский видел, что сегодня бойцы с большим, чем когда бы то ни было, нетерпением ждут боя. Его радовал

этот дух, как живая, чудесная музыка, вызванная в инструменте им же самим.

— Уже скоро, скоро загремит гром, товарищи, — говорил Брянский, прохаживаясь по огневой и задумчиво размахивая листовкой. — Скоро, скоро ударят молнии на этом чужом небе.

— А я... смогу, — вдруг повторяет Денис Блаженко, поглядывая на высоту, как охотник на тигра.

VIII

Черныш лежал в траве на краю насыпи, разглядывая едва заметные, замаскированные доты на склоне высоты. Молчаливые, словно покинутые людьми... Что творится там, в тех загадочных бетонированных берлогах? Что делают там гарнизоны, что замышляют, к чему готовятся? И где та тропинка на нагретой солнцем высоте, по которой ему рано или поздно придется бежать, сгибаясь под пулями, и где то место, на котором, быть может... доведется упасть!

Рельсы на насыпи поржавели за лето. Давно здесь не ходят поезда, а семафор вдалеке, на западе, стоит все время, день и ночь, открытый. Черныш только сейчас обратил на него внимание. Кто открыл его? И когда? И в какие края он зовет?

— Товарищ гвардии младший лейтенант! — позвали Черныша откуда-то снизу, из-под насыпи.

Обернувшись, Черныш увидел бойца своего взвода Гая, высокого тихого юношу. Недавно его принимали в комсомол, и Черныш не забыл, как Гай рассказывал о том, что его брата казнили оккупанты.

— Вас зовут командир роты, — улыбаясь, передал Гай, задрав голову в маленькой пилотке, смешно сидевшей на самом темени.

— Уже вернулся?

Черныш знал, что Брянский в полку на партсобрании.

— Уже.

Черныш спрыгнул вниз, быстро одернул гимнастерку.

Гай был как будто чем-то встревожен.

«Наступление! — было первое, о чем подумал Черныш, взглянув на парня. — Значит, наступление!»

Когда они шли на огневую, Гай все время оглядывался на офицера, будто хотел что-то сказать, но не решался и лишь как-то странно улыбался, щурясь при этом так,

словно собирался чихнуть. Видно было, что на сердце у него неспокойно.

— Страшновато? — спросил Черныш.

— Нет, — отрицательно покачал боец головой. — Только как-то непривычно. Первый раз... На кого ни глянешь, всех вроде хочется приглубить...

Он оглянулся, не смеется ли Черныш.

— Это вам просто... боязно, — решил Черныш.

— Э, не говорите, — уверенно ответил Гай. — Мне не боязно. Мне совсем не боязно. Я, товарищ командир... смелый.

Он снова оглянулся, не смеется ли офицер. Черныш не смеялся.

— Поверьте моему слову, я на полном ходу прыгал с поезда, а некоторые боялись. Последний раз это было за Варшавой. Я тогда ногу вывихнул, — так поляки меня на тележке везли от села к селу, с рук на руки передавали до самой Украины. Они ведь тоже ненавидят оккупантов... Я вас, товарищ командир, хочу об одном деле попросить... Так, на всякий случай... Адрес вот...

Гай торопливо расстегнул гимнастерку и достал из кармана, пришитого изнутри, маленькую, сложенную вчетверо бумажку. Оглянувшись, подал ее Чернышу с таким видом, словно доверял ему какую-то важную тайну.

— Если... Если что случится, — напишите ей, пожалуйста... Больше нет никого.

Буквы на бумаге расплылись от пота. Следя за тем, как офицер читает адрес, Гай еще сильнее сощурился и продолжал со всей стыдливой деликатностью, которою, между прочим, вообще поражали Черныша его крестьянско-бойцы:

— Напишите, будьте так добры, да чтобы складно... Чтoб жалобно... Пусть поплачет... — И добавил почти сердито: — Ничего, не умрет!

Чернышу хотелось подбодрить парня, но он не знал, что делать в таких случаях.

— Не волнуйтесь, — только и сказал он. — Все будет хорошо.

— А я и не волнуюсь, — засмеялся боец странно, как и раньше. — Чего мне волноваться? Я не предатель и не злодей, плохого ничего не совершил. За святое дело и умереть легко. Когда моего брата и других партизан привезли из лесу связанных и подъехала бестарка уже под самую виселицу, чтоб их вешать, то бабы все заголосили, ой, как

заголосили! А он поглядел вокруг и говорит: «Жаль покидать тебя, родное Полесье, и тебя, высокое, ясное солнце!.. Но я ни в чем не каюсь!» Возница-полицай ударил тут по коням и выдернул из-под него бестарку...

«Ни в чем не каюсь, — задумчиво повторил Гай. — Не в чем каяться».

«Он прав, — шагая, думал о бойце Черныш. — Жизнь у него еще, как родник, чиста».

На огневой кипела работа. Брянский сам руководил подготовкой, отдавал короткие приказания расчетам, прохаживаясь по брустверу в зеленых брезентовых сапожках, спитых из плащ-палатки.

Маскировочные сетки с минометов были уже спяты. Бойцы подносили ящики с минами, распаковывали гранаты, делили их между собой, запасались патронами. Все было возбужденно-торопливы.

Взглянув на Брянского, Черныш окончательно убедился в том, что сегодня произойдет что-то особенное. Брянский был какой-то торжественный, не такой, как всегда. Застегнутый на все пуговицы, туго затянутый, чистый, он стоял на бруствере, в самом деле будто подсолнечник в цвету.

Пристально посмотрев на Черныша своими голубыми, как дым, глазами, Брянский промолвил:

— Знаешь? Сегодня наконец работа.

И повторил:

— Большая работа, друг!

«Он меня так разглядывает, словно проверяет, каким я буду в бою», — подумал Черныш и сказал:

— Прекрасно!

— Я сейчас иду на НП¹. Вы остаетесь с Сагайдой. — Он взял Черныша под руку и, понизив голос, говорил, словно о чем-то самом интимном: — Знаешь, тут возможны разные ситуации: это ведь первый бой для многих моих орлов. Может случиться, например, что я требую огонь, а противник как раз обстреливает, кладет снаряд за снарядом... Кто-нибудь, может, и растеряется, и в блиндаж нырнет, не выдержит... («Не на меня ли он намекает?» — подумал Черныш.) С таким поступай решительно, молниеносно. Никаких поблажек. Кроме того, внимательно смотри, чтоб наводчики, засуетившись, не перевирали. Каждый раз сам проверяй установки. А вообще я уверен, что

¹ Наблюдательный пункт.

все будет хорошо: посмотри, народ у нас как на подбор. Каждый старается, «самовары»¹ падранили так, что горят.

И Брянский, выпрямившись, крикнул:

— Бинокль!

Ординарец козырнул у него за спиной:

— Есть, бинокль!

Потом Брянский подозвал Сагайду, и тот подбежал, стуча тяжелыми сапогами. Он тоже был сегодня весь подобранный, праздничный и отрапортовал торжественно, по всей форме:

— Товарищ гвардии старший лейтенант, по вашему приказанию гвардии лейтенант...

— Останешься за меня, — но дал ему закончить Брянский.

— Есть, за вас!

Брянский посмотрел на часы.

— Концерт начнется через пятьдесят минут.

Брянский взял у ординарца бинокль и повесил себе на грудь. Подал руку Сагайде, и они, по давнему своему обычаю, перед опасным боем обнялись порывисто и как бы сердито. Прощаясь с бойцами, которые, сбившись вокруг своего командира, всячески желали ему счастья, Брянский успокаивал их:

— За меня не тревожьтесь, товарищи; я знаю, что со мною ничего особенного не случится.

— Всякого зацепить может...

— Зацепить? Зацепить, конечно, может, и вообще... может. Но разве смерть — это самое страшное? Есть, товарищи, вещи более страшные, чем смерть: позор. Позор перед родиной. Этого бойтесь больше, чем смерти. У каждого из нас есть дома жена, или дети, или мать, или невеста. Они смотрят на нас оттуда, из-за Прута. Это смотрит на нас их глазами сама наша родина... Вы знаете, какими она хочет нас видеть?

— Знаем! — дружно ответили бойцы.

— Хорошо! Я надеюсь!

Брянский прыгнул в глубокую траншею, ведущую в стрелковые роты. За ним спустился с бруствера Шовкун с автоматом, флягой воды и плащ-палаткой для своего командира.

Все было уже готово. Расчеты встали на свои места и замерли в напряженном ожидании. Казалось, сейчас дол-

¹ Условное название минометов.

жно произойти затмение солнца. Командиры в последний раз проверяют минометы. Ни одного выстрела. Ни одного взрыва. Черныш нетерпеливо поглядывает на часы. Бойцы сосредоточенны, серьезны, как люди, которые вдруг почувствовали на себе огромную ответственность. От этого они словно выросли в собственных глазах и сразу, внутренне собравшись, как-то затвердели, заострились в напряжении.

Черныш оглядывается и не видит уже тех знакомых благодушных, лукаво-улыбчивых лиц, какие он привык видеть в своем взводе. Каждый стоит задумчивый, собранный, как перед смертельно опасным прыжком.

Огромная грозная тишина висит над степью, над залитой солнцем высотой.

И вдруг, как бы откуда-то издалека, послышалась неслыханно прекрасная музыка, словно все небо сразу превратилось в грандиозный голубой орган, и заиграло.

— «Катюши»!!!

Зашелестело все небо, незримые волны мощных шумов понеслись над головой, закачались: шов-шов-шов... Молниями ударило по высоте, загремело, заволокло дымом. И гора взревела: началось... Будто инженер где-то включил ток, и сложный, огромный агрегат войны, покоряясь его воле, начал работать ровно и ритмично.

Телефонист в землянке припал к трубке, закрыв второе ухо, чтобы лучше слышать, что передает Брянский с НП. Земля, то и дело сотрясаясь, осыпалась, падала на столки и телефонисту на голову. Телефонист не стряхивал ее. Он ничего не слышал, кроме команд.

...Сагайда уже охрип, отдавая команды. Предельно возбужденный, он стоял у входа в землянку с блокнотом в руке, мокрый от пота. Черныш, повторяя команды на огневой, кричал что есть силы, но расчеты, хоть и были рядом, едва слышали его за сплошным грохотом. Стволы минометов раскалились так, что нельзя было прикоснуться к ним. Земля гудела, трескалась то в одном, то в другом месте, из нее вырывались гром и пламя, смешанные с чадом. Газы наполнили воздух, и горько было дышать. А Черныш передавал и передавал короткие цифры, которые ему хотелось бы петь.

Стройными, упругими клиньями пошла авиация, разворачиваясь над дотами. В этот момент Черныш больше чем когда бы то ни было ощутил гордость за то, что он сын такой могучей державы. Он гордился тем, что уральский металл рвет, сотрясает перед ним вражеские

укрепления, что снаряды гвардейских минометов летят и летят откуда-то из-за спины, рассекая небо широкими огненными полосами. Никому не остановить молний, ничем не отвлечь эти высоко летящие огненно-красные трассы «катюш»! Мчатся беспрерывно, неудержимо, стремительно, словно сама судьба направляет их по небу с востока на запад, посылая народам Европы своих радостных красных буревестников: освобождение близко!

Выстрелов не было слышно — было только сплошное грохотанье земли и неба, в котором выделялись взрывы авиабомб, — казалось, с грохотом рушатся за огневой высоченные крепости. В голове непрорывно гудело, звенело, как после сильного, но неболезненного удара. Черныш не мог удержаться, чтобы то и дело не выглядывать из-за насыпи. Высоты не было. Она исчезла, превратившись от вершины и до самой подошвы в клокочущую, клубящуюся туманность.

Внезапно небо пронзительно засвистело. Свист приближался с неимоверной быстротой и летел, как казалось Чернышу, прямо на него. Но ему было совсем не страшно. Вообще, все, что происходило вокруг в этом гремящем хаосе, его не пугало и воспринималось им до сих пор скорее не как война, а как стихийное явление, как землетрясение или смерч в азиатских пустынях.

То, что свистело сверху, с разгона ударило в землю, тупо грохнуло, и горячая сухая волна газов забила Чернышу дыхание, отбросила прочь, и он, оглушенный ударом, даже не успел почувствовать, как очутился в траншее на четвереньках. Как это произошло? Он оглянулся, не смеется ли кто, но услышал чей-то встревоженный голос:

— Не ранило?

Не ранило ли? Разве могло его ранить? Так просто? Со скрежетом пролетели согнутые рельсы, снова взрыв, снова горько, нечем дышать. И все-таки он все время машинально слышал то, что ему пужно было. И когда третий миномет вдруг замолк, ухо Черныша сразу уловило это. Он бросился в третью ячейку. Заряжающий Роман Блаженко, уже пожилой боец, стоял на одном колене возле миномета на глинистой земле, а его младший брат Денис, командир расчета, легко и умело стягивал с него рубаху. У Романа было красивое, мускулистое белое тело, выглядевшее значительно моложе, чем его изрезанное глубокими морщинами лицо. Только шею по воротник покрывал

густой темный загар, который сейчас особенно бросался в глаза, отпеченный белизной всего тела, ровный, как кайма. Видно, много зноя видела эта жилистая шея! Осколок снаряда, ударив в руку выше локтя, образовал на ней две разорванные губы, и из них, как из ключа, била яркая кровь, стекая по локтю на землю. Блаженко, шевеля длинными усами, растерянно смотрел на свою кровь.

— Кость цела, — успокоил его Денис, перевязывая рану.

— Болит? — спросил Черныш.

— Нет, не болит, — ответил раненый. — Только крови жалко. Вишь, сколько понапрасну течет. Денис, быстрей! — подгонял он младшего брата. Хотя Денис был уже гвардии ефрейтор и ценился командирами выше, чем Роман, однако между братьями сохранялись отношения семейной иерархии, и Денис молчаливо подчинялся старшему брату, как отцу.

— Скорее — и в санвзвод! — приказал Черныш, которому вдруг стало не по себе. Он почувствовал, что и его может ранить или убить.

Напоминание о санвзводе вконец расстроило обоих братьев.

— Товарищ командир... Товарищ командир... — заговорили они вместе.

— Очень вас прошу, — умолял раненый, — не гоните меня отсюда в санвзвод... И лейтенанту Сагайде сейчас не говорите...

Черныш ничего не понимал.

— Почему?

— Оно тут заживет... Залечится. Присохнет... Я все буду делать, как и все... То ли на пост, то ли стрелять...

— Но ведь там быстрее вылечат?!

— Ой, не падо, товарищ командир!.. Очень вас прошу, не отправляйте! — На загорелом морщинистом лице Блаженко появился настоящий страх. Усы жалобно обвисли. — Тут вот мой брат... Он в колхозе ветсанитаром был...

— Я сам его вылечу, — твердо поддержал Денис брата.

— Тут все наши... А там вылечат и потом зашлют куда-нибудь... Обратю сюда не попаду.

— А вдруг заражение?

— Не будет, — заверил Денис. — У меня есть всякие медикаменты и коренья.

— Смотрите!..

Черныш поставил заряжающим другого бойца, а Блаженко приказал идти в блиндаж. Босед растроганно всхлипнул:

— Спасибо... Удачи вам, товарищ командир.

Очень мягкое и чувствительное сердце было у этого Блаженко.

IX

Время артиллерийской подготовки истекло, и адский грохот медленно стихал, успокаивался, как успокаивается море, взбудораженное штормом. Теперь, когда били уже только отдельные батареи и минометы, все слышали глухой, равномерный, непрерывный гул далеко на левом фланге. Бойцы вслушивались как зачарованные.

— На Яссах!

— Значит, по всему фронту!

Было радостно, что гудит по всему фронту.

Дым над высотой постепенно таял, и сквозь бурые облака стали снова выплывать отдельные куски высоты. Вся она была перепахана, перерыта за этот час. Станным казалось, что она еще существовала. Больше того, и доты стояли еще на своих местах, только совсем были теперь оголены, землю с них разметало во все стороны, и они белели на склонах как огромные, неимоверных размеров черепа. Батареи без умолку молотили по ним, ослепляя и оглушая методическим огнем гарнизоны, сходявшие с ума в этих железобетонных черепках.

Вдруг из землянки выскочил Маковейчик, молодой лобастый телсфопист, без пилотки, с землей на плечах, и звонко — что было сил — объявил:

— Пехота поднялась!

И снова исчез в своей пещере.

— Пехота поднялась! — пронеслось, как молния, от бойца к бойцу, и даже за холмом у артиллеристов слышали эту новость:

— Поднялась!

— Двинулась! Пошла!..

Как выражение самых высоких надежд, эта магическая весть сразу облетела весь фронт, штабы и батареи и докатилась до тылов. Пехота поднялась! Если бы тут были оркестры, они встретили бы эту весть торжественным маршем.

Черныш с замиранием сердца видел сквозь дым, как

на склонах высоты появились первые серые точки. Маленькие, едва заметные, они приковали к себе взгляды всех. Они то и дело скрывались в дыму взрывов, исчезали, казалось, навеки, но тучи рассеивались, и серые точки снова оживали, шевелились на склонах, как муравьи после дождя. За этими движущимися серыми крапинками, за этими муравьями и следили, не сводя глаз, все — от бойца-артиллериста до генерала. Ведь судьбу операции — успех или неуспех ее — могла решить в конце концов только она, матушка-пехота!

Брянский с НН передал приказ роте передвинуться под самую высоту. Сагайда, сияющий и взлохмаченный, появился на бруствере и подал команду, какую любил больше всего на свете:

— Отбой! Минометы на выюки!

Сагайда пьянел от этой команды, потому что это означало — вперед. Телефонист с гордостью доложил в штаб:

— Я отключаюсь.

Ячейки опустели в несколько минут. Тяжелые плиты, дуногие лафеты и стволы уже были на спинах у бойцов, входивших в траншею.

Стоя в стороне, в нише, Сагайда пропускал роту, осматривал, все ли взято. Приятно сейчас было Сагайде смотреть на своих людей. Вот впереди идет раскрасневшийся Черныш с высоко поднятой головой, поблескивая большими ясными глазами из-под черных упрямых бровей. Он ступает с какой-то особенной, счастливой упругостью. Вот проходит высокий Бузько, согнувшись под тяжестью плиты и все время глядя под ноги, словно хочет запомнить каждый свой шаг на этой грешной земле. Шагает неутомимый балагур Хома Хаяцкий с пышными лукавыми усами, закрученными вверх, как два больших бараньих рога. Юный Гай, весь обвешанный металлическими лотками с минами, гремит ими, как рыцарь зелеными латами, и смотрит на Сагайду, на товарищей, на все, что происходит, простодушно и доверчиво. Проходят неразлучные Блаженко, оба темные, загорелые и хитрые. У младшего труба на плече, прицел в руке, а у старшего... Старший правую руку прячет, а в левой несет лотки.

— Блаженко! — окликает Сагайда старшего, а братья останавливаются оба.

— Слушаю, товарищ лейтенант гвардии.

— Сколько я вас учил, что не лейтенант гвардии, а гвардии лейтенант!

— Простите, забыл, товарищ... лейтенант гвардии!
— Давай сюда лотки!
— Он в моем расчете, — вмешивается Денис. — Это по моему приказу.

— Дайте сюда лотки!
— Товарищ гвардии лейтенант, — настаивает на своем Денис, — вы же не можете через мою голову отменить мои приказы. Приказ боевой...

— Да, ты уставы знаешь! — говорит Сагайда и силой отбирает лоток у Блаженко-старшего. — Почему не доложил, что брат ранен? Марш!

Роман растерянно моргает, поглядывая то на Сагайду, то на Дениса. Собственно, куда — «марш»?

— Марш... с братом!

Сагайда сам берет лотки и тоже идет, замыкая роту.

Траншея, вырытая в полный профиль, спускается все ниже. Сагайда видит головы почти всех бойцов, их загорелые жилистые шеи. Головы в такт шагу плавно поднимаются и опускаются, как будто отделившись от туловища, плывут по одному руслу, покачиваясь на волнах. В некоторых местах траншея перекрыта шпалами, и, когда бойцы входят в темный туннель, Хома Хаетский выкрикивает своим пелучим подольским говором:

— Ой, патку мий, патку!.. Так, будто в пекло!

— А ты думал, в рай?! — смеется кто-то из бойцов.

— Най его маме, где ему будет край?

Ночью рота окапывалась уже на новой огневой позиции, в глубоком овраге под самой высотой. О сне не могло быть и речи. Бой продолжался. К вечеру были взяты 14-й, 17-й и 18-й доты, некоторые были блокированы, но еще простреливали почти всю местность, которую нашим удалось захватить. Рота зарывалась в землю. Тяжело дыша, работали бойцы, скрежетали в темноте кирки, высекая искры, когда попадался каменный пласт.

С наступлением ночи ринулись к высоте подводы, груженные боеприпасами. Затарахтела дорога, еще днем заваленная разбитыми возами и трупами лошадей. Объезжая их, подводы грохотали и грохотали в темноте. На полном галопе подскакивая к высоте и с хода разворачиваясь, они сваливали в одну грудку набитые минами ящики и опять мчались за новым грузом. У подножия высоты выросла целая гора боеприпасов. Брянский послал почти половину роты носить оттуда мины на огневую.

Как темный караван теней, брели в ночи бойцы с ящиками на плечах, падая всякий раз, когда поблизости в твердый грунт врезался снаряд. Хаецкий, обладавший удивительно тонким слухом, всегда первый ловил нарастающий свист снаряда или шелест тяжелой мины.

— Летит! — выкрикивал он, а сам уже лежал, припав к земле, как осенний лист. — Патку мий, патку!

По спине у него пробегали мурашки. Он почему-то был уверен, что мина обязательно ввинтится ему в поясницу, как сверло. Не в погу, не в руку, а именно в поясницу. Там, под рубахой, даже холодок ходил, а Хома карябал руками землю и, обламывая ногти, шептал:

— Пропеси!

Трахало где-то сбоку. Над головой фырчали осколки и падали, стуча о землю, как груши. Тогда Хаецкий первый энергично поднимал голову, выпятив усы.

— Вон где упало! — сообщал он, будто другие этого не видели. — Черти б его забрали!

— Подымайсь! — командовал Черныш, который вел бойцов.

Они молча взваливали друг другу на плечи груз и, горбясь под тяжелой пошей, двигались дальше.

— Все идут?

— А как же.

Это был уже их четвертый рейс за эту ночь.

— Покурить бы, — сказал кто-то, идя за Чернышом. Накануне наступления бойцы получили табак.

Поблизости, врезаясь в высоту, пролегалла какая-то пустая траншея, и Черныш разрешил остановиться в ней на перекур.

Было уже за полночь. Бойцы, сложив ящики вдоль бруствера, чтобы потом было легче их брать на плечи, присели в траншее. Напряжение боя и тяжелая ночная работа утомили их. Но короткая передышка, безопасные стены траншеи быстро вернули бойцам утраченную живость. Каждый с облегчением почувствовал себя под надежной защитой земли. Затеплились на дне два звездочки цигарок, развязались языки, слышались шутки.

«Как, в сущности, немного нужно человеку, — невольно подумал Черныш, — чтобы он почувствовал себя удовлетворенным, утешился, засмеялся».

— У нас был румынский комендант, по-ихнему претор, — слышался в темноте певучий, веселый голос Хома

Хаецкого. — Так я к нему изо дня в день ходил, чтоб он вернул мне корову, а он тоже оказался упрямым: изо дня в день меня стегал.

— А ты все-таки ходил?

— А я ходил, чтоб ему косточки на мелкие кусочки разнесло.

— И вернул?

— В обе руки... За веровку и — увел куда-то в свой Бухарест.

— Охочий, видно, был до молока и сметанки!..

— Нынче на Дунае где-нибудь твоя коровенка пасется...

— Узнаю — отберу.

— Удирая, они пели: «Аптонеску дал приказ — всех румынов на Кавказ. А румына не дурной — на каруцу и домой».

— Запели, когда припекло на Украине.

— Гляди, чего тут понастроили: так просто не угрызешь.

— Припечет, так и отсюда смотаются.

— А быстрее несло б их с дымом да с гарью.

Черныш встал:

— Кончай курить!

Внизу расстилается сизая прохлада ночи. На поле, то тут, то там, все еще взлетают багровые кусты взрывов. На высоте над боевыми порядками пехоты повисают ракеты и вянут, падая, как срезанные метелки ослепительных колосьев овса. А за горою все небо кровавится. Пылает румынский тыл, пыласт вся Румыния тревожно и загадочно.

— Тю, чтобы ты пропало! — вдруг выкрикивает Гай, пятясь от бруствера.

Черныш, как раз проходивший мимо, удивленно остановился.

— Что такое, товарищ Гай?

— Рука! Чья-то рука...

Поднимая ящик, Гай зацепил за бруствер и наткнулся на псе.

Черныш наклонился и в самом деле увидел в темноте скрюченную руку, которая свисала в самый окоп, преграждая дорогу. С чувством брезгливости, в котором не хотел самому себе признаваться, Черныш взял ее, холодную и твердую, и откинул обратно на бруствер, чтобы

пройти. А на ладони у него как будто осталось что-то липкое. По дороге он все время оттирал ладонь землею. Однако еще несколько дней после этого, когда Черныш принимался за еду, ему казалось, что от руки несет, и его мутило.

Они приближались к залятому месту, к открытой прогалине при входе в овраг. Вся прогалина еще до сих пор простреливалась пулеметным огнем противника, и Черныш, скомандовав бойцам залечь, лег и сам. Здесь можно было пробираться только ползком.

Черныш пополз. От изрытой земли несло минными газами и трупам. Пули нестерпимо звенели все время, то пролетая над головой, то шлепаясь рядом во что-то мягкое, как в тесто. Трупы все время загораживали путь. А сзади с тяжелым сопением ползли один за другим бойцы, таща ящики за собой.

Иногда Чернышу казалось, что это не ночь, а белый день и что врагу сейчас видно все, даже звездочку на его пилотке. Тогда он на мгновение прятал голову за какого-нибудь убитого и, притаившись, ждал товарищей. А поборов причуду, услышав поблизости знакомое сопение, снова весь собирался в кулак и полз дальше.

Внезапно кто-то закричал сзади него страшным, нечеловеческим голосом, жутким среди этой тьмы, где даже разговаривать разрешено было только шепотом:

— Хлопцы!.. Братики! Браточки!

Чернышу стало жутко. Кто так может кричать? Чей, чей это голос? Полный безграничного отчаяния, пронзительный, высокий, он прозвучал так неестественно, что Черныш не мог узнать, чей он.

— Брато-очки!.. — простонало еще раз среди ночи так остро и неожиданно, что казалось — услышат его над всей огромной высотой, на обоих склонах ее, и отовсюду кинутся спасать человека.

Всколыхнуть всю ночь своим стоном, так закричать во весь голос мог лишь тот, кто имел последнее право на это, — мог лишь смертельно раненный... Только что вот здесь убитый!

Черныша невольно бросило вперед, подальше от этого крика, переходившего уже в стон, он слышал, как за ним и все бойцы ползут быстрее, потому что сопят тяжелее и чаще. Пули все гуще прошивали воздух. Наконец Черныш достиг камня, за которым они останавливались каждый раз, чтобы передохнуть. Сюда пули не долетали.

«Что я сделал! — ужаснулся вдруг Черныш. — Что я сделал!»

Из темноты подползали бойцы и останавливались молча вокруг, не поднимая головы от земли.

— Кого нет? — почти закричал Черныш, сердясь неизвестно на кого. — Кого нет?

Не было двоих: Бузько и Вакуленко. Черныш, готовый на все, решительно повернулся и пополз назад. Пусть лучше убьют, но так он не пойдет к Брянскому. В это время его кто-то крепко схватил за ногу.

— Не ходите... Лучше я.

Это был Гай.

Не ожидая ответа, он зашуршал в темноте, как уж; размашисто работая локтями и коленями, ловко маневрируя между трупами, боец пополз на стон. Визжали пули, иногда позвякивая, наперпое, о чью-нибудь лопатку. Гай не обращал внимания на эти звуки, он слышал поблизости что-то несравненно более важное: глухой клекот, словно где-то рядом ворковали голуби. Нашупал рукой тело, еще теплое и все мокрое от пота. По сапогу домашнего покроя узнал Бузько. Тело скрючилось, расправилось, еще раз скрючилось, и все время было слышно поблизости тихое ворковапье: кровь била струйкой из-под мышки. Гай приложил ухо к груди. Стало тихо, как будто онемела в удивлении вся земля: сердце не билось.

Боец пошарил в карманах, забрал кошелек и патроны и снова пополз. В нескольких метрах отсюда он опознал Вакуленко, — в темноте заблестела его лобастая лысая голова без пилотки. Этот был убит наповал: пуля прошла сквозь горло и вышла на затылке.

У камня Гай передал Чернышу документы убитых, а себе оставил только патроны, взятые у Бузько. Все опять поднялись, подав друг другу трехпудовые ящики. Пулеметы татакали в темноте. Над высотой ракеты стремились достичь неба и, обессилев, изгибались и умирали, рассыпаясь холодным сиянием. Пока дошли до места, никто не проронил ни слова.

На огневой, отыскав Брянского, Черныш доложил ему, что люди с минами вернулись, но двое убиты. Брянский внимательно и серьезно выслушал рапорт, расспросил о некоторых подробностях.

— Жаль, — сказал он после паузы, — жаль. Особенно этого... Вакуленко. Из него был бы неплохой наводчик. Я держал его на примете. Что ж...

Брянский немного подумал.

— Что ж... Забирай, друг, людей и... снова за минами. Утром должен быть «сабантуй».

Черныш козырнул и подал команду на пятый рейс.

Х

Утром действительно начался «сабантуй», не смолкавший уже до самого вечера. В бой были введены все пехотные батальоны. Они блокировали слева несколько еще живых дотов. Противник тоже подбросил значительные силы пехоты и поднимался то и дело из окопов в контратаки, стремясь выручить запертые в дотах гарнизоны. Несколько раз пехота сходилась врукопашную на самой вершине.

Беспрерывный гул, трескотня и тучи дыма висели над высотой, заволакивая солнце.

Брянский стоял на наблюдательном пункте седьмой стрелковой роты и оттуда руководил огнем. Он имел задание все время держать под обстрелом одну из важных траншей, что шла из румынского тыла на высоту, вплетаясь в сложное кружево ее обороны. В стереотрубу Брянский хорошо видел эту траншею, оплетенную изнутри лозой. По ней он бил и бил с самого утра. Корректируя огонь, он редко заглядывал в таблицу стрельб, потому что знал ее почти наизусть. Вообще математическая память у него была развита необычайно.

Когда мины ложились где-нибудь за траншеей, на опаленной, изрытой земле, Брянский не мог сдержать своего раздражения.

— Портачи! Портачи! Портачи! — кричал он после каждого неудачного выстрела и, не отрывая глаз от цели, грозил в трубку телефонисту и требовал немедленно сообщить установки: ему казалось, что там наводчики обязательно все перепутали. Зато когда мина разрывалась в самой траншее, наполняя ее дымом, лицо Брянского сияло от удовольствия, он хватал Шовкуна за плечо и энергично подталкивал ординарца в том направлении.

— Видишь, видишь, — говорил он, не спуская глаз с траншеи, — накрыта! Цель накрыта! Чудесно! Молодцы!

И наскоро записывал что-то в свой блокнот. Организацию боя он всегда воспринимал как процесс неустанного творчества, материал для все новых обобщений и уточнений. Брянский оцепивал бой не только по его окончатель-

ным результатам, хотя это было, конечно, главным, а еще и по тому, как этот бой был подготовлен, проведен, как разворачивался, как преодолевались сложные ситуации и неожиданности, всегда возникающие в ходе боевых действий. Даже самая маленькая операция батальона выступала перед Брянским либо «неопрятной», как он говорил, с лишними жертвами, либо проведенной точно, красиво, с наименьшими потерями. После боя, когда командир батальона собирает командиров рот, чтобы подвести итоги, Брянский нередко именно так и высказывается:

— Уничтожение такой-то группы противника в таком-то перелеске было проведено решительно, точно, красиво.

Командиры стрелковых рот не упустят случая пошутить над Брянским.

— Особенно, — говорил кто-нибудь, — «красиво» сержант Новиков засадил штык тому немецкому унтеру пониже пула!

И сейчас, руководя огнем своей роты, Брянский все время следит за огнем других минрот и минометных батарей, всякий раз делясь своими наблюдениями с Шовкуном.

— Смотри, смотри, как Сергеев строит «веер»! Ишь жук. Накрыл. Накрыл всех!

Шовкун, не знавший никакого Сергеева и довольно туманно разбиравшийся в «веерах», немало дивился неутомимости своего командира.

— И зачем вам, товарищ гвардии старший лейтенант, тот Сергеев? — осмеливался спросить ординарец с мягкой вежливостью. — Разве мало вам хлопот со своей ротой? Разве вы и за того Сергеева отвечаете?

— Шовкун! — взглядывал на него Брянский с неожиданной строгостью. — Мы за всех отвечаем. И за все!

И снова, упершись вытертыми локтями в сухую глину бруствера, впивался острым взглядом в поле боя.

А под обрывом, где разместились его огневая позиция, творилось что-то необычайное. Чахканье горячих минометов, гомон, суета и ругань, ругань без конца. Если бы кто-нибудь посмотрел на этот ералаш со стороны, то мог подумать, что здесь люди лишились рассудка и мечутся, не помня себя, запертые в этой клетке, наполненной палящей духотой. И только приглядевшись поближе, можно было заметить, что здесь царит полный порядок и желез-

ная четкость хорошо налаженного механизма. Это было единственное сравнительно неуязвимое место под высотой, и сюда сбились все, кто имел возможность и право на это.

Кроме огневой Брянского, здесь разместился командный пункт батальона со всем своим штатом, до писарей включительно. Писари, составлявшие на коленях свои бесконечные сводки, придавали картине деловитость и уверенность. Здесь развернулись и санитарные взводы двух батальонов. Около санвзводов уже собралось несколько десятков раненых; они сидели и лежали на самом дне рва и ждали ночи. Штабной офицер с молдаваном-переводчиком допрашивал пленных, захваченных сегодня. Они были еще мокрые от пота, очумевшие и ничего, кроме нашей вчерашней артиллерийской подготовки, не помнили.

Какой-то контуженый сержант, собрав возле себя группу легко раненных, заикаясь, очень громко рассказывал, как он подкладывал взрывчатку под дот и как ею же его оглушило, потому что он не успел далеко отползти. Другой, совсем молодецкий боец шуточно хвастал, как подстерег румынешта, когда тот, не ожидая гостя, как раз открыл бронированные тыловые двери дота.

— Буна зива! — сказал я ему и оглушил прикладом по голове... А в дот — противотанковую...

— Давай загибай смелее, — недоверчиво перебивает новичка рослый пожилой сапер. — Кто даст воды глотнуть — я тоже сбрышу...

Жара стоит нестерпимая. Весь овраг до самых краев словно налит прозрачным, расплавленным стеклом. Сюда ниоткуда не залетит ветерок и не всколыхнет горячий воздух.

Расчеты у минометов стоят, умываясь потом, черные, как негры. Но настроение у всех возбужденное, приподнятое, потому что то и дело приходят вести о падении того или иного дота, хотя и бойцы-штурмовики иногда погибают вместе с ним.

Хома Хаяцкий, с красными от бессонницы, выпуклыми глазами, сидит весь в копоти, вставляя в оперение мин дополнительные заряды. Он без умолку балагурит, поблескивая из-под растрепанных усов белыми, крепкими зубами.

— Товарищ гвардии лейтенант, — обращается он к Сагайде, подбрасывая на руке мишу. — А неплохо какому-

нибудь фрицу поймать в руки такой огурчик? Подавился бы!

Где-то поблизости, вверху над обрывом, разрывается снаряд, и обессилевшие осколки фырчат над головой, как сытые перепела. Это немного тревожит Хаецкого, и он задирает голову туда, поверх обрыва, к небу. Он грозит в сторону противника миной.

— Эй, имей сознание! — кричит Хома, развлекая всю роту. — Куда ты стреляешь? Чего ты хочешь? Или, может, ты надумал мне век укоротить? Но это было бы совсем плохо! У меня дома жена и двое детей, и отец-старик! Да и я жить хочу!

Роман Блаженко тоже заряжает мины, и рана не мешает ему это делать.

— Я бы постыдился, — говорит он, — сидеть сложа руки, когда у всех вокруг такая страда, такая запарка... Я ведь, братцы, наравне с вами тоже съедаю котелок каши.

Все знают, что Блаженко-старший очень старателен в работе. Без нее он гибнет, чахнет, как колос в засуху. Роман — человек нежного и кроткого характера. Когда они заведут, бывало, на досуге, с братом Денисом, словно ярмарочные лирники, только им одним известную песню про «песочек, что заметает милого следочек», то Блаженко-старший сразу разжалобится до слез. При его мягком характере другим, более зубастым, казалось, легко было бы его затолкать, превратить в пешку, — однако посмеяться над ним, обидеть его никто не отваживается. Потому что вон там, возле миномета, стоит Денис, атлетического сложения человечище лет тридцати, с вечно насупленными черными бровями — и ястребом поглядывает вокруг. Попробуй-ка тронь! В любую минуту и перед кем угодно он готов заступиться за брата.

Над телефоном сидит Маковей. В роте его все называют Маковейчиком, потому что он 1926 года рождения и у него симпатичное лицо с широким, как бумажный кораблик, носом. Сам Маковейчик маленького роста, но грудь у него развитая и всегда молодцевато выпячена — колесом. На плечах у него крепко сидит лобастая подвижная голова, которая, по словам Сагайды, предназначалась для человека-великана и ошибочно очутилась у Маковейчика. Сагайда любит иногда забавы ради всей пятерней провести по лицу Маковейчика от лба до подбородка.

— Не падайте! — кричит тогда боец и бросается к Сагайде бороться, потому что это «падание» означает, что сейчас можно шутить и с лейтенантом.

Когда рота стояла еще на формировании и много пела по вечерам, Брянский взял Маковейчика у командира стрелковой, потому что Маковейчик прекрасный запевала. Все же иногда талант Маковейчика ему же и вредил. Дежурия по ночам у аппарата, он уже и здесь, в обороне, порой от скуки начинает соловьем заливаться в трубку, очаровывая своим пением незнакомых и никогда не виданных девушек-телефонисток. За это разъяренный командир батальонного звзда связи обещает дать ему три паряда вне очереди, угрожая к тому же разбить у него на голове трубку.

Однако Сагайда, который не терпел, чтобы его бойца наказывал кто-нибудь, кроме него самого, вместо нарядов трижды «падал» Маковейчика пятернею, и на этом дело копчалось.

Но нынче Маковейчику не до песен. Он сидит, свернувшись калачиком, над аппаратом, с трубкой, привязанной через голову к уху. Он передает команды Брянского, похвалы и проклятия, передает обрывки подслушанных разговоров об общем положении на дотах, а сам заклинает, чтобы снова где-нибудь не порвало кабель. Сегодня он уже шесть раз бегал по открытой высоте на линию, и каждый раз старшие бойцы провожали его сочувственно, как на тот свет, потому что, несмотря на довольно-таки задиристый характер телефониста, все его любилл. Правда, большинству из них он не приходился настоящим земляком, даже ехидно подтрунивал над их говором, насмешливо передразнивая, как «Г'андрей г'узенъкою г'уличкой повез пахарям г'обедать». Но старшие не сердились на него за эти шутки, потому что в конце концов мальчишка многим из них годился в сыновья и, может быть, напоминал им собственных детей и тепло родных покинутых гнезд. Когда он возвращался с линии, появляясь над обрывом и прыгая оттуда, как с неба, рота облегченно вздыхала:

— Маковейчик! Соловейчик! Живой!

А Сагайда в знак особого расположения жестоко «падал» его несколько раз, сжав в своих медвежьих объятьях.

И все же линия опять замолкла. Маковейчик хочет обмануть самого себя и еще некоторое время надсадно кричит в трубку, ругая своего напарника, сидящего где-то

на НП. Но, видимо, напрасно тратил Маковей свой порох: папарник молчит, и ротный соловейко, злобно чертыхаясь, выскакивает из окопа. Он просит у Хаеткого нож, чтоб зачищать концы кабеля. Хаеткому жаль давать нож, и он долго ищет его по карманам, полным всяких богатств.

— Быстрее ищи! — кричит Маковейчик. — У тебя там не карман, а целая кузья.

— На, да смотри не потеряй!

— А если и сам не вернусь?

— А нож чтоб был.

Маковейчик хватается кабель в руки и бежит вдоль линии. Пока линия идет по оврагу, Маковейчик чувствует себя спокойно. Но вот она потянулась вверх. Маковейчик полез за ней и очутился в конце концов на открытом месте. Здесь ему кажется, что он совсем голый. Безлюдная местность, выгоревшая трава, и взрывы грохочут то тут, то там по всей высоте. Жутко: один на всей высоте! Маковейчик припадает почти к самой земле и катится по ней колом, и кабель бежит у него в руках, больно обдирая пальцы. На какое-то время линия входит в разрушенную траншею, потом снова взбирается наверх и бежит через холмы.

Солнце стоит где-то над головой. Пот заливает глаза, и солоно становится на сухих губах. Невдалеке упал спаряд. Маковейчика обдало горячей волной. Он вскочил, оглядел себя — цел и невредим — и снова покатился в газах, в горькой духоте, один, как в пустыне. Глядя на эту высоту со стороны, он никогда не представлял себе, что она так велика. А сейчас ему кажется, что он бежит уже целый час. Наконец — обрыв. Маковейчик зубами зачищает концы кабеля, забыв, что в кармане у него лежит большой самодельный нож Хаеткого. Соединив, пускается обратно. Вниз бежать значительно легче. Он чувствует удовлетворение оттого, что исправил кабель, и уже не так пугается снарядов. Кое-где белеет тысячелистник, желтеет бессмертник, пахнут, ссыхаясь от жары, васильки, еще не срезанные металлом.

И вдруг Маковейчик останавливается как вкопанный.

В нескольких метрах впереди из-за бугорка неожиданно вырос долговязый румын в зеленом мундире и в постолах. Как ни был поражен Маковей, он успел все же увидеть, что румын в постолах. Чужеземец, видимо, тоже не ожидал такой встречи и остановился с разбега, тяжело дыша. Какое-то мгновение они стояли молча, растерянно,

оба сбитые с толку. Если бы еще немного пробежали, то, кажется, стукнулись бы лбами. Румын, худой, смуглый, с горбатым облупившимся носом, впился глазами в Маковейчика, а тот в него. Это длилось какие-то считанные секунды, а им казалось, что стоят они так уже давно, что сама судьба столкнула их один на один.

И вдруг, как по команде, оба круто повернули и... пустились наутек в разные стороны.

Лишь отбежав довольно далеко, Маковей почувствовал, что у него за спиной болтается и больно бьет автомат. До этого, налетев на румына, Маковей совсем забыл о своем ППШ¹, как забыл, наверное, и румын о своей винтовке.

Спохватившись, Маковейчик быстро свял автомат и оглянулся. Эге, догони попробуй. Постолы зеленого румына мелькали уже далеко, то появляясь, то исчезая в складках высоты. На вылинявшей спине румына танцевала забытая винтовка. Телефонист пустил ему вдогонку длинную очередь. Румын оглянулся на бегу, нагнулся и... глумясь, пошлепал себя ладонью по задку — попади, мол, вот сюда!

— Ах ты, мамалыжник! — крикнул Маковей, выпуская вслед еще одну очередь, хотя румын уже скрылся за бугром. — Чешет, аж кости стучат, а еще насмехается!

Однако и самому Маковейчику было как-то и стыдно, и легко, и весело.

«Счастье твое, что автомат был у меня за спиной, — весело про себя грозил телефонист румыну. — А то бы я тебе показал: нушти русешти!.. И откуда он здесь взялся? А может, он тоже связист? Заблудился, верно, как паршивая овца, и мечется».

Вернувшись на огневую, Маковей не удержался, чтоб не рассказать товарищам о своем конфузном приключении.

Товарищи подняли его на смех:

— Эх ты, соловей!

— Прозевал своего «языка»!

— Ты бы ему: хенде хох! — кричал Хаеткий.

— Забыл, — веумело каялся Маковейчик. — В то время все вылетело из головы. Глаза у него, как два черных колодца... Огромные, блестят... Не сразу по ним пальнешь...

¹ Пулемет-пистолет Шпагина.

— Смотри, Маковей, в другой раз растеряешься, тогда аминь тебе!

Вся рота беспощадно потешалась над своим соловьем, но в душе товарищи делали скидку на его зеленую молодость. К тому же — это первый бой.

Сидя над аппаратом, Маковей довольно терпеливо сносил безалабные насмешки товарищей. Укоры совести, видимо, не очень дожимали его за то, что он из-под носа выпустил живым этого несчастного, больше похожего на чабана вояку, что ни разу не выстрелил в его перепуганные, блестящие, как чернослив, глаза.

— Ладно, что хоть мой нож не потерял, — волновался Хома Хаецкий, отбирая у Маковей свой ятаган. — Драпая перед таким тощим мамалыжником, нетрудно было и штаны потерять!

— А если б и потерял, так что?.. — лукаво задибался парень.

— Я б тогда с тебя кожу полосами на кисеты содрал!.. Вот что.

«Погодите, — весело думал Маковей, — погодите... Разве на этом конец... Стану и я со временем таким воякой, как наши полковые «волки»¹. Сказано ведь: «солдатом не родишься, а делаешься...»

На сердце у Маковейчика легко и радостно, потому что так много солнца, что даже небо побелело от него, а внизу, далеко-далеко за насыпью, за батареями, виднеются луга и бежит, струится по ним марево, как отары прозрачных водяных барашков. А на тех лугах, припомнил Маковейчик, румыны в постолах и в белых штанах пасут с собаками свои отары. И у овец маленькие звонкие бубенчики на шсях.

В сердце маленького телефониста поют радостные солнечные хоры...

XI

Наконец высота пала.

Это случилось на следующую ночь, перед рассветом, и первым об этом узнал Маковейчик. Линия сразу наполнилась радостным клекотом, взаимными поздравлениями. Ночью румыны отступили. Отступили неожиданно, скры-

¹ Разведчики.

по, однако никто еще не знал, что сейчас они отступили в последний раз, что в эту ночь Румыния, охваченная заревами, была поставлена на колени.

Снималась наша пехота. Связисты, свободно прохаживаясь по высоте, сматывали кабель; обозы, вырвавшись на дороги, двинулись к высоте и уже не возвращались обратно, а встали у подножия огромным шумным табором. Утро было ясное, как после грозы. Саперы-подрывники подкладывали под пустые доты десятки килограммов тола, и доты с веселым грохотом подымались с земли и, почти неповрежденные, становились на дыбы, как фантастические чудовища, растопырив скрюченные лапы железных креплений.

Уложив минометы на вьюки, рота Брянского тоже двинулась вперед. Здоровая свежесть летнего утра омывала бессонные глаза бойцов, оббевала опаленные, покрытые пылью лица. Один за другим поднимались минометчики на высоту за командиром роты. Рубахи на спинах за эти дни побелели, на них, пропотевших насквозь, выступила и засохла соль.

Впереди Черныша шагал Гай, неся на себе тяжелую металлическую плиту, которую всего несколько дней назад чистил и нес Бузько. На спине бойца она поблескивала, как хорошо отполированный пластами земли лемех.

Достигнув вершины, остановились, чтобы передохнуть. Притихший мир, опьяняюще прекрасный, расступался на все четыре стороны. Далеко вправо, на запад, сияли под утренним солнцем величавые вершины гор. То ли острые горы белеют, то ли далекая Украина белеет стайкой хат?.. Среди зелено-сизых полей, извиваясь, поблескивает водой на солнце река Серет. В окутанных свежим туманом далях, сколько хватает глаз, среди зеленого разлива виднеются острова сел в садах, над которыми высятся колокольни, нежно-голубые веселые макушки церквей. Там, казалось, никогда не было войны, никто там не слышал, что она бывает на свете. Казалось, там, как и раньше, задорно поют петухи в звонкой предутренней тишине и протяжно, лениво ревет скот, который сейчас гонят на пастбище, и ходит по улицам старик глашатай, ударяя в бубен, сзывая крестьян послушать повые законы. И только эта высота стоит изрытая, обгоревшая, изодранная, словно прошел над нею огненный смерч, покрыв ее изувеченными трупами, клочьями одежды, брошенным оружием, противогазами и разным

хламом, каким засоряет землю война. А над всем этим большим свежим кладбищем высятся бетопированные доты, как гигантские чудовища, целиком вывернутые нашими подрывниками из земли.

— Корчуйте их, корчуйте! — кричит в ту сторону Хаецкий, словно саперы могут услышать его. — Корчуйте их нещадно под железный корень! А мы выкорчем и тех, кто разводит на земле такую погань!

Саперы группами снуют по всей высоте с длинными миноискателями в руках, как рыболовы с удилищами. Обозначают минные поля, прокладывают проходы бойцам в широкий отвоеванный мир.

«Л, Л→» — возникают на высоте свежие деревянные таблички.

— Вот и траншея, по которой мы вели огонь, — сказал Брянский, и всех потянуло взглянуть на результаты своей работы. Глядя под ноги, чтобы не наступить на мину, бойцы подходили к траншее. Всеми овладело приподнятое настроение, так как ничто в этот день уже не угрожало жизни: страшный ад боя отгрохотал, и чистое, словно выкупанное, августовское утро раскинулось до самого горизонта. Враг отступал, а они остались живы и впервые, после горькой духоты и изнуряющего напряжения этих дней, дышали свободно, полной грудью. Ни единого выстрела не слышно было над землей.

Траншея представляла ужасное зрелище. Это было какое-то месиво из глины, окровавленного тряпья и паваленных в различных позах желтых трупов. Один, желтый, босой, только с портянками на ногах, сидел, опершись спиной о стену траншеи и склонив голову, словно в раздумье. На его коленях прикорнул лицом вниз другой, с брезентовым открытым рапцем на плечах, из которого выглядывало грязное солдатское белье. Рядом, заваленный наполовину землей, лежал третий.

Не обращая внимания на трупы, Брянский привычным глазом профессионала сразу определял, куда падали мины:

— Эта разорвалась на бруствере... Эта ударила в стенку... Интересное попадание... А эта легла на самое дно... Порядок!

И, обращаясь к своим офицерам, продолжал:

— В этом бою я сделал очень любопытные наблюдения. Мне кажется, что та система огня из нескольких минометов, какую мы применяли до сих пор для траншей

такого типа, может, при некоторых коррективах, давать намного лучшие результаты... Смотрите, под каким углом эта траншея стояла к нам...

И начал развивать свои идеи, глядя прямо на Черпыша и оценивая, как Черныш его понимает.

— У тебя после каждого боя целая куча идей, — заметил Сагайда, видимо, уже привыкший к этому. — Факт, что мои усачи дали жару. А ты все кричал, что портачим!

Денис Блаженко, не брезгуя трупами, молча опустился в траншею и отыскивал там несколько рваных сизых осколков.

— Это из моего миномета, — заявил Денис, хмуро взглянув на Брянского.

Осколки пошли по рукам.

— Почему непременно из твоего?

— Вот моя маркировка. Она у меня записана.

И Денис впился в командира роты своим упрямым ястребиным взглядом, словно ждал, словно чего-то настойчиво требовал.

— Не волнуйтесь, Блаженко, — улыбнулся ему Брянский усталыми, холодными глазами. — Я все помню. У меня каждый честный боец свое получит.

Шли по самой высоте, перепрыгивали через траншеи, не могли удержаться, чтоб не осмотреть все ближайшие воронки. Встретился один из батальонных связистов и показал тропку, по которой недавно прошла пехота.

Как ни гуляла война по высоте, однако не все сожгла. Кое-где попадался под ноги бессмертник и торчали белые пушистые метелки ковыля, певучей степной травы, которая от малейшего ветерка начинает тонко звенеть, как живая. Из каких степей и какими ветрами занесены и посеяны здесь, на высокой горе, ее семена и каким чудом спаслась она от огня и металла в эти дни? Кое-где возле воронок сидит безводная полынь или кустится пахучий чабрец, и Гай, сгибаясь под тяжелой плитой, не ленится нагнуться, чтобы сорвать засыхающий кустик. Потом, закинув голову к солнцу, он несколько раз глубоко вдыхает запах степного цветка и с удовольствием вертит головой.

— Ловко пахнет, — приговаривает он, щурясь сегодня как-то особенно ласково, улыбаясь неведомо кому. — Это наша трава... По-нашему и пахнет.

Удивительной была эта любовь к степным растениям и запахам у него, полесского юноши, который родился

и вырос в суровых пущах, под шум вековых полесских дубрав. Он напоминал собой тех чудаковатых людей, которые, проведя свой век в безводной степи, всю жизнь мечтают о море.

— Ты начал бы еще, как дивчила, венки плести из этих цветков, — смеялись бойцы.

— А что?.. И сплел бы, если б время было, — отвечал юноша, слегка зардевшись. — Я умею.

Каждый шарил глазами по сторонам, что-то искал, словно здесь были рассыпаны драгоценности. Тот нашел сигареты, другой напаялил на себя пеструю, цвета ящерицы, плащ-палатку, но ему закричали, что она в крови, и он брезгливо отбросил ее прочь. С интересом поднимали всякую блестящую вещичку чужого солдата и, повертев ее в руках, бросали и опять что-то искали, пока внезапно не прозвучал громовой взрыв и ясное утро сразу омрачилось: Гай наступил на мину.

Еще минуту перед этим Черныш видел его. Он стоял над кустиком синих васильков, приветливо улыбаясь им. Потом нагнулся, бережно сорвал и не успел сделать и шагу, как земля под ним грохнула и все исчезло в черном дыму. Там, где стоял Гай, вздыбился черный высокий вихрь, и когда дым рассеялся, там уже никто не стоял.

Гай лежал распластавшись.

Сняли с него закопченную взрывом плиту, придавившую его к земле. Тело, освобожденное от брезентовых окровавленных лямок, словно вздохнуло и опало бессильно. Боец лежал, вытянувшись во весь рост, и только теперь все увидели, какой он был ладный, стройный, широкогрудый — настоящий красавец. И шелковистые белесые брови выделялись на задымленном лице, как две метелочки ковыля, степной певучей травы, запесенной сюда из восточных степей буйными ветрами. Боец и сейчас доверчиво и немного удивленно смотрел в чистое небо, а его глаза были еще синее неба, прозрачные, как камень сапфир. И удивительнее всего было то, что в руке боец еще сжимал синие васильки. Обожженные взрывом, они сейчас напоминали пучок ржавой колючей проволоки. Кто-то попытался взять их, но мертвая рука Гая так крепко сжала цветы, что пальцы нельзя было разнять. Так и оставили его с васильками в руке, с полевыми цветами родного края.

С трудом нашли залитые кровью, посеченные документы. В другом кармане была пригоршня автоматных

патронов. Маковейчик молча выгреб их, как золотые семечки, и пересыпал в свой карман. Он не знал, что становится уже третьим после Бузько и Гая хозяином этих патронов.

Смерть Гая произвела тяжелое впечатление, усиленное еще, возможно, тем, что случилась она не вчера, в крошечном пекле боя, а именно в это утро, когда так ясно было вокруг и бескрайние степи дышали пышностью юга, ароматами новых далеких походов. Бойцы шли, сурово задумавшись, медленно спускаясь по тропке с высоты. Исподлобья посматривали на загадочные края, растилававшиеся перед ними внизу, на далекие города, в которых они еще не были, но непременно должны побывать.

— И там настигнем, — блеснул белками Хаецкий, еще больше помрачнев. — И всё тогда припомним. Всё!

Вскоре догнали батальон. Он тоже не успел еще спуститься с высоты, хотя разведка докладывала, что и в первом городе, и дальше противник не обнаружен. Старшины кормили людей. Впервые за трое суток бойцы ели как полагается, расположившись на зеленом склоне, который еще вчера был румынским тылом. Ели медленно, согретые нежным солнцем, поглядывая на него так, словно давно не виделись.

Евгений Черныш сидел на траве в отдалении, опершись подбородком на руки. Смерть Гая ошеломила его. Припомнилась позапрошлая ночь, когда Гай, рискуя жизнью, полез вместо него, Черныша, отыскивать среди трупов Бузько и Вакуленко... И сегодняшнее утро, когда боец уже лежал навзничь на высоте, иссеченный, задымленный, с обожженными васильками в руке... Было нестерпимо горько.

За дни штурма Черныш заметно похудел, его смутное мальчишеское лицо еще больше вытянулось, густой румянец на щеках потемнел, как дубовый лист, охваченный багрянцем.

Солнце уже поднялось. Внизу, на равнине, в дрожащей горячей прозрачности, раскинулся степной городок, который Черныш еще в обороне не раз видел на топографической карте у Брянского. Там он был только кучкой черных мертвых прямоугольников, а в действительности, здесь, перед глазами, какой он светлый, красивый, полный живых красок! Широкие улицы бегут к солнечной ослепительной реке, над кварталами пестро поблескивают

крыши, сквозь густую зелень проглядывают белые стены домиков, словно развешанные на деревьях экраны. Все такое мирное, праздничное, уютное... Но Черныш знает, что это лишь видимость уюта: городок разгромлен, превращен в развалины. Щедрая южная природа еще не успела своей буйной растительностью прикрыть раны войны. То здесь, то там даже невооруженным глазом видно проломленную черепицу кровель, высокие груды кирпича между деревьями... Строил, создавал человек для счастья, а чем все обернулось?

Задумавшись, Евгений не заметил, как сзади подошел к нему Роман Блаженко и, остановившись, тоже молча стал смотреть вниз на городок.

— Я бы их не убивал, — вдруг промолвил боец, и Черныш, вадрогнув, оглянулся на него сухими, воспаленными глазами.

— Кого?

— Вот тех гитлеров, антонесок, вот тех министров, которым не сидится без войн... Убить — что ж... Этого мало. Я заковал бы их в цепи и водил бы... Нет, пусть бы те маленькие сироты водили, которых они, как маковые зерна, пустили по миру. Пусть бы они их водили по всем дорогам и по всем странам... И не давали бы им ни хлеба, ни воды... Пусть бы душегубы ели пепел наших сожженных хат... Грызли обгорелый кирпич... Я припекал бы их медленно, изо дня в день, тем огнем и железом, которые они посылали против нас. Чтоб нажрались той войвы, чтоб никому уже не захотелось ее никогда!

— Припечем, — сквозь зубы процедил Черныш. — Выжжем... как чуму.

Блаженко, спросив разрешения, сел рядом на траву и снова, глядя вниз и шурясь, отчего его морщинистое лицо стало казаться еще более старым, тоскливо продолжал:

— Но и этого мало, мало! Вот Гай был. Такой славный хлопец... Молодой, работающий, совестливый такой. Разве прожил он свой век? Разве он не хотел еще посмотреть на это ясное солнышко? А они ему... так!

И боец глубоко вдохнул. Некоторое время оба сидели молча.

— Какое счастье дано человеку! — снова заговорил Блаженко, очарованный картиной необъятного светлого простора. — Вот какой мир! На скольких бы хватило!.. А что из этого?.. Не умеет человек его использовать!

Взглянув непароком на младшего лейтенанта, Блаженко остолбенел: Черныш плакал. Плакал, не замечая собственных слез, влившись суровым, затуманенным изглядом в зеленый пустой городок с белыми экранами. Если б его спросили, почему он плачет, он не смог бы сейчас ответить. Бывают минуты, когда становится жаль всего на свете. «Всех хочется приголубить!» — не выходили из головы слова Гая.

Это были его первые и последние слезы на войне. Позже, иногда вспоминая их, Черныш стыдился своей чувствительности, даже не подозревая, что, может, это был как раз самый человечный, самый нежный голос его молодого, еще не огрубевшего в боях сердца.

Поддали команду двигаться. Впереди шли, не рассредоточиваясь, стрелковые роты, затем штаб батальона, за ним рота Брянского. Спускаясь вниз, Брянский и Сагайда о чем-то живо спорили, скользя, как мальчишки, по сочной траве. Зеленые парусиновые сапожки Брянского совсем вылиняли за эти дни.

«Они уже все забыли, все-все, — с укоризной подумал Черныш. — Неужели и... Гая? Так быстро?»

Через несколько дней на марше, когда они ближе сошлись с Брянским, Черныш напомнил ему про этот эпизод, про то, как они шутливо скользили по траве... Старший лейтенант задумался.

— Знаешь, Евгений, — сказал он после паузы, впервые называя Черныша по имени. — Я видел за эту войну то, что, может быть, немногие видели. Я понял то, что, наверное, также поняли немногие. И от того, что увидел и понял, я стал либо черствее, либо, возможно... мудрее.

XII

Тыргу-Фрумосский и Ясский укрепленные районы противника были прорваны. Триста пятьдесят железобетонных оборонительных сооружений, которые, казалось, встали непреодолимым железным валом от Пашкани до Ясс, теперь оставались уже за спиной наших бойцов. В прорыв были введены ударные войска 2-го Украинского фронта, и они, громя врага, уничтожая его резервы, встречавшиеся на пути, вскоре вышли к городу Васлуй и, овладев им, быстро продвигались на юг. Один за другим пали города Рóман, Бакэу, Бырлад, Хуши. Выйдя в районе

Лопушна — Леушени на реку Прут, войска 2-го Украинского фронта встретились с войсками 3-го Украинского, наступавшими все эти дни с плацдарма возле Бендер на запад, вдоль знаменитого Троянова вала, обходя таким образом с юга и юго-запада кишиневскую группировку немецко-фашистских войск. Соединившись, войска обоих Украинских фронтов наглухо замкнули кольцо вокруг кишиневской группировки противника. Началось планомерное, беспощадное сжимание этого грандиозного кольца, в котором оказались, кроме румын, пятнадцать немецких дивизий из группы войск «Южная Украина». Развертывалась одна из самых блестящих битв Великой Отечественной войны. Несколькими ударами наши войска разрубили на части окруженные вражеские дивизии, ликвидируя отдельные группы, продолжавшие жить, как живет некоторое время разрубленная на части гадюка. Кончилось, как известно, тем, что ни один полк, ни одно подразделение из десятков тысяч окруженных не вырвались из кольца.

День и ночь гремело в районах Гавочешт, Минжира, Хуши, Бакэу. Красная Армия громила окруженные вражеские дивизии.

Тем временем другие войска обоих Украинских фронтов вели стремительное наступление на центральные районы Румынии. В состав одного из этих наступающих соединений 2-го Украинского фронта входил и гвардейский стрелковый полк гвардии подполковника Самиева.

Войска, хлынув, как весенние потоки с гор, затопили все дороги, которые вели в глубь Румынии на юг и юго-запад. Уже дошли сведения, что взяты Кишинев, Яссы, что Румыния капитулирует, но пока это были только слухи, ничего определенного бойцы еще не знали. Шли форсированным маршем, днем и ночью, почти не отдыхая. И было странно, что группы румын, сдавшиеся, бредут навстречу без конвоя, и никто их не трогает, разве какой-нибудь веселый боец крикнет:

— А, Романия марэ? Шти русешти?

— Спасайся, кто как может, в кукурузу!..

А румыны брели, не отвечая на шутки, молчаливые и глупо-радостные, некоторые совсем разувшись и изнывая под пузатыми ранцами со своим солдатским скарбом. Видно было, что это идут хлеборобы и пастухи, которых Антонеску насильно оторвал от родных клочков поля, продав Гитлеру на убой, как гурты овец. Им уже

мерещились родные дома, и они спешили туда по обочинам, уступая дорогу нашим колоннам.

Потом стали идти не только без конвоя, но и при полном вооружении. Потянулись обозы, артиллерия, та самая артиллерия, которая, может быть, еще несколько дней назад была по нашим из-за дотов, а теперь покорно двигалась навстречу в походном порядке.

Постепенно бойцы начали обзаводиться лошадьми.

Старшина минометной роты Вася Багиров, энергичный, крепкий здоровяк с монгольскими узкими глазами, бросался направо и налево, решительный, порывистый, горячий. Во время штурма, подвозя к высоте мины, старшина потерял всех своих лошадей; единственная дорога, по которой он скакал целые сутки, все время была под огнем. Брянский, хотя ему и было жаль потерянного транспорта, на этот раз не сильно донимал старшину. В конце концов в других подразделениях полка было то же самое.

— На то бой, — сухо сказал Брянский, радуясь в душе, что сам Вася, его любимец, остался жив. — Были б люди, а все остальное... будет.

Впрочем, Багиров чувствовал себя немного виноватым перед командиром роты. Его совесть еще больше мучило то, что Брянский не распекал его за понесенные потери.

Теперь Вася решил во что бы то ни стало поставить роту на колеса. Он о чем-то заговорщически пошептался с Хаецким, перемигнулся, потом оба бросились куда-то, и вскоре Хома появился в мипроте, гордо сидя в покрытой брезентом каруце, в которую были впряжены добрые сытые кони. До сих пор такая инициативность считалась делом греховным. Брянский для порядка стал распекать бойца, хотя подвода была ему очень нужна. Его бойцы уже второй день обливались потом под тяжелыми выюками с материальной частью минометов.

— Но порядок есть порядок, — нахмурился Брянский. — И вам, товарищ Хаецкий...

— Что вы, товарищ гвардии старший лейтенант! — замолился Хаецкий, глубоко чувствуя себя невиновным. — Помилуй бог, чтобы я грабил да своевольничал!.. Я только свое забрал! Это ж наши лошади, или я уже не способен их узнать?.. Из нашего колхоза! Я бы их и облупленными узнал!.. Два года на них зерно возил на станцию.

— Попробуйте это комбату доказать...

— А то я не докажу? Сам я им клички давал!.. Этой кличка — Веселая, а этой — Маринка!

— Да ведь это жеребец! — засмеялся кто-то из бойцов. Хаеткий не растерялся.

— А кто запретит мне жеребца пазывать Маринкой?.. Тут еще где-то и корона моя у них, тоже отберу у душегубов!

Как раз в это время мимо минометчиков проходил Самиев с толстым румынским полковником, командиром капитулировавшей части. Увидев своего командира полка, Хома вытянулся в струнку на каруце и молодецки взял под козырек. Брянский попросил разрешения взять транспорт. Самиев на ходу махнул рукой:

— Принимай... Писари позже оформят...

— А что я вам говорил? — На радостях Хома даже подскочил. — По-моему вышло! Жаль только, что я ту карету не захватил!

— Какую карету, Хома? — заинтересовались бойцы.

— Там такая фанная была каретина, раззолоченная вся!.. Сам король Михай будто бы в ней ездил...

— Вот бы тебе, Хома, да в королевской карете... Ха-ха-ха...

— Не успел, братцы: из-под носа трофейная команда выхватила... А, най нашей маме!..

Брянский разрешил сложить материальную часть на повозку. Бойцы сейчас же развыучились, и через несколько минут минометы уже лежали в каруце, заботливо, как яйца, переложенные сеном.

— Вью! — крикнул Хаеткий, блеснув белками глаз. — Айда па Букурешти!

Лошади, почуяв, что вожжи попали в крепкие руки, оживились, по-лебединому выгнули шеи.

Утомленные круглосуточным маршем, пехотинцы горели желанием поскорее пересест на коней. Как раз навстречу двигалась кавалерийская румынская дивизия, красуясь копытами, сверкая новой сбруей. Пока где-то там штабные писари ломали себе голову, как оформлять в бумагах передачу капитулирующими войсками средств передвижения нашей армии (такая передача была предусмотрена в акте о капитуляции), серые от дорожной пыли пехотинцы с радостными криками накинулись на остолбеневших кавалеристов. Разве могли они, переутомленные последними боями, безостановочным маршем, потеть такой случай — обзавестись транспортом! Танкистам,

артиллеристам, углублявшимся в Румынию на тяжелых боевых машинах, эти трофеи были ни к чему, а пехотному полку кони сейчас подвернулись как раз кстати, словно сама судьба посылала их. Враг удирал, не оглядываясь, и его надо было догонять. А мимо проезжают, двигаются верхами войска вчерашнего сателлита Германии... Глаза разгорались, руки сами тянулись к поводьям...

...Сагайда появился в роте на коне, будто прирожденный казачина. В руке — нагайка, черная кубанка сбита на уху.

— Чего вы спите? — крикнул он хрипло. — Ни черта не останется!

И снова куда-то исчез.

Мимо Черныша пробежал взволнованный Казаков.

— Привет младшему лейтенанту! — крикнул он на ходу. — Айда за лошадьми!

Этого-то и ждал Черныш:

— Айда так айда!

Вскоре Черныш с Казаковым очутились в самой гуще.

Румыны растянулись на целый километр, а может, и больше, сбились с лошадьми на обочинах дороги. Черныш видел, как какой-то пехотинец, ругаясь, тянул за ногу с лошади чужого сержанта, а тот смешно, беспомощно вопил в пространство:

— Капитуляция! Капитуляция!

Подскочил Казаков, оттолкнул бойца и крикнул сержанту:

— Слезай!

Юноша сержант черными, как угли, глазами умоляюще посмотрел на Черныша:

— Домине офицер!..

Казаков дернул румына за ногу:

— Слезай, мамалыга!

Сержант выпустил повод разукрашенной уздечки и пехотно спрыгнул с коня.

— Садись, младшóй! — крикнул Казаков Чернышу. — А я себе сейчас добуду!

Черныш, немного подумав, легким движением послал погу в блестящее стремя.

Кто знает: может, и в самом деле под капитулянтами были те самые кони, которые еще недавно топтали поля за Днестром? Таких не грех и реквизировать!

Седло папомнило Чернышу светлое детство, горячие степи Казахстана, когда он ездил на маленькой лошадке с отцом в экспедиции...

— Домине офицер...

Отъезжая, Черныш еще раз оглянулся. Черноокий юпаша стоял на том же месте. Спешенный, растерянный, он бесцельно вертелся в руках пагайку, словно не знал, куда ее деть.

Навстречу Чернышу скакал на крепком коне какой-то пехотинец в распахнутой шинели, без пилотки, с редкой серенькой бородкой великом. Он, видимо, никогда раньше не сидел на лошади и сейчас, болтаясь в седле, держался только тем, что по-кошачьи вцепился обеими руками в гриву коня. Тренизеля упали, и конь уже истрепал их погами, — болтались одни обрывки. Весь в пене, храпя, испуганный конь летел во весь дух, чувствуя на себе непривычного седока.

— Останови! — вопил пехотинец на своим голосом.

— Останови, останови!

— Ничего, потренируйся, старик! — громко хохотали бойцы, глядя на эту смешную езду. — Крепче, крепче держись!

И Черныш смеялся, потому что всадник действительно был необычный, казалось, промчится вот так старик, разлевая полы своей шинели, через всю Румынию, через степи и горы, и все будет звать и звать неизвестно к кому:

— Останови! Останови! Останови!

Среди подвод суетился Маковейчик. Он искал для себя транспорт, чтобы взять катушки с кабелем. Парень терялся среди невиданного богатства и не знал, на чем остановиться. Наконец его внимание привлекла желтая грациозная тачанка. В ней не было никого. Маковейчик вскочил в нее и схватил вожжи. Ездовой, обедавший в стороне, подбежал с ложкой в руке.

— О, пожалуйста! — говорил он весело Маковейчику, очевидно, довольный тем, что его освобождают от этого опротивевшего тарантаса. Теперь уже он, наверное, закончит с войной и будет дома. — Пожалуйста, товарищ!

Оглянувшись, Маковейчик чуть не вскрикнул от неожиданности. Перед ним стоял, как ему казалось, тот самый смуглый, с облупленным носом румын, с которым у него была случайная и конфузная встреча на высоте.

Румын, улыбаясь, объяснял жестами, что он хочет лишь забрать из этой таратайки свое хозяйство.

— На, на, забирай! — охотно согласился Маковей, сам выбрасывая из тачанки богатство румына: одеяло, ранец, облезлую смушковую крестьянскую шапку. — Мне, кроме лошадей, ничего не нужно!

— Нуй бун герман, — бормотал румын, радостно подбирая свои пожитки. — Нуй бун разбой¹!

На дне тачанки лежали в сене пахучие яблоки. Румын отказался их взять, оставляя Маковейчику в знак своей признательности. «Он меня не узпал!» — обрадовался Маковейчик и ударил по лошадям.

Было по-детски легко и радостно у него на душе.

Солнце сияло, лошади ржали, румыны, освободившись от них, раскинулись поблизости цыганским табором и уже весело варили что-то на бездымных кострах. Все кругом бурлило жизнью и счастьем. «А может, это и не тот? С чего ему тут быть? А-а, все равно!» Маковейчик быстро забыл про румына. Вокруг стоял веселый гомон вселенской ярмарки. Сильнее небо звенело, сухая дорога курилась, старик пехотинец уже мчался с другой стороны на своем норовистом коне.

— Останови! — хрипло кричал он, как и раньше, вцепившись в гриву, а полы его шинели развевались, как огромные серые крылья.

— Держись! — смеясь, отвечали ему, и никто не останавливался. — Коли сел на коня, так теперь уж — куда поедет!

В течение нескольких часов, пока штабные писари наскоро оформляли передачу на бумаге, все уже пересели на лошадей. У Брянского каждый расчет достал себе подводу. В третьем расчете ездовым сел Блаженко-старший. Он тщательно, по-хозяйски выбирал лошадей и подводу. У лошадей осматривал копыта, заглядывал в зубы. Каруцу обошел вокруг с братом Денисом несколько раз, постукивая кнутовищем по колесам.

— До Букурешта доедет?

— Доедет.

Крепкие колеса звенели. Все же, посоветовавшись между собой, братья притащили откуда-то запасное колесо и тоже положили в повозку.

— Там, говорят, камень пойдет.

¹ Нехороший немец, нехорошая война (рум.).

Все шоссе теперь загремело, закрипело, затопотало, Подразделения на ходу строились в походную колонну. Командир полка Самиев то и дело обгонял ее на мотоцикле, удовлетворенно оглядывая бойцов и приказывая командирам строжайше следить, чтобы никто не отстал.

— Теперь хоть на край света, товарищ гвардии подполковник! — не утерпел Хаецкий, чтоб и тут не высказаться. — Не удрать супостатам, догоним! Но-о! Аллюр три креста!

Гремела дорога, подымалась пыль, окутывая бойцов серой тучей. Только головы всадников выплывали из нее, ритмично покачиваясь — то вверх, то вниз, то вверх, то вниз...

Шоссе не вмещало могучего потока, и много верховых скакало вдоль дороги, прямо по хлебам, с радостными криками, в бурном чаду погони.

«Какое счастье быть в полку!» — думал Черныш, мчась с товарищами-офицерами впереди своей роты, и свистнул нагайкой, забывая обо всем на свете.

ХIII

Мчались не переводя дыхания. Бурей врывались в неразрушенные, чистые города. Белые флаги в знак капитуляции свисали с каждого крыльца, с каждого балкона. Черныш с гордостью смотрел на эти символы покорности, которые как бы утверждали его безграничные права, законность его воли и непобедимую мощь.

Городская публика шпалерами стояла на тротуарах и, ошеломленная, смотрела, как с грохотом проносились по улицам незнакомые войска — шумные, неудержимые, полные энергии. Всадники, серые от пыли, обветренные суховеями юга, с потрескавшимися губами, мчались по звонкому асфальту, не замедляя темпа, не имея времени остановиться даже для того, чтобы глотнуть воды. Потому что на стенах городских домов уже выросло огромное, в рост человека, «Л» с толстой, как рука, стрелой дорожной указки. Кто-то уже промчался здесь до них, кто-то уже начертал это «Л», хотя они как будто шли первыми. Казалось, это «Л» само заранее вырастает для них на стенах по их маршруту. И они цокали и цокали по городским асфальтам, вылетая снова в степь, и гнали, гнали коней, охваченные азартом преследования врага. Он же, избегая

бой и поспешно отступая, еще сильнее притягивал и дразнил, как дразнят охотника свежие следы зверя.

Как-то под вечер впереди возникли мягкие силуэты гор, словно они выступили незаметно из голубизны самого небосклона. За горы садилось солнце, вонзаясь пышными румяными стрелами в белые облака, и эти стрелы как будто тоже указывали бойцам дорогу вперед, как огромные указки. Всю почь, без остановки, ехали к тем горам. Теперь было ясно, что дивизия идет не на Бухарест, как до сих пор предполагали офицеры, а повернула на запад, в Трансильванские Альпы.

Альпы!

Они, казалось, стояли рядом, а бойцам пришлось еще скакать день и ночь, пока наконец не начали входить в горы.

Незнакомые горы встретили их резкой сменой температуры.

Наступил вечер, и сразу похолодало, хотя днем была пестерпимая жара. Сагайда, передав лошадь бойцу, забрался в повозку и скоро уснул. Он любил поспать и при малейшей возможности не отказывал себе в этом.

И сейчас, несмотря на то что колеса прыгали по камням и что-то металлическое все время постукивало его по голове, он спал и даже видел сон. Ему мерещилось, что это командир полка Самиев тычет его кулаком по голове и приказывает выбросить вон кубанку. Из-за этой шапки с казачьим красным доннышком у Сагайды всегда возникали конфликты с полковым начальством. Командир полка, горячий патриот пехоты, органически не переваривал «модников», «кубанщиков», как он говорил, а Сагайда как раз и принадлежал к закоренелым «кубанщикам». Кубанка всегда сидела на нем чертом. Он ее носил и в холод, отмораживая уши, и в жару, обливаясь потом. Командир полка, встречая Сагайду, не шутя грозил ему кулаком. Сагайда давал слово сбросить кубанку и... никак не мог расстаться с ней. «Потеряю я свою кубанку с беспокойной буйной головой», — любил он напевать в землянке.

Шовкуп, покачиваясь, дремлет в седле. Мокрая, пропотевшая за день спина теперь мерзла: плащ-палатку он только что отдал Брянскому, сказав, что сам наденет шинель, хотя на самом деле шинель его была где-то глубоко завалена в повозке, и до привала ее не добыть. А привала все не давали.

Дорога поднималась выше и выше. Вперед, в темноте, шевелилась, грохотала, извивалась, бескрайняя людская река, которая текла не вниз, а в гору.

— Это ты, Шовкуп? — окликнул его какой-то всадник в темноте, поравнявшись с ним. По голосу нельзя было узнать, кто это, потому что всадник хрипел. Тут все охрипло, как только вошли в горы с их студенными родниками да резкими переменаами температуры. Приглядевшись, Шовкуп узнал Романа Блажепко. Роман ехал в островерхой смушковой шапке, словно в шлеме.

— Ты ж ехал в каруце? — удивился Шовкуп.

— А теперь туда Деписа посадил, — пусть немного передохнет... Он весь разбился в седле.

— Без привычки, оно конечно... А ты, Роман, в этой шапке, словно румынешт.

— Хорошая шапка! Чабанская... Это мне Хома дал. И где он их достает?

— А пилотка?

— Пилотку я спрятал в карман, потому что еду и дремлю... Того и гляди, потеряю. Уже многие едут без пилоток: порастеряли сонные.

— Выбились люди без сна... А маршу конца не видно.

— Дорога! Это уже Карпаты, как ты думаешь, Шовкуп?

— Это не Карпаты. Это как будто бы Альпы.

— Альпы? А где ж Карпаты? Нашего отца в ту войну в Карпатах убило... Сосед, который с ним был, рассказывал, что даже братская могила есть где-то в горах.

— Где только наших могил нету, Роман... Наши люди всюду бывали.

— Нам словно на роду написано — всегда всех освободить и всех спасти.

— А кому ж... Тут люди, сами видишь, какие-то квялые...

— А помещик удирает — и на коня не догнать.

— В горах зацепится.

— Опять будет крещение.

— Будет, ой, будет!.. Теперь такое время — сплошное крещение.

— И сами окрестимся, и их окрестим в лучшую веру.

— Вся Европа нынче в Иордань вступает. Входит такая, а выходит другая.

— Да и мы разве такими же выйдем?

— А ведь выйдем!

— Выйдем!

Кто-то, проскакав мимо них, на ходу сорвал с Блаженко шапку и швырнул ее далеко в сторону.

— Кто это?

— Комбат наш...

— Вот тебе, получай, — спокойно сказал Блаженко, будто ждал этого. Полез в карман за пилоткой.

— Он со всех поскидал невоенные шапки, — усмехнулся Шовкун. — Всюду в кюветах лежат.

— Да я ж ее только ночью надевал. Днем, я знаю, нельзя.

— Нет, тебе, Роман, в пилотке лучше... В шапке ты... на чабана похож. А на нас, что ни говори, Европа смотрит.

— То правда. Опа ведь пристально сейчас присматривается к нам, примеряется... Что, мол, там за солдаты, что они за люди...

— Нелегко было, видно, и ей тут, Европе. Растерзали изуверы, наиздевались... Только от нас спасения и ждет.

— Однако ж холодно!

— Я и сам весь замерзаю.

Несмотря на лютый холод, Шовкуна все больше клонило ко сну. Тепло, шедшее снизу от коня, приятно согревало и убаюкивало. Темнота тяжелела, словно сами горы смыкались над головой. Иногда Шовкуну казалось, что лошадь идет не вперед, а пятится. «Что за чертовщина?» — вскидывал Шовкун голову, чтобы разогнать сон. Но через минуту ему снова кажется, что лошадь ступает назад, будто чем-то напуганная.

Пересхали вброд быструю горную речку и снова втянулись в шоссе, как в туннель.

В полночь поднялся ветер. На скалах загудели сосны. Загудели мрачно, глухо, как бандуры.

— Уже, наверно, противник недалеко, — сказал Блаженко.

Шовкун сошел в седле и не слышал его.

Среди темной ночи впереди вдруг поднялось багровое зарево, достигая туч. Чем выше поднимались бойцы, тем зарево перед ними становилось все шире, разрасталось, пока, наконец, не стало видно, что горит высокий мост над какой-то горной речкой. Пламя билось на ветру, как огромная красная птица. Мрачные отблески ложились на горы, на сосны, на скалы. Вскоре зарево осветило и лица

бойцов, которые ехали ему навстречу, сурово его разглядывая.

Скомаандовали привал.

Сагайда проснулся оттого, что подвода остановилась и металлическая ножка лафета перестала толочь его по голове. Если б еще колотила, спал бы. Высунувшись из-под шинели, Сагайда в первый момент не мог понять, где он. Почему эти скалы в багровых отблесках, почему гудят сосны, почему гудит и трещит какой-то огненный мост?

— Коня отрезали! — хрипло закричал кто-то поблизости. — С поводом отрезали! Остался ни с чем, как ты, боже, видишь!

Послышались шутки, смех, стук котелков. Теперь Сагайда понял, что это не сон, а все наяву. Соскочил с каруцы, разминая мышцы, дрожа всем телом от резкого холода. В стороне, при свете факела, два бойца ковали коня. Они спешили, то и дело поглядывая в сторону кухни и тревожась, что за работой не успеют поесть. Так бывало на каждом привале: вместо того чтоб есть, голодные бойцы прежде всего бросались ковать коней. Подковы терялись каждый день, «босой» конь не мог пройти тут по камню и десятка километров. Охромевшего, измученного, его приходилось сгонять с дороги в сторону и бросать, отыскивая себе другого. А найти коня в этих редко населенных горах было нелегко.

Вдоль дороги полыхали костры. Бойцы, согреваясь, приплясывали вокруг них. Некоторые отвернули пилотки на уши. Возле одного костра Сагайда увидел Брянского и Черныша; согнувшись, они ели из одного котелка и о чем-то разговаривали. На марше они сдружились. Сагайда направился к ним, на ходу доставая из-за голенища свою алюминиевую складную ложку.

— ...И самая высшая, по-моему, красота — это красота верности, — услышал, подходя, Сагайда спокойно воркующий, бархатный голос Брянского. — И пусть бы пришлось мне быть на фронте еще двадцать, тридцать лет... Быть еще семь раз раненым... Посесть, состариться, а я все оставался б ей верен.

— Опять красота верности, — вмешался Сагайда, подсаживаясь к котелку. — Ты веришь в сказку, Юрко! Уперся вот так в одно и веришь, а если разобраться, так ты уже забыл, какая она на самом деле... Подумать: третий год ни письма, ни фотографии!..

— Да, третий год, — спокойно промолвил Брянский как бы самому себе и задумался. Черныш понимал его настроение. Это было то удивительное настроение, когда человеку после долгой строгой сдержанности так вдруг захочется поделиться с кем-нибудь своим самым сердечным, самым интимным. Пофырквали поблизости лошади, жуя овес; трескучий сосновый костер обдавал ласковым теплом; горы гудели и гудели, как огромные пустые коробки.

— Она тоже училась со мной на физмате, — задумчиво продолжал Брянский, медленно лоя руками тепло костра. — Представь себе, Женя, — обратился он к Чернышу, — три года мы с ней сидели рядом на одной скамье. Мы уже так знали друг друга, что даже мысли угадывали безошибочно. Собственно, у нас были не две, а одна мысль, разделенная на двоих. Я мог бы каждый ее взгляд переложить на речь и записать с точностью до единого слова. У нас не было моего и твоего. У нас было только наше. И мы знали, что так будет всю жизнь... Через месяц после начала войны меня уже ранило. Я лечился в госпитале под Смоленском, и Шура туда мне написала. Но вскоре фашисты захватили Минск. Нас повезли глубже на восток. А она? Она... Ничего не знаю. Помню только ее последние слова: «Если тебя не будет, Юрась, я ни с кем не смогу... До самой смерти буду одна!»

— И ты веришь? — перебивает Сагайда.

— Верю. Верю, ибо знаю, что иначе не может быть. Это не самоуверенность. Конечно, она может встретить более красивого, чем я, более умного, ну мало ли что еще... Но я глубоко убежден, что... сердца... именно такого сердца не встретит. Потому что нет на свете двух абсолютно одинаковых сердец. А Шура любила именно такое, как мое... Тысячами разных граней светится каждое человеческое сердце. И вот только у нас, между нами двумя, эти тысячи граней, все до последней, светились... одинаково, вернее, гармонично, созвучно. Я тоже после нее видел многих девушек, даже более красивых, чем она, даже настоящих красавиц, но ни одна из них не была похожа на нее, не могла сравниться с нею. Не потому, конечно, что она самая лучшая в мире, нет, я не идеалист. Но именно такую, не другую, не худшую и не лучшую, я только и могу любить. Для меня она самая лучшая на земле. Поэтому я так верю и себе и ей... И я рад, что родился таким... однолюбом — есть ли такое слово? Если

нет, то пусть будет, — ибо именно это однолюбство делает меня богатым и сильным. Я чувствую себя всегда богатым и сильным. Вот почему я и говорю, что наивысшая красота — это красота верности. Люди, которые набрасываются на все, разменивают свои чувства направо и налево, по-моему, в конце концов должны чувствовать себя нищими.

— Все это ты вымечтал в окопах, друже, — не унимался Сагайда. — Пусть когда-то она была такой, но откуда ты знаешь, какой она стала теперь? Три года, три таких года! Все летело вверх тормашками, все на глазах менялось, и только твоя любовь не изменилась? Ха-ха!.. Грани, гармония сердец... Видел я, чем кончались эти гармонии!

— Ты имеешь в виду себя?

— Хотя бы и себя... А другие? А сам ты разве сейчас тот, что был? Ты продолжаешь ее любить просто... из своего рыцарского упрямства. Дама сердца! Вечная! Неизменная! Эх, друже, друже... Ты и сам не замечаешь, что любишь уже не столько ее, Шуру Ясногорскую, сколько свое студенческое прошлое, свою молодость. Пусть прекрасную, но все-таки сказку!

— Пусть даже так. Пусть даже сказка. Но эта сказка будет светить мне всю жизнь.

— Выходит, ты идеалист? — спрашивает Черныш, улыбаясь.

— В этом? Возможно.

— А если и она тебя еще любит, — продолжал нападать Сагайда, — то тоже лишь воображаемого, тоже сказку. Фантазирует дивчина, обтачивал для нас мины где-нибудь на Урале или за Уралом... Каким тебя придумает, таким ты ей и приспишься. А на самом деле? Ведь ты тоже стал теперь не таким, каким она знала тебя до войны и какого любила. Конечно, ты, как другие, романов в госпиталях не крутил, знамя своей любви держал высоко, но... что ни говори, Юрий, а ты тоже огрубел на фронте, осолдафонился... может, лишь немногим меньше, чем мы.

— Возможно, в какой-то мере ты прав, Володька, — согласился Брянский, задумавшись. — Может быть, в сердце нет уже той чуткости, той нежности, как прежде... Сколько новых привычек, сколько грубых, жестоких страстей пустили в нем корни... Много изшло кровью, сгорело в сердце за эти годы. А может, и не сгорело? Может,

обожженное огнем, оно только закалилось и стало от этого еще крепче?

— Я уверен, — говорит Черныш, — что, если бы наши матери увидели, какими становятся их сыновья на войне, они бы не узнали нас... Они даже не представляют, что здесь делается с человеком, какую сложную, какую страшную эволюцию успевает он пройти... Полностью этого не постичь никому, кто сам не был здесь, а знает войну только по фильмам и рассказам, пусть даже правдивым... Чтоб это постичь, надо все это самому пережить.

Евгений лежал перед костром, опершись на руки, и смотрел в огонь. Отблески пламени переливались в его черных, широко открытых глазах.

— Сгорело... опалилось, — бормотал Сагайда, выскребывая котелок. — Опаленное сердце, а? Здорово!

— Но ради какой цели? — мечтательно произнес Черныш. — Ради такой, лучше которой у человека не может быть ничего.

Брянский, видимо, его не слышал. Он сидел, обняв белыми руками свои выптешные парусиновые сапожки, и равномерно покачивался. В этой согнутой позе он был совсем маленьким, было что-то хрупкое, девичье в его остро поднятых плечах с твердыми аккуратными погонями. В глубокой задумчивости смотрел он на костер, наблюдая, как пламя пожирает зеленые ветки и на них, закипая, выступает смола.

— Все, все мы отдаем тебе, родина, — произнес он вдруг каким-то странным голосом, ни к кому не обращаясь. — Все! Даже наши сердца. И кто не изведал этого счастья, этой... красоты верности, тот не жил по-настоящему.

И снова, покачиваясь, смотрел на пламя, хотя как будто ничего не видел и не слышал. Все молчали.

У соседнего костра Хома Хаецкий, облизывая ложку, серьезным тоном рассказывал товарищам:

— ...А я ей отвечаю: милая моя Явдошка! Твоего письма, в котором ты просишь денег, я не получал...

Подали команду двигаться.

Снова сели на лошадей. Речку переезжали вброд. Некоторые лошади пугались воды, брыкались, рвали постромки. Приходилось бойцам, скинув брюки, забредать по грудь в ледяную воду. Перекинув вожжи вперед, бойцы тянули за собой поровистых лошадей силой, как бурлаки баржу.

— Так и помогают всю дорогу, — рассуждал какой-то боец, — то лошади людям, то люди лошадям, а все вместе — вперед.

Теснота, шум, ругань, грохотанье подвод — и снова черная дорога в горы, пзблески искр, высеченных подковами, цокот подков. Сзади разбушевавшееся на ветру пламя пожирало высокий мост, а вдоль дороги тлели покинутые костры.

Холодная горная почь на чужбине незольно располагала к откровенности. Сегодня даже Брянский, всегда сдержанный, несколько замкнутый, охотно делился мыслями с товарищами, ехавшими вместе с ним. До сих пор Черныш не думал, что этот человек, который, казалось, был целиком занят лишь своими формулами, делами роты, боями, живет еще чем-то другим. Брянского он считал очень способным офицером, но сухим и до некоторой степени педантом. И, может быть, только эта бурная походная почь способна была вызвать Брянского на откровенность. Ему, видимо, сейчас хотелось говорить и говорить о ней, о далекой любимой девушке, говорить хоть в пространство, говорить ветру, словно она могла где-то услышать его речь. Его неожиданно горячие слова о ней были проникнуты нежностью, овеяны песенной красотой.

— Где б она ни была, я найду ее! — уверял он. — Кончится война, и я вернусь к ней, я отыщу ее!..

— А почему ты уверен, что она жива? — спросил вдруг Сагайда. — Я, конечно, желаю ей сто лет жить, но где гарантия, что ее еще в сорок первом году не скосили где-нибудь «мессершмитты» с колошнами эвакуированных? Или болезнь... Или...

— Нет, нет, она жива, она есть! Она у меня живучая, она крепка, как алмаз! Где-нибудь на Волге, или в Сибири, или на Урале!.. Может быть, и в самом деле стоит в цехе, как раз обтачивает мины для нас.

— Может быть, это она в азиатских степях на голом месте строила военный завод, — подхватил Черныш. — В востер, в буран, в жгучий мороз. И не забывала о тебе, Юрий!

— Может быть, и сейчас, читая сводки Информбюро, мысленно ищет меня в этих самых Альпах...

— Вот рыцари, вот фантазеры! — смеется в темноте Сагайда. — Фантазируйте, так теплее!

Черныш оглядывался на ходу и видел горное шоссе, забитое войсками, багровую реку, через которую как раз артиллеристы переправляли пушки, и темную даль за рекою, где исчезала тысячеголосая движущаяся масса войск. Чернышу казалось, что эта живая лавина тянется до самой границы и дальше, по дорогам родной земли, до самой комнаты его матери. Может, и сейчас она сидит перед репродуктором, ожидая отца с работы, и слушает вести из эфира, накинув теплую шаль на худенькие плечи. И хочет услышать о своем Жене. Она знает только Женю... А ее ласковый Женья чем дальше, тем все больше грубеет, становится иным, его заменяет уже гвардии младший лейтенант Евгений Черныш, новый, жесткий, незнакомый матери.

Мост, перегорев, с грохотом повалился в воду.

— Мы сжигаем за собой все мосты, — говорит Черныш.

— То не мы, то фриц, — возражает Сагайда. — Фриц думает, что без мостов не догоним. А наш Иван и сквозь ад пройдет.

Брянский внимательно смотрит вперед, на тесную щель дороги, в которую вползают войска.

— Здесь, в этих Альпах, можно только наступать, — говорит он. — Отступать отсюда невозможно. Это было бы полной гибелью для всех нас. Но поскольку отступать мы не думаем, — хрипло смеется он, — то и рвемся все дальше в эти каменные катакомбы.

Далеко в голове колонны затарахтели подводы. Грохотание все приближалось. И вот перед Брянским, Сагайдой и Чернышом загремели колеса, и кони под всадниками сами перешли на рысь.

XIV

Фронт все глубже уходил в горы. Началась полоса многочисленных горных хребтов. Уже не один такой хребет перевалили войска. Сбитый с высот противник откатывался все дальше.

Полки остановились на дневку.

Черныш и Брянский лежали в садике на выгоревшей траве. Брянский доставал из своей планшетки какие-то схемы и записи с формулами и объяснял их Чернышу, явно довольный тем, что Черныш его понимает. Над ними

раскинула ветви черная обгоревшая яблоня, на которой странными казались плоды, висевшие как на новогодней елке. Они совершенно испеклись в пламени недавно отбушевавшего пожара.

Неподалеку еще тлела куча пепла, и только уцелевшая труба белела среди него, свидетельствуя, что вчера здесь было человеческое жилье.

Последние дни покоя не даст авиация противника. Бомбит горные дороги, бомбит селения, где войска останавливаются на отдых. Тогда дороги и сады ошметниваются стволами зениток.

Это уже настоящая Трансильвания. Типичная картина: село окружено со всех сторон грядями бесплодных гор, и только в этой котловине роскошно разрослись густые сады, огороды, виноградники. Накануне село бомбили, и пепелища еще и до сих пор дымятся.

— Посылай эти свои соображения прямо в паркомат, — советует Черныш Брянскому. — Там, я уверен, их обязательно примут во внимание при разработке новых наставлений.

— Мне кажется, — говорит Брянский, — что эти наблюдения я обосновал довольно убедительно. С математической точностью. Ведь наши минометы — относительно новый тип вооружения, и естественно, что их огневые возможности еще не полностью изучены. У миномета большое будущее. Возьми хотя бы «катюши» — лучшие современные минометы... Да, так ты согласен? Построенный таким образом, как я предлагаю, огонь трех минометных рот полка обязательно накрывает траншею противника и не дает ему возможности поднять голову. Тут ни одна мина не ляжет зря. Наши стрелки могут смело бросаться на первый пояс обороны...

К ним подходит Сагайда. Сегодня здесь, на отдыхе, батальон получил наконец почту за несколько дней — свежие газеты, журналы, полмешка писем. Сагайда не получил ничего. Он, видимо, тоскует и не находит себе места. Срывает от нечего делать запеченное пожаром яблоко и нехотя жует его.

— У нас на окраине на песках жила баба Шурайха, — начинает он, ложась под деревом. — Раза в три старше этой яблони. Когда я, бывало, иду с хлопцами в парк, на танцы, она стоит на пороге и кричит: «А, Сагайдни сорвиголова!... Это ты мою собаку убил!» Однако славная была бабуся. Интересно знать, жива ли она еще..

Появляется откуда-то Депис Блаженко и, лихо щелкнув каблуками, спрашивает у гвардии старшего лейтенанта разрешения обратиться к нему. Брянский разрешает. Блаженко коротко докладывает суть дела. Как известно, брат его Роман, несмотря на то что был ранен в руку, оставался в строю и выполнял боевые задания. За такой поступок брат его Роман заслуживает награды; он, Депис, справлялся об этом у замполита гвардии майора Воронцова.

— Вы немного опоздали, Блаженко. Я уже подал и на Романа, и на вас, и на многих других. Будете и впредь честными воинами — не сомневайтесь, засияют у вас на груди и «Отвага» и «Слава». Я не скуплюсь для хорошего солдата. Можете идти.

— Ой, жила, — сказал Сагайда, когда ефрейтор, откозыряв по всем правилам, отошел.

— Жила-то жила, — согласился Брянский, — но командир из него вырабатывается прекрасный. Волевой, дисциплинированный и стреляет лучше других.

Брянский не успел закопчить. Небо где-то близко за горой вдруг загудело, и кто-то страшно закричал:

— Воздух! Воздух!!!

Они вскочили на ноги и бросились к ближайшей щели. Брянский на ходу записывал бумаги в планшетку.

В садах захлопали зенитки; пехота до сих пор и не знала, что они здесь есть. Бойцы замесались, и их стало сразу очень много. Некоторые искали укрытий в земле, другие кинулись за село в горы, отвесными каменными стенами обступившие его. В неистовстве карабкались куда-то среди высоких камней и, срываясь, снова скатывались вниз.

Небо с воющим свистом опускалось на землю все быстрее и стремительнее. Черныш прыгнул в щель на чьи-то упругие тела.

Земля раскололась и ударила вверх упругим пламенем. Стало горько и темно.

— Пронеси, пронеси! — жарко шептал кто-то под Чернышом.

Земля дрожала. Взрывы возникали все ближе. Промчались через сад перепуганные лошади в запряжке и без сдогового. Небо, воя, падало прямо над щелью. «Неужели сюда? Неужели сюда? — лихорадочно работала мысль Черныша. — Не может быть! Не может быть!»

— О, пронеси, о, пронеси, — шептал кто-то внизу.

Земля содрогнулась, что-то тяжелое навалилось на Черныша, и стало душно. Следующий взрыв уже — он слышал — раздался дальше, следующий — еще дальше.

— Отгудело, — первым отозвался Сагайда, стряхивая с себя землю. Он помог и Чернышу вытащить ноги, заваленные землей. Едкий туман газов еще стоял вокруг. Со два щели подвинулся Хвеецкий, выбирая сено из усов.

— Хвеецкий! — удивился Черныш. — Это вы были подо мной?

— Как видите, товарищ гвардии младший лейтенант. В аккурат я.

— Так это вы и шептали: «Пронеси»?

— Я или не я, а хорошо, что пронесло. Вот такие привики летели на нас. Га!..

Через садик бежал Шовкуп, тревожно озираясь вокруг. Заметив своих, он крикнул:

— Старшего лейтенанта не видели?

— Нет, — ответил Сагайда. — Мы и самих себя не видели.

— Ох, горенько! Горе мое! — ударил Шовкуп о полы руками и бросился бежать дальше.

— Вот они, тут, — пожалел земляка Хома.

Шовкуп, остановившись, облегченно вздохнул и подошел к щели, смущаясь перед всеми за свою тревогу.

— Все там живы? — обратился к нему Брянский, вылезая из окопа.

— Наши все. А в четвертой роте... Беда!.. Их было двое или трое под черешней... Так ни один не встал.

— Горит! — вдруг выкрикнул Хома. — «Мистер» горит!

Все посмотрели, куда он указывал. Действительно, на одной из самых высоких гор, распластавшись на деревьях, как черпый ворон, догорал подбитый нашими зепитками вражеский самолет. Султан черного дыма вставал над ним.

— Красиво горит, — сказал Брянский.

Вылезли на траву, и все закурили. Даже Черныш закурил, как бы балуясь, и почувствовал, что голова у него пошла кругом.

Какой-то боец с кнутом в руке пробежал мимо, тревожно расспрашивая всех, не видели ли его лошадей.

— Запряжены? — спросил Хома Хвеецкий.

— Запряжены.

— Гнедые?

— Гнедые.

— Не видели.

Всеми овладело бодрое, возбужденное настроение, как после трудного боя, когда все вдруг встречаются живыми. Горький дым медленно выветривался из котловны, и горы словно расступались. За ними, серыми и мрачными, ясна голубизна неба казалась еще нежнее.

— А какие тут подсолнухи растут, па-атку мий! — запел Хаецкий. — Будет с нашу хату!

— А созревает все позднее, хоть и юг, — заметил Шовкун. — Смотрите, август, а овес еще почти зеленый. И слива...

Прибежал Роман Блаженко, запыхавшийся и встревоженный, и сообщил, что убило пять лошадей, вдребезги разбита его каруца.

— А вашего ранило, — обратился он к Чернышу.

— Сильно? — порывисто поднялся Черныш и помрачнел.

— Как вам сказать... Когда началось, он совсем ошалел, сорвался с повода и выскочил на шоссе. Хотел скакать куда-то... Там и лежит, на шоссе.

— Покажите мне.

Они пошли с Блаженко.

— Не горюйте, мы вам копия добудем, — на ходу успокаивал Блаженко своего командира. — Хаецкий говорил, что у него есть где-то на примете.

Шоссе было забито лошадьми и разнесенными вдребезги повозками. Черныш еще издали узнал своего коня. Тот барахтался в кювете, то и дело поднимая голову с белой лысинкой на лбу и пытаясь встать на передние ноги. Но ноги дрожали, и конь снова падал, тяжело дыша. Куда он хотел бежать?.. Ему вырвало грудь. Конь тоже узнал Черныша и потянулся шеей навстречу, не спуская с него умных, палитых печалью глаз.

«Домине офицер!» — Черныш вспомнил взгляд юноши-румына, владельца этого коня. «Немало мы, друг, прошли с тобой с тех пор!..» В горле у коня заклокотало, словно там бились и не могли вырваться наружу членораздельные звуки. «Что ты хочешь сказать, верный товарищ?» Черныш расстегнул кобуру, достал пистолет и прицелился прямо в лоб, в белую лысинку.

Конь не шевельнулся.

Прозвучал выстрел.

На другой день Блаженко с Хаецким и в самом деле откуда-то привели Чернышу лошадку. Она была маленькая, незавидная, но на диво ладная и, видимо, неутомимая.

— Наш, отечественный, — определил Хаецкий, как цыган обходя лошадку вокруг и старательно заглаживая выстриженное тавро. — Шерстистый, карапуз, най его маме!

Горы оказались настоящим испытанием для армейских лошадей. И бойцы, выдавши немало трофейных коней, добытых у врага, — бельгийских, французских, венгерских, — убедились, что все-таки самые выносливые лошади — наши. Трофейные тяжелые битюги и красивые чистокровные рысаки спалили в теле за несколько трудных переходов, тощали на глазах и падали в горах на каждом километре. Наши же низкорослые косматые алтайские лошадки, неприхотливые в корме, легкие и неутомимые, топали и топали дни и ночи, поднимаясь на самые крутые кряжи, всюду верно служа бойцу.

Хома Хаецкий по этому поводу разглагольствовал:

— Куда их лошадям до наших! Они у них задыхаются от ожирения сердца!.. Слабодушные, как и их хозяева! А посмотрите на нашу мелкоту. Такая же крепкая и сильная, как и наши люди. Всюду пройдет!..

Один недостаток был у лошадки, которую привели Чернышу: расковавшись, она стерла копыто и хромала на правую переднюю. Может быть, именно поэтому Хома и Блаженко и удалось добыть ее. Кинулись подбирать подкову, но ни одна не подходила, — все были для этого малыша слишком велики. Вообще подкова стала в горах драгоценностью. Когда она, оторвавшись, звенела по камням, за нею бросались, соскочив с седел, сразу несколько человек, словно она была золотая. Маленькие же подковы для наших лошадей цепились особенно высоко, как пистолетные патроны самых дефицитных калибров. Местные кузнецы не делали таких подков.

Подогнать подкову на лошадь Черныша можно было только в кузнице. У Брянского копь тоже щелкал подковами: они ослабли, и нужно было их подтянуть.

Брянский и Черныш попросили у командира батальона разрешения заскочить в какое-нибудь из окрестных горных селений в кузницу. Комбат вначале возражал, а потом разрешил.

— Только не до темпоты, — предупредил он.

— Есть... Догоним колонну еще засветло, — пообещал Брянский и потряс в воздухе пустой флягой. — Возможно, и бакшиш будет, если удастся...

Комбат улыбнулся, понимая, что речь идет о фляге вина.

Дорога огромной спиралью спускалась по склонам. И сколько видно было, на целые километры двигались и двигались колонны войск, вадывая бурую пыль.

Слева, в долине, покрытой лесом, на значительном расстоянии от шоссе Брянский и Черныш заметили крыши горного селения. Там должна была быть кузница. На тропке, которая сворачивала туда от шоссе, виднелись свежее следы подков.

Когда Брянский и Черныш уже свернули на тропку, их обогнал Казаков. Он во весь дух мчался вниз по шоссе в красной пожарной машине с медными колоколами по бокам. В машине стояло еще несколько полковых разведчиков с автоматами, в пилотках набекрень. За рулем сидел маленький боец в больших дымчатых очках. Очки, предназначенные для предохранения какого-нибудь европейского господчика от преждевременных морщин, теперь защищали бойца от солнца и пыли...

— На запад! — крикнул Казаков Брянскому и Чернышу. — На задание!

Лошади шарахнулись в кювет при виде красной машины, со звоном и грохотом промчавшейся мимо них. А в долине командир полка, остановив свой мотоцикл, выскочил из него и поднял навстречу своим любимым «волкам» пагайку, как регулировщик красный флажок.

— Лупить будет, — весело сказал Брянский. — Академик академиком, а взгреет — будь здоров.

Их лошади топали по каменистой тропинке, все дальше углубляясь от шоссе в лес. Вокруг становилось все тише и тише. Рядом журчал прозрачный ручеек, прыгая по валунным, обросшим мхом камням. Черныш остановил коня и подошел к ручейку папиться.

— Юрпй! — крикнул он, лежа пад ручьем. — Настоящий парзан!.. Попробуй!

Брянский тоже соскочил на землю и направился к ручью. В самом деле, это была не обычная, а миперальная вода. Свежая, студеная, острая на вкус, она забивала дух своей крепкой приятной резкостью, и слезы выступали у офицеров на глазах, когда они пили.

— Запомни это место, Евгений, — сказал Брянский. — После войны приедем сюда отдыхать.

— Доживем?

Брянский не ответил, засмотревшись на пестрые, покрытые лесом горы, поднимавшиеся перед ним на полнеба.

— Когда будешь, Евгений, уже стариком, — помолчав немного, сказал Брянский, — вспомни этот край, этот ручей и как мы пили с тобой здесь...

— Ладно...

— Приятно думать, что когда-нибудь тебя кто-то вспомнит.

Они наполнили фляги минеральной водой, чтобы повезти своему комбату.

— Скажем, что это горное вино.

Снова сели на лошадей.

Горы вокруг как бы висели в воздухе, такие они были прозрачные и легкие в эти последние дни ясного горного лета. Леса как бы светились насквозь. Контуры каждого дерева, каждой скалы были удивительно четкими, как в панораме бинокля, потому что в чистом воздухе здесь никогда не было той пыли, мелкого, сухого тумана, который в низменных местах всегда уменьшал видимость. Кое-где в лесах уже пробивалось первое пламя осеннего багрянца, от которого они становились еще более пестрыми и нарядными.

Малейший шорох, треск веточки, шум птичьего крыла, цокот копыт — все резонировало здесь с необычайной гулкостью — чисто, в полный голос. И звонкий воздух, и звонкие горы, и леса — казалось, все начинало от каждого слова звенеть, как огромная мембрана.

При въезде в село всадников поджидали, толпясь на краю дорожки, босоногие ребятишки. Они, видимо, еще издали заметили всадников.

— Кóвач, Кóвач? — наперебой допытывались дети. — Вав, вав! ¹

Видно было, что дети долго с нетерпеливой радостью ждали гостей и теперь каждый хотел чем-нибудь услужить и помочь офицерам.

Сопровождаемые толпой оборванных малышей, Брянский и Черныш неторопливо поднимались по узенькой кривой улочке в гору, где, по словам детей, жил кузнец.

¹ Кузнец? Есть! (аенг.)

Из каждого двора целыми семьями выглядывали жители. Мужчины снимали измятые шляпы, а женщины, улыбаясь, приглашали выпить молока.

Черные тяжелые буйволы, лениво жуя жвачку, лежали за изгородями, в теплой грязи.

Для детей присад офицеров был праздником. Восклицаниями и красноречивыми жестами они рассказывали, что здесь уже были русские и среди них какой-то веселый загадочный Иван Непытай; Иван тоже ковал лошадь, искал вина, а потом поехал догонять своих.

За поселком, под самой горой, на висячем мосту виднелись вагонетки, а ниже, между большими конусами дробленого камня, тянулась узкоколейка и стояли длинные деревянные бараки. Там были каменоломни.

В конце улочки Черныш и Брянский вдруг остановились и удивленно переглянулись. Что это? До их слуха откуда-то из-под скалы донеслось пение — торжественное, медленное, грозное, будто раздавалось оно из каменной пещеры. Они не понимали слов, но сразу узнали мотив, родной с детства, с пионерских отрядов, мотив, с которым они росли, воспитывались и мужали. «Интернационал!»

Дети тоже остановились и с гордой радостью смотрели на офицеров: «Интернационал!»

Брянский и Черныш ударили лошадей и поехали быстрее. Вскоре улочка кончилась, и их глазам открылась небольшая, окруженная нежилыми строениями, мощеная площадь перед каменоломнями. Возле одного из сараев чернела куча древесного угля, лежали разные машины, железный лом, кирпичи. Это, видимо, и была кузница — мастерская каменоломен. Напротив широко открытых закопченных дверей торжественно выстроились в ряд кузнецы. Их было человек десять, все без шляп, в брезентовых фартуках, с молотами в руках. Они-то и пели пролетарский гимн.

Когда Брянский и Черныш подъехали, один из кузнецов вышел вперед и торжественно поклонился им.

— Здрас-твуй, ту-ва-риш! — сказал он старательно одному, затем другому.

Офицеры смутились, растроганные этой пышной, церемонной встречей, к которой они не привыкли и которой совсем не ждали. Тем временем кузнец объяснял на своем родном языке, что он родом из Буковины, а работает тут, в каменоломнях барона Штрайха. Его

товарищи-рабочие хотели бы достойно встретить советских офицеров, но они бедны, у них, кроме детей, ничего нет, и они решили встретить советских воинов «Интернационалом». Немцы забрали у них молодежь и погнали строить укрепления. Немцы отняли скот у тех, кто не успел его спрятать в горах. Но они не могли забрать у них «Интернационал».

Брянский и Черныш, взволнованные и растроганные, соскочили с седел и, здороваясь, пожимали кузнецам руки. Окружив лошадей, кузнецы ловко хватили их за ноги и осматривали копыта, щелкали языком. Загудел, разгораясь, горн.

Особенную симпатию вызвала хромающая лошадка Черныша. Крепкая, как кочан, смирная, с густым чубом на лбу, она позволяла детям баловаться с ней, лазить под брюхом и аккуратно подбирала ловкими губами лакомства с их ладоней. Ей давали очищенные орехи, персики, виноград, и она все охотно поедала.

— Русская! — кричали дети, играя и радуясь тому, что лошадка такая маленькая и все ест. — Русская! Йов! Йов!

Тем временем кузнецы подгоняли па нее подковы, по позволяя ни Брянскому, ни Чернышу помогать.

Буковинец-переводчик уверял, что они теперь наготовят много маленьких подков специально для русских лошадей. Подкуют так, чтобы они взобрались с бойцами на самые высокие гребни Альп.

Вскоре вся маленькая площадь перед каменоломнями была заполнена жителями поселка — мужчинами, женщинами, стариками, детьми. Тут были венгерские, румынские семьи и несколько семейств украинцев из Буковины и с Карпат. Все они много лет работали на этих каменоломнях. Были также беженцы, преимущественно молодые девушки из Альба-Юлии, Сибиу и других городов. Они спасались в этих горах от войны и городского голода. Некоторые из девушек, не стыдясь стариков, подходили к Чернышу и Брянскому, бесцеремонно осматривали с ног до головы их обмундирование и ласково похлопывали юношей офицеров по щекам. Йов! Все приветливо смеялись, старики и молодые, не осуждая девушек за их вольности, от которых обоих офицеров бросало в жар.

¹ Хорошая! (венг.)

К таким нежностям, да еще на виду у всех, они не привыкли.

Женщины несли им фрукты, козий сыр, брынзу, молоко, но Брянский и Черныш ели только фрукты, а брынзы не хотели.

— Нам отравит¹, — уверяли женщины, первые пробуя еду. — Германам отравит, русским нам отравит.

Они все жаловались на барона Штрайха. Когда Брянский сказал, что уже не будет здесь барона Штрайха, а будут новые, демократические порядки, все бросились жать ему руку, а дети принялись восторженно свистеть в сторону гор, словно в них еще сидел проклятый барон Штрайх.

Молодая цыганка приставала к Чернышу — погадать ему, предупреждая, что не требует никакой платы. Черныш рассмеялся:

— Нам не нужно гадать. Мы и так знаем, что нас ждет впереди.

Когда лошади были уже подкованы, кузнецы привязали еще по нескольку запасных подков к седлам. Они не хотели брать денег, только попросили звездочки с пилоток.

— Добрэ подковали, от сердца, — уверял буковинец на прощанье. — Пусть не сотрутся подковы, пусть не подобиются в горах ваши кони.

— Прозвенят по всей Европе, — сказал Брянский, легко вскакивая в седло.

Когда они отъехали и уже спускались по той же тесной каменной улочке, позади снова зазвучала знакомая величественная мелодия. Этой мелодией рабочие проводжали своих освободителей в далекий благородный путь. В мужской хор теперь вплетались, как шелковые цветные нитки, детские и девичьи голоса.

Вечернее небо, горы, леса отражали эту мелодию, звенели, как грандиозная чуткая мембрапа.

XVI

Гора была такая, что с нее спускались весь день. Тормозить приходилось сразу два колеса, и железные шипы раскалялись на камнях, как в горне. Потом почти всю ночь снова поднимались.

¹ Не отравлено (*искаж. венг.*).

За полночь колонна вдруг остановилась, и ездовые подложили под колеса камни, чтобы повозки не подавались назад и лошади отдохнули. Камни на такой случай каждый ездовой возил с собой в передке, чтобы потом не искать их в темноте, когда понадобятся. Ждали команды кормить лошадей, но команды не было. Вместо нее вскоре по колонне прокатился от бойца к бойцу другой приказ:

— Командиры рот, в голову колонны!

Это предвещало тревогу. Офицеры пробегали вперед, на ходу поправляя пилотки. Вскоре они вернулись к своим подразделениям, эспергично отдавая приказы: съезжать с шоссе, маскироваться... Транспорты с грохотом съезжали с шоссе на обочину и маскировались в соснах. Пока что ехать было некуда. С трапсортами оставили совсем мало ездовых, по одному на несколько подвод. Остальные, став сразу напряженно-суровыми, деловито-строгими, выючили лошадей. Запасались канатами, водой. Кто не имел фляги, получал ее у старшины. Издали с горы донеслось несколько спокойных пулеметных очередей, как будто стреляли в небо.

Тем временем разведка приносила все новые и новые сведения. Там, наверху, на одном из самых высоких перевалов, засел противник. Небольшое горное селение он превратил в сильный опорный пункт. Дорога перед селом была наглухо перекрыта дубовыми завалами, а по склонам, пересекая шоссе, тянулись в несколько ярусов трапсы, дзоты и открытые огневые точки. Подножие высоты опоясывали сплошные проволочные заграждения. О том, чтобы взять перевал в лоб, не могло быть и речи. Это стоило бы слишком больших жертв, но успеха не гарантировало. Командир полка послал конную разведку далеко влево и вправо от дороги, чтобы выяснить характер вражеской обороны и уточнить огневую систему.

Разведчики вернулись на рассвете. Они доложили именно то, что представлял себе командир полка. На флангах не было не только дорог, но и тропинок. На самых выгодных гребнях враг устроил одиночные пулеметные гнезда, а еще дальше, в горах, как будто и живой души не было. Там начинались дремучие леса и отвесные стены диких скал. Противник был уверен, что там никто не пройдет, что леса и скалы надежно охраняют его. А Самиев снова погнал разведчиков на фланги, поставив задачу — искать проходы. Он и Воронцов, оценивая обстановку, приходили к одному выводу: перевал придется

брать именно там, в непроходимых лесных чащах, в нагромождении неприступных скал, откуда враг совсем не ждет их. Там они должны перевалить этот кряж и зайти врагу в тыл.

В полдень разведчики вернулись. Дополнительные данные подтверждали результаты ночной разведки: в глубине флангов начинался такой глухой край, что враг не считал нужным выставлять там отдельные засады.

Самцев вместе с начальником штаба взялся за разработку детального плана операции.

Майор Воронцов собрал коммунистов и комсомольцев. Полк должен был продвигаться вперед отдельными отрядами и мелкими группами и, возможно, действовать некоторое время децентрализованно. Роль коммунистов и комсомольцев в этих отдельных группах становилась сейчас особенно большой и ответственной. Вообще роль каждого бойца в горных условиях значительно возрастала по сравнению с условиями равнины. Здесь общий успех в большей мере зависел от инициативы, изобретательности, боевого настроения каждого отдельного бойца. Воронцов хорошо учитывал, какие новые обязанности возлагаются в связи с этим на партийно-комсомольскую прослойку. Он расставлял людей так, чтобы коммунист был в каждой группе, которой предстояло некоторое время действовать самостоятельно. Именно коммунист должен был в ней задавать тон и все время поддерживать высокий боевой дух солдат.

Это было необычное собрание. Коммунисты и комсомольцы явились к майору уже в полной боевой готовности, обвешанные гранатами и дисками, с автоматами на груди. Не выбирали председателя и секретаря, не писали протокола, не составляли резолюции. Времени для этого не было, группы должны вот-вот выступить.

Одни присели на бурелом, другие слушали стоя. Воронцов говорил, медленно прохаживаясь среди них. Опавшие листья шуршали под его порыжевшими сапогами. Майор говорил негромко, голос его шелестел, как эти листья. Однако все слышали каждое его слово.

— Мы переходим к новой тактике. До сих пор мы бились с врагом в степях и на равнинах, в лесах и болотах. Отныне мы будем биться с ним высоко в горах. Будем сражаться чаще всего не днем, а ночью. Наша цель — захватить перевал, захватить дорогу. Война в горах, как видите, это прежде всего война за дороги. Но мы, пехота,

гвардия, не можем приковывать себя к дорогам. Мы должны уметь хорошо маневрировать в горах, на пересеченной местности. Тогда эти пустынные кряжи, эти непролазные чащи превратятся из наших врагов в наших друзей. Враги считают их непреодолимыми. А мы их преодолеем. Гитлеровцы их боятся, а мы их победим. Потому что наша тактика гибче, смелее, чем прусская.

Черныш слушал майора, не отрывая от него взгляда. Он впервые видел Воронцова после той встречи под дотами, когда Воронцов лежал в блиндаже, больной малярией. Замполит только недавно поправился. Лицо после болезни все еще было какое-то осунувшееся, помятое, поблекшее. Снова на Черныша повеяло от него чем-то неуловимо гражданским, как от отца. Этот хрипловатый голос... Короткий ватник, из-под которого снизу выглядывает гимнастерка... Слегка ссутуленные плечи...

Для многих было загадкой, чем этот ссутулившийся майор, разговаривающий со спокойствием сельского учителя, изредка откашливаясь, — чем мог он так влиять на своих бойцов и офицеров? Почти никогда не слышали, чтобы он кричал и суеился. Он все делал, как и говорил, спокойно, ровно, поблескивая из-под лохматых бровей серыми глазами, то со строгой внимательностью, то ласково. И, однако, его слушались все, его приказы выполнялись не менее точно, чем приказы командира полка. Полк любил его.

— От нас в первую очередь будет зависеть успех этого боя, — говорил Воронцов, оттачивая каждое слово, будто токарь на станке. — Мы, коммунисты и комсомольцы, обязаны знать, где наше место в походе и в ночном бою. Наше место — в первом ряду. Ночью наш голос должен всегда прозвучать впереди бойцов. Боец верит нам, боец поднимется за нами в атаку.

«Есть! — хотелось крикнуть Чернышу. — Будем, будем впереди!..»

Автоматные рожки-магазины, набитые патронами, буднично выглядывали у Воронцова из-за обоих голенищ.

— Нас не испугают эти горы без дорог и тропинок, эти глухие места, где, может, еще не ступала нога человека. Мы пройдем тут, потому что мы — большевики. Чаще, чаще напоминайте бойцам слова фельдмаршала Суворова: «Где олень пройдет, там и наш солдат пройдет. Где олень не пройдет, и там наш солдат пройдет!..»

План операции, маршруты отдельных групп и отрядов были разработаны «академиком» до мельчайших деталей. Только точное выполнение каждым отрядом своего задания могло обеспечить общий успех. Поэтому с отрядами и отдельными группами пошли даже штабные офицеры. Они должны были, как штурманы на самолетах, все время ориентировать бойцов: в этих ущельях, особенно ночью, очень легко было заблудиться. Все гребни ночью были похожи друг на друга.

Первый батальон оставался на месте, чтобы атаковать перевал с фронта. Второй батальон шел налево в горы, третий — направо в горы. За сутки они должны были перерезать хребет, сделать каждый до полусотни километров, а к вечеру следующего дня выйти с двух сторон в тылу врага и незаметно оседлать шоссе. По серии зеленых ракет должна была начаться ночная атака.

Минометная рота Брянского в этом бою тоже действовала рассредоточенно. Взводы были приданы отдельным стрелковым ротам. Взвод Черныша шел со вторым батальоном в тыл. Ставилась задача: выбрав огневую позицию на господствующей над шоссе высоте, расстреливать оттуда вместе со станкистами тыловое шоссе врага и вершину перевала.

Второй батальон выступил после обеда. Несколько часов шли ложиной по дву ущелья, все больше углубляясь в лес. Вели в поводу лошадей, навьюченных минометами, боеприпасами, большими термосами с водой. Впереди минометчиков продвигался взвод батальонных автоматчиков и четвертая стрелковая рота. С ними, кроме комбата, был и гвардии майор Воронцов. С автоматом за плечами, с трубками газет, торчащих из карманов, он, то и дело оглядываясь, внимательно посматривал на бойцов, которые змейкой брели за ним, шелестя листвой. Их было мало. Когда шли на марше, бойцов всегда становилось меньше. А когда завязывался бой, и они занимали боевой порядок, и оружие их начинало говорить — тогда, казалось, их количество увеличивалось в несколько раз.

Лес становился все гуще и гуще. Вековые темные деревья сомкнулись над головами бойцов, и солнце не могло пробиться сквозь листву. Воздух был насыщен сыростью. Камни, покрытые толстым слоем прогнивших листьев, были мягкие, как подушка, и оседали под ногами.

В листьях то здесь, то там шуршали, извиваясь, змеи, копошились ежи.

Часто дорогу загораживал бурелом. Бойцы, как белки, ловко перепрыгивали через столетние поваленные деревья, но лошадям с грузом перебираться было значительно труднее. Некоторые застревали между стволами и, пытаясь вырваться, ломали ноги. Их тут же бросали, разбирая боеприпасы по рукам.

Все время делали на деревьях зарубки для связанных. Очищали никем не тронутой, поросшую мхом кору стволов и вырезали «Л→».

— Л, Л! — выкрикивал темпераментный, оживленный, как всегда, Хаецкий. — Повсюду идешь ты за нами!.. Будешь ты везде — на горах, и в долинах, и в чужих краях!

Словно липия вечных малков, оставалась эта буква за бойцами в тенистых недрах хмурых чужих лесов. Первая буква бессмертного имени вождя. Словно и в самом деле витал над бойцами дух великого Ленина, все время сопровождая их.

Вскоре настал момент, когда пришлось оставить и последних лошадей. Перед бойцами высокой стеной встала крутая скала. Черныш приказал разгрузить лошадей и отправить их с двумя бойцами обратно. Воду из термосов разлили по флягам, а остаток тут же выпили.

Начался долгий и упорный штурм гранитной стены. Черныш разулся, обвязался капатом и полез по камню первый.

Было время, когда он взбирался на Памир, не думая о войне. Он любил спорт, любил солнце, его манили сияющие высокие пики. А родина учила его взбираться на самые высокие пики не только ради спорта... И сейчас он благодарил ее за эту пауку.

— Вы, Черныш, были альпинистом, — сказал Воронцов, который, оказывается, до сих пор помнил разговор в румынском блиндаже. — Видите, как пригодилось.

Закинув голову, майор внимательно следил за осторожными, точными и цепкими рывками Черныша вверх по камню. Время от времени Черныш останавливался отдохнуть, впевнившись в скалу руками и ногами. Босой, без ремня, без пилютки, он казался сейчас каким-то особенно юным и свободным. Воронцову припомнилась впаденная где-то картина из времен гражданской войны: белые привели комсомольцев на расстрел. Один из осужден-

ных открытым лицом, гордой юношеской фигурой напоминал этого младшего лейтенанта...

Черныш взбирался все выше и выше. Задрав черную чубатую голову, он какое-то время изучал ближайший выступ, новую зазубрину, за которую можно было бы ухватиться и подтянуться на руках. Потом цеплялся за нее сильной мертвой хваткой.

Он поднялся уже метров на двадцать, а стена и дальше высилась над ним, отвесная, как небоскреб. Снизу бойцы, затаив дыхание, все напряженнее следили за каждым его движением. Внизу высокой грудой уже были сложены хворост, плащ-палатки, ватники на тот случай, если Черныш сорвется.

«Ой, мало это поможет!» — думал Хаецкий, поглядывая на зеленую постель, приготовленную для его командира.

— Осторожней! — резко скомандовал Воронцов, заметив какое-то опасное движение младшего лейтенанта. Лицо майора от напряжения стало теперь твердым, суровым. — Держись! Передохни!

Черныш отдыхал, осматривая в то же время скалу над собой и старательно изучая ее вершок за вершком. Вниз он не посмотрел ни разу. Отсюда он был похож на сильную зеленую птицу с черным высоким хохолком, что впиалась когтями в гранит и повисла, распластавшись на нем.

«Такое цепкое!» — думал Хаецкий, со страхом поглядывая вверх, на головокружительный небоскреб, и тревожась при мысли, что ему тоже не миновать карабкаться туда.

Солнце уже заходило, под скалой залегали темные тени, а Черныш все еще не достиг гребня. Тонкий крепкий канат, который спускался от него, кончился, и его пришлось дотачать другим.

— Хватай скорее, притачивай хвост, — нетерпеливо кричал Хаецкий. — А то взберется и улетит, а мы тут на дне останемся!

— Тебя пошлем, Хома!

— И думаешь, не взобрался бы, най его маме?

— Языком?.. Хорошо, что у тебя он такой длинный — и каната не нужно!

— Всё! Есть! — вдруг радостно крикнул Черныш с высоты. — Порядок! — доложил он во весь голос, так звонко, что даже боковые патрули слышали его и обрадовались.

Они уже видели, как младший лейтенант ступил на какой-то широкий карниз и быстро пошел босыми ногами все выше и выше наискось по скале, пока не встал на самый гребень. Рубаха его лопотала на ветру, чуб развевался, и яркое червонное солнце неожиданно озарило всю его фигуру. Там еще было солнце! Внизу, под скалою, оно давно зашло.

— Что видите там, гвардии младший лейтенант? — кричал Хаецкий, пацелившись в небо своими черными усами.

— Сюда гляну — вижу Москву, туда гляну — Берлин!

— А моей Вулыги оттуда, часом, не видать?

— Что-то виднеется такое — далеко-далеко...

— То ж она и есть!

— Ну, кто следующий? — спросил Воронцов, переводя взгляд с одного бойца на другого. Каждому казалось, что эти серые пытливые глаза призывают именно его.

— Я, товарищ гвардии майор!

— Я! Я!

— Альпинисты есть еще среди вас?

— Есть, — глухо ответил Денис Блаженко, подступая к канату. Земляки Дениса тарашили глаза на своего ефрейтора. Альпинист! Денис Блаженко — альпинист! Да знает ли он хотя бы, что это такое? Ведь он выше своей клуви никогда не лазил, это они-то знают наверняка!

— На какие же вы горы восходили? — с интересом допытывался Воронцов у ефрейтора, который при помощи товарищей уже туго обвязывался канатом. — На Казбек? На Эльбрус?

— Я бы сказал, товарищ гвардии майор, куда он взбирался, — не удержался Хома, — да боюсь: наложит потом взыскание! Страсть, какой строгий у нас ефрейтор!

И все-таки, не удержавшись, Хома что-то тихо сказал ближайшим бойцам, и те дружно приснули.

— Давайте! — крикнул Блаженко вверх и полез по камню, словно кованый конь по льду. Черныш, стоя за гребнем, осторожно тянул канат, упираясь коленями в каменную глыбу. Изредка он бросал вниз короткие советы — левее или правее держаться, куда лучше ступить.

Вскоре Блаженко стоял уже на высоте, рядом с лейтенантом. Ветер парусами надувал рубахи на обоих, а внизу было совсем безветренно, тихо.

Когда поднялись все бойцы и втянули наверх оружие, тогда наконец подошел и Хома, который по мере приближения его очереди невольно затихал, становился неприятнее.

— Скорее! — кричали ему сейчас, как всегда кричат последнему. А он заботливо обвязывал себя как можно крепче, чтобы не выскользнуть из петли, не сорваться. Зато бойцы, сговорившись, тащили его быстрее, чем других, тащили шутливо все вместе, как ведро с водой. Хома едва успевал перебирать по скале руками и ногами и вовремя отклонять свои усы в сторону от камней.

— Легче! — молил он. — Ой, легче, пропал человек!

А когда встал на гребень, то оглянулся вокруг на сияющий прозрачный вечер и всплеснул руками:

— Ой-ой! Какой свит широкий! Горы и горы без края! Такое все большое, что будто и сам подрастает!.. Явдошка моя, Явдошка, поднимись, встань на цыпочки, посмотри-ка сюда... Эге-ге!.. Увидала б Явдошка, как ее Хома забирается на небо, не узнала б Хома! Сказала б: «Это не тот Хома!»

Хаецкий стал развязываться и, наматывая канат на руку, заговорил нараспев, по-подольски:

— Ой, канат, канат, родной наш брат! Нигде мы тебя не бросим, всюду понесем с собой! Пеньковый, колючий, ты нам дороже, чем если был бы кован из чистого золота! Братский канат, крепко ты объединяешь нас! Пока держимся за тебя дружно, ничто нам не страшно! Если один с тобой в гору поднимется, то и всех вытянет! Если один падать будет, то все его поддержат и не дадут разбиться. Файно придумано! Крепко будем держаться этого каната, братья славяне...

«Братья славяне» — с некоторых пор стало общепринятым обращением бойцов между собой, когда они были в хорошем настроении. Сейчас «братья славяне» привычно выучили на себя минометы.

— Кажется, и вы теперь становитесь альпинистом, — сказал Хаецкому Воронцов, с улыбкой слушавший, как Хома громко изливал свою душу.

— Становлюсь, товарищ замполит, становлюсь!.. Разрешите прикурить. Спасибо!.. Однако просто чудеса здесь с человеком творятся. Внизу под скалою был один Хома. А поднялся на скалу — это уже совсем другой Хома! И видит дальше, и слышит лучше... И в голове будто

прояснилось! Кем-кем, а вот альпинистом никогда не думал стать. Такие скалы одолеть, га?

— А мы издавна альпинисты, товарищ Хаеткий, — сказал Воронцов, шагая рядом с бойцом. — Мы — альпинисты еще со времен Суворова. Слыхали про Суворова?

И, перепрыгивая вместе с бойцами с камня на камень, майор начал рассказывать про Чертов мост.

Черныш изредка взглядывал на Воронцова и удивлялся тому, как быстро мог меняться замполит. Еще утром, на партийно-комсомольском собрании, он выглядел поблекшим и хилым, ослабевшим после перепесенной болезни. Теперь же он ступал упруго, бодро, иногда балансируя на острых камнях, как молодой. Лицо его в синих сумерках казалось окрепшим, и не видно было на нем следов усталости. Майор на ходу рассказывал и рассказывал бойцам разные истории, и бойцы старались не отставать, быть ближе к нему, чтобы все слышать. Во время коротких привалов, когда бойцы опускались на холодные камни, Воронцов не садился, а все время прохаживался среди них. Он казался им неутомимым, ведь никто из них не знал, что если майор сядет, то ему будет очень трудно подняться на вечно воющие ноги, раздробленные осколками еще в сорок первом.

Светлая почь стояла над горами. Ясная, прозрачная, она светилаась насквозь, как синий драгоценный камень чистой воды. Высокие звезды дрожали над головами бойцов, иногда падая, словно кто-то оттуда, с неба, пускал сигнальные ракеты. Позванивали в такт фляги и тугие диски на ремнях. Цокали солдатские подковы по вековым камням, на которые доселе еще никто не ступал.

«Где олень не пройдет...»

ХVIII

Гвардии сержант Казаков шел с несколькими бойцами-разведчиками впереди третьего батальона, который вел сам «хозяин», командир полка Самиев. Батальон двигался в обход перевала, далеко вправо от шоссе.

Тоненькие елочки разбрелись по склонам гор. По дну ущелья, между тысячетонными каменными глыбами, сквозь колючий кустарник продирались бойцы. Почти все были оборваны, окровавлены, исцарапаны колючими ветвями. Даже у подполковника Самиева смуглая, тщательно

выбритая щека была покрыта темпой коркой застывшей крови. Он шел с комбатом впереди, энергично ступая стройными ногами, то и дело останавливаясь и разворачивая карту, когда замечал где-нибудь на горе деревянную избушку, похожую на ласточкино гнездо. Покусывая сухую губу, подполковник смотрел на карту, потом плелся, чертыхался и порывистым, энергичным жестом закрывал свой огромный планшет: ласточкина гнезда не было на карте. Его уже после составления карты свил себе какой-нибудь местный лесник-романтик.

— Марш! — с характерным таджикским акцентом командовал Самиев и шагал дальше. Разве он должен был останавливаться из-за того, что перед ним была устаревшая карта Центральной Европы?

Казаков оставлял по дороге «маяки», а сам взбирался все выше и выше, с компасом в руке, по заданному азимуту. Он хорошо ориентировался на местности и потому шел среди этих вековых седых ярусов камня так твердо и уверенно, словно проходил здесь не в первый раз.

Как и всему батальону, Казакову приходилось продвигаться со своей группой медленно, все время маскируясь, местами переползая по-пластунски, потому что с края, вдоль которого они шли низом, часто постреливали вражеские пулеметы. Километрах в двенадцати от шоссе, в таком хаотическом нагромождении диких скал, обрывов, круч, где, казалось, не могло быть ни одного живого человека, сверху неожиданно ударил пулемет. Казаков сигналом положил бойцов и сам тоже залег, внимательно изучая скалу, с которой его обстреляли. Она напоминала средневековый замок, мрачную цитадель, заостренную кверху, как башня. Откуда-то с той башни и была обстреляна разведгруппа.

Сержант послал одного бойца навстречу батальону предупредить «хозяина», что на пути их продвижения выявлена огневая точка противника.

— Передай, что через час она будет уничтожена, — приказывал Казаков посыльному, — а пока пусть ребята перекурят и попьют холодной воды, если она у них есть.

Уничтожена!.. Легко передать, что будет уничтожена! Но ведь это надо еще сделать! «Хозяин» не любит пустых обещаний. Казаков принял решение: поскольку его группа уже обнаружена, он оставит здесь нескольких бойцов, которые будут демонстрировать подготовку к штурму башни в лоб. Пока внимание вражеских

пулеметчиков сосредоточено на этих «гастролерах», как мысленно называл Казаков своих хлопцев, он тем временем незаметно проберется к самой сопке, зайдет с тыльной стороны на вершину и уничтожит пулеметный расчет гранатами. Казаков не поручил этого дела никому из своих бойцов, а решил все сделать сам. И это не потому, что он не надеялся на своих ребят (он знал их давно и верил им, как самому себе). Он попросту сам хотел полакомиться таким кусочком. Всякий раз он рвался на встречу опасностям, его даже дрожь охватывала, когда представлялся такой случай, такой «шанс», где можно было дать волю своей находчивости, смекалке, храбрости. И по праву командира Казаков всегда брал на себя самые опасные задания, нисколько не задумываясь над тем, что это может когда-нибудь стоить ему жизни.

— Ты, сержант, злоупотребляешь своими лычками, — упрекали его товарищи, — всегда сам лезешь к черту на рога!

— Это я даю Казакову по блату, — высказывался сержант о себе в третьем лице.

Разведчики начали «давать гастроли», и сразу же с башни прозвучало несколько коротких очередей.

Казаков пополз между камнями, едва заметный, сероватый, как степная ящерица.

Бойцы продолжали дразнить огневую точку.

Снова пулемет дал несколько очередей, однако пули прозвенели высоко над головами разведчиков в чистом, сухом воздухе.

— Что за черт? — удивился один из разведчиков. — Стреляют не по нас, а над нами!

— Может, мы в мертвом пространстве?

— Какой черт! Смотри...

Они приблизительно измерили угол от них до вершины сопки. Вышло, что пулеметы могли бить по ним.

Казаков полз неумолимо. Он, Казаков, которого на тактических учениях командирам стоило величайших усилий заставить ползать по-пластунски, как полагается, без фальши, сейчас полз так, словно это с детства было его излюбленным занятием. Оглянувшись, он встал на ноги только тогда, когда приблизился совсем к подошве башни, где уже в самом деле было мертвое пространство и сверху его не могли видеть. Растертые о камни локти остро ныли. Во время отдыха, когда дивизионная прачечная с девушками стояла недалеко от полка, локти на гимна-

стерке Казакова были всегда старательно заштопаны. Тогда и трофейные сапоги его блестели, как зеркало, а светло-рыжая большая голова, подстриженная под бокс, благоухала лучшими духами европейских фабрик... Тогда!.. А когда полк вступал в бой или когда «хозяин» сжепошно гонял Казакова за «языком», а «язык» не попадался, тогда сержант на свой внешний лоск и на девушек махал рукой. Ходил молчаливый, злой, неопрятный, как с похмелья, и только веки его первно подергивались. В его взгляде тогда было и в самом деле что-то волчье.

В таком состоянии он был и сейчас. Не до шика было, не до аккуратности, — и опять нижняя рубаша, выдержавшись, торчала у него сзади, как парашют. Несмазанные сапоги потрескались. Рыжая щетина покрыла выпяченную костлявую челюсть. Забыл Казаков и прачечную, и шик, и все свои фронтовые развлечения. Ничто сейчас для него не существовало, кроме задания. В такие моменты вся его жизнь сосредоточивалась в зеленоватых, немного раскосых глазах и в оттопыренных ушах. Вот он притаился, как рысь, стоит под скалой, настороженно прислушивался, чуть склонив голову набок и раскрыв рот. Если бы кто-нибудь посмотрел на него в этот момент, то увидел бы, как в лукавых его глазах уже вспыхивают огоньки дерзких солдатских решений, выдумок, комбинаций.

Шаг за шагом продвигался он вверх, хватаясь за колючие кусты огрубевшими вспушчатыми руками. Надежные, широкие руки, которые так правились девочкам дивизии!.. Оглядывался, прислушивался и снова карабкался по камням, напрягаясь всем телом, которое казалось одним сплошным гибким мускулом.

Никакой тропки здесь не было.

Кто там на высоте? Сколько их? Эти мысли не путали Казакова, а только увлекали, подхлестывали поскорее взобраться туда и помериться силами с врагом.

Горные орлы кружили высоко в синем небе. «Сюда, паверное, никогда не залетали наши степные птицы, — подумал Казаков. — А мы залетели».

И вот наконец вершина. Это была площадка значительных размеров, беспорядочно заваленная голыми камнями, хотя снизу казалась почти острым шпилем. С приготовленной грапатой в руке сержант крадся в ту сторону, откуда изредка срывались скупые пулеметные

очереди. «Почему не взять их живьем? Лучше я их живьем! — вдруг решил Казаков. — Свежаков приведу! «Хозяин» будет доволен!» Снова пристегнув гранату к поясу, он взял автомат на руку, держа его наготове.

То, что увидел Казаков, остановившись за последним камнем, крайне удивило его. За пулеметом на самом краю пропасти лежал один-единственный солдат в венгерском желтом обмундировании, но босой. Вокруг него валялись коробки из-под патронов, кучи стреляных гильз, открытая алюминиевая фляга... Большие не было никого и ничего. Солдат пристально всматривался вниз, не замечая, что кто-то уже стоит у него за спиной. «Почему он босой?» — подумал Казаков и, направив автомат, привычно, с подчеркнутым безразличием, сказал:

— Хенде хох!

Солдат повернулся к нему лицом. Это было лицо мертвеца, нечто похожее на египетскую мумию, выпутую из гробницы. Одни кости, один череп, обтянутый темно-желтой, опаленной кожей!.. Только глубоко запавшие глаза еще жили и горели таким искрепшим, смешанным с безумной радостью удивлением, что Казакову вдруг стало жаль своего пленника.

— Хенде хох, — сказал сержант еще раз так, словно предлагал земляку закурить.

Солдат сел и, сидя, поднял руки. Только теперь Казаков понял, почему пулеметчик босой. Обе ноги его были прикованы к камню короткими железными цепями. «Смертник! — мелькнуло в голове у Казакова. — Ведь это же смертник!»

До этого он слышал много рассказов о смертниках, которых враг оставлял за собой при отступлении, но собственными глазами видел такого несчастного впервые.

— Камрад, не убей! — жалобно скривился солдат, испуганно и приветливо всматриваясь в Казакова. — Я хорват, товарищ.

И чтоб поскорее убедить этого плечистого юношу с автоматом, что перед ним действительно хорват-славянин, пленник сухим, скрипучим голосом с трудом пропел ему на родном языке какой-то фривольный куплет, нечто похожее на коломийку. Сержанту жаль было на него смотреть. До такого состояния довести человека! Посадить на цепь без воды, без хлеба и заставить стрелять в своих же братьев!.. Да еще эта скрипучая похабная песенка, которой он хочет спастись от смерти... Губы солдата, за-

пекшиеся, как хлебная черная корка, едва разжимались. Его, видимо, мучила жажда.

— Эх, ты...

Казаков отстегнул от пояса флягу, и хотя там было всего на один глоток воды и у него самого пересохло в горле, он, не колеблясь, подал флягу старому солдату.

— Пей!

Солдат схватил флягу обеими руками. Сухие, изможденные руки его дрожали, когда он пил. Пряди редких седых волос, беспорядочно откинутых назад, слегка шевелились.

— Кесенем сейпен¹, шпасиба, мерси, — возвращая флягу, благодарил солдат на всех знакомых ему языках. — Русский — хороший; русских — любим...

Казаков одной рукой поднял автомат в небо и дал три одиночных выстрела. Это было сигналом вниз, его ребятам. Один из них сразу же кинулся к командиру полка доложить, что все уже в порядке.

Хорват тем временем показывал Казакову свои солдатские документы, и Казаков, разглядывая, делал вид, что вполне разбирается в них.

— Так, так... У-гу, — строго бормотал он, уткнувшись в документы.

Волнуясь, все еще не опомнившись, солдат рассказывал о себе. Он венгерский хорват с Балатона, чизмарь по профессии, то есть сапожник. Когда Салаши призвал его в армию, запродав Гитлеру, он не хотел стрелять в своих восточных братьев славян и решил во что бы то ни стало сдаться в плен. Привязав однажды ночью к своей винтовке белый платок, он ушел в горы. Целую ночь кружил он в тумане среди скал, в каменных лабиринтах, без компаса, без руля и без ветрил, со своим белым платком на винтовке. На рассвете ему показалось, что он наконец достиг цели. Со скалы над ним чаккали маленькие минометы, и он закричал в ту сторону, размахивая белым платком советским, как он думал, бойцам. К нему оттуда быстро спустились... немцы и мадьяры. Вот так проблуждав почь в Альпах, — жестокие горы Альпы! — он снова попал к опостылевшим фашистам. Те сразу догадались, в чем дело. Отвели в штаб батальона. Там офицерня долго издевалась над его неудачным переходом в плен, а потом был вынесен приговор: расстрелять. Однако с солдатами

¹ Благодарю (венг.).

у них туго, и один из офицеров посоветовал оставить его в засаде на крайнем глухом фланге батальона. Это была верная смерть. Его приковали на этой каменной башне у «МГ»¹, лишив всего, оставив ему только вдоволь патронов. Теперь они знали, что он так или иначе погибнет: либо умрет, измученный жаждой, расклеванный хищными птицами, либо упадет под пулями, отстреливаясь до последнего патрона, когда на него будут наступать. Не стрелять он не мог — он вынужден был стрелять. Это была единственная надежда для него, прикованного к этой альпийской скале: только выстрелами он мог воззвать к живым, дать им знать о себе, что он есть, существует, живет. Если бы у него кончились патроны, он умер бы здесь страшной медленной смертью, без хлеба и без воды, среди раскаленных солнцем камней. Кто услышал бы его стон среди этих бесконечных пустынных каменных гор? Кому пришлось бы на ум искать живого человека здесь, на краю света? Разве что голодные орлы прилетели бы выпить его глаза. Казаков представил на миг, как лежало бы здесь через месяц почерневшее солдатское тело, высушенный скелет, прикованный у него, уже поржавевшего от горных туманов «МГ»... Могло бы так быть, но не будет.

Задумался Казаков. Может быть, впервые его собственная роль в войне предстала перед ним в новом свете. Хорошо спасать людей! Лучше, чем убивать!

Рассказывая о себе, хорват все тянул рукой, чтоб прикоснуться к Казакову. Словно еще и сейчас ему не верилось, что перед ним живой советский сержант в выпетшей пилотке, с автоматом на груди. Посреди рассказа хорват вдруг умолк, остановив зачарованный взгляд на ордене Славы, блеснувшем у Казакова на пропитанной потом гимнастерке.

— Кремль? — сказал солдат, показывая на силуэт Спасской башни на ордене.

— Кремль.

— То есть сила. То есть виктория.

Казаков поднялся, подошел к тяжелому «МГ» и поднял его за теплый ствол обеими руками, как кузнец молот.

— Сейчас я тебя раскую, братыш!..

Орлы клекотали, величаво паря над глубокими, полными зноя ущельями.

¹ Система немецкого пулемета.

В полночь, когда гвардии подполковник Самиев выпустил из ракетницы одну за другой шесть зеленых ракет, немцы и мадьяры, оборонявшие перевал, даже не подозревали, как близок конец. Их часовые, не понимая, в чем дело, удивленно поглядывали на ракеты, рассыпавшиеся над их головами холодным зеленым блеском. Кто же из них знал, что два советских батальона уже с вечера лежат у шоссе в их тылу и напряженно ждут в небе этих ракет?

Теперь дождались и встали. Тишина треснула, ночь загремела, тысячи огней от трассирующих пуль, прошивая темноту, отовсюду помчались на перевал.

На опыте предыдущих боев за высоты подполковник Самиев убедился, что между боем у подножия и боем на вершине проходит, как правило, определенное время. Это дает возможность противнику опомниться и собраться с силами. Чтобы избежать этого сейчас, подполковник заблаговременно расставил соответствующим образом силы и огневые средства полка. Батальоны, незамеченными вышедшие противнику в тыл, сейчас лежали выше перевала, в скалах над шоссе. Установленные здесь станковые пулеметы и минометы по сигналу накрыли вражескую оборону почти навесным огнем.

Бойцы же первого батальона еще с вечера залегли другой внизу, под перевалом, так, чтобы на фоне неба им видны были силуэты солдат противника. Огни сверху и снизу скрестились, накрывая перевал. Полк начал бой ночью, и это давало ему особые преимущества. Ошеломленный неожиданным ударом, противник кинулся к аппаратам, но связь уже была перерезана.

Тем временем штурмовики первого батальона проложили гранатами проходы в проволочных заграждениях. Не смолкавшее в темноте «ура» поднималось все выше, охватывая вершину. Дезорганизованный неожиданностью ночной атаки, враг не успел оказать сколько-нибудь сильного сопротивления. Это был один из самых коротких и самых блестящих боев, проведенных полком в горных условиях. Потерь почти не было. «Академик» долго гордился перед генералом своей так умело организованной ночной операцией.

К утру шоссе было уже освобождено бойцами от дубовых завалов. Противотанковый ров засыпали так, что

по нему мог двигаться транспорт. Снова затарахтели кованные колеса, поднимаясь на перевал, одни из самых высоких в Трансильванских Альпах.

Бойцы спешили достигнуть вершины и посмотреть вперед: что там? Не равнины ли, не степи ли?..

А перед ними снова вставала панорама гор, низкие и высокие хребты, словно грандиозные волны каменного, навеки застывшего моря. Сколько хватал глаз — горы, горы, горы.

Бойцы думали: бои, бои, бои...

XX

«Жив, здоров. Все время с боями продвигаемся в горах. Воюем в Трансильвании, если ты когда-нибудь слышала о такой стране. Бьем и немцев и мадьяр. Вспоминаем нашу далекую золотую родину. Не видим ничего, кроме солнца над головой. А ночью тучи белеют под нами. У нас есть все, что нужно солдату. Мечтаем выйти из этих бесконечных гор: душа тоскует по степным просторам.

Не скучай, мама. Будь счастлива!

Женя».

XXI

Маковейчик сидит, согнувшись над аппаратом. То и дело он поднимает воспаленные глаза и глухо сообщает:

- Убило комсорга.
- Убило лейтенанта Номоконова.
- Ранило санитарку Галю.

Минометы, остывая, мрачно смотрят вверх, на высоту 805. Третий день ее штурмует пехота и не может взять. В батальонах полка оставалось по пятнадцать — двадцать активных штыков. Командир полка Самиев, разговаривая по радию с высшим начальством, только еще больше темнеет лицом и коротко повторяет сквозь зубы:

— Есть... Есть... Есть...

В тылах шла чистка за чисткой. В пехоту забрали поваров, писарей, ездовых, старшин. Они теперь там, наверху, ползли метр за метром, все выше и выше, среди раскаленных камней, о которые чиркали, плаваясь, пули.

Комбат вызвал Брянского к аппарату. И Брянский, разговаривая с ним, также повторял, стиснув зубы:

— Есть... Есть... Есть...

А закончив, сел на камень и обхватил голову руками.

— Что там? — спросил Сагайда.

— Требуется дать в пехоту четырех человек. Что я ему дам?.. Что-о я ему дам?

И, достав блокнот, обвел глазами своих бойцов.

Кого он даст? Комбат говорит, что это временно, однако Брянский хорошо знает, что из пехоты к нему не возвращаются. А сколько честных усилий, неутомимого труда он положил, чтобы эти люди стали такими минометчиками, как сейчас. Свой опыт, знания, свою страстную любовь к делу он терпеливо на каждом отдыхе, на каждом привале передавал им. Особенно в горах... В горных условиях роль минометного огня сразу повысилась по сравнению с тем, как это было на обычной местности. Бездорожье и резко пересеченный рельеф, ограничивающий обзор и обстрел, вынудили стрелковые подразделения пользоваться наиболее легкими и подвижными артиллерийскими системами. Современный миномет оказался словно специально созданным для гор. Его можно перенести на вьюках там, где никогда не пройдет тяжелое орудие. Своим огнем он всюду проложит дорогу батальону и продвинется сам с помощью минометного расчета. Крутизна траектории мин оказалась в горах особенно ценной. Мина, выброшенная под пугным углом, с одинаковым успехом может сбить вражеский пулемет на высоком гребне и достать врага на дне самой глубокой складки, закрытой для всех других видов огня.

В горах Брянский, как командир, встретился с новыми трудностями. Его минометчики, привыкшие вести огонь на равнине, должны были стрелять в новых условиях.

Только основательная математическая подготовка Брянского дала ему возможность быстро учесть все особенности работы в горах, и, доучиваясь сам, он доучивал все время своих офицеров и бойцов.

Воздух в горах прозрачен, поэтому и видимость здесь стала значительно лучше, чем на равнине. Вот почему наблюдателям и наблюдателям, привыкшим определять расстояния в условиях равнины, здесь эти расстояния казались меньшими, чем в действительности. Брянский поставил, казалось бы, невыполнимую задачу:

— Перестроить глаза!

Пока глаза не привыкнут к горным условиям, старший лейтенант запретил и себе, и своим подчиненным определять дистанции на глаз. Он стал требовать, чтобы глазомерные данные обязательно проверялись хотя бы сеткой бинокля. Ни себе, ни подчиненным Брянский не давал в горах покоя. Даже Сагайду и Черныша он тренировал часами, приучая «смотреть по-новому». И снова свой опыт, свои эксперименты и наблюдения он старался обобщить и записать. Он все время торопился, словно боялся, что не успеет в другой раз это сделать. Почти не зная сна и отдыха, он, как фапатик-экспериментатор, лежа где-нибудь среди горячих камней, выводил какие-то дополнительные формулы для стрельбы снизу вверх и другие — для стрельбы сверху вниз. Набивал записями свой планшет и, улыбаясь усталыми глазами, говорил Чернышу:

— Если что случится со мной, возьми, друг, этот планшет в наследство.

И добавлял задумчиво:

— Жаль, если наш опыт, добытый такой ценой, пропадет, потеряется. Кто знает? Возможно, он еще когда-нибудь пригодится тем, которые ходят сейчас в пионерских галстуках... Мы, конечно, думаем, что эта война — последняя на земле... Но ведь ты знаешь, как много врагов у нашей отчизны...

И вот сейчас он сидит с блокнотом и карандашом в руках и смотрит на свою роту, которую пестовал, обучал, растил, как мать своих детей. С ними, с этими людьми, простыми, честными и преданными, он уже прошел сотни километров и мечтал пройти еще сотни. Но...

«Кого ж я ему дам?»

И он начал писать. Записал троих и задумался.

Потом, обламывая карандаш, добавил четвертого: «Шовкун».

Уходили: пожилой Барабан, его сосед Багрий, молдаванин из Рыбницы Булацелов и Шовкун. Выслушав приказ, никто из них ничего не сказал, ни о чем не просил. Молча, глядя в землю, собрали свои небогатые солдатские пожитки и попрощались с товарищами. Уже отойдя на несколько шагов, Шовкун вдруг вернулся и, смущаясь, подошел к Брянскому:

— Вот... чуть не забыл... Ваши подворотнички, товарищ гвардии старший лейтенант... Выстиранные, чистые.

И, еще раз поглядев со скрытой нежностью на своего командира, козырнул и бросился догонять товарищей.

Это было в обеденную пору.

Не прошло и нескольких часов, как Шовкун снова спускался на огневую той же самой тропинкой между бурными кустами и огромными каменными глыбами. Подбородок у Шовкуна был перевязан, и сквозь марлевую подушку проступала свежая кровь. Его обступили товарищи и земляки. Но Шовкун не мог как следует владеть раздробленной челюстью. Поэтому не говорил, а только шипел сквозь зубы.

— Я ничего... и не успел, — шипел он. — А Булацелова убило рядом... Багрий и Барабан были еще живы...

Вторично расставаясь с товарищами, теперь уже чтобы идти в тыл, Шовкун снова подошел к Брянскому:

— Товарищ гвардии старший лейтенант... Поберегитесь... Прошу вас, поберегитесь, — едва мог разобрать Брянский. — Плохое мне снилось...

— Шовкун, — серьезно посмотрел на него Брянский, — разве мы можем уберечься от своей судьбы?

— Оно-то так...

На прощанье Брянский крепко пожал ординарцу руку.

— Поправитесь, возвращайтесь в роту. Я вас всегда приму.

— Постараюсь, товарищ гвардии старший лейтенант.

Когда Шовкун пошел, медленно спускаясь на дно ущелья, Брянский долго провожал его пристальным взглядом. Потом подошел к Чернышу, сел рядом с ним на теплый камень и сказал с какой-то особой задумчивостью:

— Женья... Я тебе уже говорил... Если со мной что случится — заведи этот планшет. Тут все мои... Все мое... Я знаю — ты доведешь это до конца. Ты знаешь все мои идеи, понимаешь их лучше, чем кто бы то ни было. Ладно?

Черныш молча сжал руку товарища.

Высоко над грядой гор клином пролетали в солнечном небе какие-то быстрые птицы с тонкими шеями, вытянув головы вперед. Брянский, щурясь, следил за ними.

— На юг, в теплые края. Ты не интересовался, Женья, дорогами птиц?.. Наши сюда вряд ли летают... Из Беларуси они через Украину, а затем — через Черное море...

Черныш впервые услышал от Брянского это — «Беларусь». Произнес его старший лейтенант с какой-то особой мягкостью.

Оба задумались: каждому свои мысли, свои мечты навевали эти высоко летящие, удаляющиеся птицы...

Хома Хaeцкий, высунувшись из ячейки, которую он всю ночь долбил киркой, терпеливо вглядывался в густые заросли, залегающие слева под высотой.

— Немцы! — вдруг сказал он, бледнея.

Минометчики из соседних ячеек настороженно посмотрели в ту сторону.

— Тебе показалось! Там где-то наши сорокапятники¹.

— Та немцы!

— Да нет же.

Вдруг еще несколько голосов одновременно крикнули:

— Немцы!!!

Теперь уже не могло быть ошибки: все увидели, как, извиваясь среди камней, молча ползут и ползут враги. Где они просочились, никто не знал, хотя в конце концов здесь это не было чем-то необычайным, — в горах нередко ни у них, ни у нас не было сплошной обороны. Тут защищались и штурмовались большей частью дороги и отдельные высоты, как бастионы, вздымавшиеся над окружающими хребтами.

Брянский сразу разгадал маневр противника и оценил всю глубину опасности. Обтекая подножие высоты, немцы хотели отсюда отрезать батальон, штурмовавший сопку там, высоко на горе. Брянский немедленно приказал повернуть на гитлеровцев все минометы, коротко доложил комбату и закончил словами:

— Принимаю бой.

Минометы задрали свои трубы почти вертикально в небо. Было видно, как мины, словно черные рыбы, прочертив в голубизне наиболее крутую траекторию, саднулись в самую гущу врагов. Там, среди камней, дыма и пламени, поднялся страшный гвалт, и гитлеровцы пошли в атаку.

Вечерело, и тени от высот уже закрывали ущелье.

Брянский посмотрел на своих опаленных солнцем бойцов и вспомнил лето Сталинграда.

— Товарищи, — сказал он спокойно, и только необычайная бледность лица показывала, каких усилий воли стоят ему это спокойствие и сдержанность. — От нас зависит судьба батальона, судьба наших товарищей-пехо-

¹ Артиллеристы 45-миллиметровой артиллерии.

тинцев. Шаг назад — уже измена. Будем же стоять на-
смерть!

Он вспомнил, что именно так обращался к бойцам под Сталинградом.

Бойцы стояли по грудь в ячейках, словно загипнотизированные. Во всем мире наступила полная пустота, все исчезло, — были только согнутые фигуры в чужой униформе, которые с криками приближались и приближались.

Черныш никогда не думал, что так спокойно воспримет первую лицом к лицу встречу с врагом. Ему казалось, что исчезли все волнения, нервы напряжены до предела, рука тверда, взгляд ясен; казалось, он в течение всей жизни не испытывал такого удивительно ясного спокойствия, как сейчас. Мысль работала с особенной четкостью, движения стали методично-целесообразными и точными. Он успевал все видеть, все слышать и все понимать, словно восприимчивость его мозга вдруг неслыханно расширилась, возбудив в нем на мгновение вспышку ясности.

— Огоны! — скомандовал Брянский.

Ударили из всех автоматов и карабинов.

Маковейчик тоже выстрелил, заранее прицелившись. И хотя стреляли все и кто-то, оглушая, бил у самого его уха, все же, увидев, как фашист, взмахнув руками, упал навзничь, Маковейчик скорее почувствовал, чем понял, что это его фашист, что упал он именно от его пули. «Это я, это я! — поднимался в нем победный внутренний голос. — Не кто иной, только я!»

И он прицелился в другого.

Гитлеровцы беспорядочно строчили на ходу из автоматов, падали среди трескотни, поднимались и снова бежали, приближаясь, и уже видны были их искаженные — не то злобой, не то смертельным страхом — лица.

— Гранаты! — крикнул Брянский и первый метнул, следя за ее полетом, и тут же схватил другую. Его глаза, которые, казалось, давно и навсегда погасли, сейчас загорелись острым синим огнем, словно ветром сдувало топчайший слой пепла и разжигало спиртово-синий огонь, живший под ним.

— Гранаты! Гранаты!!!

Гранаты летели одна за другой. Поднялся страшный шум, гитлеровцы вбегали на огневую. В этот момент все услышали, как выкрикнул Брянский:

— За родину! Вперед!

Никогда — ни до, ни после этого — Черныш не слышал этой фразы, так произнесенной. С какой-то особенной силой и значимостью прозвучала она здесь, собирая всех в один железный кулак. Родина! Перед ним блеснули, как в феерическом огне, и река на границе, и солнечные поля за нею, и выпускной вечер в училище, и мать с накинутой на плечи шалью, и длинный караван в песках, и еще что-то пёстрое, неопределенное, но бесконечно прекрасное промелькнуло перед ним в одну секунду — и всё стало для него еще более попятным. Не удивляясь, он видит, как Брянский маленькими белыми руками вцепился в каменный бруствер и легко выскочил наверх, не оглядываясь на бойцов, словно ничуть не сомневался в том, что и они сделают то же самое, и прыгнул с бруствера вперед, занося из-за спины тяжелую противотанковую гранату. Черныша тоже единым духом вынесло наверх. Глядя неотрывно вперед, он в то же время успевал краем глаза видеть, как и другие бойцы вылетали из ячеек, будто их оттуда что-то выталкивало, и у всех были бледные, сосредоточенные лица.

— За родину! — еще раз крикнул Брянский, и Черныш не узнал его сильного голоса, измененного резонансом чужих гор.

Черныш видел еще, как Брянский боком проскочил несколько шагов и метнул гранату, выхватывая в то же мгновение пистолет. И сразу среди гитлеровцев, которые были вот тут, рядом, грохнуло, зашумело, и они на миг исчезли в черном дыму. Черныш видел, как упал Брянский, но не остановился, и никто не остановился. Все, согнувшись, мчались вперед, и все что-то кричали в дыму и чаду. И Черныш тоже кричал, не помня что.

Фашисты убегали с огневой.

Это придало Чернышу силу, такую силу, что, казалось, его не мог бы сейчас остановить приказ самого маршала. Перед ним мелькнул чужой френч, закрученная черным стаканчиком фляга болталась на поясе гитлеровца, и Черныш хотел за нее уцепиться и бежал еще быстрее, — не бежал, а летел, как птица. Все тело его сделалось легким, упругим, неудержимым... Черныш, чувствуя в своей руке что-то тяжелое, размахнулся и ударил фашиста по темени. Тот сразу присел, словно вошел в камень, и Черныш только теперь заметил, что ударил его миной, которая, неизвестно когда и каким образом, очутилась у него

в руке. «Хоть бы не взорвалась!..» — мелькнуло у него в голове.

— Руби, бей!!!

— За Брянского!!! — выкрикнул кто-то поблизости, и Черныш снова рванулся вперед в сплошной рев, стон, топот ног. «Значит, Брянского убило!» — догадался он на бегу, но это его почему-то не удивило, не остановило, а, наоборот, еще больше наполнило лютой силой; казалось почти естественным, что имя его друга уже гремит среди них как боевой клич. Черныш видел, как перед Денисом Блаженко повернулся высокий гитлеровец в очках и, вскинув руки, страшно закричал:

— Гитлер капут!

— И тебе тоже!

Денис рубанул его киркой прямо по переносице.

— За Брянского!!!

Ущелье гремело боевым клетотом. Перед Чернышом скрежетали по камням, уносясь вперед, чужие кованые сапоги, и он, стиснув зубы, напрягаясь что есть силы, прыгнул еще раз вперед и ударил фашиста обеими руками в шею, в спину, повалил и вцепился пальцами в горло, и тот, наливаясь кровью, захрипел. Черныш бил его затылком о камень, и все ему было мало, мало... Он бросил его, и снова побежал, и снова кричал, не помня что. Промчался мимо Хаецкий с растрепанными, страшными усами. Он все время лупил гитлеровца по спине маленькой саперной лопаткой. На мгновение Черныш увидел Сагайду, который промелькнул в распахнутой гимнастерке, с голой волосатой грудью, с налитыми кровью глазами. Он держал в руке пистолет. Черныш вспомнил, что и у него есть пистолет, и, на бегу выхватывая его, мчался дальше, и все мчались уже среди фашистов, которые с перекошенными от страха лицами вслепую неслись куда-то. В воздухе свистели приклады, неслись крики и стоны. Снова перед Чернышом появился гитлеровец, как будто тот самый, которого он душил, знакомо скрежетали на камнях кованые сапоги, болталась на поясе фляга, кто-то близко кричал: «Стой!» И Черныш тоже закричал в затылок убежавшему фашисту:

— Стой! Стой!!!

Гитлеровец оглянулся на крик, споткнулся о камень и упал.

— Я русский! — вскричал он, вставая на колени и поднимая дрожащие руки. — Я из Солнечногорска.

— В Солнечногорске таких вет! — выдохнул Черныш и, подняв пистолет, выстрелил ему прямо в грудь.

Утерся рукавом, и неожиданно взгляд его остановился на высоте. Там, на фоне вечернего неба, четко выделялся силуэт человека, неподвижный, словно высеченный из камня. Солнце давно зашло за высоту, а небо над ней еще светилось, переливалось красками заката. Силуэт не двигался. Деревцо?

Но в это мгновение фигура, стоявшая до сих пор в профиль, повернулась. И стали отчетливо видны контуры автомата в поднятой руке. «Значит, высота наша!» — мелькнуло в голове у Черныша, и он закричал изо всех сил:

— Наша! Наша!!!

XXII

— Он погиб, кажется, от собственной грапаты, — мрачно говорил Сагайда, склоняясь над Брянским и отыскивая рану. — Она разорвалась слишком близко.

Старший лейтенант лежал на правом боку, откинув голову и подавшись всем телом вперед. Он напряженно вытянул руку вдоль камня, словно хотел достать что-то, лежавшее совсем близко. В руке застыл пистолет.

Брянский лежал, как живой, крови не было на его белом лице, и глаза были незакрыты, а только слегка прищурены, как тогда, когда он смотрел в бинокль и командовал. Неожиданно среди общей тишины треснул пистолетный выстрел, и пуля зиянула о камень где-то в нескольких метрах впереди Брянского.

— В чем дело? — удивленно крикнул Сагайда, увидев, что из пистолета Брянского струится дымок. — Ничего не понимаю...

Оказалось, что кто-то из бойцов случайно задел в сумках руку Брянского, и его пистолет выстрелил от этого незначительного движения. Он был взведен.

— Брянский! — с болью воскликнул Черныш, стоя над маленьким холодным телом своего командира и друга. — Ты... Ты и мертвый стреляешь!

Горы темнели, выплывал далекий месяц.

На Брянском расстегнули гимнастерку, осмотрели рану. Осколок прошел в сердце.

Сгрудившись вокруг старшего лейтенанта и присветивая фонариком, бойцы по очереди разглядывали фотографии. Мертвый командир теперь как будто открывал им все свои тайны.

Скорбная женщина в черном платке, завязанном по-старомодному, сложив на коленях руки, смотрит прямо перед собой.

— Мать, — говорит Сагайда.

Мать! До сих пор мало кому из бойцов приходило в голову, что и у Брянского может быть мать.

Девушка стоит на берегу моря в купальном костюме, с веслом в руке. Солнце бьет ей в глаза, она щурится и смеется.

— Невеста.

Молча рассматривали бойцы незнакомую красивую девушку. Где она теперь? Что с ней будет?

Из левого кармана гимнастерки достали партбилет. Он весь слипся, насквозь пробитый осколком.

— Пошлют в Москву... В ЦК партии.

Денис Блаженко, не обращая ни к кому в отдельности, сказал с какой-то угрозой в голосе:

— Я вступаю в кандидаты.

И, встретившись глазами с братом, добавил:

— Я уже подготовлен.

Прибыл старшина Багиров с бойцом, ведя в обеих руках лошадей, навьюченных боеприпасами. Вьючные седла были системы Брянского. Когда в горах пришлось бросить значительную часть обозов и перейти только на вьюки, Брянский предложил эти простые седла вместо стандартных армейских вьюков, тяжелых и громоздких. Седла Брянского, введенные сначала в минроте, быстро получили признание, и теперь ими пользовались все полки дивизии. Личная лошадь Брянского тоже была навьючена боеприпасами и дымилась под тяжелым грузом.

— Старшина, — позвал Сагайда, — ты впдел?

Он указал на трупы, лежавшие возле огневой.

— Я знаю, — мрачно ответил Багиров. По дороге он встретил несколько раненных в этом бою, направлявшихся в санроту. Они ему все рассказывали.

— Знаешь, старшина?.. Если знаешь, то скидай, друг, свою рубашку. А то, погляди...

Сагайда расстегнул на груди булавку, и разорванная гимнастерка разошлась на две части. Старшина дал ему свою рубашку.

Бойцы сели вокруг термоса ужинать.

Багиров молча разливал спирт по норме и подносил сегодня каждому с особым уважением, словно перед ним были не те люди, что всегда. Маковей раньше не пил спирту, боясь, что сгорит от него. Он отдавал свой спирт Хоме. Сегодня Маковейчик неожиданно выпил свою порцию да еще потребовал долг у Хомы. Однако Хаецкий не дал, хмуро пообещав расплатиться в другой раз.

Молча пили и молча ели, как после смертельно утомительной работы.

А Вася Багиров, раздав норму, молча отошел в сторону. Потом приблизился к навьюченному коню командира роты, положил руку на гриву. Пока бойцы ужинали, Вася все стоял возле коня, уткнувшись лицом в его гриву. Плечи его часто, по-детски вздрагивали.

Позволил комбат и передал Сагайде командование ротой, пока четвертый отдел не пришлет кого-нибудь из резерва.

— А слышали? — неожиданно нарушил молчание Маковей. — Шовкун говорил, что вернется в роту...

— Может, еще кого-нибудь и застанет, — вздохнул Роман Блаженко. — Но ординарцем уже вряд ли будет...

— Он как-то говорил старшему лейтенанту, что до Берлина с ним будет идти.

— Ой, далеко, братья, до него идти... Будет еще крови да крови...

Брянского похоронили в тот же вечер на самой вершине только что захваченной безымянной высоты 805. Как ветерана полка, его хоронили со всеми воинскими почестями, какие только возможны были в этих условиях.

В суровой задумчивости стояли бойцы вокруг могилы, слушая прощальное слово гвардии майора Воронцова. Он справедливо считался лучшим оратором в дивизии и полку. Но сейчас говорил не только оратор. Воронцов стоял в своем расстегнутом ватнике, с которым почти никогда не расставался, левая его рука была подвязана на груди. Майор сам принимал участие в штурме высоты, и его легко ранило. Лысый, с оттопыренными ушами, чуть ссутулившись, он стоял над могилой, как старый отец среди своей семьи. Брянский был для Воронцова больше, нежели командир одной из минометных рот. С Брянским он прошел путь от самой Волги. Брянскому он давал рекомендацию в партию. Воронцов, будто за собственным сыном, следил, как растет этот молодой

одаренный офицер, фанатично преданный долгу, вечно мятущийся в порывах своей беспокойной мысли.

— ...Он до последнего дыхания сохранил верность присяге, верность знамени, верность своей родине, — говорил гвардии майор.

А Брянский лежал на палатке, белый, спокойный, со светлым челом, и, сверкая при луно орденами, как бы слушал, что о нем говорят.

Высокий, ясный вечер был полон тех чар простора, того запаха беспредельности, какие присущи только вечерам поднебесной страны.

— Это не первый и не последний боевой наш товарищ, которого мы оставляем в Альпах. Мы идем вперед, а они остаются за нами на каждой сопке, как наши верные заставы. Оглянемся — и мы увидим их образы, их силуэты на близких и дальних высотах. Они будут стоять на чужбине как вечные памятники, как вечное напоминание всему миру о жертвах нашего народа, который грудью встретил нашествие фашистских орд и собственной кровью оплачивает освобождение Европы...

Черныш стоял с планшетом Брянского через плечо, сжимая в руке пистолет, приготовленный для салюта, и смотрел на далекие вершины, рельефно очерченные под мертвым сиянием луны. Временами Чернышу казалось, что отсюда можно увидеть и ту высоту, на которой остался боец из его взвода Гай. Между этими высотами для Черныша устанавливалась какая-то невидимая таинственная связь, как между теми придорожными белыми столбами с распятиями, которые он видел в Румынии.

Днем эти силуэты на горах будут видны за сотни километров, а ночью будут светиться сиянием, напоминая о себе и о своей державе. Это не только жертвы. Это неугасимые, горячие призывы, написанные нашей кровью...

Было необычайно светло вокруг. Полная луна, как матовое солнце, заливала светом океан хребтов, раскинувшихся во все стороны, сколько хватал глаз. Чернышу вспомнились читанные в детстве фантазии о далеком будущем, когда станет угасать солнце. Застынет земля, замерзнут в реках рыбы... Среди грандиозных ледников будут блуждать последние люди, не находя ни тепла, ни пищи, ни воды. Вершины гор стояли вокруг, похожие на фантастические ледники, а лунная, удивительно ясная ночь напоминала о таком угасающем дне, который уже несет в себе сумерки вечности.

Черныш переступил с ноги на ногу и случайно почувствовал чье-то плечо, теплое и надежное. Стало как-то легче. Чем дальше оставалась за ним родная земля, чем больше сотен километров отделяли Черныша от нее, тем дороже становились ему боевые товарищи, которые словно дышали на него ее теплом, говорили с ним ее языком, несли в себе ее верные приметы. Это чувство братства, вероятно, наполняло и других бойцов, проявляясь все отчетливей и неудержимей, чем меньше их оставалось. Наверное, именно поэтому, стоя сейчас молчаливым суровым кругом у могилы Брянского, они все теснее смыкались, инстинктивно прижимались плечом к плечу, локтем к локтю, чтобы почувствовать живое человеческое прикосновение, тепло товарищества — единственное тепло среди холода этих чужих гор.

— ...Его образ, озаренный красотой верности, останется навсегда в наших сердцах. В честь большевика — офицера советской гвардии — салют!

Здоровой рукой Воронцов вынул из кобуры свой тяжелый трофейный парабеллум, с которым не расставался со времен Сталинграда, потому что он достался ему в не легком бою.

Брянского, в тех же парусиновых сапожках, завернули в плащ-палатку и опустили в могилу. Отдавая последнюю почесть офицеру великой армии, все присутствующие подняли свое разнокалиберное, поблескивающее при луне оружие, отечественное и трофейное, разных систем и разных армий мира. Выстрелили по команде в небо — раз, и второй, и третий...

Всю ночь рота Сагайды пробивалась за пехотой через ущелье, таща за собой коней, навьюченных минами и материальной частью в седлах системы Брянского. И было непривычно, что не идет впереди твердой походкой, то и дело оглядываясь, светловолосый, спокойный юноша с вдумчивыми глазами. В строевой части полка чертежники уже снимали копию с топографической карты и наносили пометки на высоте 805, в том месте, где его похоронили.

Ущелья белели внизу, затопленные молочными озерами туманов. Луна клонилась к закату, камень остыл за ночь, и бойцы мерзали в гимнастерках.

— Черныш, какое у нас сегодня число? — угрюмо спросил Сагайда, ковыляя рядом. Этой ночью он сорвался по камням в какой-то крутой и повредил ногу.

Черныш не знал, какой сегодня день. Ему казалось, что прошла уже целая вечность, как они ведут бой в Трансильванских Альпах.

— Не знаю, — ответил Черныш глухо.

— Между прочим, мать у него совсем старая. Одна. Она жила на его аттестат. Я решил послать ей свой... А?

— Хорошо сделаешь. Я... тоже часть пошлю. Мои обойдутся.

— В самом деле, зачем нам деньги? — оживляясь, продолжал Сагайда. — Все, что мне нужно будет, я получу и без денег. А сй пошлю, все-таки помощь. Юрий писал ей обо мне, какая у меня история с родными... Так она в каждом письме и мне привет передавала. Тоже называла... сыном.

Камни поблескивали под луной холодными, тусклыми осколками.

— Правильно, что мы добивали их прямо на месте, — неожиданно сказал Сагайда. — Никогда не буду брать в плен! Все буду разносить, никому не дам пощады!

От жгучей тоски руки Черныша сжимались в кулаки. Кажется, в его короткой жизни не было еще такого горя, какое могло бы сравниться с этим. Брянский был первым настоящим другом на фронте. Эта суровая мужская дружба, не раз испытанная смертью, забывается труднее, чем первая любовь.

Перед глазами Черныша, как видение, стояла девушка с веслом на берегу моря и смеялась солнцу. Он видел ее на фотографии у Брянского и теперь мысленно обращался к ней, словно к живой. «Люби, кохай его, кохай! — с юношеской страстностью заклинал он. — Люби, хотя он никогда не вернется к тебе с этой высоты, как и боец Гай со своей! Нет, не вернутся, не придут!.. Кончится война, загремят в честь победы салюты, а они останутся здесь, на чужбине, как наши верные заставы! Так люби же его, не забудь вовек, люби, всю жизнь люби, не забудь ради другого!.. Может, тогда он будет здесь не таким одиноким!»

А на следующее утро какой-то молодой сапер, проходя по следам батальона и ставя указки, увидел большую глыбу, под которой был похоронен Брянский. Она была на виду, ее легко мог заметить каждый, кто шел по указкам. Боец рубанул несколько раз киркой по камню, и высеклось «Л→», обращенное острием на запад.

В это же утро бойцы Сагайды, взобравшись на последний хребет, облегченно вздохнули, как мореплаватели, которые после долгих странствий наконец увидели долгожданную землю. Внизу, словно дно высохшего моря, раскинулось огромное плато, веленевшее виноградниками, нивами и садами. Этот кусок гладкого простора в горах, простиравшийся на десятки километров, ласкал и успокаивал глаза бойцов, хотя вдалеке на западе опять синели и синели горы.

— Это, наверное, и есть те альпийские луга? — обратился Сагайда к Чернышу.

— Какие?

— Когда-то до войны у нас были духи «Альпийский луг». Я их однажды подарил Мусе на именины.

Догорая, дымились внизу населенные пункты. По дорогам двигались бронетанковые части и массы конницы казачьего корпуса, прорвавшегося где-то слева.

В ближайшем местечке расположился полк. От комбата Сагайда узнал, что полк назначен во второй эшелон и будет стоять здесь, наверное, до завтра, ожидая пополнения, которое где-то всли целую неделю офицеры резерва.

Местечко было опустевшее, наполовину разрушенное ударами нашей штурмовой авиации. В уцелевших домах хозяйничали бойцы. В трофейных бочках из-под горячего грелась вода, голые, как мать родила, бдйцы мылись на солнце, стриглись, писали письма, читали газеты. У полковых разведчиков играла гармошка, и на воротах белела надпись: «Добро пожаловать». Из ворот выехал Казаков верхом на маленьком белом ослике. На этот раз сержант был выбрит, чист, доволен. В руке он держал пустую оплетенную бутыль.

— Куда, Казаков?

— В Иерусалим... За святой водой!

Бойцы гикнули, свистнули на осла, и он во весь дух помчался по улице. Казаков, обняв животное длинными ногами, отчаянно балансировал на нем, размахивая огромной бутылкой.

Минометчики расположились в саду на окраине.

Какая красота вокруг! Душистые огромные яблоки южных сортов наполняют воздух тонким ароматом ликера. Синеют сливы, краснощекие, налитые персики сги-

бают ветви... Бери, ешь, наслаждайся, сколько твоей душе угодно! К саду примыкает виноградник. Никто о нем не заботится, урожай брошен на произвол судьбы. На площади в несколько гектаров белый прозрачный виноград свисает тяжелыми гроздьями до самой земли.

— Гей, кумэ! — зовет Хома Романа Блаженко. — Идите ко мне персики есть. Ешьте, сколько душа ваша пожелает, — сегодня я угощаю!

— Ого, как вы расщедрились, Хома...

— Идите-ка, идите, зовите и брата с собой... Да что брата! Здесь хватит и на вашу жинку, и на ваших деток, и на всех родичей, хоть их у вас — батальон!

Приведя себя в порядок, почистив оружие, большинство бойцов ложится спать. Только Хаецкий, хоть он тоже не спал всю ночь, не может утомиться. Он долго еще снует по двору со щупом в руках, заглядывает во все углы и пробует землю. Он всегда ищет какие-то клады в этой чужой земле, как будто он тут когда-то был и закопал их. Он не теряет надежды найти когда-нибудь закопанную бочку доброго столетнего вина, чтобы угостить потом весь свой «колхоз», как он в шутку называет свою роту. Кажется, находки и интересуют его только потому, что могут доставить удовольствие всей роте. Прощупав весь двор и ничего не найдя, Хома наконец успокаивается. Потом берет лопату и, хотя вражеской авиации не видно и не слышно, принимается рыть для себя щель. Копать землю он мастак. Через несколько минут щель готова, дно ее устлано душистой травой. Хома влезает туда и укладывается спать, положив автомат под голову. Хаецкий органически ненавидит проклятых «мессеров» и может отдыхать более или менее спокойно, только зарывшись глубоко в землю.

— Земля моя, матинка моя, — обращается он к ней, — с тобой мне лучше всего! В тебе я словно у матери за пазухой!..

Всадник-автоматчик гонит по улице пленных. Солнце пригревает, они топают рысдой, тяжело, часто дыша.

— Гони их, гони, — подзуживает Блаженко-старший, стоя у ворот на посту. — Бачь, как обливаются потом, а мешки с барахлом не скидают. И чем они их понабили?

С грохотом проезжают вперед наши и румынские танки; не останавливаясь в местечке, они исчезают один за другим в сухой горячей пыли. На танках сидят румын-

ские солдаты в черных беретах и, смеясь, запрокидывая головы, пьют сырые яйца.

— Что, они тоже, наверно, вступают в бой? — обращается Блаженко к Чернышу, который, устроившись невдалеке под яблоней, старательно чистит свой пистолет.

— Уже вступили, — неторопливо откликается Черныш.

Блаженко щупает свою руку, рассеченную в первом бою под дотами. Она уже хорошо зажила.

— Пусть искупают свои грехи, — говорит Роман, провожая танкистов взглядом.

На Черныша эти смуглые румынские парни в беретах навели другие мысли. Припомнилось: падение дотов, прорыв последнего боярского рубежа и тот бешеный марш по открытым внутренним дорогам Румынии... Ржут кони, звенит даль, и плывут навстречу усталые капитулирующие войска... На одной развилке, в степи, на высокой, наспех сооруженной из снарядных ящиков трибуне стоит, выпрямившись, наш офицер с девушкой-переводчицей. Его задачей, видно, было отобрать трансильванцев, которые пойдут освобождать еще занятую врагом Трансильванию. Перед ними море вооруженных запыленных капитулянтов.

— Товарищи!

Одно это слово, одно это переведенное девушкой обращение вызвало среди румын бурю радости и восторга.

Он назвал их, вчерашних своих противников, товарищами! И уже, передаваясь из уст в уста, покатилося далеко в поле, заклокотало, помчалось в другие, растянувшиеся вдоль дороги румынские батальоны и полки:

— Он сказал: товарищи!

А офицер продолжал:

— Вы рветесь домой, но где ваш дом? Среди вас есть тысячи и тысячи трансильванцев, а вся Трансильвания еще занята врагом, ее нужно освобождать! Есть ли у вас желание ее освобождать?

И всколыхнулось закипающее людское море:

— Есть! Есть!! Есть!!!

— Обманутые правителями, вы искали для себя счастья в Одессе, на Кавказе, там, под Сталинградом... Нет, не там вы его должны были искать! Счастье нельзя награбить, его нужно создавать самому! Там, — офицер указал рукой на запад, — там ваши Клуз, Сибиу, Альба-Юлия! Идите и берите их! И сами строите новую жизнь!..

И вот сейчас они идут, пролетают по улице на танках, пьют вместо вина свежие куриные яйца, радостно смеясь родным, самым лучшим в мире горам...

«Так охотно пересесть на танки других систем, так быстро повернуть оружие на сто восемьдесят градусов... Как это могло произойти? — размышлял Черныш, неторопливо собирая вычищенный пистолет. — Чем могли мы так легко привлечь их к себе? Не чарами же, не силой, не подкупам, нет. Только вином свободы, только великой правдой своей...»

После обеда Черныш и Денис Блажелко пошли к Воронцову за рекомендациями, которые тот обещал им дать. Майора они застали на террасе дома, где располагалась политчасть полка. Воронцов сидел на стуле, а красивая, очень серьезная фельдшерица из санитарной роты делала ему перевязку.

— Садитесь, — пригласил Воронцов, — я сейчас.

Присев, Черныш смотрел на майора и вспоминал первую встречу с ним под дотами. Ему казалось, что это было давно, давно... Тогда он впервые услышал имя Брянского. Не знал, что скоро станет его самым близким другом и что не пройдет много времени, как он будет хоронить его ночью на трансильванской сопке. О, Брянский! Брянский! Ведь Самиев мечтал послать тебя после войны в академию!..

Покончив с перевязкой, Воронцов достал лист бумаги, самопишущую ручку и приготовился писать. Однако, прежде чем начать писать, он задал Чернышу несколько вопросов по его биографии.

Пионерский отряд, десятилетка, путешествия летом с отцом в горы или в пустыню... Потом военное училище. И все. Жизнь его была ясна и прозрачна до дна. В ней было мало горя, мало утрат, много смеха, надежд, солнца. И первой самой болезненной утратой была для него смерть Юрия Брянского. Тяжелым, физически ощутимым камнем она сейчас лежала на сердце...

Майор писал. Закончив и помахивая листком, пока просохнут чернила, он смотрел с террасы на далекие сияющие горы.

— Там опять гряда, — сказал он задумчиво. — Опять Альпы...

— Опять бои, — досказал Черныш, угадывая мысль Воронцова.

Майор подал ему рекомендацию.

— Уверен, что краснеть за вас не придется, товарищ Черныш...

— Спасибо. Обещаю вам... Доверие оправдаю.

Когда и Денису была написана рекомендация, ефрейтор, принимая ее, молча вытянулся и взял под козырек.

По дороге, когда они возвращались в роту, Денис заговорил с несвойственной ему раньше сердечностью в голосе:

— Наверное, у нас сегодня воскресенье, товарищ гвардии младший лейтенант... Так как-то празднично... Видите, вступаю... Не знаю, так ли и вам, как мне. Ведь знаю, что это вступление каких-то... практических преимуществ мне не дает. Как был ефрейтором, так и останусь. Как носил миномет на плечах, так и буду носить. Наоборот, обязанностей еще больше будет. Теперь еще парторг начнет мне давать поручения. И все-таки хорошо. Когда я отвечал о правах и обязанностях члена партии, то — вы слышали — про обязанности рассказал лучше, чем о правах. Вступаю в партию, говорю, значит, беру на себя добровольно дополнительные обязанности перед народом. Беру новую ношу на плечи. Пусть тяжелей будет, но на сердце-то как хорошо... Будто воскресенье, будто праздник.

Под вечер тучи закрыли небо. Весь мир стал серым, и пошел обложной дождь, равномерный и тихий, какие идут подолгу. Все сразу заметили, что лето уже прошло, что уже настала осень с нескончаемыми дождями, размокшими дорогами, холодными ветрами. Солдату это было страшнее, чем пули и снаряды, потому что ненастье не копчалось ни днем, ни ночью. В такую пору тоска по родному краю была особенно острой.

Вечером Черныш и Сагайда сидели у разведчиков. Играла гармонь, тоскливые мужские голоса из разных углов комнаты подпевали ей.

...До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага...

Казаков сидел у стола, склонившись на руку, печальный и задумчивый. Родные песни навевали на него много воспоминаний, заставляли задуматься над своей жизнью.

Черный дождь барабанил в стекла, грохотала под ветром железная крыша, и от этого в освещенной комнате было еще уютнее. Приятно было знать, что сегодня не придется никуда идти, что можно в сухом помещении

петь с друзьями допоздна, а потом всласть поспать на мягкой соломе до утра.

Однако непогода разгулялась, и приветливое «Добро пожаловать», написанное на воротах, постепенно смывалось дождем...

Часовой за окном на террасе остановил кого-то окликом, спрашивая пропуск. Потом в дверях загремело, захлопало, и ординарец Сагайды, заранее предупрежденный, где их искать, остановился на пороге, мокрый, с автоматом на груди. Вода ручьями стекала с его плащ-палатки.

— Товарищ гвардии лейтепант, батальон выходит. Сагайда чертыхнулся и быстро встал, затягивая ремень.

Прибежал полковой связной с приказом сержанту Казакову немедленно явиться к начальнику штаба.

Черныш и Сагайда вышли на улицу, и колючий дождь ударил им в разгоряченные лица. Было слышно, как во дворах, собираясь, перекликаются бойцы и позвякивают оружием.

— Иванов, где ты? — кричал кто-то в темноте. — Где ты, черт бы тебя побрал!

На западе полнеба охватили неподвижные зарева, дождь лил как из ведра, стекая ледяным холодом на горячие шеи, и было странно, что эти зарева не гаснут от такого дождя. Поднимаясь над ночью, они багровели впереди, как вздыбившееся в лебо неподвижное пылающее море.

— Горит, горит Европа, — сказал Сагайда, шлепая по грязи. В тусклых отблесках Черныш видел мокрое, сердитое лицо товарища.

Промчался по улице черный всадник, ветер раздувал его плащ-палатку, грязь стрельнула из-под копыт во все стороны. Сагайда поднял руку, прикрывая лицо, и выругался.

XXIV

Батальон, не рассредоточиваясь, продвигался вперед. Бескрайний мрак разливался вокруг. Казалось, это была иная земля, не то зеленое широкое плато, какое утром предстало перед глазами бойцов, залитое солнцем до далеких синих гор.

Молча брели бойцы навстречу мокрому ветру, хлеставшему в лицо. Лошади минометчиков храпели и стояли в темноте, увязая в пашне. Виноградники, кукуруза, подсолнухи трещали под ногами. Шли без дорог, да их, кажется, и не было здесь. Почью как будто исчезли все те асфальты, по которым еще утром двигались части казачьего корпуса, вздымая тучи пыли.

Время от времени комбат останавливался на минуту со старшим адъютантом, чтобы при свете фонарика под плащом свериться по карте. Потом снова догоняли пехоту. Чавкала и чавкала тяжелая земля, словно целовала неутомимые солдатские ноги.

— Патку мий, патку! — слышится голос Хаецкого, который бьется где-то сзади с конем. — И когда же будет конец болоту?

В этот момент сапог первого бойца зазвенел о камень, и весь батальон облегченно вздохнул:

— Шоссе!

Знали пехотинцы, что не идти им по этому шоссе, знали и минометчики, что не мчать им по этой звонкой дороге на конях, ибо она, пролегая с севера на юг, не совпадала с направлением наступления, а ее ведь не передвинешь, как стрелку на часах... Знали это — и все же обрадовались. Хоть десять шагов, хоть пять шагов — только бы почувствовать под ногами твердь, а не разжиженную пахоту, в которой, кажется, увяз бы с головой, если бы не двигался все время вперед, а остановился на месте.

С ходу пересекли асфальт, и вскоре из темноты возникла железнодорожная насыпь, протянувшаяся параллельно шоссе. Под насыпью сновали силуэты людей, слышалась румынская речь и наше: «Давай, давай!»

— Слышишь, как румыншти гвадят по-пашему! — смеялся кто-то, повеселев.

— Они будут нашим правым соседом, — сообщил Чернышу Сагайда, который только что вернулся от комбата.

По другую сторону железной дороги, где-то совсем недалеко, вражеские транспортеры открыли огонь. Гулкие выстрелы «МГ» как будто ударяли по жестяному небу. То и дело в темноте проходили румынские солдаты с охалками кукурузы для своих окопов.

— Здоровеньки булы, товарищочки, — кричал им Роман Блаженко бодрым голосом. — Здоровы будьте, братцы!

Бойцы, скинув с себя плащ-палатки, укрыли ими мшометы от дождя, а сами, оставшись в гимнастерках, рыли ячейки, позвякивая в темноте лопатами. Сагайда и Черныш сидели под насыпью, не прячась от дождя, потому что и негде и незачем было прятаться: они уже промокли до костей. Земля, мягкая, как губка, теплела под ними, нагреваясь от их тел.

— Иногда представляю себе, — глухо говорил Сагайда, — что было бы, если бы все на свете было единым. Чтобы ни разницы в языках, ни кордонов, ни войн... Города хорошие, белые. Хочешь — езжай в Багдад, хочешь — в Буэнос-Айрес... И люди стали бы все равными, свободными... А то не живут, а по-волчьи бродят по свету и лязгают друг на друга зубами... — И после паузы добавил уже другим тоном: — О, если б я встретил того бандюгу, который украл мою дивчину! Представляешь, а?

— Разве только у тебя, Сагайда? Сколько людей они сделали сиротами, сколько нашей молодежи угнали на каторгу... А сколько украли, покалечили людских надежд, ожиданий, прекрасных планов! У меня все время перед глазами стоит Брянский, звучит в ушах его голос. Помнишь, он как-то сказал: «Все, все мы отдаем тебе, родина: даже наши сердца...» Как это справедливо! Разве и в самом деле мы не отрекаемся от всего, на что имели право на земле! И личное счастье, и собственные желания, все мечты и все чувства мы слили в одно-единое стремление — жажду победы... Сознательно идем на все... на смерть во имя этого. И, может быть, потому она, родина, для нас становится тем дороже, тем прекрасней, чем больше лишений мы переносим за нее. Вот прожил я двадцать лет. Конечно, в жизни сталкивался с разными людьми. Были среди них, кроме хороших, очевидно, и плохие, мелкие, завистливые, злые и вообще всякие... Но странно, сейчас эти последние забылись, отошли на задний план, а вспоминаются только хорошие люди, и вся наша страна от севера и до Памира представляется прекрасным единым лагерем только хороших, честных, трудящихся людей... Подумай, Володька, какой это народ, какой великодушный народ...

Среди бойцов, копавших поблизости в темноте, кто-то громко стукнул лопатой, вероятно, попав на камень.

— Знаете, как бы я казнил Гитлера и всех виновников войны, если бы поймал их? — слышался басовитый голос из ячейки. — Я не расстреливал бы... Я бы только

выслюк его из кресла и бросил в такой вот полный грязи окоп — и пусть бы он копал и копал без передышки все осенние ночи, пока не захлебнулся бы в этом болоте, не сгнил бы в нем... А то сидят сейчас где-то в чистом и сухом, на картах воюют! Нет, ты попробуй войны в окопе, сам наглотайся грязюки по горло! Тогда, знаю, больше не захотелось бы им войны!

Только окопались, как прибежал вестовой из батальона и доложил, что приказано сниматься и идти вперед, так как противник отступает.

Сагайда подал команду выючиться.

Скользя и вытаскивая друг друга за руки, перебрались через насыпь, и снова темная пустыня залегла перед ними. Среди черного океана, как багровые скалистые острова, вздымались пожары. Близкие и далекие, они своими неподвижными заревами вызывали ощущение космической беспредельности этих темных просторов. Казалось — иди хоть столетие, все будет под ногами чавкать вязкая земля, будет моросить и моросить нескончаемый дождь, все будут выситься в темноте неподвижные острова багряных скал.

Далеко за полночь бойцы Сагайды приблизились к одной из багряных сопок, и Черныш увидел, что нет никакого скалистого острова из розового камня, а есть лишь длинные скирды, конюшни, сараи, которые горят со страшным медленным безразличием. По временам затрепчат где-нибудь балки, с грохотом посыплется раскаленная черепица с крыши, и опять все горит — ровно, медленно, обреченно.

Не горел только помещичий дом в центре просторного двора, озаренный с фасада пламенем. Стройные белые колонны, увитые диким виноградом, высились у входа. Дом порастил Черныша своим архитектурным совершенством. Не тронутый пламенем, он белел в темноте, как сказочный, замороженный от всяких стихий дворец, высился, как пастоящий властелин этой разбушевавшейся черной степи. Зияющие провалы окон с багровыми отблесками на уцелевших кое-где стеклах молчаливо и загадочно глядели на незнакомых вооруженных людей, которые заполнили двор и на мгновение остановились, пораженные.

Всегда бывает эта остановка хоть на мгновение, хоть на одну секунду перед объективом, который был только что другим, таинственным миром и бил, стрелял по тебе,

а сейчас ты должен войти в самое его путро. Знаешь, что там уже нет врага, и все же остановишься, потому что оно, это строение, по инерции еще дышит на тебя неприязненно. И только войдя внутрь и крикнув что-нибудь товарищу или даже самому себе, ты словно овеешь чужие стены своим дыханием, и они становятся близкими и понятными, как трофейное оружие, выстрелившее впервые в твоих руках.

В сараях ревел привязанный скот, задыхаясь в дыму и сгорая живьем. Опаленный жеребенок, фыркая, выскочил из пламени и остановился, дрожа, испуганно озираясь. Увидев возле минометчиков лошадей, он доверчиво пошел к ним, ища мать. Совсем маленькое, беспомощное существо топало тонкими дрожащими ножками и доверчиво тянулось к рукам бойцов. Каждому захотелось погладить его. Роман Блаженко обнял жеребенка за шею и прижался шершавой щекой к его атласной мордочке. Черныш горько усмехнулся. Его тоже в этот момент как бы гладила по щеке далекая нежная рука...

— Смотри, заколешь своими усицами! — кричали Блаженко бойцы.

— Кумысом бы малого напоить!

Воздух от близкого пожара нагревался, и бойцам становилось теплее.

XXV

Во второй половине дня пронесся слух, что справа, под натиском врага, румыны драпают, оголяя фланг. Неизвестно, кто первый сообщил эту новость, но теперь каждый знал ее. Нервная тревога появилась в движениях бойцов. И хотя минометы из-за дотлевающей скирды чихали, как и раньше, но боец, даже опуская мину в трубу, одним ухом настороженно прислушивался к тому, что делается в пехоте. А там, в ложине, за помещьем, где залегла пехота, было беспокойно. Пулеметы захлебывались. Пробежал связной из полка и на окрик Сагайды ничего не ответил, только махнул рукой. Появились штабные работники, озабоченно спешившие куда-то. Пробежала запыхавшаяся полковая разведка. Казаков бежал в расстегнутом ватнике, с автоматом в руке и, с каким-то злым вниманием вглядываясь вперед, даже не заметил Сагайду.

Комбат требовал огня и огня. Сагайда бил и бил; встревоженно поглядывая, как тают мины, как угрожающе растет груда пустых ящиков. Что будет, когда кончатся мины? Транспорт с боеприпасами еще пробирались где-то по бездорожью.

Черныш стоял на наблюдательном пункте, отрытом этой ночью прямо в поле, за именем. Он сам напросился корректировать огонь, и Сагайда согласился, считая в глубине души Черныша лучшим корректировщиком, чем был сам. В окопе, у ног Черныша, сидел над аппаратом Блаженко-старший. После того как в бою под высотой одного из телефонистов ранило, Романа поставили на аппарат, и он с присущим ему усердием взялся за новую работу. В то же время он выполнял при Черныше обязанности ординарца, хотя делал это не по воле Черныша, а только по собственной инициативе.

Расположением своего наблюдательного пункта, отрытого ночью на скорую руку, Черныш был не совсем доволен: и от огневой забрался далеко, и видно отсюда не все, что хотел бы видеть... А сейчас менять место было уже поздно. Серое мглистое поле закипало боем, то здесь, то там вспыхивали, разрывая землю, снаряды, в туповнейшейпереди ложине нарастал глухой тревожный шум. Эта ложина беспокоила Черныша больше всего. Сейчас на ее правый край как раз выползали вражеские бронетранспортеры с десантом. Черныш направил огонь минометов туда. Минометчики били на крайнем заряде, и попасть в бронетранспортер было трудно. Однако несколько мин легло за машинами, там, где брели десантники, и, когда дым рассеялся, Черныш увидел, как гитлеровцы собирались группами по несколько человек, наверное возле убитых или раненых.

Вскоре трескотня и шум поднялись и слева — в ложине, совсем близко, где до сих пор было сравнительно спокойно. В ложине то и дело вспыхивало «ура», громкое, далеко катящееся, но пехоты не было видно.

«Наверное, кричат лежа, — промелькнула у Черныша догадка. — Знаем эти штучки!.. Ах, вет на них Воронцова!..»

Транспортеры один за другим заходили в балку, прошивая ее трассирующими пулями. Поднялась настоящая огненная метель, грохот нарастал.

И вот из этой метели, из ложины, стали выскакивать бойцы: один, за ним еще двое, потом целой толпой. Бе-

жали сюда, к имению. Видимо, там, в долине, кто-то дал команду отойти. Чернышу это было понятно: противотанковую артиллерию еще не успели подтянуть, и пехота, атакованная бронетранспортерами, очутилась в тяжелом положении. Отойти от имения, закрепиться... Но не слишком ли поспешно? Не паника ли это?

Тяжелые, заляпанные грязью шинели шумели возле его окопчика. Чернышу показалось, что среди других пробежал здесь и тот пожилой пехотинец, который носился в Румынии на напуганном коне и вопил в пространство: «Останови, останови!»

— Что случилось? — кинулся Черныш наперерез какому-то пехотинцу. — В чем дело? Стой!

Солдат пробежал, не ответив. Пули щелкали все ближе, вливаясь в землю. Черныш еще кого-то останавливал, о чем-то спрашивал, кому-то угрожал пистолетом. Но от него только отмахивались. Все летело мимо него, тяжело шлепало, кричало, вскрикивало, пока и он вдруг не ойкнул и не покачнулся, раскинув руки так, словно в последний раз хотел своей грудью остановить эту лавину. Упал. А пехотинцы под градом пуль, который становился все гуще и гуще, пролетали дальше, перескакивая через Черныша, принимая его за убитого.

Блаженко, как будто и не следивший за Чернышом, сразу же заметил, вернее — почувствовал, что нет младшего лейтенанта в общей суматохе. Только что был, и — нет! Не теряя времени, Роман решительным прыжком выскочил из окопа, быстро огляделся вокруг и сразу же наткнулся на своего командира: Черныш, смертельно бледный, лежал, распластавшись в грязи, с пистолетом в руке. Закрыв глаза, он глухо стонал, будто во сне. Блаженко с одного взгляда определил, что командира ранило куда-то в голову или в затылок, потому что чубатая голова Черныша уже заплывала кровью. Блаженко даже не представлял себе, что можно бросить командира среди этого поля и бежать одному. Властным окриком с металлическими нотками, которые неожиданно появились в его голосе, Роман остановил ближайшего пехотинца, и тот застыл, оторопевший.

— Помогите взять!

Пехотинец помог, и Блаженко взвалил Черныша на плечи, взяв его, как брал в колхозе мешки с зерном — обеими руками. Черныш застонал у него за спиной. Блаженко не обратил внимания на стон, согнулся под тяжелой

пошей, побежал. Не думал он, что этот сухощавый юноша окажется таким тяжелым!

В столах, трескотне, страшном гоме тонуло все вокруг, туманилось сознание, и ноги приобретали необычайную быстроту. С того момента, когда Блаженко взял на себя младшего лейтенанта, он неожиданно потерял страх за свою спину, за свою жизнь. Ему казалось, что тело командира защищает его теперь, как панцирь, что ни одна пуля не заденет его, пока эта живая ноша лежит на нем. Ведь он сейчас выключился из войны, он только спасает другого. Был уверен, что за такой святой работой никакая сила не может убить человека.

Упал перед Романом какой-то боец, разрывная пуля ударила в голову так, что снесло череп. «А меня не может!» — подумал на ходу Блаженко и перешагнул через ноги бойца. Он бежал, обливаясь потом, крихтя, закатывая глаза под лоб, чтобы дальше видеть. Наиболее быстрые пехотинцы уже были в поместье: одни миновали дом, другие заскакивали в него, чтобы передохнуть. Пули крошили каменные стены, словно кирками. Добежав до дома, Блаженко остановился на ступенях и поднялся к двери. Шинели перед ним расступились, пропуская внутрь. На первом этаже возле дверей уже набилось много бойцов из разных подразделений — разведчики, радисты, связисты. Некоторых Блаженко знал в лицо, большинство было незнакомо ему.

— Черныш? — вдруг послышался из толпы голос Сагайды. — А ну, расступитесь! Давай его сюда!

Раненого осторожно сняли, положили на грязный паркетный пол.

В числе тех, кто помогал минометчикам устраивать Черныша, был и Казаков в расстегнутой гимнастерке, который тоже недавно забился сюда. Теперь перед Казаковым лежал уже не тот молодой, свежий, чистенький офицер, какого он встретил впервые на пограничной переправе... Галифе в грязи. Подметка на одном сапоге отстала... Погоны измялись, вылиняли за это время... И лицом возмужал, стал старше: между черными бровями залегла глубокая складка, а над верхней твердой губой пробился темный пушок молодых усов.

Блаженко и Казаков тут же принялись старательно перевязывать Черныша, разрывая свои засаленные пакеты, которые неделями носили в карманах, сохраняя для себя.

Черныш лежал без сознания. Он, как сейчас выяснилось, был ранен не только в голову, но и в бок. Пока они с ним возились, бойцов в помещении стало меньше. Набравшись духу, они один за другим бросались из дома, как в пропасть, и бежали через двор дальше, к своим. Некоторым удавалось проскочить между взрывами, иные исчезали на пепелищах в клубах дыма, и уже клочья от них летели вверх вместе с тлеющими угольями и брызгами грязи. Грохот боя, трескотня разрывных пуль нарастали. А когда два пехотинца упали, корчась, на самых ступенях, никто больше не рисковал выбегать из дома. Слева, где-то совсем близко, зашел бронетранспортер и прошивал теперь короткими очередями из пулеметов самое крыльцо.

Ужасное, страшное слово выговорили чьи-то дрожащие уста:

— Окружены!!!

Сагайда кинулся от Черныша к бойцам:

— Что такое? Что?

На какое-то мгновение стало тихо, как в могиле.

— Окру-же-ны...

Сагайда инстинктивно рванулся к выходу, но порог загородили раненые, которые ползли со двора внутрь, оставляя на ступенях следы свежей крови.

Двор опустел. Лишь кое-где еще стонали раненые. Шум стихал, удаляясь.

Сагайда встревоженно окинул глазами присутствующих и встретился взглядом с Сашей Сиверцевым, знакомым лейтенантом из полковой батареи.

Сиверцев, высокий красивый блондин с аккуратными бакенбардами, смотрел на него с недоумением, непонимающе. «Как же так? — спрашивал его взгляд. — Во время общего наступления, когда такие блестящие успехи на всех фронтах, вдруг очутиться... в мешке?» Это казалось бессмыслицей. Однако сомнений быть уже не могло: железное кольцо сомкнулось.

Бойцы, притихшие и настороженные, остро следили за каждым движением Сагайды. Этот грубоватый лейтенант всем своим волевым решительным видом говорил, что способен на подвиг, и от него ждали подвига. Ему надлежало взять на себя заботу обо всех — об их жизни или гибели... Даже не глядя на бойцов, Сагайда видел их глаза, полные вопросов, ищущие поддержки и надежды. И огромная, доселе неведомая ответственность —

чувствовал — ложилась на его плечи беспощадной тяжестью. Его даже пригибала эта тяжесть.

— Что ж, — сказал Сагайда, выпрямляясь, — что ж, братья...

Плечи его поднялись. Напротив стоял с ручным пулеметом высокий пожилой боец. Щеки у него глубоко запали, так что скулы натянули кожу.

— Пулемет исправный? — спросил Сагайда.

— А что? — взглянул боец исподлобья. Руки у него были в засохшей грязи, словно наждак.

— Исправный, спрашиваю?

— Ну, исправный...

— Не нукай, не поедешь!.. Ложись тут, на дверях.

— Я не из вашего батальона...

— Что-о?

— Не кричите! — спокойно поднял голову боец. — Страшнее видели — не испугались... А тут мы сейчас... все одинаковые!

Темная кровь ударила Сагайде в лицо.

Закипая бешенством, он приблизился вплотную к бойцу и, едва сдерживаясь, проговорил:

— Я приказываю!

— Своим приказывай...

Не успел боец закончить, как Сагайда с размаху, одним ударом, сбил его с ног.

Стало тихо. Боец, не поднимаясь, провел ладонью по лицу и молча пополз к дверям. Все ждали, что он будет делать. А он, ни на кого не глянув, с привычностью профессионала начал молча устанавливать пулемет на пороге.

— Второй помер! — крикнул Сагайда.

— Я.

— Сколько дисков?

— Полная коробка.

— Сюда!

Казаков тоже выступил вперед, обращаясь к Сагайде с какой-то подчеркнутой официальной почтительностью:

— Товарищ гвардии лейтенант... Тут наиболее опасно... Разрешите и мне стать на дверях!

— Становись.

Выставив оборону в дверях, Сагайда в сопровождении Сиверцева осмотрел весь дом, подсчитал оружие, бойцов и боеприпасы. Чем больше он занимался этим, тем силь-

нее росла в нем уверенность, и положение начинало казаться не таким безнадежным.

Выставлял посты возле окон, возле каждой дыры, откуда можно было пестить огонь и наблюдать. Инструктировал при этом бойцов детально, уверенно, как наряд на разводе. И бойцы постепенно успокаивались, приводили себя в порядок, будто и в самом деле шли в гарнизонный наряд. Незнакомые, из других подразделений, они четко выполняли волю Сагайды и обращались к нему с суровым солдатским уважением, словно к своему карначу¹.

Большинство бойцов сосредоточилось в зале второго этажа, где больше всего окон. Отсюда можно было обстреливать всю тыловую часть двора, на который уже вошли броневики и бронетранспортеры и обступили дом в отдалении.

Вечерело.

Внизу, под самыми окнами, слышался шум чужих голосов.

— Русь, сдавайся! — донеслось оттуда через разбитые окна. — Сдавайся, мы не будем убивать!

А увидев в окне бойца-узбека, закудахтали, загикали:

— Монголы! Азия!

— Русь, сдавайся!

— Гранатами! — скомандовал Сагайда бойцам, стоявшим напротив окон. — Покажите им Русь!

Бойцы, прижимаясь к стенам, высунули из окон только руки и одновременно опустили гранаты, как в воду. Внизу грохнуло, заревело и долго после того слышен был стон: о-о-о! о-о-о!..

Потом и это умолкло, и оттуда никто больше не кричал.

Пулеметы с броневиков резанули по всем окнам.

Черныш лежал в углу под стеной. На мгновение он очнулся и попросил пить. Его пересохшие губы слипались, он с трудом разжимал их. Блаженко, спросив у Сагайды разрешения, спустился вниз поискать воды. Наверху, в зале, было еще светло, а чем ниже он спускался путанными лестницами, тем больше темнело. Очнувшись в мрачном подвальном помещении, Роман нащупал в полутьме тяжелую дверь и с силой рванул ее. Бункер!

Длинный низкий подвал со сводчатым потолком был завален мебелью, чемоданами, узлами. В глубине его

¹ Караульный начальник.

спокойно горела на столике свеча, а возле нее в широком кресле понуро сидел, закутавшись в халат, старый усатый венгерец с обвисшим холемым подбородком. Увидев бойца, старик как бы очнулся от глубокой задумчивости, которая сковывала его.

— Вы еще здесь? — спросил он. Шевельнул бровями, шевельнул длинным казацким усом.

— Was wollen sie? ¹

— Воды, — сказал Блаженко, показав жестом, будто пьет. — Воды!

Старик неторопливо взял со стола небольшой бронзовый бюст и, показывая его бойцу, проговорил задумчиво, почтительно:

— Кошут...

Блаженко спутал слово с «тешик» (пожалуйста), которое он знал, и возразил:

— Нет, не это! Воды, понимаешь, воды! — И снова показал будто пьет.

А венгерец уже говорил ему что-то напыщенно и назидательно, сыпя пестрой смесью русско-немецко-словацких слов. Роман, который за время пребывания на чужой территории с удивительной сметливостью научился ловить общий смысл чужих языков и жестов, понял из речи старика, что и тут когда-то была революция и предок этого деда был офицером революции и погиб в бою, сражаясь против царя Миклоша. И что сейчас этот старый упрямый граф решил никуда не уходить из своего фамильного замка, где некогда собирались революционеры Мадьярорсага и где живет славный дух его предков-гонимых.

— Габору нем йов! ² — закончил старик непонятным проклятием, а воды и не думал искать.

Тогда Блаженко сам пошел на поиски.

Он наткнулся на множество диковинных, удивительных вещей, каких никогда не видел раньше и от которых у него теперь разбегались глаза. Однако, повертев добро в руках, снова бросал его туда, откуда взял. Веря в приметы, Роман был убежден, что как только он, наперекор совести, возьмет чужое, обидит кого-нибудь — счастье сразу отвернется от него: не выйдет он тогда из поместья живым! А старик из-под насупленных бровей все время зорко следил за ним, сердито ожидая грехопадения Ро-

¹ Что вам пужно? (нем.)

² Война — пехорошо! (венг.)

мана. Постепенно старик как бы оживал, его уже одолевало любопытство: что случилось? Почему этот чужой солдат пренебрегает его сокровищами?

В дальнем углу, за пуховиками, боец нашел наконец то, что искал. Там стояла стеклянная банка с маринованными черешнями. Взяв банку, Блаженко подошел с ней к столу и подал старику:

— Пей, граф!

Роман боялся отравы.

— Пей... Кошут!

Венгерец пил.

— Стой! Хватит!

Блаженко забрал банку. Выходя, на мгновение задержался в дверях. Он хорошо знал, куда идет.

— Слушай, мадьяр... если нас тут перебьют, капут... понимаешь... То чтоб похоронил по-человечески. Слышишь?

Наверху, в зале, было полно дыма. На полу стонали раненные. Тут уже образовался целый госпиталь. Сагайда предлагал раненым для большей безопасности спуститься вниз, на первый этаж. Никто из них не соглашался на это. Они хотели быть все вместе до конца и жались к Сагайде, собирались вокруг него в один окровавленный кулак. Сагайда в глубине души был рад, что они с ним, все вместе.

Блаженко на четвереньках пополз вдоль стены к младшему лейтенанту, хлюпая по лужам крови. Пули впились в стену над головой, и штукатурка сыпалась ему за воротник. Бойцы, притаившись возле окон, стояли наготове, но не стреляли. Гитлеровцы боялись показываться на видном месте.

Садилось солнце, и небо на западе теплилось яркими складчатыми облаками.

«Завтра должно бы распогодиться», — отметил мимоходом Роман.

Черныш, голый по пояс, лежал спокойно, будто отдыхал после большой усталости. Голова его была обмотана марлевой чалмой. На голой мускулистой груди тоже скрещивались белые бинты. Сухое продолговатое лицо Черныша еще больше вытянулось, подбородок заострился. Лежит необычно бледный, обескровленный... Исчез густой горячий багрянец со смуглых щек. Маленькие пересохшие губы крепко сжаты.

— Товарищ командир...

Черныш суровым взглядом, не мигая, смотрел на противоположную стену и не слышал Блаженко.

Стену, обогренную ярким закатом, клевали пули. Большая картина в золотой раме покачивалась на шнуре, а нарисованный венгерский рыцарь на лихом белом коне рубился с окружившими его турками в красных жупанах. И всех их клевали и клевали невидимые птицы, и они покачивались на шнуре.

— Товарищ командир, это я... Товарищ командир...

Черныш поморщился, с усилием оторвал глаза от картины и строго посмотрел на Блаженко. Блаженко разжал его твердые губы краем банки. Черныш глотнул несколько раз и вздохнул.

— Где Брянский?.. Где Сагайда?

Сагайда и Сиверцев в противоположном углу зала как раз возились около рации. Рядом с ними лежал батарейный радист, раненный в обе руки, и давал им указания.

— Отправьте меня в санчасть, — проговорил твердо Черныш, глядя прямо в потолок. — Я ранен.

В это время от окна кто-то крикнул:

— Идут!

Бойцы оглушительно застрочили из автоматов. Стреляные гильзы зазвенели, ударяясь о деревянный пол.

— Почему они стреляют? — поморщился Черныш. — Ох, зачем они стреляют?.. Когда же они настреляются! У меня болят уши.

За окном, где-то близко, заскрежетал транспортер, и трассирующие пули полетели в зал, как короткие молнии. Слова послышалось со двора гоготанье фашистов. Глаза Черныша расширились:

— Так они кругом?

Блаженко, потупившись, промолчал.

Солнце зашло за далекие горы, и стена померкла, красные жупаны турок потускнели, и красавец рыцарь тоже потускнел. Только белый копь по-прежнему скакал на полотне.

Неожиданно где-то внутри дома заиграл аккордеон и послышалась песня. Бойцы опемели, пораженные: так необычно, жутко, дико вырвалась эта песня здесь, среди крови, огня и общего напряжения.

Всю-то я вселенную про-е-ха-га-гал,
Ни-ги-где я ми-лай не нашел!

Дерзкое разухабистое пение приближалось, нарастало, словно из далекой степи. Вскоре в дверях появился и тот, кто пел: приземистый, кривоногий боец в расстегнутой гимнастерке с медалью, с перламутровым аккордеоном в руках. Курносое простодушное лицо бойца светилось широкой улыбкой; его, казалось, мало беспокоило то, что беспокоило других.

— Всё, — выкрикнул он, весело покачиваясь. — Каюк!.. Тут наша могила!

Все не сводили с него глаз.

— Внизу — вино!.. Товарищи!.. Ребята!.. Милые вы мои, эх!.. Предлагаю... осушить бочку! Всю, до дна! А потом? «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»... и... противотанковую под себя!.. Пусть видит поганый фриц, как русские умеют умирать!.. Всей ихней Европе покажем...

— Цыц! Замолчи, паскуда! — высунулась из-под рояля борода какого-то раненого. — Здесь не цирк — показывать себя... Не для того нас послали!

Глубокие морщины залегли у Сагайды на лбу. Он оставил рацию и, подойдя к «варягу», некоторое время молча оглядывал его с головы до ног.

— Товарищи, — сурово сказал Сагайда, обращаясь к бойцам. — Взгляните на этого типа. Это дезертир. Да, да, ты еще с нами, но ты уже дезертир и предатель. Как фамилия?

— Гвардии рядовой Шумейко!

— Присягу давал?

— Несколько раз, товарищ гвардии лейтенант! — выпрямился боец.

— А присяга нам что говорит? До последнего дыхания! Где б ты ни был, в любых обстоятельствах — до последнего...

— А разве я что? Я готов... Я трижды готов... Вобщем, есть... — попытался было козырнуть певец, но сделал это так неловко, что аккордеон выскользнул у него из рук и со стоном грохнулся об пол. — Ах ты, смерть моя, музыка... Амба тебе, амины!

И он ногой отшвырнул аккордеон в сторону.

— Нас ждут угнетенные народы Европы, — выдохнул Сагайда не раз слышанные слова. — Мы послапы освободить их.

— Есть освободить! — снова козырнул боец, довольно стойко держась на ногах.

— Помолчи, пьяная морда! — гаркнул на него Сагайда. И опять обратился к бойцам: — У нас здесь нет трибунала. Мы сами трибунал! Что мы с ним сделаем?

— Девять граммов ему, — крикнул кто-то из угла. И все подхватили: — За окно! За окно, как собаку.

Это, кажется, выгнало из него хмель. Он увидел, что с ним не шутят.

— Братцы, — запричитал он. — Как же это...

— За окно паразита!

Сейчас им жаль было потратить на него даже девять граммов свинца — патронов было мало.

В это время через порог ввалился тот пулеметчик с запавшими щеками, которого Сагайда силой заставил залечь у главного входа. Пулеметчик тяжело сел у порога, опершись о косяк и поддерживая рукой расстегнутые штаны.

— Тоже пьяный? — крикнул Сагайда.

— Нет... меня ранило, — тихо промолвил пулеметчик.

Пот катил с него ручьями. Держа одну руку на животе, он другой поднял рубашку. Сагайда нагнулся и невольно вздрогнул: из-под пальцев пулеметчика выпирали кишки.

— Кто пулеметчик? — обратился к бойцам Сагайда.

— Я! — первым ответил «варяг». — Три года...

— Ты пьяный.

— Гвардии лейтенант... Я не пьяный!.. Я — дурак! Разрешите, я пойду к двери!

Сагайда подумал и еще раз смерил «варяга» оценивающим взглядом. Тот стоял уже серьезный и не качался.

— Сержант Коломиец! — позвал Сагайда полкового связиста, которого знал еще с Донца и который сейчас выполнял у него обязанности разводящего. — Отведи этого... «варяга» на пост.

— Есть, на пост!

— Проверишь: уснет — не буди. Стреляй на месте.

— Есть...

Шумейко еще раз козырнул всему честному народу и исчез за сержантом в дверях.

А раненый пулеметчик, закусив потрескавшиеся губы и стараясь не стонать, все что-то шарил и шарил у себя на животе, словно искал в своих лохмотьях вшей. Сагайда приказал сделать ему перевязку.

— Не надо, — со странным спокойствием сказал пулеметчик. — Пакетов мало у нас... А мне... мне уже все равно.

Он поднял к Сагайде серое измученное лицо с большими печальными глазами. Что это были за глаза!

— Товарищ гвардии лейтенант...

— Я вас слушаю.

— Простите... меня.

Сагайду бросило в жар. Он сразу догадался, что имеет в виду боец.

— Пустое!

— Нет, простите, простите...

Он кивнул, чтобы Сагайда наклонился. Сагайда нагнулся к его впалой колючей щеке, и они как-то особенно, по-мужски, торжественно трижды поцеловались,

XXVI

Казаков лежал в дверях, поставив автомат диском на порог. Рядом с ним, возле другой половины двери, темнел за пулеметом «варяг». Вдоль стены были сложены граматы со вставленными уже запалами. Когда сержант Коломиец привел этого приземистого, плюгавого «варяга» на смену раненому пулеметчику, Казаков оценил его невысоко: хлоп! Разве он сможет заменить своего раненого в живот предшественника, который даже Казакова поражал своей виртуозной работой настолько, что разведчик, обращаясь к нему, почтительно называл его «батя».

Однако «варяг» залег у пулемета так фасонисто и уверенно, словно давно тут лежал.

И во время боя впечатление Казакова постепенно менялось. Руки у бойца были на удивление ловкие, каждое движение красивое, уверенное и твердое: видно было, что ему не впервые лежать за «ручником». Очутившись на опасном посту, он как-то весь собрался, быстро отрезвел и уже покрикивал на своего подручного энергично и властно.

— Давай магазин!.. Живей поворачивайся, пьяная морда! — подгонял он, хотя подручный был трезвее трезвого.

Когда на темном дворе возникал подозрительный шорох или сдержанный лязг оружия, пулеметчик немедленно давал в том направлении короткую молниеносную очередь. Стреляя, он весь прирастал к пулемету, и казалось, что он стреляет уже не только руками, а всем своим коротким пружинистым телом.

Казаков по себе знал, как опасность изменяет человека. Это он испытал много раз, выходя ночью на задание.

Тогда бывает так, что неожиданно исчезает вялость и утомленность, а напряженные до предела нервы наполняют все тело тугой, настороженной силой. В такие минуты разведчик осознал, какая огромная мощь заключена в человеке. Эта мощь не замечается в обычное время, она просыпается только перед лицом смертельной опасности. Тогда человек расцвстает, молодеет, словно мускулы и дух не одного, а сотни здоровых людей соединяются вдруг в одном теле, напряженно играя могучей,стойкой упругостью. Так было с Казаковым и сейчас. Может, поэтому он, лежа у дверей, и был так уверен, что его не убьют, что его невозможно убить. Эта дерзкая уверенность, убежденность не покидали его в самые трудные моменты фронтовой жизни. Быть раненым, оглушенным, искалеченным — это он представлял, потому что подобное уже испытал на себе, а исчезнуть совсем, не существовать — этого, он был уверен, случиться не могло.

За помещьем, где-то в районе железной дороги, взвивались чужие ракеты. Странно было, что между ним, сержантом Казаковым, и его полком громяхают, ездят, пускают ракеты враги. О чем они думают? Временами казалось, что это не он окружен тут, загнанный в темный каземат среди горной степи, а, наоборот, окружены они, враги, потому что через их головы полк всю ночь переключается с Казаковым, стреляет, живет. Полк! Это было для него самое дорогое, полк не мог покинуть его в беде... А он? Разве он, Казаков, вечный солдат, мог представить себя без полка? Без полкового знаменья, без комендантской, без скупого ОВС, без всего другого? Нет, это невозможно!.. Когда сержант стрелял, он ясно представлял себе, что его выстрелы слышат и там, в его родном полку. Слышат, как и тогда, когда он выходил с товарищами на задание во вражеский тыл и весь полк, подготовившись к прыжку вперед, вслушивался в поднятую ими суматоху за вражеской обороной. И горячий «хозяин», командир полка Самиев, поставив ухо в ночь, говорил скороговоркой:

— «Волки», «волки» действуют! Ах, здорово, ах, сукины дети!.. Передайте первому «хозяйству» — немедленно поднимать «карандаши»¹.

Вспомнил Казаков, как в свободные часы «хозяин» шутил заставлял его ходить «по-граждански». «Что ты,

¹ Условное название пехоты.

Казаков, все горбишься, все на пятках ходишь, все крадешься! А ну, выпрямись, пройдишь по-граждански, представь, что ты сейчас где-то на проспекте с дамой под ручку!..» Казаков старался так пройти, но что это была за походка! И в роли кавалера он тоже крался по-волчьи, развлекая этим всю свою братву.

— Не умеет, не умеет! — хохотали разведчики. — У сержанта волчья жила в ногах, товарищ гвардии подполковник!

Вспомнив эту сцену, Казаков улыбается, ему как бы становится теплее в холодной темноте. О полк, полк!..

Немного погодя обращается к своему соседу-пулеметчику:

— Как думаешь, коряга, выстоим?

— Что за вопрос! Им тут верный каюк!..

И пулеметчик с силой щелкнул металлом, вставляя новый диск.

В зале было темно, и Роман Блаженко, пробираясь к окну на свою смену, боялся наступить в темноте на какого-нибудь раненого. Невзпачай провел рукой по клавишам рояля. Басы заворчали пеприяппеппо, жутко. Роман занял место у окна и, прислонившись плечом к стене, стал зорко вглядываться в то, что делается во дворе. Оттуда дул осенний холодный ветер.

Небо исходило звездами. Темнота, глубокая и студеная, разлилась над миром, и казалось, не перейти ее, не перелететь. Ветер гудел и качал темноту и небо, так что даже звезды сыпались с него и падали в руки кому-то далекому, счастливому. Ой, гопит ветер песочек, замечает много следочек...

Был он когда-то молодым, сидел при луне под калиной с девушкой. Было то на самом деле или только прикинулось ему? А сейчас вот заброшен судьбой за тридевять земель от родного края... Здесь, среди этой бескрайней слепой степи, под чужими звездами, под ветром, что развеивает пепел пожарища — аж распалются искры, — здесь он, рыбак с Буга, наверное, закончит свой путь. Незачем тешить себя понапрасну, он не ребенок, может посмотреть горькой правде в глаза.

Хотя фашисты сейчас как будто утихомирились. Броневики, словно огромные черные гробы, замерли в темноте, притихли. Но ведь не забыли там они, что в доме полно красноармейцев. Наверное, их ученые офицеры составляют сейчас какие-то саташипские планы, ломают

головы над тем, как укоротить век Блаженко и его товарищам. Чтоб осталась вдовой, где-то там, над голубым Бугом в зеленых берегах, его верная Аленка с малыми детьми. Чужие отцы будут возвращаться домой из походов, а она, обвешанная детьми, заслонясь ладонью от солнца, будет высматривать и его на пыльном шляху, а его все не будет и не будет! Придет, может быть, Денис — хоть бы он остался жив! — и расскажет дома про Ромапа. Дениса теперь принимают в партию, быть ему после войны бригадиром, а то и председателем колхоза. Расскажет он все про Романа. Как, попав в окружение, дрался с фашистами где-то в далекой Трансильвании, да и погиб честной смертью! Будет и для Романа стоять на столе полная до краев чарка, да так и останется невыпитой. Ой, Буг, Буг! Далеко от тебя забились мы!

Шаг за шагом оглядывает он свой пелсгкий жизненный путь, проверяя, все ли там у него как полагается. Иногда вздыхает, иногда мысленно обращается к кому-то. «Кум Дорош! Простите меня, что я ваши венгеря потрусил. Было тогда мне очень скрутно, а в мои ничего не попадалось!»

Когда мелькнет тень через двор, он, тщательно прицелившись, посылает туда пулю.

И снова думает, вспоминает, исповедует, как на духу. И когда воображение рисует Роману, как они лежат здесь, уже разорванные собственной последней грапатой, то он воспринимает такой конец с мудрым спокойствием, как вещь естественную и неминуемую. Раз надо, так надо! Это даже лучше, чем если бы их, захватив, мучили нещадно, жарили живьем где-нибудь под скирдой... Видел он и такое — после того ночного боя в горах, когда захватили перевал. Возле сожженной скирды лежали наши бойцы, рядышком, все замученные, обугленные. Перед тем их где-то захватили фашисты. Нет, тут разминуться негде, прятаться бессмысленно, надо стоять грудью. Ромап бережно пересчитывает в карманах патроны. Давно, давно прошли те времена, когда он стрелял по врагу, не целясь, выставив только карабин на бруствер, а голову спрятав в окоп. Было, было и такое, и сейчас, в этот, быть может, последний час, можно и в этом признаться. Но теперь он уже не такой. Провело тебя, Роман, через Альпы, как через горнило, закалился ты и, возможно, хоть перед смертью становишься ты настоя-

щим солдатом, который бьется с врагом, не лукавя! Целится так, чтоб не промахнуться!

Только было ему горько оттого, что, наверное, старый граф не похоронит их как следует, не посадит у изголовья червонную калину. А так бы хотелось, чтобы хоть что-нибудь осталось после него на земле, хоть бы кустик яркой калины. Рассказала б она ветрам о Романовых думах, а буйные ветры понесли б их через Альпы на восток... Что стоило б старику исполнить последнюю волю Романа? Правда, придут же скоро сюда наши, придет Денис, он отыщет брата и похоронит.

Роман долго копался в кармане, нащупывал металлическую замасленную протирку и, повернувшись к стене, неторопливо что-то скребет по ней протиркой, как гвоздем.

«Денис, брат, — медленно царапает он в темноте, — с лейтенантом Сагайдой мы все тут...»

Он долго думает, подыскивает нужные слова. Вспоминает бои в горах, вспоминает гвардии старшего лейтенанта Брянского и как тот обращался к ним перед боем, незадолго до своей смерти. И Роман снова скребет: «стояли насмерть».

Впиз на кого-то сыплется штукатурка, и с пола чертыхаются:

— Стену ты там грызешь, что ли?!

— Очумел человек, на стену лезет!..

Блаженко молча прячет протирку в карман. Теперь ему становится легче. В кармане он нащупывает мягкий шелковый платок. Где-то он прихватил его среди раскопанных Хомой трофеев, припрятал, приготовил в подарок дочурке... Вынул, стал разворачивать, распускать на ветру шелк. Приятно течет под шершавыми пальцами ткань, мягкая, ласковая, как бугская вода. Течет и течет до тех пор, пока Блаженко не выпускает ее на ветер за окно. Уже ничего ему не нужно. Теперь Роман чувствует себя чистым, словно в последний раз вымытым и одетым в чистое белье. В карманах нет ничего лишнего, только патроны. Роман перебирает их пальцами.

Считает.

Считает, как самоцветы.

У тлеющего пепелища шмыгнула тепь, Блаженко мгновенно прицелился в нее.

— Порядок! — вдруг слышится из темного угла радостный бас Сагайды. — Готово!.. Товарищи!.. Есть!..

Они паладили рацию.

Солдатская радость всегда крылата! В ту же самую минуту далеко от поместья, в родном полку, который занял оборону вдоль железной дороги, по всем проводам тоже пронеслась радостная, волнующая новость: установлена связь с окруженными, с отрезанной в графском имении группой однополчан!

В минометной роте Маковейчик аж подпрыгивал возле своего телефона.

— Я ж так и знал, что они не сдались!

Поместье требовало огонь на себя.

Артиллеристы получили приказ непосредственно от генерала — не жалеть снарядов. Боеприпасы везли и везли всю ночь, в тылах не ложились спать. Минометы Сагайды тоже были готовы к бою. Как и раньше, стояли возле них расчеты, хотя и поредели они в последних боях. И слушали они уже не хриплые команды Сагайды, а строгий голос Дениса Блаженко: он, как самый опытный из младших командиров, взял на себя командование ротой. Денис твердо и уверенно выполнял свои новые обязанности, в конце концов хорошо знакомые ему. Еще с вечера он пристрелял отдельные участки поместья и самый дом, который был сейчас записан у наводчиков как цель № 1.

Присвечивая шкалу сигарками и фонариками, наводчики в последний раз проверяли установки. Блаженко, нахмурив брови, прохаживался по огневой, и Хома Хаецкий, которого он назначил своим ординарцем, следил теперь за ним с такой же готовностью, как когда-то Шовкуп за старшим лейтенантом, чтобы кинуться выполнять любое задание командира. Они все уже были хорошо обстреляны, и солдатские суровые обычаи впитались в их кровь.

Недавно Денису стало точно известно, кто из их батальона находится в окружении. Теперь он изредка бросает на поместье внимательный взгляд, будто надеясь увидеть там брата. Может быть, Роман в это время сидит, отстреливаясь, где-нибудь на чердаке, может быть, первая мина, которая вылетит по команде Дениса, ударит брату в окно. Даже если бы Денис наверняка знал, что будет именно так, он, кажется, ни на мгновение не колебался бы отдать команду. Это война, и поместье требует огонь на себя.

И когда наконец среди темной ночи прозвучал залп и мины по команде Дениса, вырвавшись из огненных жерл, как из истерзанного сердца, стремительно зашуршали вверх, Денис сжал свой тяжелый кулак. «Получай, брат, письма! Посылаю тебе горячие письма!» Не отрывая взгляда от поместья, он рубил и рубил кулаком воздух:

— Пять беглых — огонь! Огонь! Огонь!

И, когда поместье среди бесчисленных вспышек засияло своими белыми колоннами, Денис будто и в самом деле увидел брата, который поднялся среди степной темноты уже не простым рыбаком с Буга, а могучим, необоримым воином.

XXVII

Огонь на меня!

Это было почти равносильно тому, что кто-то сам стал бы призывать на себя гибель. Однако никто из окружающих сейчас об этом не думал.

Когда воздух загрохотал громом, все в зале потянулись к окнам. Раненые поднимали головы, опирались на локти, тянулись к колеблющимся красным отблескам, не обращая внимания на пули, бешено застучавшие в стены над их головами.

Гром и феерическая извивающаяся река, засверкавшая в зале, как будто выводили Черныша из тяжелого бреда. Красные янычары весело затапцевали на стене, белый конь, выгнув шею, то вдруг исчезал со своим рыцарем в тени, то снова вырастал, когда за окном вспыхивало.

— Я «Крейсер», я «Крейсер», как меня слышно, как меня слышно? — скандировал возле радики Саша Сиверцев.

— Не привалит нас тут? — радостно посмотрел кто-то на потолок.

— Не пробьет! — бодро ответили ему из-под стены. — Не должно пробить!

Вооруженные бойцы, сбившись возле окон, стояли суровые и сосредоточенные. Два бронетранспортера уже горели во дворе. Другие загудели моторами, расползаясь в темноту.

— Я «Крейсер», я «Крейсер», как меня слышите, как меня слышите, прием, прием!..

«Крейсер?! Почему крейсер?» Черныш вслушивался горячим ухом, как гудит и глухо вздрагивает все под ним, словно корабль во время шторма. Куда он плывет и почему так ослепительно ярко вокруг и почему так душно? Пышет горячее море, бушует жаркими волнами... Нет, это не море, это он проплывает в песках, в горячих пустынях Азии. В далекую экспедицию выступил караван. Пикнут в изнеможении сожженные солнцем травы, бредут отары овец, понутив головы в поисках водопоя. А перед ними идут чабаны в сухих постолах и острых румынских шапках.

Вдруг он останавливается под зелеными деревьями, где много людей сидит на коврах и пьет из больших пиал прекрасный напиток из маринованных черешен. Пьют и смеются и дружески беседуют между собой, и среди них он узнает Брянского, но Брянский уже не Брянский, а вожатый каравана. На нем расшитая бисером тибетейка и пестрый халат, а говорит он по-венгерски. Девушка с черными косами откидывает паранджу, и Черныш неожиданно видит, что перед ним та девушка из Альба-Юлии, которая хотела гадать ему в каменоломнях. Она смотрит на него ласково, как его мать, гладит смуглой рукой по горячей щеке и шепчет ему: «Красивые горы вы, Альпы!..» А дыган играет «Катюшу», и он, Черныш, уже танцует с детьми. А потом и все присутствующие закружились в танце под зелеными деревьями, и счастливый гомон и дружеский смех сплелись в единую симфонию звуков и красок, в фантастический огромный карнавал, словно там собрались люди всех рас и наций мира. И среди мешанины разных языков, какие он знал и какие не знал, полностью ему был понятен только смех, единый для всех племен, одинаковый у всех людей на земле.

Счастливый и веселый, он посмотрел на высокое небо, но это было уже не небо, а грандиозный лазурный циферблат, и вращались по нему огромные стрелки, похожие на каменные дороги. И Черныш командовал, ощущая в себе могучую силу и безграничные права:

— Хаецкий! Поверни шоссе! Шоссе на запад! Так! Прицел шесть шестьдесят шесть!..

— Бредит, — сказал кто-то поблизости.

Черныш пытается подняться на локте и видит мерцающий зал и людей с оружием, которое грозно поблескивает в их руках.

— Кто бредит? — спрашивает он строго и снова падает на огонь, который ему подложили вместо подушки. — Я пьяный... Пьяный вином свободы!

И снова слышит глубокие голоса и далекий смех. Они долетали откуда-то сверху, словно с хоров огромного храма, и он взбирался к ним по отвесной скале, раскаленной, как огонь. Оглядывался и видел внизу странные колодцы, в которых едва мерцает вода. Где он их видел? И когда? Когда был маленьким и бросал в них камешки, которые летели туда целую вечность, пока наконец звонко не булькали. Булькали и начинали говорить:

— Домине офицер... Домине офицер...

— Так это ты? — пристально вглядывается в него Черныш. — Это ты? Чего ты хочешь? Твоего коня уже нет. Говори! Где ты был?

— Я никуда не ходил, — говорит Роман, пробираясь к Чернышу. — Я стоял на посту.

— На посту, на посту, — жарко шепчет Черныш. — Где же твой пост?

— Возле третьего окна, товарищ командир.

— Возле окна? Почему возле окна? Возле какого окна? А, это там... на высоте. Я вижу отсюда твой пост. Ты кто?.. Но ведь ты убит!!!

Он в ужасе закрывает глаза, и снова кто-то зовет его и умоляет отдать коня:

— Домине офицер!..

— Замолчи! Вон твой конь! Посмотри!

И он показывает ему на степу, на пескончаемую разбитую дорогу, по которой бредут бойцы по колено в грязи, подоткнув свои шинели, идут машины, и танки, а в это время из кювета поднимается снежно-белый конь с вырванной грудью. И уже нет вокруг него красных жупанов и нет на нем юноши рыцаря, а конь упирается дрожащей ногой в грязный кювет и тяжело поднимает свою лебединую шею, но она снова бессильно падает в грязь, а конь стонет, и плачет, и умоляет:

— Останови! Останови!

А войска проходят мимо коня-лебеда, чавкают ноги неисчислимых армий, ползут пушки, режут тягачи и танки, и никто не обращает на него внимания, все проходят дальше, оставляя его в кювете при дороге.

— Порядок, порядок, — радуется Сагайда, — два горят, два горят, еще огня, еще огня...

— Не пужно огня! — кричит Черныш, порываясь вскочить. — Я лежу на огне! Весь на огне!!!

— Еще огня, еще огня, — скандирует Сагайда в противоположном конце зала.

XXVIII

Обстрел поместья усиливался.

Глухая сила, сотрясавшая весь огромный дом, подняла и старого графа, и он, взяв спеху, медленно поплелся наверх.

Остановился за дверью и не смел войти в свой зал. Во все окна с шипением прывались трассирующие пули, словно заносило сюда ветром трескучий огненный дождь. А страшные люди с незнакомым оружием в руках стояли возле окон с обеих сторон, отблески красных взрывов прыгали пятнами на их бледных лицах, на сизых, как сталь, шинелях, словно на панцирях древних рыцарей. В доме графа, в этом гордом семейном гнезде, будто снова витала его далекая революционная молодость. Бойцы безостановочно вели огонь, зал наполнился грохотом, гарью и дымом. Теперь, когда сторожевые бронетранспортеры были разогнаны артиллерийским огнем, враг шел волна за волной в контратаку, стремясь ворваться в дом, боясь потерять добычу. С прищуренными острыми глазами, с запекшимися губами стояли бойцы на своих местах, ведя методический огонь только по живым целям. На старого графа никто не обращал внимания.

— Королев! — кричал боец от окна какому-то раненому. — У тебя мой диск?

— Я заряжаю Мостовому!

— А где же мой? Кто набивает мой диск? — кричал боец раненым, которые, кто только мог, набивали рожки и диски. — Эй, борода, у тебя мой диск?

Венгерец не понимал языка, не понимал этих людей и их фанатического упорства. Какой-то раненый, заметив его, сердито крикнул из-под рояля:

— Ну? Чего зенки выпучил? Чего со свечой? Хорошенько подумал? Рано, брат...

— Он как сова, — добавил другой, — при нашем огне не видит: со своим пришлепал...

В самом деле, здесь ни к чему была свеча мадьяра, потому что и так было светло как днем: бронетранспортеры

нылали против окон. Дрожащие сиянья тысячами безмолвных крыльев трепетали в зале. А незнакомые рыцари стояли в серых шинелях, как каменные, поражая старого мадьяра своим таинственным мужеством. Какой-то раненый, припадая на одну ногу, шел из коридора, неся в поле грязной шинели пачки немецких патронов. Их немало осталось внизу после немцев, и теперь бойцы, у которых было трофейное оружие, использовали их не жалея.

— Посторонись! — оттолкнул раненый мадьяра. — Путаешься тут, старый хрен... Давай сюда или туда.

Губы у раненого были пересохшие, черные. Он облизнул их.

Граф закивал головой и поплелся вниз со своей свечой, что-то бормоча.

Вскоре он снова появился в дверях со стеклянной банкой консервированных фруктов. Руки раненых потянулись к нему со всех сторон, готовые вырвать банку. Старик растерялся, а какой-то стриженный боец в шинели с поднятым воротником уже приложил банку к губам.

— По одному глотку! — сказал он, жадно глотнув и передавая банку товарищу.

— По одному глотку! — кричали отовсюду. Все вдруг почувствовали нестерпимую жажду.

— Оставьте офицеру! — кричал Блаженко из угла. — Дорвались!

Но не хватило и по одному глотку. Тогда опять накинулись на мадьяра, словно он был виноват во всем,

— Лучше б не дразнил!

— Только жажду разжег!

— Давай еще!

— Давай, старый хрен!

Это он понял и снова должен был спуститься в бункер. Вернулся с несколькими банками на серебряном подносе. На этот раз Блаженко встретил старика в дверях и, выхватив у него одну банку, поспешил с ней к Чернышу.

Черныш напился вволю, и уже горький чад, тошнотворный запах крови, дрожание всего дома не мучили его сознания. Мысли прояснились. Только теперь он почувствовал в своей руке судорожно зажатую маленькую холодную гранату Ф-1. В минуту просветления Черныш тайком взял ее под стеной у соседа и спрятал под себя. Он скрывал ее, как вор, чтобы не заметил Блаженко. Она была заряжена — маленькая рубчатая его спасительница.

Вся жизнь Черныша сосредоточилась в ней, и он зажал ее, эту жизнь, в своей ладони. Если бы все было копчено, если бы чужой говор заполнил темные своды и загремели чужие сапоги здесь, рядом, тогда он сорвал бы чеку, последнюю чеку в своей жизни. И именно потому, что на случай катастрофы у него было теперь чем покончить с собой, он чувствовал себя почти в полной безопасности.

— Товарищ гвардии лейтенант! — громко обратился кто-то к Сагайде. — Пулеметчик готов. Не дышит.

— Вынесите в коридор.

Снаряды в поместье падали и падали, с пением опускаясь с высоты, и Сагайде казалось, что летят они откуда-то издалека, где о нем думает кто-то.

— Интересно, какая сегодня сводка Информбюро? Как ты думаешь, Сагайда! — спросил Сиверцев, сидя около радиации. — Что, если запросить, а?

— Выругает «хозяин».

— А про нас передадут?

— В сводке? Ты что — смеешься? Это... незначительный эпизод.

Незначительный эпизод! Но такой ли уж он незначительный? Раньше, воюя вместе с Брянским, Сагайда как-то мало задумывался над смыслом своей деятельности, над своей ролью в общих событиях. Он как бы надеялся, что Брянский все обдумает и за него, а ему останется только козырнуть и стремглав броситься в огонь и в воду, выполнять боевой приказ. Теперь же, когда сами обстоятельства заставили его взять на свои плечи непривычную ношу, ответственность за жизнь товарищей и за судьбу этой крепости, он увидел все события в другом, более глубоком освещении. Он представил себе весь огромный фронт от Балкан и до Северной Норвегии, где армии его страны ведут неустанныю борьбу с врагом. И в этой железной тысячекилометровой цепи маленьким звеном стоит его «крейсер». Конечно, если этот «крейсер» падет и Сагайда взорвется со своими товарищами на последней гранате, то почти ничего не изменится. В общем потоке событий их подвиг в самом деле мало заметен. Но разве не из таких незаметных «крейсеров», которые борются изо дня в день, которые выстаивают изо дня в день, — разве не из них как раз и складывается единое великое движение вперед, к тому ясному дню, который будет назван Победой? Незначительный эпизод... Пусть не будет его в сводке Информбюро. Но он нужен людям, как воз-

дух, и каждый это понимает, иначе почему же тот смертельно раненный пулеметчик так проникновенно смотрел ему в глаза и за то, что он его ударил, молил: «Простите, простите...»

Снизу прибежал взволнованный Казаков с автоматом в руке.

— Лейтенант! Танки урчат!.. Ракеты!.. Кажется, наши идут в атаку!

Сагайда вскочил, и они оба загрохотали по ступеням вниз, к парадному. Черное поле за помещьем вихрилось ракетами, трассирующими пулями, ревело и стонало, словно катилась сюда во мраке ночи какая-то необоримая вечная сила.

XXIX

Шум моторов нарастал.

В сумерках бледного сентябрьского рассвета все четче вырисовывались контуры строений. За ночь они стали ниже, потому что крыши, перегорев, обвалились, и оттого весь двор, безлюдный и тихий, казался иным, чем вчера.

Грохот боя катился где-то в поле, правее и левее помещья, гул моторов усиливался, и вдруг из-за стены обгоревшего коровника высочила группа гитлеровцев.

— Panzern! Panzern! — орали они и мчались через двор вслепую, пригнув головы. Грязь летела во все стороны из-под их ног, хотя бежали они, казалось, по твердому. Уже ясно видна была лягушачья прозелень их надутых ветром плащ-палаток.

Ослепленные ужасом, солдаты мчались прямо на дом.

— Приготовься! — резко крикнул Казаков соседу и сам замер в напряженном остром ожидании. Добыча шла на них.

— Режу! — крикнул «варяг».

— погоди!.. Мы их живьем!..

В это мгновение из-за той же задымленной стены вылетел на полной скорости наш танк, ведя пулеметный огонь. Пули зацокали по каменным ступеням и с шипеньем зарикошетили. Казаков отвернул голову в сторону. Когда он снова выглянул, то увидел только танк,

¹ Танки, танки! (нем.).

который, разворачивая землю и разбрасывая ее, как корабль волну, уже выходил со двора в поле. На его гусеницах трепыхались клочья лигушачьих палаток.

Немецкий снаряд прошумел над домом в нашу сторону и разорвался где-то недалеко. А из-за опаленных, изрытых осколками и пулями стен хлынули толпой наши — наши братские серые шинели! — и, развеваясь, летели прямо па дом. «Варяг» и Казаков сорвались им навстречу. Казаков бежал, но чуя под собой землю, и не мог ничего крикнуть, потому что звуки застряли в горле, а глаза затуманились слезами. Схватив первого пехотинца, какого-то маленького, веснушчатого, радостного, Казаков оторвал его от земли и изо всей силы прижал к своей груди.

— Черти! — только выкрикнул он и па радостях куснул пехотинца за ухо так, что тот запищал.

Среди наших занестрели и зеленые румынские шинели — румыны тоже принимали участие в общей атаке. Пробежал знакомый Казакову командир стрелковой роты в кожанке, энергично выкрикивая:

— За мной! За мной!

Пехота, не задерживаясь, миновала поместье, на ходу дозаряжая оружие. Моторы гудели все дальше, голоса уходили все глубже и глубже в степь, клекот вражеских пулеметов долетал все глуше. Бойцы-пехотинцы, которые продержались ночь в доме, вырвавшись сейчас на свежий воздух, на ходу присоединялись к своим подразделениям.

За поместьем открывались волнистые, по-осеннему серые равнины, кое-где сталью блестели на них после дождя озерки и виднелись — далеко-далеко — шерепки посадок вдоль дорог, еще запятых врагом. А еще дальше на запад снова вставали горы. Низкие дымчатые тучи пылали над ними, обтекая вершины.

В дом пришли с посылками санитары и начали сносить раненых и убитых на первый этаж. Сюда же принесли и несколько рапеных, наших и румын, подобранных только что на поле боя. Ждали санитарных подвод.

Вынося из зала последних раненых и поскальзываясь на лужах крови и на отстрелянных окровавленных гильзах, один из санитаров обратил внимание своего товарища на стену возле окна:

— Смотри, Каширин, что-то нацарапано...

И медленно, по складам стал читать:

Денис, брат,
с лейтенантом Сагайдой
мы все тут — стояли насмерть.

Слово за словом разбирали санитары эту надпись. И она уже звучала для них как нечто легендарно-давнее, таинственное, написанное кем-то особенным, а не этими обычными людьми, их однополчанами.

XXX

Через поместье уже шли минометчики с трубами на плечах, и возбужденный Сагайда вышел им навстречу, как из пекла.

— Товарищ гвардии лейтенант, — рапортовал ему Денис Блаженко, выпрямившись старательней, чем когда бы то ни было. — В роте за время вашего отсутствия ничего особенного не произошло.

И потом уже, глядя в сторону, сдержанно спросил вполголоса, где брат.

— Живой! — успокоил его Сагайда. — Усы засмолил за почь, а все остальное в порядке... Сдаст в савроту младшего лейтенанта и нагонит.

— А младший лейтенант? — с тревогой обступили Сагайду бойцы. — Как он? Выживет?

— Выживет! Выживет!

Рота облегченно вздохнула.

— А я знал, что фашистам вас не взять! — радостно воскликнул Маковейчик. Сагайда за это «пацнул» его пятерней.

Вскоре, отыскав комбата, Сагайда по всей форме отрапортовал, что в его минометной роте выбыл из строя по ранению командир взвода Евгений Черныш, а кроме этого, ничего особенного не случилось. Комбат молча обнял Сагайду, и они пошли дальше рядом.

— Черныша... очень?

— В голову... В бок... Пулевые.

— Выживет?

— Должен выжить. Хотя ковырнуло его безбожно.

— Хотя бы выжил... Славный он парень.

Они выходили в поле. На поблекших твердых лугах перед ними уже пролегли свежие следы наших танков

и самоходок. Спешили вперед пехотинцы, отдельной группкой тащился батальонный штаб, рассыпавшись, шли мипометчики с лафетами и плитами на спинах, словно закованные в броню.

Первой к графскому дому подъехала румынская санитарная повозка с плоской открытой платформой. Роман, помня наказ Сагайды, настоял, чтобы в первую очередь взяли его офицера. Черныша, забинтованного, окровавленного, вынесли и положили на повозку рядом с каким-то румынским сержантом, раненым, очевидно, в легкие, потому что при дыхании кровь выступала у него из ноздрей и изо рта.

— Блаженко, — тихо позвал Черныш. — Возьмите — вот... — И он, разжав свою онемевшую руку, протянул Роману гранату.

Следы граваты глубокими клетками вдавились в его ладонь.

— Где вы ее взяли? — ужаснулся боец. — Ох, мать моя родная! Да ведь вы могли, когда были без сознания...

— Довольно, — перебил его Черныш. — Где мой планшет?

— Есть, есть, — успокоил офицера Роман и стал торопливо прикреплять планшет Брянского к ремешку на диагональных брюках Черныша.

— А шинель его где? — крикнул, обращаясь к Блаженко, один из санитаров.

Шинели у Черныша не было. Полуголый, перекрещенный одними лишь окровавленными бинтами, он уже начинал дрожать от холода, его смуглое тело покрылось гусиной кожей. Гимнастерка лежала в головах, свернутая комком, вся в крови. Роман стал сбрасывать для Черныша свой ватник, но румыны остановили его. У их раненого была большая шинель, и они прикрыли ею обоих — и своего сержанта и Черныша. Ездовой сел на передок, причмокнул, и рессорная повозка на резиновых шинах легко покатилась, прокладывая за собой мягкую колею.

Черныш лежал навзничь, низкие седые облака быстро бежали над ним. Где-то под самыми облаками четким, строгим строем летели, едва слышно курлыкая, журавли.

«Знаешь ли ты пути птиц?» — спрашивал его когда-то Брянский. Когда это было?

— Домине офицер, — вдруг услышал Черныш рядом слабый проникновенный голос.

Превозмогая острую боль, Черныш повернул лицо к соседу. Большие искристые, как уголь, глаза неподвижно смотрели на него из-под края шинели, которой они оба были укрыты. Было что-то удивительно знакомое в этих молодых, пытливых, распаленных страданием глазах. Неужели тот? Неужели тот самый сержант, у которого он отобрал когда-то коня в далекой, переполненной солнцем и воинственным клекотом Румынии?..

Роман Блаженко, проводив лейтенанта, еще некоторое время стоял на опустевшем дворе грустный, с опущенными усами. Потом поднял с земли круглую гранату Черныша, неторопливо приладил ее себе к поясу и, вздохнув, зашагал в поле догонять своих.

Поле жило, клекотало.

Артиллеристы, весело переключаясь, тащили вперед орудия, нещадно подгоняя взмыленных лошадей. Торопясь, шла минрота соседнего батальона с навьюченными лошадьми в седлах системы Брянского. Озабоченные связисты уже прокладывали кабель куда-то вперед. За ними с термосами на спинах тащились ротные старшины, переутомимые солдатские кормильцы. Горячие термосы с борщом уже нажгли им спины, пот катил с них градом, а они, запыхавшиеся, все еще никак не могли нагнать свои подразделения.

— Далеко ли пехота? — спрашивали каждого.

— Там! — махали им связисты в чистое поле, изрезанное колеями танков и орудий.

— Куда прошла пятая рота?

— Куда третья?

— Все — туда! Да вон указки...

На изъеденной сталью стене здания какой-то сапер уже начертил «Л→».

Стрелка нацелилась на запад. А там, за шоренгами придорожных тополей, в седой осенней дали, снова вставали Альпы, исчезая вершинами в тучах.

Полечю, рече, зегзицею по Дунаеву...

«Слово о полку Игореве»

I

Машины мчались с гор.

Был предвечерний час сухой золотой осени. Пестрые леса на склонах вдоль дороги не только не гасли под косыми лучами вечернего солнца, а, наоборот, разгорались еще ярче, чем днем.

Шура Ясногорская стоит в кузове, держась руками за кабину, и улыбается пробегающим золотым лесам, улыбается дороге, шумящей ей навстречу. Вся земля — в шелестящей багряности.

На прогалине, у ручейка, расположились на привал бойцы маршевой роты. Тонкая листва, облетая с желтых деревьев, тихо ложится на потные плечи бойцов. Один, сбрасывая скатку, закинул голову и на мгновение застыл. Что он там увидел? На самой вершине горы виднеются развалины старого замка. Сквозь проломы в стене с противоположной стороны пробивается солнце.

Трансильванская осень до самого горизонта пылает светлыми пожарами.

Почему так хорошо сегодня на свете? И бойцы шаркают покоробленными сапогами не по серому камню, а по такой чистой красоте, устилающей землю. И следы за ними такие чистые. Рота за ротой, рота за ротой... Шелестите, сапоги, шелестите! Вы чавкали по вязким украинским черпоземам. Вы становились белыми на бессараб-

ских известиях. Вы краснели, как медь, на румынских суглинках. Шелестите, шелестите! Вы достойны ступать по таким коврам.

Машины летят словно в сказку.

Ясный ветер шумит навстречу: шу... шу... шу... шу... Шура... Шура... Ветер шепчет ее имя, это он доносит слова Юрия оттуда, из-за Тисы, где глухо рокочут бои. Летите, машины, летите! Шуми, высокое шоссе, навстречу счастью!

Счастье! Оно пришло, как всегда, неожиданно-негаданно. Шура ждала его в письмах из Минска, а оно было ужко здесь, в ее полевом армейском госпитале, в девятой палате челюстников. И как все это случилось? Она задержалась в палате, разговаривая с земляком-сержантом. В углу усатый Шовкун толковал с соседом про бои в горах. Шовкун! Хороший, милый Шовкун с подвязанной челюстью! Как она раньше не замечала, что у него такое симпатичное лицо, такие добрые, мягкие глаза? Когда Шура входила в палату, он прятался под одеяло и не вылезал из-под него, пока фельдшерица не выйдет. Бойцы шутили над тем, что он так стыдится своего госпитального неглиже, и Шура поддерживала их шутки. И вот из-под этих усов, старательно расчесанных солдатским самодельным гребешком, вылетели тогда слова, которые заставили ее вздрогнуть: «Седла Брянского!..» Шовкун ласково и спокойно рассказывал собеседнику что-то о горных переходах. Седла Брянского! Шура стояла не дыша, оборвав на полуслове разговор с сержантом.

Боялась: а вдруг ей только послышалось?

— Как вы сказали, Шовкун?

— А?

— Про седла... Чьи... чьи седла?

— А-а, седла... Нашего командира роты Брянского.

— Брянского?

— Ну да, его. Он сам их придумал, когда мы перешли па вьюки. Потом и все полки...

— Я не об этом, Шовкун! Скажите, как зовут... вашего Брянского? Как?..

Ожидая, она медленно поднимала свои маленькие ладони, словно готовилась схватить это слово, как птицу.

— Зовут? Гм... Дайте подумать... Как это они между собой... Ага: Юрий.

- Юрась!
- Нет, Юрий.
- Юрась! Юрась! Юрась!

Она вся наливалась счастьем, она была наполнена им, как весенняя почка.

— Милый Шовкуп, говорите же, говорите!

— Что ж говорить? Я больше ничего не знаю, — растерянно и взволнованно смотрел на нее боец.

Машина подпрыгнула на повороте, техник стукнулся затылком о кабину и перестал дремать.

— Наконец-то горы остаются позади, — лениво обратился он к спутнице. — Ох, и осточертели же они нам!

Шура обернулась. Солнце заходило, и горы в последний раз осветились легким ажурным золотом, словно были сотканы из багряных нежных соцветий. Блеск оголенных скал, пестрые ярусы лесов, горные селения с узкими и высокими, как терема, деревянными домами трапсильванцев — все сливалось в величественную картину, поражающую сказочной красотой. Чистое небо не давило на горы, а напротив, своей высокой легкой синевой завершало, гармонически дополняло их. Было такое впечатление, что все небо, всю его невесомую сферическую голубизну держат на себе эти горные вершины, эти сопки, разбросанные по горизонту, позолоченные ярким багрянцем осени.

Шура упивалась этой красотой, хмелела от нее, как от вина. Солнце скрылось за горами, в долинах уже стелились тени, а далекие золотые сопки, облитые солнцем, все еще горели и горели...

Близкий грохот и туча едкого дыма вывели девушку из мечтательной задумчивости, вернули к действительности.

По дороге на целый километр растянулась колонна танков. Оглушительно скрежетали гусеницы, воздух был насыщен гарью. Машины были новые, они, видимо, недавно сошли с железнодорожных платформ; боевые экипажи сидели у открытых люков. Кое-кто из танкистов, увидев девушку, белозубо улыбался ей.

— Это бывалые, — поднявшись, заметил техник, обеспокоенный тем, чтобы танкисты не помяли какую-нибудь из его машин. — Этих остерегайся!

— Куда они идут?

— Куда... Известно куда: на Дунай.

— На голубой Дунай!

Далеко впереди глухо рокотал фронт. Танкисты поглядывали вперед, отодвигая выше на лоб свои черные шлемы. Запасные бочки с горючим, прикрепленные металлическими тросами, стояли на каждом танке.

«За Родину! Вперед!» — успела прочитать Ясногорская на борту головного танка, когда их «студебеккер», развив максимальную скорость, уже обогнал грохочущую колонну, окутанную тяжелым чадом. «За Родину, вперед!» — задумчиво повторила она про себя. Не знала девушка, что повторяет как раз те слова, тот боевой клич, с которым Юрий Брянский поднялся в горах на свой последний подвиг.

— О нет! Говорите, говорите, Шовкун!.. Все, все расскажите!.. Как ему там? Какой он сейчас?

— Ну, какой... Такой маленький, живой, беленький... Напрасно бойца не обидит... славный такой...

— Где вы с ним виделись в последний раз?

— В последний раз? О высоте восемьсот пять слышали? Скаженная высота. Арараты! Много наших забрала... Когда меня ранило, я еще заходил к ним на огневую. Разговаривали мы тогда с гвардии старшим лейтенантом. Они мне сказали: «Как только поправишься, вертайся ко мне в роту. С радостью приму». Я ж у них... ординарцем был.

Шовкун знал все, что интересовало девушку. Слушая бойца, она узнавала своего Юрася таким, каким он был сорок месяцев назад. Сдержанный и скрытно-печальный... Упрямый и требовательный до мелочей. Озабоченный бесконечными проектами усовершенствования минометов и стрельбы. Она видит, как он едет на коне среди зеленых олей с биноклем на груди. А вот он идет во главе роты вдоль каменных обрывов, исчезая и вновь появляясь, как на волнах. А вот ночью у дороги разговаривает с товарищами хриплым голосом.

— Хриплым? А не кашляет?

— В горах мы все хрипели.... Это не беда. А чтоб кашлять, так не кашляет. Как заснет, то дышит ровно. Только часто мечется во сне: «Огоны!.. Огонь!..»

Шура, не таясь, горячо завидовала бойцу, который еще так недавно слышал дыхание ее любимого, смотрел в его синие глаза, тайком укрывал во время сна его ноги собственной шинелью, чтобы «не озябли».

— Спасибо... Спасибо вам, Шовкун!

И с глазами, полными слез, Шура горяча стиснула шершавую руку бойца. На другой день она взяла назначение в полк, где воевал Брянский.

И вот едет...

Горный трапсилванский городок, в котором разместился ее полевой госпиталь, уже исчез позади, за перевалами. Колоппа машины мчится впиз, и багряные горы расступаются, как живые, давая дорогу. Кажется, через какой-нибудь километр дорога кончится, машины с ходу вот-вот налетят одна за другой на скалу и рассыплются в щепы. Проехали и этот километр, а дороге нет конца, это только крутой поворот — берегись! — и снова, огибая скалу, побежало шоссе, вырубленное в вековом граните неведомыми каменотесами.

Идут и идут маршевые роты. Но эти роты уже, видимо, сформированы не из тех бывалых вояк, которые возвращаются выздоровевшие, зарубцованные, из госпиталей. — Эти — как одни — в новом обмундировании, с чистыми, незакопченными котелками за спиной. Новички!

— Почему они такие хмурые? — обращается Ясногорская к артиллерийскому технику, сидящему у кабины, желтому, помятому, словно с похмелья.

— Вчерашние узники, — поясняет техник. — Из румынских тюрем и концлагерей. Доброкачественное пополнение. Злое.

— А где же их оружие?

— Оружие будет. Может быть, вы как раз на нем и стоите.

Только теперь Ясногорская заметила, что стоит на длинных, забитых наглухо ящиках. Из-под брезента выглядывают какие-то зеленые трубы, старательно уложенные в задке кузова.

— Это тоже оружие? — кивнула Шура на трубы.

— Спрашиваете! Это минометы восьмидесяти двух!

Шура припомнила, что именно взводом таких минометов командует Юрась.

— Они страшные?

— Секут пемцев на сечку. У нас их зовут самоварами.

— Самоварами? — Ясногорская подняла брови. — Говорите — страшное, а так по-домашнему ласково называется!

— А гвардейские минометы — «катюши»?.. Также ласково, нежно... Может, потому и нежно, что страшное.

«Какой диалектик», — усмехаясь, подумала Ясногорская.

Леса пылают под солнцем пышным, нежарким пламенем. На горных склонах пасутся, рассыпавшись, отары коз и овец. Высоко над шоссе стоит, как в песне, девочка в яркой сборчатой юбке. Приветливо машет белым платочком. Шура скинула свой зеленый берет и тоже стала махать им, отвечая на далекое приветствие.

— Какие тут люди приветливые! — Глаза ее заблестели. — Моя хозяйка-венгерка, провожая меня, даже заплакала...

— Приветливые, как же, — ворчит техник. — Ночью у нас оружейный мастер отбился в горах. На другой день нашли его в виноградниках с петлей на шее.

— Что вы говорите? — ужаснулась Ясногорская.

— А как же вы думали? Фашизм не так-то просто сдает позиции. Меняет обличье, заползает в норы. Это уже не молодчики сорок первого года с закатанными рукавами и откровенно нахальными мордами. Эти хитрее, коварнее. С такими воевать тяжелей, чем с теми, в открытую. А мы об этом, к сожалению, нередко забываем. Опи того оружейного мастера и вином напоили, и девушку-красавицу рядом посадили... Так-то.

— В самом деле, — задумавшись, сказала Ясногорская, — это у нас бывает... Невпопад проявляем нашу бдительность: к своим — с чрезмерным подозрением, а к настоящим недругам... Скажите, нашли тех, кто задушил оружейного мастера?

— Кое-кого. Не всех.

Машины выбрались на высокий перевал. Ясные, охваченные багрянцем горы стояли грядами до самого горизонта — далекого, синего, чистого.

— Взгляните, взгляните, товарищ техник! — указывала Шура на одну из далеких сопок, поднимавшуюся над другими своей острой голой вершиной, а внизу всю опоясанную желто-горячим лесом. — Взгляните! Совсем золотая!

— Высота восемьсот пять, — буркнул техник, — наша дивизия брала.

Если бы артиллерийский техник был более разговорчив, он рассказал бы, какой ценой досталась дивизии эта золотая далекая сопка. Рассказал бы, что там остался на вечной страже белорусский студент, офицер-минометчик, которого техник знал еще с Терновой балки под

Сталинградом. Может быть, техник плохо себя чувствовал, а может, ему хотелось спать, только он ничего больше не сказал. А Ясногорская не допытывалась, потому что впереди уже открывались новые, не виданные еще пейзажи.

Колонна машин как раз спускалась в венгерские равнины. Навстречу катились широкие, как море, степи, подернутые тихими вечерними дымами.

Фронт здесь, видимо, прошел недавно. Вдоль шоссе тянулись штабеля зеленых и желтых ящиков трофейной взрывчатки, кучи обезвреженных мин. Наши саперы тысячами повытаскивали это добро с разбитых дорог, мостов и обочин. Поле было уже разминировано на сто метров по обе стороны от шоссе. В кюветах торчали, зарывшись носами в землю, искореженные немецкие броневики и автомашины.

Равнины накатывались необозримо, терялись далекими берегами в вечерних туманах. Словно древние парусные корабли, покачивались в просторе до самого горизонта одинокие фермы хуторян-венгров. Машины мчались в седое степное море, фермы с высокими мачтами тополей — далекие и близкие — качались, уплывали в туман.

II

Шура, не помня себя от счастья, переполнявшего ее, старалась представить себе первую встречу с Юрием. Она не предупредит его о своем приезде. Она хочет встретить его неожиданно, увидеть его таким, какой он есть. Если с бородой — пусть! Она еще никогда не видела его бородатым. Юрась — бородатый... Ха-ха! Девушки, вы слышите?

Ее факультетские подруги как будто сидели рядом.

А каким будет его первый взгляд, когда он увидит свою Шуру в мешковатой зеленой шинели с длинными рукавами, с погонами на плечах? Не будет ли ему это неприятно? Может быть, он до сих пор представляет ее в белом платье и легоньких дешевых босоножках, над которыми он любил потешаться, называя их обувью античных богинь и советских студенток. И, может быть, он представляет ее себе по той фотографии, которая ему больше всего нравилась: на берегу моря возле байдарки с веслом в руке... Солнце там совсем ее ослепило. Да! Тогда она была легкая, живая, быстрая, как козочка. Юрась никогда не мог поймать ее, быстропогую. Теперь она, наверное, не убежала бы от него в своих кирзовых. Но что

осталось в ней таким, как раньше, — это ее девичьи косы. Тугим плетеным перевяслищем они уложены спереди через ровный пробор, охватывают голову, будто корона. Юрась особенно любил эти косички-«русачки», и она ради него сберегла, не обрезала их. «Где ж ты была, моя быстроногая, что делала в эти годы, как жила?» — спросит он ее; и она расскажет все, все до конца! Расскажет, честно глядя ему в глаза. Ей ничего не нужно будет скрывать, в ее глазах не будет бегать смущенная женская виноватость. Она с гордостью расскажет, как в эти тяжелые годы бед и скитаний сберегла в своем сердце все то, что они называли Нашим. Нашим! Они это Наше писали в письмах с большой буквы. Это была такая богатая их интимная драгоценность, целый мир, нетронуто чистый и неисчерпаемый, что его стоило провести через всю жизнь.

Стоило в самые тяжелые времена военных неудач, разминувшись в растревоженном горе народном, потеряв всякую связь между собой, все же надеяться — без писем. Стоило истомиться, изрыдаться в душные ночи на мокрой от слез госпитальной подушке. Стоило вынести горя вдвое и втрое больше, чтобы только дожить до этой минуты их встречи, — дожить, нигде не споткнувшись, отталкивая соблазны, дойти до него незапятнанной, честной, верной. Пусть бы побелели ее косы, но остались бы глаза ясными и правдивыми.

Нет, не может Юрась ни в чем упрекнуть ее. Он поймет, что она могла вести себя только так.

А он уже в первые дни войны перевязал шпагатом свои конспекты по математике, отложив их до лучших времен, а сам с батальоном студентов-добровольцев ушел на фронт. Тогда их называли политбойцами.

Шура пошла на работу в один из минских госпиталей. Некоторое время они переписывались, потом одно ее письмо пришло обратно: «Выбыл из части». Между ними было заранее условлено: на случай, если связь оборвется, искать новые адреса через родных. Родители Шуры и мать Брянского эвакуировались на восток. Старший брат Шуры, видный партийный работник Белоруссии, оставался в Минске для подпольной работы, но об этом ей стало известно значительно позже. Однажды он приехал в госпиталь, и от него Шура узнала, что в дороге, во время бомбардировки, погибли их родители. В этот день она вторично получила: «Выбыл из части»...

С матерью Юрия тоже не удалось установить связь, потому что несколькими днями позже, во время налета фашистской авиации на госпиталь, Шуру рапило.

В санитарном эшелоне в числе других ее отправили на восток. Ехали долго, больше десяти суток, и за это время люди в вагоне сблизились, сжились. Тут были и летчики, и танкисты, и артиллеристы, а больше всего, конечно, пехотинцев. Помнится, один летчик рассказывал, что летал на Плоешти. Товарищи слушали его как зачарованные. Плоешти! Ведь это было так далеко! Не могла тогда Шура знать, что пройдет три года — и Плоешти будет для нее уже глубоким тылом, тылом даже для армейского госпиталя.

В одном купе с Шурой ехал пожилой политрук-пехотинец с дорожками лысин над выпуклым лбом, с раздробленными, в гипсе, ногами. Целые дни политрук молчал. Его широкое суровое лицо было неподвижно. Только когда кто-нибудь заслонял от него окно, политрук сводил на переносице лохматые рыжие брови и просил негромко, но твердо, чтоб отошли от окна. С утра до вечера он не отрывал взгляда от окна, за которым пролетала его страна, суровая, напряженная, словно полк, поднятый по тревоге.

Шура припоминает, как они въехали в первый, уже не затемненный заволжский город. Схватив костыли, она выбралась на перрон. Освещенный вокзал, яркие огни трамваев, фонари в желтых туманах осенней измороси. Репродукторы на площади, музыка... Может быть, тогда она впервые в полную силу почувствовала всю красоту вчерашней, довоенной жизни. Всеми непрожитыми радостями и всеми незажившими болями пахнул этот город в лицо, разбередил девичью душу. Стало и горько почему-то, и невыразимо радостно оттого, что есть, есть еще в ее стране города, куда бессильны добраться фашистские бомбовозы, не нависла над ними черная ночь, сопровождающая оккупантов, как их родная стихия. Сюда не докатилась ночь, здесь не ревели зловеще сирены... Горят вокруг бесстрашные огни — огни! огни! — и из репродукторов говорит Москва.

И все-таки было тоскливо, безмерно тяжело на сердце. За каких-нибудь два-три месяца она потеряла отца и мать, разминулась на тревожных дорогах с Юрием и стоит одна на освещенном незнакомом перроне, с костылями под мышкой... Вернувшись в свое купе, она

уткнулась головой в подушку и дала волю слезам. Эшелон шел дальше, монотонно цокотали колеса, в вагоне погасили свет — все спали. Она не могла наедине выплакать все, чем наболело ее сердце. Но она ошиблась, думая, что все спят. Он, ее загипсованный сосед-политрук, не спал. Ночами ему, видимо, становилось хуже, потому что не слышно было, как он то вздыхает в темноте, то, сдерживая стон, скрипит зубами.

Так было и в эту ночь. Девичьи всхлипывания его, кажется, раздражали.

— Слушайте, почему вы плачете? — почти сердито спросил он Ясногорскую.

Девушка и в темноте почувствовала, что политрук пристально смотрит на нее.

— Я не плачу, — сказала она. — Я так... вспоминаю.

— Что же вы вспоминаете?

— Вспоминаю, как мы жили когда-то... Очень давно... Перед этим.

Политрук помолчал. Мирные огни первого освещенного города, которые он видел только в окно, видимо, вызвали и у него много дум, воспоминаний, навяли на сердце грусть.

— Мы многое вспоминаем, — сказал он погодя. — Это хорошо. Но этого мало... От этого сейчас в самом деле можно только плакать. Нам бы нужно поменьше вспоминать, а больше думать, что делать. Думать о том, что нас ждет впереди...

— Что нас ждет! Госпиталь где-нибудь в Чите или в Иркутске!

— А потом?

Шура молча плакала.

В другом конце вагона все громче стонал обожженный танкист. Он то умолял, то жалобно ругался, то неистово кричал, требуя уколов морфия. Он кричит так уже много ночей подряд. «Ему ведь еще тяжелей, чем мне! — подумала вдруг Ясногорская. — А этому политруку, который скрипит зубами каждую ночь, словно грызет стекло?.. Я хоть на перроне была, а он?»

Политрук закурил сигарку.

— А вам разве никогда не хочется вот так... вырваться? — сказала она, чуть успокоившись.

— Мне хочется... ходить, — просто ответил политрук.

— А потом?

— Потом? В пехоту...

— Снова в пехоту?

— Только туда.

Фамилия политрука была Воронцов.

Затем начался Урал. Усеянный огнями, он дымил круглые сутки заводскими трубами, гремел эшелонами, принимал станки, оборудование, эвакуированные с Украины. И этот непрерывный тяжелый грохот индустриального края был сейчас девушке милее голубых берегов южного моря, где она провела одно лето. Шура слушала и не могла наслушаться этой грозной музыки. Потому что это была не просто музыка, это была ее собственная сила, ее спасение, ее будущее. Политрук тоже изменился. Его лицо посветлело.

Прогремели уральские туннели, эшелон влетел в Сибирь. Поезд мчался, почти не задерживаясь на станциях, врезаясь в белые глубины бескрайних березовых лесов. Ехали день, а за окном все бело, бело, бело... Ехали второй, а за окном — бело, бело, бело... Леса стояли прозрачные, чистые под голубым небом. Такой Сибирь и осталась навсегда в представлении девушки — ясным белым краем.

— Моя Сибирь, — с гордостью говорил записанный политрук. Родом он был откуда-то из-под Ачинска.

Как-то после ужина в вагоне завязался оживленный разговор. Веселый, раненный в руку сержант хвастливо рассказывал товарищам о своих довоенных любовных похождениях, о том, с какой ловкостью он всегда выходил сухим из воды, удачно скрывая грехи от своей жены. Было это в каком-то овцеводческом совхозе, в Сальских степях. Политрук терпеливо слушал веселого сержанта, а потом вдруг нахмурился, сурово покосился на рассказчика.

— Чем вы хвастаете? — спросил он так, словно сержант чем-то обидел его. — Своими изменами?

— Изменами? — Сержанта резануло это тяжелое слово. — Какие же это измены, товарищ политрук? Это внутренние моя политика — семейные дела!

— А семья что, по-вашему? Портянка? — грубо спросил политрук. — Захочу — обмотаю ногу, захочу — выброшу, замотаю другой?.. Разве семьи наши — не те клетки, из которых в конечном счете складывается наше государство, наша сила?

— Атом! — басовито сказал стрелок-радист, спуская погн с верхней полки. — Первичное ядро!

— Вот-вот, ядро... И разве же не из этого ядра начинается школа нашей выдержки, дисциплины, верности... Не здесь ли наши дети начинают проходить свою первую допризывную подготовку? Они смотрят на вас... Они на родительских примерах учатся и гражданской порядочности. А вы... хвалитесь.

Ясногорская тогда горячо поддержала политрука. Ей тоже семейное и общественное поведение представлялось как части единого целого.

Задетый этой беседой за живое, сибиряк рассказал присутствующим одну из своих охотничьих историй. Это была притча о лебедях, у которых будто бы существует великий закон: самец и самка сходятся раз на всю жизнь. И когда один погибает, гибнет и другой.

— ...И если подруга остается одна, — рассказывал Воронцов, закрыв глаза, — то делает так: поднимается с тоскливым криком высоко-высоко в небо, забирается на страшную высоту — едва белеет... И потом сразу, сложив крылья, камнем падает вниз...

— Вот это верность! — увлеченно выкрикнул стрелок-радист.

А Воронцов после этого замолчал надолго.

И сейчас Ясногорская, трясаясь в машине среди темных чужих степей, почему-то вспомнила услышанную ею еще в сорок первом году легенду о лебединой верности. Встретившись с Юрием, она расскажет ему про это...

Расскажет, как напрасно искала его по сибирским госпиталям, как бегала вниз всякий раз, когда прибывала с фронта новая партия раненых.

В госпиталь, который стоял над самым Енисеем, часто приходили шефы.

Вниз по Енисею свистели, как в трубу, ветры Заполярья, мчались белые метели, а в госпитале было тепло и зеленели украинские столетники, подаренные шефами. По вечерам в коридорах на языках многих народов звучали песни.

После операции Шура некоторое время лежала в тяжелом состоянии. Ее немало изрезали, пока вынули осколки из ног. Она несколько дней выдыхала наркоз. Подушка казалась ей насквозь пропитанной наркозом, и, отбросив ее, Шура клала голову на голый матрац. Бредила Минском и звала Юрия. Есть не могла ничего. И, словно угадав желание большой, одна из женщин-

шефов принесла ей лесных ягод. Они были такие кислые, такие вкусные!

— Откуда вы? — спросила Шура женщину.

— С Полтавского паровозоремонтного.

— Полтавцы! Земляки! — Белорусы и украинцы считали себя здесь земляками. — Что вы делаете в этой тайге? Как устроились?

— Устроились... По целым суткам не выходим из цехов.

— По Украине всё тоскуете?

— Некогда особенно тосковать: на оборону работаем. Производим даже кое-что лучше, чем в Полтаве.

Позже, вылечившись, Шура увидела это лучшее. За городом, который трещал и звенел от ясного мороза, кружили в синем небе самолеты. Среди них были и такие, каких еще никто не видел на фронте. С утра до ночи их испытывали здесь неутомимые летчики-испытатели.

С товарной станции каждый день уходили на запад длинные эшелоны. Как-то Шуре впервые удалось увидеть легендарные «катюши». Десятки платформ были загружены ими. Укрытые брезентом, с поднятыми рамами, они мчались и мчались на запад. В те зимние солнечные дни, при пятидесятиградусных морозах, думая о полтавчанах, сутками не покидающих цехов, об истребителях новых систем, которые испытываются за пять тысяч километров от фронта, об эшелонах, покрытых инеем гвардейских минометов, несущихся сквозь тайгу, — думая про все это, Шура с особенной силой почувствовала, что никогда, никаким врагам не покорить ее могучую родину, ее свободолюбивый народ. И, может быть, именно эта вдохновенная вера в свой народ наполнила тогда Шуру уверенностью в немигнуемости и ее личного счастья.

Никаких известий от Юрия она не имела, однако была убеждена, что он где-то есть.

III

В дивизию приехали ночью. Собственно, не в дивизию, а в тот городок с темными готическими шпилями, где она стояла накануне. Сейчас ее здесь уже не было. Даже тылы снялись и выехали вперед. Техник, ругаясь, обжегал опустевшую, покинутую стоянку. Он сразу стал таким деятельным и быстрым, каким Шура не ожидала его увидеть.

— Где их искать? — кричал техник даже на нее, как будто девушка могла знать. — Вперед, а куда вперед? Тьма, ночь!

Шуру пробирал холод. Ночью неожиданно подул северный ветер, небо быстро затянулось тучами. Стало моросить.

— Заберусь в бункер и буду спать до утра! — грозил техник в темноту. — Чтоб знали, как не оставлять «маяка»!

— Конечно, куда в такую темень? — поддержал кто-то из шоферов. — Где-нибудь в кювете шею свернешь!.. Или налетишь на мину. Лучше до утра...

— До утра, до утра! — еще громче закричал техник, разозленный тем, что его мысль поправилась шоферу. — Я кой-кому всыплю до утра!

И побежал снова искать указки, освещая фонариком стены и телеграфные столбы.

— Получил? — смеялись шоферы над новичком, который так простодушно согласился было ждать до утра. — Ты его еще не знаешь, друг! Он тебе поспит. Слушай его разговорчики. Всегда кричит одно, а делает другое. Всю ночь будет метаться, пока не отыщет наше «Л».

Через несколько минут техник вынырнул из темной улочки.

— По машинам! — скомандовал он, садясь в передний «студебеккер». — Есть «Л»!

Колонна двинулась. Ехали при фарах. Дождь в полосе света перед машинами ткался густой косой стеной.

Ясногорская забила под большой жесткий брезент, которым были накрыты ящики. Брезент был весь иссечен осколками, ветер задувал сквозь него, как сквозь морской просоленный парус.

Машины то и дело останавливались, техник вылезал из кабины, чтобы осветить столб и орать на все поле... «Чего он ругается? — думала Шура в теплой дремоте. — Так хорошо, а он ругается...»

...Жесткий парус лопочет над ней. Гудит просмоленное днище... Голубое широкое море разлеглось во все концы. В высоком небе вьются птицы, облепляют мачты, падают на соленые плечи матросов. Загорелые матросы поют на палубе о еще не открытых землях, о зеленых тропических странах. Горит, расцветает море, взрытое кормой...

Когда Шура, проснувшись, откинула брезент, уже светало. Колкучий дождь ударил ей в горячее лицо. Где-то впереди едва слышно татакали пулеметы. Как и вчера вечером, вдоль дороги виднелись вдаль словно все те же фермы, заретушированные седым дождем, с журавлями колодцев, поднятыми, как семафоры. Неужели за ночь так мало проехали?

Шура спрыгнула с машины и пошла в голову колонны. Дорогу загораживал фургоп-«газик», лежавший на боку посреди шоссе. Возле него возились шоферы. Тут же, ползая на коленях в дорожной слякоти, что-то старательно из нее выбирали два заляпанных грязью по уши старших лейтенанта.

— Что вы так смотрите? — насмешливо обратился один из них к Ясногорской. — Не узнаете? Хозяйство первопечатника Ивапа Федорова.

Это была дивизионная редакция. Час пазад она подорвалась на mine. Подорвалась довольно удачно: журналисты только оглохли, но остались живы. Теперь вот они, запасшись терпением, усердно выбирали из грязи шрифты, разбросанные взрывом.

Ясногорская решила не ждть, пока освободят дорогу, а идти дальше пешком. Ей не терпелось — скорее, скорее хотелось быть там!.. Узнав, что сй пужко в полк Самиева, один из «первопечатников» объяснил, как ближе туда пройти. Журналист всюду остается журналистом: выбирая среди дороги из грязи шрифты, оглушенный взрывом, как рыба, он все же каким-то образом уже знал расположение всех полков.

Шура, поблагодарив техника за то, что он ее подвез, накинула на плечи палатку и пошла.

Дождь лил и лил. Кюветы уже наполнились мутной водой. На развилке дорог дивизионная указка с «Л» поворачивала влево, а полковая сходила с шоссе прямо на луга, густо изрезанные колеями. Куда ни глянь, луга блестели дождевыми озерками, из которых кое-где торчали таблички указок. Следы сотен ног виднелись на незатопленных местах. Шура старалась угадать среди этих многочисленных следов отпечаток ноги Юрася. Сама смеялась над своим причудливым желанием и все-таки искала... Вот эти мелкие, четкие, может быть, его. Уверенно вдавленные — от каблука до носка. Вот они перекинулись через канаву, вот исчезли под водой. Косые венгерские

дожди, не размойте его следов! Пусть, высушенные ветрами и солнцем, станут они твердыми, как камни!

Вскоре из серой мороси вынырнул обоз крытых брезентом подвод. «Это, наверное, из полка едут на дивизионные склады, — подумала Ясногорская. — Спрошу. Они должны знать».

На задней подводе кто-то пел. Медленная, грустная песня плыла далеко над мглистыми лугами...

Темная ночь разлучает, любимая, нас...

Голос был густой, красивый, широкий. Шура и ездового представила себе красивым, молодым бойцом. Казалось, и сама песня сложилась именно здесь, в темные венгерские ночи, среди осенней степи, в окопах над чужим шоссе.

Темная ночь, только пули свистят по степи,
только ветер гудит в проводах...

Когда певец проезжал мимо Ясногорской, она окликнула его. Из-под плащ-палатки выглянуло пожилое доброе лицо с мокрыми седоватыми усами. «Неужели это он пел?» — удивилась Ясногорская и, задыхаясь от волнения, спросила:

— Вы из хозяйства Самиева?

— Да.

Боец придержал лошадей.

— Вы знаете старшего лейтенанта Брянского?

— Брянского? — Солдат окинул девушку каким-то особенно теплым, хорошим взглядом. — Чего ж, хорошо знаю. Это наш сталинградец... — Солдат помолчал. — Толковый командир был.

— Был? — похолодела Ясногорская. — Почему был?

— Э-эх, дочка, дочка, что спрашиваешь? — вздохнул солдат. — В Альпах... Под высотой восемьсот пять... смертью храбрых.

Шура закрыла лицо руками.

— Эй, Ульяныч! — крикнули ездовому. — Чего стал? Трогай!

Она не слыхала, как подвода тронулась. Все стояла, закрыв лицо руками. Ткался и ткался дождь тысячами веретен. Солдат, догоняя обоз, еще раз оглянулся. Вся степь была затянута седой пряжей. И девушка стояла

неподвижно, как тополь, склоненный среди степи осенним ветром.

«Смертью храбрых...» Он так сказал: «Смертью храбрых». Шура не плакала. Она еще не чувствовала боли, как сгорая не чувствует ее раненый. Все тело как-то онемело, застыло... «И холодная, страшная ночь пролегла между нами...» Поет ли в самом деле кто-то далеко, или ей это только кажется? Все перепуталось, поплыло перед глазами, и жизнь как будто оставила ее. Ясногорская подумала вдруг, что может окаменеть вот так, как стоит. Окаменеть в самом деле за какую-то минуту и остаться навеки стоять одиноко среди этой пустынной ненастной степи. «Почему он перестал петь? — как будто очнулась она, прислушиваясь. Как это часто бывает в моменты крайнего горя, ее мысли цеплялись за постороннее, чтобы забыть о главном. — О, почему, почему он не поет?»

Подводы уже едва виднелись в дожде.

Девушка вдруг почувствовала себя совсем обессиленной. Ей захотелось сесть, упасть, распластаться на земле. Чтобы этого не случилось, она, спотыкаясь, медленно пошла вперед.

Под высотой 805... 805... Ведь это же та сопка?! Та золотая сопка! Шура, вскрикнув, подняла руки. Тяжелые тучи быстро бежали над ней, казалось — пад самой головой. Теперь она могла рыдать, биться, кричать, потому что она была одна, одна во всем мире. Разве не пустыня, холодная, хлюпкая, равнодушная, разлеглась до самого горизонта? Где-то стучат пулеметы. Где они? Никого нигде не видно.

Впереди замаячила ферма.

Шура шла, машинально стараясь попасть в отпечатки чьих-то следов. Первое, что она заметила, приблизившись к ферме, было «Л», глубоко выцарапанное на стене, наверное штыком. Шура долго стояла, вглядываясь в эту единственную родную букву на чужой, глухой стене.

Во дворе и в саду фермы расположились подводы с ящиками боеприпасов. Мокрые лошади, которым не хватало конюшен, стояли распряженные около подвод, горбясь от холода.

Шура вошла в сад, еле передвигая ноги. Устало doplелась до какого-то дерева и, обхватив руками мокрый, холодный ствол, застыла. Неужели это все? Перед войной они с Юрием терпеливо ждали, пока окончат институт, поженились, будут вместе работать. Впереди было столько

широкого счастья, что даже не представлялось, как его может не быть. Казалось, что, взявшись по-детски за руки, двинутся они навстречу большому рассвету, и звонкая мартовская провесень будет хрустеть под ногами, и розовая утренняя зоря будет полахать в полнеба, и так будет, будет, будет!..

— Юра! — шептала она почти в забытьи, прижимаясь горячим лбом к мокрой коре. — Юрасик!

Плечи ее вздрагивали. Если б она знала, то соскочила бы вчера с машины, полетела б на ту золотую сопку.

За спиной слышались шаги. Шура сердито обернулась. Перед нею стоял коренастый парень в ватнике, с нагайкой в руке. Он был ростом выше девушки, но широк в плечах, крепко сбит. Острые, монгольской прорези глаза смотрели на Шуру дружелюбно, с готовностью помочь.

Незнакомец порывисто, не без шика, козырнул, по-ротфронтовски подняв кулак и выпрямив пальцы у самого виска.

— Вы кого-то ищете? — спросил он с заметным перусским акцентом.

— А вам что?

— Может, я могу вам помочь? — дружелюбно спросил незнакомец.

— Вы не можете мне помочь. Я ищу... Брянского.

— Брянского? Нашего Брянского?

Ясногорская встрепнулась: нашего! Он знает Брянского. Он говорит, как о живом! Что-то неуловимое, такое, что относится только к живым, а не к мертвым, прозвучало в интонации его голоса! Шура обостренным, обнаженным чутьем сердца уловила это. И сразу прониклась мыслью, что на лугах ей сказали неправду.

— Боже! Вы его знаете?

— Я старшина его роты.

Девушка подалась вперед, застыла в напряженном порывистом движении. Тысячи надежд полетели на нее и падали на плечи, на руки, как голуби. Нежно-белое мокрое лицо, которое перед этим покрылось от холода мелкими пупырышками, сейчас сразу просветлело, мягко зарозовело, как лепесток в росе.

— Так он... есть?

— Его... к сожалению...

— Не-ту?

— ...А рта его есть.

Старшина минометной роты Вася Багиров был из тех людей, для которых война давно уже стала привычным делом. Башкир по национальности, энергичный, настойчивый, решительный, он жил до войны неугомонной жизнью. Даже не закончив средней школы, Вася нетерпеливо, с легкостью, с буйным азартом молодости, бросился в белый свет. Вербовался, куда только его вербовали. В свои двадцать пять лет он уже успел и столярничать в далеком Заполярье, и доходил до Монгольской Народной Республики с гуртами скота, и метался по горам Урала в поисках самоцветов. С юношеской жадностью пакинулся Багиров на жизнь, открывшуюся своей необъятностью перед ним. Как будто опьянев от новых безграничных возможностей, Вася хотел скорее все увидеть, обо всем узнать, коснуться всего, что было в этом океане, каким представлялась ему великая его страна.

Бурлацкая жизнь, полная тревог, неожиданностей, испытаний, — это было как раз то, что больше всего отвечало характеру Багирова. Организм у него был железный. Болезни его не брали. Зимы его не беспокоили. В самые трескучие морозы он спокойно обходился без рукавиц.

В минометную роту Вася пришел под Сталинградом, долгое время был рядовым, и только на днепровском плацдарме, когда их в роте оставалось столько, что Багиров должен был считать себя взводом, Брянский назначил его старшиной. На старшинской пиве и раскрылись полностью все его таланты.

Интересы роты, честь роты стали его личными интересами. Волевой, пронырливый, разбитной, он мог пойти на что угодно ради своего подразделения. Он заводил знакомства, хитрил, изворачивался, лишь бы его бойцы были хорошо накормлены, образцово снаряжены, вдоволь снабжены боеприпасами. Он, например, прилагал бешеные усилия к тому, чтобы минометчики выступали на самых лучших лошадях, вызывая зависть всего полка. Бывало, Вася уходил в загадочные ночные поиски, возвращался утром весь в синяках, с распухшими ушами, и уже не на том коне, на котором выезжал, а на каком-то кошатом, общипанном одре.

— У казаков побывал, — сочувственно говорили тогда ездовые, но так, чтобы Вася не слышал. В такие дни он бесился при одном напоминании о казаках.

Донские ребята из кавалерийского корпуса, который,

начиная с Румынии, часто соседствовал с полком Самиева, не раз чесали плетками минометного старшину, который повадился к ним за лошадьми. Однако, справедливости ради, следует оговориться, что Вася Багиров никогда не доходил до позорного для гвардейца бегства, а дрался хоть один против десятых, пока его не сбрасывали с коня и не пускали на волю божью пешком. Однажды ночью он по ошибке отвязал коня даже у своего командира полка. Оправдываясь потом перед Самиевым, старшина объяснял свой промах тем, что «было очень темно и к тому же он спешил».

Багирову многое прощали, ибо знали его бескорыстие: лично для себя он не взял бы и нитки. Когда у бойца на марше разлезались сапоги, Багиров, не колеблясь, разулся и отдавал ему свои.

А больше всего искупал Вася свои конокрадские грехи боем.

Из боя он выходил амнистированным за все. Где уж было наказывать человека, об отчаянной храбрости которого знал весь полк! Кто из старых однополчан мог забыть, как мипувшей весной в боях у Днестра Багиров верхом на коне, с бутылкой в руке помчался по полю за фашистским танком и поджег его? Кто, как не Багиров, выкрал в Трансильвании у гитлеровцев кухню с недоваренной кашей и прогрохотал с нею среди ночи через всю нейтральную полосу? Самым удивительным было то, что ни одна пуля не задела его в этой смешной и отважной операции с кухней.

— Наверное, сама судьба покровительствует отчаянным, — шутил тогда по этому поводу Брянский.

Бой для Васи был каким-то священнодействием, ради которого башкир не давал пощады ни себе, ни своим подчиненным. Пока на передовой было спокойно, Багиров вел себя смирно. Ни с кем не ссорился, двигался, как сонный, казалось — погладь его, и он замурлычет, как добродушный сибирский кот. В такие дни над ним мог потешаться каждый ездовой. Вася улыбался, Вася не защищался, его широкое скуластое лицо было безгранично добрым, а острые лукавые глаза доверчиво щурились.

Но когда начинался бой, тогда держись! Тогда он круглые сутки не слезал с коня, мчался то на передний край, то в боепитание, то черт его знает куда, и все горело на его пути. Беда разине, если он попадался под руку Багирову в такой момент!

Брянский дорожил своим старшиной и гордился им перед другими командирами рот.

За Брянским Багиров и в самом деле не колеблясь пошел бы в огонь и в воду. Брянский принимал от него присягу, Брянский вручал ему новый автомат, Брянского сама родина назначила ему в командиры. И поэтому о командире роты Багиров заботился значительно больше, нежели о самом себе, на первое место ставил его командирскую честь, потому что это была честь роты. Попавшись где-нибудь на грешном деле, старшина всячески старался взять всю вину на себя, выгородить, ничем не очернить командира своей роты.

И только с Брянским Вася до конца делился своими несложными сердечными делами.

Вася был женат. Зимой прошлого года, когда они стояли в обороне в степном хуторе на Кировоградщине, одна веселая молодичка в ярких мошестах не на шутку влюбилась в Багирова. Она почувствовала в нем надежного мужа и хозяина, на плечо которого с уверенностью можно опереться. Пренебрегая пересудами соседок, она открыто отдала свою руку этому горячему, буйному старшине с выгнутыми ногами врожденного кавалериста. «Будут у нас сыны, — щебетала она по ночам над ухом Багирова, — будут такие хорошенькие, черпавые, косоглазые китайчата». Сыграли короткую солдатскую свадьбу с гармошкой разведчиков, с бураковым самогоном. Безусый Брянский по старшинству был посаженным отцом. Прожил Багиров со своей веселой молодичкой без году неделю. Однако и в далеких краях не забывал ее. Сосредоточенно сопя, отвечал на ее нежные письма, вкладывая в свои ответы ласковые зерпышки украинской речи, запомнившиеся ему. Посылал все до копейки, что платила ему армия, и твердо намерен был вернуться после войны только к молодичке. Брянский поддерживал в нем это намерение, помогал Васе избавиться от легковесных ревнивых подозрений, которые кое-кто потехи ради пытался посеять во вспыльчивом сердце старшины.

Вася переписывался со многими бойцами и офицерами, выбывшими из роты в госпитали. Даже те, которые были очень давно, решив обратиться в роту с каким-нибудь посланием и припоминая, кому бы его адресовать, всегда останавливались на Васе. Не считали ли хлопцы его бессмертным?

О погибших товарищах их близким писал на родину также старшина. Если за убитым не было каких-либо выдающихся подвигов, то Вася сам наделял его ими. Разве мог Вася равнодушно писать о бойце, с которым вместе пробивался трансильванскими лесами, переходил вброд по шею ледяной Муреш, справлял Октябрьские праздники под мокрыми скирдами в венгерских хуторах? Нет, об этих людях Вася мог писать только с горячей нежностью, они все получались у него выдающимися людьми, которые разрушали доты, рвали гранатами танки, грудью встречали смерть. Всех их Вася знал поименно, новичкам рассказывал о них трогательные легенды, и пусть бы кто-нибудь попробовал отозваться о его товарищах без должного уважения! Это были святые традиции его роты, ее честь, ее слава, и старшина хранил их нетронуто чистыми в своем сердце. Ибо в конце концов только в подвижнической деятельности своей роты он видел смысл своего собственного существования, только с боевым подразделением чувствовал себя настоящим, нужным родине человеком.

И поэтому, когда он узнал, что перед ним стоит суженая его любимого командира, то, чтобы утешить ее в горе, у него не нашлось ничего более убедительного, чем слова о том, что рота Брянского есть, что она живет. Вася считал, что более высокого утешения быть не может.

И Ясногорская поняла его именно так. «Когда у человека уже нет ничего, — подумала она, — когда человеку кажется, что он одинок, как последний колосок на скошенном поле, то даже тогда он ошибается. У него еще остается самая высшая святость — родной народ. Это так много, что ради этого стоит жить и бороться до конца».

Старшина повел Шуру в дом, что-то на ходу шепнул бойцам, и лица их вытянулись, стали серьезными и торжественными. Знакомясь, солдаты козыряли девушке с подчеркнутым уважением. В комнате было тепло, потрескивали дрова в печи, и только тут Шура почувствовала, что промерзла до костей, — все ее тело дрожало. Ей помогли спать тяжелую, мокрую шинель, ее заботливо поили чаем, и все, что ей предлагали, она выполняла послушно, безвольно, словно под каким-то страшным наркозом. Нужно раздеться — раздеется, нужно прихлебывать горячий чай — будет прихлебывать... Обессиленная горем, разморенная комнатным теплом, она склонилась на угол кушетки и не почувствовала, как вскоре уснула.

Ездовые ходили на дыпочках, повар перестал греметь сковородами, а на огневую по беспроволочному телеграфу уже полетела весть о том, что в тылах минометчиков спит на кушетке смертельно усталая, заплаканная девушка — невеста Брянского.

Шура, вздрагивая, спала тревожным сном, спала и не спала, видела сны и бредила наяву. Даже во сне у нее было тяжело на сердце.

Когда она проснулась, на столе уже горела свеча, в комнате никого не было, в черные, как смоль, окна тарабанил дождь, словно в стекло стучались клювиками застигнутые непогодой ласточки, ища, где бы согреться. На стуле, возле кушетки, лежала ее просушенная шинель, стояли на полу ее кирзовые, начищенные так, что их трудно было узнать.

Шура медленно оделась и прошла на кухню. Повар предупредил, что ужин готов, можно ужинать. Поблагодарив, девушка вышла на веранду.

Ветер стучал железной крышей. Глухо, уже по-осеннему, гудели деревья. Все было окутано черной, непроглядной тьмой. Казалось, и ветер здесь черный, и дождь льется с неба черный, как смола. Фронт молчал, а может быть, его не было слышно из-за ветра. Постепенно глаза привыкали к темноте, и в ней уже очерчивались силуэты лошадей возле подвод. Тускло поблескивали наполненные водой колес.

К дому примыкали хозяйственные постройки. Как это заведено у венгерских хуторян, они и свое жилье, и конюшни, и сараи ставят под одну крышу.

Из степи, как из влажной огромной пещеры, тянуло свежей прохладой. Девушка дышала всей грудью, чувствуя, как в голове у нее постепенно проясняется.

Невдалеке от веранды, в настежь открытых дверях конюшни, топтались лошади, хрупая корм. Где-то вверху, на сеновале, разговаривали ездовые.

— Эх, Роман, Роман, — услышала девушка задумчивый голос. — Здесь края богатые. Не успели еще фашисты их объесть и в деревянные колодки обусть.

— Пусть нам скажут спасибо, Хома! Разве им самим удалось бы выскочить из фашистского хомута? Да ни за что!

— Так бы и жили: как будто дома, а в самом деле — внаймах. А нет ничего горше, чем быть вот так... бездомным!.. Помнишь, как старший лейтенант Брянский перед

своей смертью крикнул нам: «За Родину!» И голос у него тогда был какой-то не простой... Что это значит — Родина! Пока она у тебя есть, ты и богатый, ты и сильный, ты всем нужен, Роман... А, не дай бы бог, потерял ее, тогда считай уже, что нет у тебя ничего. Что ты без нее? Подумать страшно, Роман. Тогда б тебя и на этой ферме собаками затравили. Кварты воды не дали б... Бродяга, сказали бы, байстрюк безродный, черт его дерит.

Сверкнула наверху зажигалка, и Ясногорская увидела усатые загорелые лица, словно отлитые из червонной меди. Прикурив, бойцы снова заговорили.

— А так смотри, Роман, тебе всюду и почет и хвала. Только глянут на твои погоны, на пятиконечную звезду, на твой ППШ — сразу шляпы с голов...

— Теперь я знаю, Хома, почему наш Брянский так сердился, когда мы натягивали на головы трансильванские чабанские шапки... Вид не тот. Помнишь, как он заставлял нас гвардейские значки глиной тереть... Тоже неспроста. Хотел, чтобы хлопцы были как орлы, чтобы все на них лежало по форме.

— Говорил, бывало: «Пусть тебя любят, пусть тебя и боятся...» Ты им слово скажешь, а они уже бородами кивают: йов, дескать, йов. Добрэ. На войне как на войне, иногда и не хотел бы обидеть, а должен... Вот чье-то сено своим коням скормим...

— Зато скольких людей спасли! Идешь — все после тебя, как после весеннего дождя: воздух свежий, земля зеленая... «Историческая миссия» — говорил, бывало, Брянский...

Брянский... Юрась... Ясногорской казалось, что он продолжает тут всюду жить. Продолжает требовать и поддерживать, разрешать и запрещать, деятельно вмешиваться в повседневную жизнь своих бойцов.

Во двор неторопливо въехал всадник. Невидимый среди подвод часовой окликнул его строгим голосом:

— Кто идет?

Всадник, видимо, поняв, что часовой уже узнал его и спрашивает больше для порядка, откликнулся хмуро, неохотно:

— Свои.

По голосу Ясногорская узнала старшину.

— Не заблудились в степи, товарищ старшина? — уже приветливее спрашивал ездовой, который стоял на часах. — Такал темень!..

— И, как назло, нигде ничто не горит, — сердился Багиров, расседывая коня. — Фермы одна на другую похожи. Глухо, пусто, и собака не залает... Только по колеям и ориентировался.

— По колеям?

— А чего ж. Воды в них повалилось: блестят, светятся всюду, где мы проехали.

«Где мы проехали — колеи светятся!» — с грустью подумала Ясногорская, подставляя лицо ночному ветру и слегка поеживаясь от холода.

V

Прибытие в полк девушки, невесты погибшего офицера, стало событием. Заместитель командира полка, гвардии майор Воронцов добился того, чтобы Ясногорскую, согласно ее желанию, назначили командиром санитарного извода в третий батальон, именно в тот батальон, где прошел свой боевой путь Брянский.

Воронцова Шура узнала сразу. Он внешне не очень изменился за эти годы. Те же серые, всегда настороженные глаза под рыжими лохматыми бровями. Большая лобастая голова, которая теперь уже, правда, совсем полысела. Спокойные, уравновешенные движения. Ясногорскую немало удивило, что бывший сердитый политрук с перебитыми ногами теперь даже не хромал.

Третий батальон стоял во временной обороне среди степных холмов и балок на виноградных плантациях. Это было в нескольких десятках километров на северо-восток от Будапешта. Целыми днями сеялись сквозь серое сито осенние дожди, а когда их не было, над полем с утра и до вечера бродили туманы. Роты, зарывшись в вязкий чернозем, коротали дни без особых тревог. По ночам поднимались на авралы: траншеи заливало водой. Пехота вычерпывала ее ведрами, а мудрецы минометчики притащили откуда-то небольшой пожарный насос и выкачивали воду механическим способом, хвастливо демонстрируя перед соседями достижения человеческой цивилизации.

Минометы стояли на огневой, как барышни: все наряженные, все под кокетливыми зонтиками, защищавшими их от дождя. Бойцы и обращались к ним, как к барышням, — только на «вы»:

— Позвольте проверить ваш прицел...

— Позвольте протереть вас бавником.

В первые дни пребывания Ясногорской в батальоне ей пришлось пережить немало огорчений. С разных сторон на нее повели наступление навязчивые поклонники из числа совсем юных офицеров, которые прибыли в полк уже после гибели Брянского. Получив от девушки отпор и все же не теряя надежды рано или поздно добиться взаимности, эти орлы стали удивительно часто болеть. Шуру вызывали то в одну, то в другую роту: «Придите, заболел такой-то...» Она терпеливо ходила по всем подразделениям, не обнаруживая никаких серьезных заболеваний. Ухаживатели были здоровы, как быки. В то же время она проверяла личный состав по знаменитой «форме 20», беспощадно гоняла неопрятных за немытые руки, за нестриженные чубы, за грязные котелки.

На командный пункт возвращалась утомленная, вся в глине: хотя в пехотных траншеях и были положены доски и гардеробные двери, жидкая грязь все же прыскала сквозь них до самых колен.

«Заболел» как-то и старший адъютант батальона капитан Сперанский. Он засел в своем блиндаже и весь день не выходил па свет божий. Его «ломило и знобило». Вечером в блиндаж к Ясногорской явился ординарец Сперанского: капитан болен, просит зайти.

Шура, набегавшись за день по траншеям, выпущдена была накинуть на плечи шинель и идти. Приближаясь к землянке адъютанта, она явственно услышала зvon гитары. Но, когда постучала в дверь, гитара смолкла, и слышался почти стон:

— Да-а...

В блиндаже было чисто, пахло духами, на столе горела гильзовая лампа. Капитан лежал па трофейных перинах, в изголовье у него стояла блестящая, добытая в бою венгерская сабля. Надо сказать, молодой капитан пользовался репутацией отважного офицера.

«Морда чуть не лопнет», — подумала Ясногорская и, скрывая раздражение, сдержанно спросила:

— Что с вами?

— Не знаю, Шура, что-то такое... понимаете...

— Температурит?

— Кажется, температурит.

Поставила термометр, измерила.

— Нормальная, — неприязненно сказала Ясногорская.

— Чего вы сердитесь, Шура? — приподнялся на локте Сперанский, и большие голубые глаза его затянулись томной поволокой. — Знаете, какая здесь тоска... Какая собачья тоска сидеть в этих прокисших виноградниках!.. Рапорты до рапортички, слова живого не услышишь...

— Вы для этого прислали ординарца?

— Шура, а хотя бы...

Шура задыхалась...

— Капитан... Капитан... Вы — хам!

Чтобы не разрыдаться, она быстро пошла к выходу, придерживая белыми руками борта шинели. На блиндаже ватопали. «Подслушивали в дымоход, черти, — мысленно выругался Сперанский. — Раззвонят теперь...»

Шура вошла в свою сырую землянку. На полу, на брезентовых носилках, спал санитар, прикрывшись шапкой. Девушка добралась до своих нар, разулась и села, охватив руками колени. Горькая обида душила ее. Зачем он так делает? Разве она виновата, что такая собачья тоска в этих чужих виноградниках? Разве она пришла сюда, чтобы стать для кого-то игрушкой и развлечением? Уткнувшись головой в колени, она наплакалась вволю, всхлипывая, как маленькая.

На другой день в батальоне побывал Воронцов. Он зашел с комбатом Чумаченко и в землянку Шуры.

— Не очень здесь уютно, — сказал майор, присев на нары. — Как думаешь, Чумаченко?

— Не очень.

— Поменяться бы вам, а? Не согласен?

Комбат покраснел.

— Так вот, Чумаченко, чтоб вам не меняться, сегодня же прикажи поставить сюда печку... Обычную печку, понимаешь? Может быть, тут еще придется раненым лежать. Да и дочка, видишь, аж посинела.

Ясногорская и в самом деле стояла бледная, с синими кругами под глазами.

— Тогда вы были совсем другая, — глухо заговорил майор, обращаясь к Ясногорской. — Помните, в эшелоне? Всё гремели своими костылями через весь вагон и заставляли мне окно. Даже ссорились. А теперь...

— Я и теперь ссорюсь, — скупно сказала Ясногорская. — Научилась.

— Конечно, как не научиться... Такие университеты... Заботы новые... А тогда вы большей частью ревели по ночам да вспоминали...

— Я и сейчас вспоминаю.

— Что?

— Так... всякую всячину.

— Например?

— Например, вашу лебединую легенду.

— А-а, легенду! Помню. Нет, это не легенда... У них и в самом деле так...

— В самом деле? — удивленно подняла брови Ясногорская. — Только один-единственный раз? На всю жизнь?

— На всю жизнь.

— А потом? Вниз головой?

— Не надо это принимать так близко к сердцу. Не забудьте, что лебеди — птицы. Чистые, красивые, воспетые всеми поэтами, но только птицы.

— А у людей?

— А у людей так не может кончаться. Разве наши интересы ограничиваются этим? Лебеди!.. Лебедь видит только свою пару, свое озерко, а человек — ого-го! Ему видны куда более широкие горизонты! И назад и вперед. Подумайте сами: разве есть кто-либо на земле более крылатый, чем человек?.. Так-то, дочка... А как тебе здесь у нас?

— Хорошо.

Чумаченко облегченно вздохнул.

— Даже хорошо? — удивился майор. — Не надоедают, не пристают? Дают отдохнуть?

— Дают. — Девушка зарделась, как яблонька в цвету.

— А у меня информация другая, — нахмурился замполит, разглядывая потолок землянки. — Я слышал кое-что... И ты, Чумаченко, слышал?

— Слышал, товарищ гвардии майор. Это, действительно, наше слабое место: как оборона, так бесятся.

— С жиру они у тебя бесятся... Ах, лоботрясы!

Майор ругался, однако злости не было в его словах.

Спустя некоторое время весь командный пункт имел возможность наблюдать такое: замполит, сутулясь, вошел в блиндаж к капитану Чумаченко, выгнал всех и послал ординарца позвать Сперанского. Адъютант прибежал, как на пожар, тяжело позвякивая блестящими трофейными шпорами.

Никто не знал, о чем так долго разговаривал с глазу на глаз бравый адъютант с замполитом в блиндаже комбата. Беседа была, видимо, довольно жаркой, потому что через некоторое время Сперанский пулей вылетел оттуда,

красный как рак, и тут же ни за что ни про что изругал своего ординарца, который первым попался ему на глаза. А замполит приказал Чумаченко после этого лично обойти стрелковые роты, внимательно обследовать здоровье своих юных лейтенантиков, и, если найдутся среди них подозрительно «больные», немедленно посылать в боевое охранение на поправку.

— На грязи, — сухо приказал Воронцов, зная, что в окопах боевого охранения грязи было по пояс. — Там пройдет. Пороки сердца и всякие другие пороки как рукой снимет.

После этой истории Ясногорскую в разговорах называли не иначе, как Верной. Верная!.. Больше других были довольны этим новым именем Шуры минометчики. Они все время десятками глаз и ушей следили за ее поведением в батальоне. И прежде всего самих себя они считали бы кровно обиженными, если бы Ясногорская — невеста их славного командира! — дала повод называть себя как-то иначе.

У Ясногорской с минометчиками сложились особые отношения. По неписаному и нескazanному уговору девушка считала это подразделение как бы своим, а минометчики считали Шуру своей. Роту по традиции еще и до сих пор многие называли ротой Брянского. Хотя в роте уже было немало новых людей, которые Брянского не застали, но и они, под влиянием его воспитанников, прониклись высоким уважением к погибшему командиру, знакомому им словно по песне.

Из воспитанников Брянского в роте еще оставались Роман и Денис Блаженко, телефонист Маковей, веселый, глазастый подолынин Хома Хасцкий, старшина Багиров и несколько других. Из госпиталя, адресуясь к старшине, писал Евгений Черныш. Здоровье его поправлялось. Лейтенанта Сагаиду контузило на Тисе, и он сейчас тоже был где-то в госпитале.

Ротой теперь командовал гвардии старший лейтенант Кармазин, присланный из резерва. Кармазина за глаза в батальоне чаще всего величали просто Иваном Антоновичем, возможно из уважения к его педагогическому прошлому. До войны он был директором средней школы где-то на Черниговщине. Рассудительный, солидный человек лет за сорок, он пользовался у подчиненных и у начальства большим авторитетом как знаток своего дела и к тому же человек строго принципиальный. Когда между

офицерами возникал из-за чего-либо спор, Ивана Антоновича обычно избирали судьей.

Брянского Кармазин знал очень хорошо: оба они были ветеранами полка. Особенно не дружили, были сдержанно корректны друг с другом, а иногда Иван Антонович даже завидовал ранней славе Брянского. Однако сейчас к бывшему своему боевому коллеге Иван Антонович относился без всякой ревности. Он несколько не обижался на то, что его роту и сейчас, по старой памяти, называют ротой Брянского.

Когда Ясногорская приходила на огневую минометчиков, здесь уже все ждали ее. Зеленые «самовары» из-под кокетливых зонтиков как бы приветливо улыбались ей. Иван Антонович, побрякивая, вылезал из своей землянки, обтирая стены узкого прохода крыльями плащ-палатки. Вид у старшего лейтенанта при этом был такой искренне приветливый, торжественный, что, казалось, не хватает у него в руках только хлеба-соли на рушнике.

Бойцы со скрытой радостью ждали, когда фельдшерша зайдет в их подземелье, осмотрит котелки на полках, горящие, как солнце, патерные, конечно, ради ее визита. Проверая минометчиков по «форме 20», Ясногорская каждый раз дивилась тому, какие они опрятные. Ставила их в пример остальным подразделениям батальона. Могла ли она подозревать, что бойцы к ее приходу ревностно жарили несчастные рубахи над огнем? Когда как-то у одного из новеньких было случайно «обнаружено», покраспелась вся рота. Такой ужас! Старший сержант Онищенко, парторг роты, не сходя с места, поклялся, что «больше этого не будет».

Пока Шура была на огневой, ни одно грубое слово не срывалось ни у кого с уст. Не только разговоры, но даже взгляды бойцов приобретали какую-то особую целомудренную скромность. Самым приятным для Ивана Антоновича было то, что ребят никто заранее не предупреждал, чтобы они так держали себя. Это получалось у них само собой, просто потому, что перед ними была невеста их героя-командира, что была она — Верная, что она своей верностью и девичьей чистотой тоже поддерживает в глазах других честь и заслуженную гордость их роты.

Бывая в батальонных тылах, Ясногорская никогда не обходила владений Васи Багирова. Ее тянуло сюда, как в родной дом, с родными для нее привычками, воспомина-

ниями, запахами... И хотя бойцы-ездовые из чувства стыдливой деликатности никогда первые не заводили разговора. о Брянском, девушка по многим незначительным мелочам замечала, что Юрась продолжает здесь существовать и влиять на них.

Приветливость ездовых никогда не переходила в панибратство. Возможно, их сдерживали офицерские погоны Ясногорской, а может, просто каким-то человеческим инстинктом они чувствовали, где находится грань.

Пожилой ротный портной долго раздумывал, пока наконец решился все же предложить Ясногорской свои услуги:

— Давайте-ка я немножко переделаю вам шинельку.

Шура посмотрела на свои длинные закатанные рукава и едва сдержала готовые брызнуть радостные слезы. О ней думали, о ней заботились с такой трогательной, нежной неловкостью!

По случаю прихода Шуры повар минометчиков Гриша жарил и шкварил разные деликатесы, на какие только у него хватало таланта. Подавая Шуре жаркое, он старательно выбирал для нее куриные пупки, наверное, потому, что сам их больше всего любил. При этом ездовые, внимательно следившие за Гришей, не замечали с его стороны ни одного двусмысленного взгляда, которым он окинул бы стройный девичий стан. Прислуживая девушке, бедняга упрямо глядел в сторону, подальше от искушения, — и это тот самый Гриша, который пользовался в роте репутацией завзятого допжуана! Картофель ему всегда чистили какие-то покрашенные вертихвостки, которых он добывал в степных хуторах, как из-под земли. Ездовые не раз ломали голову: чем это их повар, маленький и сутулый, как сельский дьячок, так привлекает чужеземок? Хома Хаецкий почему-то видел причину этого в том, что Гриша — горбатый.

— Сколько я знал горбатых — всё им такие крали попадают, хоть куда!

Сам Хаецкий был стройный, как струна. Накручивая свои усы, он любил заводить с Шурой солидные разговоры о венгерском адмирале Хорти. Хому очень интересовало и даже беспокоило, как это в стране, где нет никакого моря, вдруг правит всеми адмирал?

— Ей-же-ей, это непорядок, — рассуждал Хома. — Что на море? Там какой-нибудь даже глупый адмирал много беды не натворит: потопит корабль — и все. А пусти-ка

такого правителя на сушу: не оглянешься, как потопит тебе весь народ!

Пропуская роты через баню, Шура ловила себя на том, что относится не ко всем одинаково. Когда приходили мыться минометчики, она не могла удержаться, чтобы не выбрать им из мешков белье получше, целее, белее. И к ним чаще, чем к другим, забегала спросить, достаточно ли горячей воды и мыла. Ребята, густо намыленные, розовые от затылков до пят, смущенно отворачиваясь к стенам, кричали дружным хором:

— Хватает! Хватает!

Шура упрекала себя за то, что не может быть беспристрастной, и все-таки не могла. Да и как она могла относиться одинаково ко всем, если Хома ей все-таки чем-то ближе других, если Вася Багиров, устраивая вечером подводу специально для того, чтобы подвезти Шуру отсюда на командный пункт, набрасывает девушке на плечи палатку нежно, заботливо, как настоящий рыцарь! Просто удивительно, где этот столяр с Крайнего Севера научился рыцарским тонкостям! Ездовому, который должен везти Шуру, Вася показывает быть внимательным, не заблудиться в тумане и не засохнуть в гости к гитлеровцам.

— Товарищ старшина! Вы же меня знаете не со вчерашнего дня! — уверяет боец.

Прощаясь, Багиров отзывает Ясногорскую в сторону и, сверкая темными искрами раскосых глаз, говорит с трогательной таинственностью:

— Может, там кто-нибудь будет приставать к вам... Или говорить разные такие слова... нехорошие. Так вы нам скажите. Только скажите... А мы уж его распишем по-гвардейски!..

VI

Хому Хаецкого фронтовая жизнь изменяла на глазах у всех.

Это был уже не тот лукавый, немного суматошный подолжник, который при приближении «мессершмиттов» впиался зубами в землю и молил неведомую силу:

— Пронеси!

Вопреки всем лишениям, неизбежным на переднем крае, Хома даже растолстел, щеки у него стали как палиты. Привозя «огурцы» (мины) на огневую, Хома охотно

боролся с лобастым Маковейчиком и брыкался, словно застоявшийся конь. В его поведении постепенно исчезли некоторая осторожность и робость, а взамен появились гордая решимость, самоуверенность и даже бахвальство. Ни днем, ни ночью он не спимал с пояса чехол с немецким штыком-кинжалом, хвастая, что когда-нибудь собственноручно резапет-таки тем ножиком какого-нибудь поганого фашиста.

— Эй ты, фриц! — грозил Хома кулаком в сторону противника. — Чи ни говорил я тебе в сорок первом, что кривдой полсвета пройдешь, да назад не вернешься!..

На боку у Хома висела пустая кобура, готовая принять трофейный пистолет — его давнюю мечту.

Раньше, когда, бывало, на маршах или ночью во время давки на переправах возникали обычные в таких случаях стычки между езовыми разных частей, Хома держался подальше от греха. Старшина Багиров дал ему однажды за это такой нагоний, Хома надолго запомнил его.

— Вы что ж это, Хаецкий, тушуетесь? — кричал Вася. — Почему спрятались под повозку, когда транспортная рота чесала Островского батогами? Если уж один ввязался в драку, так тут, брат, лезьте все!

— Я левша, — оправдывался Хома. — И, кроме того, у меня как раз колесо спало.

— Колесо, — презрительно цедил сквозь зубы Вася. — Штаны у вас спадали, а не колесо! Тоже мне гвардеец! Зато, что не бросились выручать из беды товарища, получите три наряда вне очереди!

— Есть, три наряда вне очереди! — глотал Хома. — Но, товарищ гвардии старшина, когда же я их отбуду? Я и так каждую ночь на посту. Разве только после войны?

— Прекратите ваши шуточки, Хаецкий! Три ведра картошки! На кухню — марш!

Повар Грипа только этого и ждет. Он рад запрячь Хому, засадить его чистить картошку. Языкастый подолжанин всегда издевается над Гришиными романами с вертихвостками.

Больше Хома уж не пырял под повозку. Со временем его цыганские усы, став известными всему полку, господствовали над переправами. Он влетал на гремящие доски первым, угрожающе поднимая над головой тяжелый, с кисточками, кнут.

В езовые Хаецкий попал благодаря реформам Ивана Антоновича. Чтобы рота была более дружной, чтобы не

создавалась особая, по его словам, «каста ездовых», Иван Антонович завел порядок, по которому миновозы периодически менялись. Некоторое время они работали на лошадях, потом командир роты отзывал ездовых на огневую, а других, из огневигов, ставил на их место. Иван Антонович гордился своей реформой, введенной для того, чтобы никто из бойцов «не разучился стрелять». Теперь Хома как раз отбывал этот тыловой медовый период.

Правда, транспорт минометных рот называть тылом можно лишь условно. Где только есть возможность, этот «тыл» размещается вместе с огневой. На маршах двигаются большей частью совместно. Только если огневая расположена под самыми боевыми порядками пехоты и нигде замаскировать лошадей, подводы останавливаются в километре или двух сзади, в населенном пункте. Здесь их не достанут вражеские пулеметы, однако огонь артиллерии и минометов со всей силой обрушивается на них. Кроме того, во время боя миновозы должны постоянно курсировать между боепитанием и огневой, проскакивая к переднему краю среди бела дня, на глазах у противника. Огневая не может ждать. Этим объясняется, между прочим, то, что среди ездовых потерь было всегда больше, нежели среди огневигов. И все же Хому прельщала должность ездового. Он, как и старшина, с детства любил лошадей. Его пара серых в яблоках, с заплетенными гривами, с мускулистой грудью брала всех на буксир в гиблых местах. Правда, и съедали его кони не только свой пашковса. Ездовые это хорошо знали, прятали от Хома овес подалше, однако поймать подолянина на месте преступления ни разу не могли. Все же это не мешало им относиться к Хоме с искренней симпатией. Если Хаецкий задерживался где-нибудь на огневой или в опасном рейсе, без него ужинать не садились. Каждому как бы не хватало неугомонного веселого подолянина.

С начальством Хома держался достойно и был мастак поговорить. Беседовать с высоким начальством было для Хома истинным удовольствием. Особенно радовали его встречи с Героем Советского Союза гвардии майором Воронцовым.

С майором Хаецкий близко сошелся, еще мытарствуя в Трансильванских Альпах. Теперь, заходя к минометчикам, замполит всякий раз спрашивал, сохраняется ли у них тот альпийский канат, с помощью которого они когда-то

штурмовали скалу. И Хома уверял майора, что канат лежит у него чин чином в передке.

— Недавно вот просушивал все и его просушил... Пусть будет.

— Пусть... Кто знает, может быть, встретятся нам на пути еще не одни Альпы...

Потом майор спрашивает у Хаецкого, что слышно из дому. Хома как-то пожаловался замполиту, что бригадир не дает Явдохе соломы покрыть хату. Воронцов написал письмо председателю колхоза. Он писал такие письма десятками: председателям колхозов, секретарям райкомов, военкомам. И бойцы тянулись к нему со всеми своими болями. Этот плечистый майор с серыми умными глазами казался им всемогущим защитником, который все может, все выхлопочет, стоит только обратиться к нему. И майор в самом деле заботился о домашних делах бойцов так, словно о своих личных.

— Имею письмо, — хвалится Хаецкий.

— Дал бригадир соломы?

— Сам и покрыл, товарищ гвардии майор. Подействовало!

И Хома начинает при всех бойцах читать майору письмо от Явдошки:

«Хомочка, мой дорогой, хоть бы бог дал скорее разбить врага и здоровым домой прийти. Передай от меня и детей наших широкое спасибо своим офицерам, что прописали нашему председателю. Я только услышала на работе, что прибыло в контору такое письмо, а пришла домой — арба соломы на дворе, словно из земли выросла. Сам бригадир сверху, на хате, ходит, как черногуз¹. Не знаю, что там такое писали им твои офицеры, что аж на хату их вынесло... А то уже и потолок падал, и по стенам текло...

Хомочка, мой дорогой, не знаю, как мое сердце тосковало по тебе, я уже по могла на постель взобраться и по свету ходить. Я говорю, разве я еще мало наплакалась, мало набедовалась, что его не слышно. Буду просить, чтобы писал мне каждую неделю и не забывал, хозяин мой далекий...»

— А вы почему же не писали? — строго перебивает Хому замполит. — На чернявых мадьярок засмотрелись? Про свою забыли?

¹ Аист (укр.).

— Что вы, товарищ гвардии майор! Побойтесь бога! У меня тоже чернявая. На все село молодница!

— Так в чем же дело?

— Да это еще когда мы к Мурешу скакали, так я редко писал. Знаете, как мы там наступали!.. Не до писанины было!.. День и ночь без передышки!.. Километрами, а не ярдами!..

— Ярдами? А вы хоть представляете себе, товарищ Хаецкий, что такое ярд?

— А почему ж я должен не представлять себе, — спокойно пожимает плечами Хаецкий. — Ярд — это что-то вроде старорежимных локтей. Мизерная мера, у нас ее нет, ее только союзники придумали, чтоб больше было считать.

— Хома! — кричат бойцы. — Ну-ка, расскажи, какая нынче сводка у союзников.

Кое-кто при этом уже прыскает.

— Там наступают усердно, — серьезным тоном говорит Хома. — После упорных боев три дивизии союзников ворвались в сельский населенный пункт. Захвачен в плен один «айн-цвай».

— А потери?

— Один контуженый. Остался на отдых.

— Ого! В таком разе у них есть время писать домой! — говорят бойцы.

— И вы пишете, — строго говорит майор. — Им свое, нам свое. Наши жены стоят того, чтобы мы им писали. А то, смотри, Явдошка затужила...

— Солдат слезам не очень верит. — Хома, как негр, ворочает белками. — С Тисы я ей написал. А теперь, говорю, напишу с Дуная. Смотри, говорю, там сама. За меня будь спокойна. Ведь у меня теперь не один наш колхоз. Имею большие дела. На очереди девятый удар.

— А десятый? — спрашивают Хому бойцы, заранее хихикая.

— Десятый — это уже домой!

«Хомочка, мой дорогой, — продолжает читать Хаецкий, — нашей телке уже шестой месяц, а овца котная. Не забывай нас и на синем Дунае, знай, что мы ложимся и встаем, думая о тебе. Посылаем тебе низкий поклон — от белого лица до сырой земли...

Еще забыла — у нас пришел Стах, левой рукой но владеет, и Миколлин шурик без ноги и чеботы делает... А смертью храбрых — Олекса, и Штефан, и Прокоп...»

— Обоих кумовьев нету! — с болью восклицает Хаецкий. — Товарищ гвардии майор!.. Многих наших людей нету! Гибнут! Вот вы упрекаете меня, что редко пишу... А что писать? Бить их надо скорее, проклятых! Скажу вам правду, товарищ гвардии майор: раньше у меня телка из головы не выходила. А теперь все реже и реже снится. И овца котная... Пусть окотится на здоровье... Разве у меня сейчас только это на уме? Когда вся Европа нас ожидает и порядка ждет? Потому что Олекса, и Штефан, и Прокоп сложили головы... Я спрашиваю: за что? Я должен знать, как тут будет после нас.

— Ваше право, товарищ Хаецкий.

— Вот, знаете ли, ходят слухи, что в румынскую дивизию, которая за нами стоит, поналезли фашистские офицеры и мутят воду за нашей спиной... Разве для того мы Румынию бурей пролетели, а всю Трансильванию на локтях переползли, чтобы там всякая нечисть снова голову поднимала? Еще не высохла там кровь наших Штефанов и Прокопов... и Брянских! Ведь так? Так пусть я буду знать, кто там у них в правлении засядет: приятели наши или враги!

— Друзья будут, товарищ Хаецкий, — успокаивает Хому Воронцов. — Демократические правительства.

— То-то же, граждане европейцы, — вдруг обращается подoliaнин к воображаемому обществу европейцев, — то-то же! Не для того мы вас освобождали, чтобы вы вместо старых фашистов насажали новых, в демократических штанах!

Хому интересовало все, он до всего докапывался. В самом деле, он все меньше думал о домашних делах, о своей телке. Что касается этого, то он целиком полагался на Явдошку. А его самого все больше занимали европейские и международные дела. Они так волновали Хому, словно он сам готовился завтра-послезавтра стать дипломатом. Его своеобразных дуэтов с майором Воронцовым бойцы ждали с нетерпением. Воронцов же считал эти дуэты одной из форм воспитательной работы среди личного состава. Кадровый политработник, он находил тысячи путей к сердцу солдата. И Хаецкий, неуклонно вырастая сам, в то же время помогал и майору в его работе.

У Хаецкого был острый взгляд, он все замечал, во все хотел вносить свои коррективы. То он критиковал хуторскую систему и местную породу свиней, то, задумавшись,

неожиданно высказывал предположение, куда будет удирать Гитлер, когда ему прищечет. На этот случай Хома давал свои рецепты, где и как нужно будет искать людоеда.

Когда Воронцов уходил, Хома с бойцами провожал его за ворота фермы до самой дороги.

Мокрый, кое-где разбитый снарядами асфальт тускло поблескивает в туманной степи.

Хаецкий некоторое время стоит, задумчиво оглядывая ровную, как меч, дорогу.

— Вот таких дорог нам еще не хватает...

Потом, стукнув себя пальцем по лбу, начинает мерить асфальт от бровки до бровки. Заложив руки за спину, он ступает широко, как строгий колхозный учетчик. Майор и бойцы, улыбаясь, ждут, чем это кончится.

Примерив раз и другой, Хома заявляет, что этот асфальт уже украинского грейдера почти на три метра.

— Когда идут здесь несколько полков на марше, то никак не обогнать передних, товарищ гвардии майор. Або съезжай на обочину и подрывайся на минах, або дерись батогами с другими ездовыми, чтобы пропустили. А наши грейдеры — и на Винницу и на Могилев — куда шире! Мы их от района до района сами прокладывали. От каждого колхоза — бригада.

— Будет время, — говорит Воронцов, — мы наши грейдеры тоже зальем таким асфальтом.

— О, то были б добрые пляхи! — восторженно говорит Хома. — И гладенькие, хоть катись... Как этот. К тому же на три метра шире! Тогда и они начнут облизываться...

— Товарищ гвардии майор, а как железнодорожные пути? — спрашивает кто-то из бойцов. — Тоже ведь пеодинаковые! У нас шире, у них уже. Когда-нибудь они будут перешиты?.. Чтоб всюду на один аршин?

— Очевидно, будут.

— А кто к чьему примеряться будет: они к нашему или мы к ихнему?

— Только не мы, — улыбается Воронцов. — Разве вы не знаете, товарищ, что поезд на широкой колее держится уверенней? Гони на полную скорость... Однако, — майор предостерегающе поводит в воздухе пальцем, — помни про тормоза, следи за атмосферами!

Бойцы скучали по солнцу.

Видели его давно-давно...

По целым дням — ветры, дожди, туманы.

На огромных плантациях, где стояли в обороне батальоны, виноград был собран лишь частично. Оставшийся урожай гнил на корню. Мглистыми утрами, когда враг постреливал наобум, пехотинцы вылезали из своих глинистых окопов, как суслики. Пригибаясь, рассыпались с котелками в руках по междурядьям: выбирали еще не сгнившие от дождя сизые гроздья, лакомились ими после солдатской каши.

А там, где-то впереди, затянутый пеленой дождя, стоял загадочный дунайский красавец — Будапешт... Будапешт!..

Это слово сейчас не сходило с уст.

Все дни в ротах шли занятия. Ветераны-сталинградцы проводили беседы с новичками, делились опытом боев в условиях большого современного города. Командиры батальонов снимали по очереди в тыл с переднего края отдельные подразделения, формировали штурмовые группы, гоняли их до седьмого пота. Занятиями руководили тоже сталинградцы. В районе полка были местечки и села с постройками городского типа, и бойцы штурмовали по несколько раз давно захваченные ими улицы, вели жаркие гранатные бои, строили и взрывали баррикады. Все было всамделишное, за исключением того, что каждый штурм всегда кончался благополучно, а побежденные жертвы, чертыхаясь, снова поднимались на ноги.

Майор Воронцов придавал большое значение этим занятиям. Бои штурмовых групп он контролировал лично. Как-то замполит зашел к полковым разведчикам. Ребята как раз переживали свои медовые три дня, три дня раздольной свободы, которые получали от «хозяина» всякий раз после того, как приводили важного «языка». Разведчики засыпали майора жалобами.

— Хотя бы эту столицу не обмивуть, — беспокоился сержант Казаков. — А то какие-то все Папкани да Яслодапи.

— Нашу дивизию, — гудели бойцы, — уже и так танкисты окрестили: непромокаемая, пelvesыхасмая, мимобухарестская, мимобудапештская...

— Степная, лесная, горная, болотная!..

— Гвардейский аттестат, — сказал майор. — Почетное имя. Разве фронт — это одни столицы? Это, товарищи, две тысячи километров... Впрочем, мимобудапештской мы, кажется, не будем. Вы видите, как мы сейчас стоим? Куда нацелены?

— Прямой наводкой на голубой Дунай!

— Да, на картах и в вальсах он голубой. А станет, может быть, красный от крови... Кстати, сержант Казаков...

— Слушаю!

— Вы уже проводили занятие? У вас ведь есть новички.

— Программу из штаба получили, — рапортовал Казаков. Он временно замещал командира взвода. — Завтра начинаем!

— Действуйте, — сказал майор.

На следующий день он видел, как разведчики выехали в поле на лошадях. У майора возникли подозрения: какие же уличные бои ребята будут вести верхом? Разведчики тем временем прищипорили лошадей и попеслись вскачь, держа курс на далекое мрачное строение, одиноко высившееся среди осенней степи. Это была винокурня. Туда, словно к Мекке, обращались из окопов взоры многих грешников...

Разведчики быстро скрылись в том направлении, а через некоторое время к винокурне подъехал на мотоцикле и майор с ординарцем.

Во дворе стояли подводы, старшины из разных полков дивизии получали здесь вино для своих подразделений. В одном из подвалов уже звучали песни. Воронцов направился туда. В подвале, среди огромных тысячеведерных бочек, по колено в вине бродили оседланные лошади разведчиков. Майор приказал ординарцу забрать лошадей и направляться в полк. Когда ординарец выводил оседланных вороных из подвала, лошади весело ржали и спотыкались: они были совершенно пьяны.

А их хозяева, сидя где-то сверху на недосигаемых бочках, весело пели украинские заливчатские «Гречаники», и Воронцов вынужден был несколько раз крикнуть, пока его услышали.

— Кто там бубнит внизу? — слышались развязные голоса из-под потолка. — Стукни его по-гвардейски, Петя!

— Слезай! — крикнул майор, в гнев добавляя еще

кое-что. Узнав майора, разведчики посыпались сверху, как груши. Шлепая по колено в вине, они останавливались перед замполитом, виновато опустив головы.

— Такие ваши запятия?

— Т-товарищ гвардии майор, — тяжело ворочал языком Казаков, — мы штурмовали его... э-этот объект... по программе... Мы его с ходу...

— А пализались? Сверх программы?

— Эт-то... сверх программы. Ап-пробация, не отравлено ли...

Майор вывел разведчиков во двор, выстроил в шеренгу.

— Где ваши лошади?

— Были тут... Наверное, п-п-пасутся.

Воронцов скоординировал левое плечо вперед и строем повел ребят к каменному бассейну, наполненному водой.

— Снять головные уборы!

Грешники старательно выполнили команду.

— На колени!

Шеренга опустилась на колени.

— Головы в воду — по самую шею! Раз-два!..

Ребята нырнули, как селезни. Заставив их несколько раз повторить эту процедуру, майор снова построил разведчиков. Мокрые, они только чихали и отфыркивались. Лица становились скорбными. Это означало, что орлы трезвеют.

— Где лошади? — повторил майор.

Теперь Казаков увидел лошадей.

— Вон повела какая-то стер... Р-разрешите, д-догоню!

Ординарец удалялся в поле, ведя в поводу свою добычу. Копи брели за ним, как веселые пьяницы, спотыкаясь.

— Так вот: каждому из вас запрещаю садиться на коней до самого Будапешта, до его взятия. Лишь после того, как падет последний квартал, получите право сесть в седло. А теперь — марш в полк! Вечером на задание.

...Вечером полковые «волки», совершенно трезвые, действительно пошли на задание.

Там, где они проходили, ничто не звякнуло, не треснуло, не хрустнуло. Словно шли темные тени по темным пуховикам.

Утром сержант Казаков привел к Воронцову молодого венгерского капитана.

Капитан рассказал немало интересного.

— Я убедился, — говорил он через переводчика, — что с германами нам пора порвать. Они заведут нас в пропасть.

— Поздновато же вы убедились, — заметил майор. — Не в Воронеже, не в черниговских лесах, а лишь под стенами собственной столицы. Поздновато.

— Мы возлагали надежды на Хорти, — мрачно продолжал пленный. — Мы были уверены, что он заключит с вами мир.

Капитан рассказал, что многие из его товарищей-офицеров уже тайно носят при себе гражданскую одежду на случай окружения Будапешта. Все они возмущены засильем немцев в стране.

— Всюду засели проклятые швабы, — разглагольствовал пленный. — Военное министерство и генеральный штаб возглавляет немец Бергер. Командующие первой, второй и третьей венгерскими армиями — немцы. Всеми нашими войсками командует немецкий генерал-полковник Фриссер... Мои товарищи спрашивают: «До каких пор это будет продолжаться?» Четыреста лет на нашей шее сидели Габсбурги, а мы за них воевали. Хватит!

Под конец капитан пожаловался Воронцову на то, что вот этот сержант, взяв его «до плену», заставлял его, капитана, всю дорогу играть на губной гармошке чардаш и, кроме того, без конца козырять, отдавая честь первому попавшемуся солдату.

— Я офицер венгерской армии, — высокомерно заявил капитан, — а должен козырять вашему сержанту и даже солдатам. В ваших листовках...

Замполит строго обратился к Казакову:

— В чем дело?

Разведчик, сердито поглядывая на пленного из-под надвинутой на лоб ушанки, объяснил, что хотел знать, как приветствуют в венгерской армии: всей пятерней или только двумя пальцами? Ему, как разведчику, вообще крайне необходимо знать, как отдают честь в разных армиях мира. А именно капитан мог это ему продемонстрировать по всем правилам.

— Но вы же заставили меня не один раз козырять, а десять! — воскликнул капитан, выслушав объяснения через переводчика.

Сержанта затрясло. Веки его нервно задергались. Заикаясь, он некоторое время напряженно ловил воздух открытым ртом, пока наконец смог вымолвить первое слово.

Воронцов с болью смотрел на эти усилия своего не раз контуженного, проверенного в опасностях полкового «волка».

— Я н-не знал, что ты т-такой легаш, т-такая дешетка! — прохрипел разведчик, сжимая тяжелые, как гири, кулаки. Иностранец испуганно поглядывал на эти гири. — Т-ты бы мне сто раз откозырял! Т-ты б у меня от самой нейтральной по-пластунски п-полз!..

— Прекратите, Казаков! — сказал майор. — Можете идти.

А когда сержант вышел, замполит встал из-за стола и, заложив руки за спину, молча прошелся по комнате, что-то напряженно обдумывая. Его широкий лоб покрылся складками, свежевыбритое костлявое лицо сжалось в сердитой гримасе.

— Капитан! — резко остановился майор перед пленным. — Вы напрасно обижаетесь. Совсем, совсем напрасно. То, что вы, офицер погибающей армии, отдали честь этому сержанту, ничуть не должно унижать вас. Вы сами достаточно унизили себя покорной, постыдной службой швабам. А известно ли вам, кто этот сержант, который сегодня взял вас? — И Воронцов, наклонившись, почти шептал, словно открывал капитану глубокую тайну: — Донбасский шахтер, ста-лин-гра-дец!.. Понимаете? Спаситель Европы, спаситель мировой цивилизации... Так разве он не заслуживает, чтобы вы ему козырнули?

Капитан ничего не ответил.

VIII

Почти одновременно в третий батальон из разных госпиталей вернулись Шовкун и Черныш.

Шовкун, явившись сначала, как положено, на командный пункт к писарю, неожиданно встретился там с Ясногорской. Фельдшерница, возбужденная, покрасневшая, в распахнутой шинели, склонилась возле КП над раненым пехотинцем. Когда его пришлось поднимать на санитарную рессорку, Шовкун кинулся помогать Ясногорской: здесь не хватало ее девичьих сил.

А Шовкун так тихо, бережно уложил тяжелого бойца, что тот, повернувшись к нему бескровным, покрытым щетиной лицом, даже поблагодарил.

— Вам бы милосердной сестрой быть, — тихо сказал он Шовкуну. — Вы человека берете... сердечно.

В тот же день Ясногорская, с разрешения комбата, взяла Шовкуна к себе в санитары.

— Будете сестрой...

Широкоплечая «сестра» со свежими рубцами на подбородке покраснела до ушей — так было неловко.

Иван Антонович в другое время ни за что не уступил бы своего минометчика. Он был готов схватиться с комбатом, доказывая, что минометчики дефицитны и место Шовкуна возле «самовара». Однако на этот раз Иван Антонович занял примиренческую позицию.

— Если Ясногорская выявила у него медицинские способности, то что поделаешь... Пусть.

Евгений Черныш опять принял свой завод. Рота встретила его искренними поздравлениями: пока Черныш лечился, ему было присвоено звание лейтенанта и пришел приказ о его награждении орденом Красного Знамени за высоту 805.

— Вы уже как штабист! — весело оглядывали минометчики своего офицера. Черныш был в новом кителе, в синих с кантами галифе, в артиллерийской фуражке. Лейтенант стал заметно солиднее. Голову держал прямо, хрищеватый кадык туго выпирал из-под воротника, на щеках опять играл здоровый смуглый румянец. Казалось, лейтенант только что прибыл откуда-то из южных солнечных краев, густо, раз и навсегда обожженный тамошним солнцем.

— Как живете, Денис? — обратился лейтенант приятным баском к Блаженко.

— Живем — не горюем, товарищ гвардии лейтенант, — сдержанно отвечал плотный ефрейтор. — Из земли не вылазим. Так уже к ней привыкли, что теперь, чего доброго, когда домой вернешься, в хате не усидишь, построишь на огороде блиндажей.

— Если и на зарядку всех утром гнать будешь, — кричали товарищи. — Погопишь и жену, и детей, и тещу!..

— А где же наш Хома? Где Маковей? — весело расспрашивал Черныш огневиков.

— Хома теперь при конях! Носится по Мадьярщине, как Илья на колеснице. А Маковей... Вот он собственной персоной!

Услыхав на огневой голос Черныша, Маковей вылетел из блиндажа сияющий, простоволосый. Забыв, что без шапки, он козырнул, приложив ладонь к голому лбу:

— Здравия желаю!

Черныш обхватил его обеими руками, радостно затряс:
— Маковейчик!.. Соловейчик!.. Далеко же ты залетел! Едва догнал вас... Ну, не охрип? До сих пор поешь в трубку?

Возвращение товарища из госпиталя всякий раз переживалось ротой как радостный праздник. Словно прибывший приносил с собой живой аромат давних боев, которые, отдаляясь, меркли в памяти и в то же время как бы очищались от постороннего, приобретали все более яркую красоту. Кроме того, возвращаясь в боевые ряды, товарищ уже самими своими зарубцованными ранами словно говорил роте:

— Мы с вами живучи, нас не так-то легко загнать в землю!..

На другой день на командном пункте батальона Евгений впервые встретился с Ясногорской.

Это было под вечер в дождливом, хмуром поле, под скирдами. Почерпнувшие от дождей скирды соломы еще утром были в руках противника. В опустевших соломенных гнездах, в торопливо отрытых — брустверами на восток — стрелковых ячейках еще, казалось, не выветрились остатки человеческого тепла. Вокруг на зеленой, вволю напоенной дождями озими густо чернели свежие воронки от мин и снарядов. Кто-то посеял пшеницу, а уродились черные воронки... Теперь минометчики устраивали здесь свою огневую. Ислегко было вчерашним хлебобобам вгонять большие саперные лопаты в кустистые ярко-зеленые, покрытые туманной росой посевы...

— Ничего, — подбадривал Иван Антонович своих минометчиков. — Озимые перекопаем, зато, может, яровые будут лучше...

Недалеко под скирдами разместился комбат Чумаченко со своей штабной ватагой и санитарным взводом. Хотя никто не знал, придется ли тут ночевать, работа все же закипела. Свистела земля, выбрасываемая из ячеек, трещала выдергиваемая солома. А в километре от скирд, над придорожной посадкой, рассыпались ракеты и не утихла стрельба. Там был уже передний край.

Без конца моросило, поле затянулось седой пеленой, далекие деревья, телеграфные столбы, скирды — все растворялось в пасмури, теряя очертания. Незаметно опускались на всех и на все ранние осенние сумерки.

Когда Черныш подошел к Ясногорской, она как раз переобувалась, сидя на куче надерганной соломы.

Будь она даже не единственной девушкой в батальоне, он, кажется, все равно узнал бы ее. Белолицая, с прищуренными большими глазами. Тугая корона косы под беретом... Он уже раз видел это лицо в ту лунную трансильванскую ночь.

— Извините... Садитесь, — сказала девушка, когда они познакомились. Черныш покраснел: бедная, она забыла, что сесть-то ему негде.

— Спасибо.

— Вы давно прибыли? — спросила Ясногорская, лишь бы что-нибудь сказать. О Черныше она уже слышала раньше, знала, что это близкий друг Юрася. А встретившись, не находила для него слов.

— Давно... Собственно, вчера...

— Да... Здесь это уже давно. — Шура аккуратно выжала насквозь промокшую портянку, из которой потекла вода. — Набродились мы сегодня... Здесь хоть посуше, а там, на лугах, просто море.

— Да, море... А я вас, между прочим, видел на настоящем море, — смущаясь, выпалил Евгений. — Возле байдарки, с веслом в руке.

— Ах, это то фото! — Шура поморщилась, как от боли. — Кстати, вы не знаете, у кого оно сейчас?

— У Сагайды... Он тоже должен вернуться в полк.

Шура обулась и, шурша намочшей плащ-палаткой, поднялась.

— То было море, — вздохнула она.

Оба они в это мгновение подумали о Брянском.

Из соломенного дупла, вырытого в скирде, отряхиваясь, вылез Шовкун. Весь в соломе, с шапкой, повернутой ухом наперед, он, казалось, отошел только что от молотилки.

Увидев Черныша, боец растрогался до слез. Чего греха таить, он был очень мягкий, до сентиментальности нежный, этот уса́тый винничанин с крутым, в шрамах, подбородком.

— Расставались в горах, а встретились в долинах, — грустно промолвил Шовкун, вероятно подумав в эту минуту о Брянском, который нигде им уже не встретится. — Тогда еще красное лето горело, а сейчас, вишь, осень все дождями затапула... Только озимые еще зеленеют...

И, сокрушенно махнув рукой, обратился к Ясногорской:

— Отрыл вам окоп полного профиля... Не очень, правда, роскошно, но сухо. И сверху не пробьет, и ветер не задует. Только остюгов много, и мыши шуршат.

Шура подошла к Шовкуну и поправила на нем ушанку, повернув звездой наперед.

— А вы где будете? — спросила она санитару. — Отойдите и себе.

— Что я? — покраснел Шовкун. — Я могу где угодно. С телефонистами притулюсь.

О Шуре Шовкун заботился так же самозабвенно, как в свое время о ее Юрасе. Делал он это не из каких-либо корыстных соображений, это было его внутренней потребностью. «Молодой наш цвет, — мягко говорил он товарищам, — как же его не беречь!»

— Хороший он, — сказала Ясногорская о Шовкуне, когда он, перекинув через плечо санитарную сумку с красным крестом, подался куда-то искать себе пристанища. — От него я впервые услышала о вас...

Причась от дождя, они присели на край соломенного дупла. Был только пятый час, а вокруг совсем стемнело. Чернышу хотелось многое сказать этой девушке-вдове с маленькими белыми руками, с глазами, полными тоски, но он не позволял себе говорить. Он знал: о чем бы ни зашла речь, все ей будет больно, потому что все так или иначе будет касаться Юрия, будет проникнуто Юрием. Хоть они и не вспоминали до сих пор о нем, однако он все время был здесь, с ними, между ними. Утешать? Но она, кажется, не из тех, которые согласны выслушивать утешения от первого встречного. Равнодушная ко всему, то погружается в раздумье, словно сидит здесь одна, то иногда пристально посмотрит на него, словно хочет увидеть насквозь — кто он, чем завоевал право на дружбу Юрася... Лицо ее в сумерках как будто голубое... Наверное, много плачет по ночам... Вот перевела взгляд в поле, тусклое, холодное, осеннее...

— Глядите, уже снег пролетает, — сказала она в раздумье, зябко кутаясь в плащ-палатку. — Но, боже, какой он у них... У нас первый снег — белый-белый... А тут... как пепел!

IX

Как-то утром Хаецкий, вернувшись с переднего края на ферму, был поражен неожиданным зрелищем: во дворе, в саду, за скирдами и всюду на поле — слева и справа — стояли пушки, пушки, пушки...

Как будто выросли из-под земли.

Гитлеровцы ничего о них не знали: благодаря туманам вражеская авиация в последние дни бездействовала.

Едва Хаецкий сел с товарищами завтракать, как за окном ударило тяжелое орудие. Дом вздрогнул, и стекла с веселым звоном посыпались на стол.

— Вот это я люблю! — воскликнул Хома, хватаясь за шапку. — Это по-моему!

— Иштением... Иштением! — зашептал хозяин фермы, поглядывая на потолок.

Бойцы, на бегу одеваясь, выскакивали во двор.

Орудия уже ехали от края до края, — в поле их залпы сливались в единый, могучий, дрожащий гул.

Во двор влетел Багиров на взмыленном сытом жеребчике.

— Кончай почевать! — радостно скомандовал он, не слезая с коня. — На голубой Дунай!..

Шура Ясногорская в это время стояла на командном пункте. Она впервые видела перед собой поле боя.

Перед глазами расстилался типичный для Венгрии волнистый степной ландшафт: неглубокие лощины, холмы, равнины и снова цепи холмов. По седому полю, в слоистых дымах, еще не успевших рассеяться после канонады, виднелись, словно курени, составленные вместе высокие снопы кукурузы. Между этими торчащими снопами в тающих дымах неторопливо двигались фигуры бойцов, почти сливаясь с бесцветным фоном стерни, виноградников и кукурузных полей.

Бойцы шли, рассыпавшись по полю, поднимавшемуся все выше. Они именно шли, а не бежали короткими перебежками, причем передвигались не прямо вперед, как полагается в атаках, а пересекали поле в разных направлениях, наискось и в стороны и, даже сойдясь по нескольку человек, некоторое время стояли, как будто о чем-то советовались. Тогда их трудно было отличить от кукурузных снопов. Блеклые, дымчатые тучи летели над полем по-осеннему низко и быстро.

— Это уже атака? — спросила Ясногорская у комбата Чумаченко. Капитан Чумаченко, пожилой высокий мужчина с моложавым лицом и седеющими висками, стоял рядом с ней.

¹ Боже мой! (венг.)

— Атака, атака, — ответил он, глядя в бинокль. — Артподготовка кончилась, люди встали, продвигаются — чем же не атака!.. Хлопцы идут, как боги!

Хлопцы шли, как боги! Весь горизонт усеялся этими серыми богами. Одни поднимались по отлогому склону, другие исчезали за холмом и словно входили в землю.

Шура раньше думала, что при атаке нужно обязательно бежать, бежать по геометрической прямой, как в фильмах, а здесь бойцы шли исторопливо, во весь рост, двигались и прямо и паискось, расходясь лучами, будто обмеривали все поле, как землеустроители.

Издали Шура не видно было, что бойцы шагают по колено в вязком, раскисшем черпоземе и бежать не могут, потому что им нужно перескочить по сто метров, а преследовать противника до самого вечера, потом с вечера до утра. А не идут прямо, папрямик, потому что под ногами то и дело замечают ниточки проводов, которые надо переступить, не зацепившись, чтобы не подорваться на минах. А «ура» не кричат потому, что «ура» для них не парадное развлечение, а тоже оружие, — и его, как всякое другое оружие, следует беречь для решающего момента. Сейчас пускать в дело это оружие не было необходимости, так как фашисты драпали. Оглушенные ударом артиллерии, они не скоро опомнились. Кое-где стали огрызаться ожившими пулеметами. После грохота канонады поле казалось большим и тихим, как степь в мертвую обеденную пору. Пулеметы стрекотали в пей, словно невидимые кузнечики.

Пехотинцы продвигались медленными, методическими волнами. Некоторые даже натянули на себя палатки, потому что сыпал мелкий дождь. И, наверное, именно этими капюшонами и солидной исторопливостью бойцы напоминали девушке землемеров. Шура начинала понимать, что и огромные просторы за ее спиной кажутся ей так бесповоротно, навсегда отвоеванными именно потому, что они взяты не авантюрными десантами, не бомбами с визжащими «психическими» сиренами, не декоративным отрядом мотоциклистов. Нет! Они пройдены шаг за шагом, основательно перемерены ногами пехотинца. Пехота! Матупика-пехота!..

И хотя Шура выслала вперед санитаров, а самое ее комбат не пускал туда, пока не будет в этом крайней необходимости, Шура не стоялось тут. Она крепче натянула берет, повесила через плечо санитарную сумку.

— Товарищ комбат, я пошла.

Чумаченко не стал ее задерживать.

И Ясногорская, тяжело шлепая сапогами по хлюпкой грязи, пошла. Чем больше она отдалялась, пригибаясь под дождем, не спеша, уверенно ступая, тем больше и сама напоминала усталого мирного землеустроителя.

Вася Багиров по опыту знал, что коль началось такое наступление, то батальон рано или поздно снимется вперед. Чтоб не отстать от своих огневинок, старшина всегда выступал заранее. Еще не утихла артиллерийская подготовка, а подводы минометчиков, груженные боеприпасами, уже выскакивали из фермы в направлении передовой. Хозяин фермы, закопав на всякий случай сапоги в землю и обувшись в худые туфли, стоял у ворот и прощался.

— Хома! — растроганно кричал он Хасецкому, помахивая шляпой. — Висонтлаташа!¹

С говорливым Хомой он особенно сблизился. Не раз по вечерам, когда Хасецкий был свободен, они часами просиживали за стаканом вина, мирно беседуя на том странном общечеловеческом языке, который советские бойцы сами создавали за границей.

Фермер хотел из уст рядового бойца, такого же, как и он, хлебороба, услышать правду о Советском государстве, проверить правдивость того, что ему годами вбивала в голову сельскохозяйственная газетка, которую он выписывал.

Хома рассказывал.

В этих беседах один на один с человеком другого, далекого мира Хасецкий чувствовал себя совсем иначе, чем в беседах со своими товарищами по оружию. С ними он мог разговаривать о чем угодно и как угодно. Но в беседе с этим иностранцем он волей-неволей должен был подбирать особые слова. На какое-то время он как бы становился полпредом.

Дома, в своем колхозе, перед каким-нибудь представителем из района или области Хома первый, размахивая руками, кричал бы о множестве всяких промахов и недочетов. Если бы мадьяр услышал его там, он мог бы подумать, что вся жизнь Хомы состоит из этих промахов и недостатков. Здесь же Хома, почувствовав в самом себе гордость строителя, хозяина и защитника нового строя,

¹ До свидания! (венг.)

умел как-то сразу отделить существенное от незначительного, большое от малого. И он рассказывал венгерцу об этом большом с гордостью и величием. Правда ли, что простой крестьянин, не граф, может в Советском Союзе стать депутатом парламента? Что за вопрос! Конечно, правда! Правда ли, что крестьянские дети могут учиться в институте на государственный счет? А как же! У Хома у самого крестника учится в Киеве!..

Фермер хвалит русских коммунистов. Хому он, кажется, тоже считает коммунистом. И только когда речь заходит о колхозах, мадьяр упирается, как бык. Только Хома шалееет, его кулаки свистят перед носом оппонента.

— Такого закоренелого индивида, как ты, я давно не видал! — признается Хома. — Хуже бабы!.. Когда-то наши бабы вот так колхоза пугались, а теперь, попробуй... Ты их теперь водой не разольешь!.. В оккупации пришлось всем селом в лес перебазировааться, к партизанам, а все равно и там колхозом существовали! Разве мыслимо без него?.. Вот так, как вы здесь, в одиночку волками выть?.. Каждый в свой угол смотрит. Ни тебе колхозного клуба, ни кино, ни собраний! Как вечер — все на запорах, псы спущены, и сам ты, как пес, не можешь уснуть, всю ночь боишься, прислушиваешься, сторожишь свою нищету. Позабивались в свои хутора, как в норы... Скажи, чи ты ходишь куда-нибудь хоть в гости? Чи есть у тебя кум? Где ваше морально-политическое единство? По-вашему так: ешь соседа, иначе он тебя съест!..

Хома наливает в стакан белого вина и выпивает залпом.

— А знаешь ли ты, к примеру, — продолжает Хома, — как мы в Трансильвании скалы штурмовали? Думаешь, лезли кто как попало? Ошибаешься, брат... Для этого у нас есть такая штука — альпийский канат... Но это уже военная тайна. Факт тот, что если один сорвется, то все поддержат... А если один взобрался на вершину, так всех тянет за собой... Так-то мы живем!.. Но что с тобой говорить: ты человек темный, отсталый! — восклицал в конце концов боец и безнадежно махал рукой.

А сейчас фермер, на время забыв прежние разногласия, провожал своего бурного оппонента за ворота и от души желал ему счастливой дороги.

Однако дороги не было никакой.

Для того чтобы выйти на Будапештское шоссе, полк с артиллерией и обозами должен был пересечь около де-

сяти километров осенней разбухшей трясины. Это не было просто болото, это были вспаханные поля, но настолько напоенные непрерывными дождями, что нечего было и думать добраться до твердого грунта. Пехота вышла к шоссе уже вечером первого дня наступления и стала продвигаться вдоль него. А транспорт с боеприпасами и артиллерия еще утопали в проклятом разбухшем поле.

Всюду, куда ни глянь, в размытой пашне бились обозы и пушки. Гиканье, понуканье не умолкало над вечереющей седой степью. Лошади, выбиваясь из последних сил, барахтались в грязи по самую грудь. Колеса едва поворачивались, выгребая пуды вязкого чернозема. Через каждые несколько метров останавливались отдохнуть. Более слабые лошади валялись с ног. Раз упав, конь уже не мог подняться: его засасывало на глазах.

Полковые артиллеристы где-то мобилизовали хуторян с волами. Хотя было холодно, все же хуторяне, жался сапоги, пришли босые, закатав штаны выше колен.

Волы были такие, что не достать до рогов. Их впрягали в подводу по три-четыре пары, но и они не могли сдвинуть ее с места. Голоногие мадьяры с длинными дубинами сутились вокруг скотины, погоняли, кричали, а волы барахтались грудью в болоте и не двигались.

— Бес их знает, что они там гелгочут своим волам! — сердились пушкари. — Может быть, тпрукают... Кугутня!..

И люди и животные, забрызганные грязью с головы до ног, стали непохожи на самих себя. А среди подвод ходил тот самый артиллерийский техник, который в свое время подвозил Ясногорскую. Он был теперь начбоем полка. Когда-то других подвозил, а сейчас сам, потеряв коня, тащился с седлом на плечах, передавая старшинам приказ «хозяина»: ни одного ящика боеприпасов не бросать. Кто вздумает «растерять» — трибунал.

Багиров бросался во все стороны, отыскивая лучший проезд. Всюду было одинаково. Лишь в одном месте он наскочил на полевую, более или менее твердую дорожку на виноградниках. По ней, казалось ему, можно было просхать хотя бы километр в нужном направлении. В азарте он погнал коня по дорожке, чтоб разведать ее до конца. Не успел старшина проскакать и десяти метров, как земля под ним с треском взорвалась.

Острая боль пронизала согнутые в коленях ноги. «Раздробило!» — мелькнуло в голове. Пощупал рукой — ноги

были. Поскорее выдернул их из стремян, так как лошадь уже шаталась, падала. Соскочив с седла, Вася сначала не удержался на ногах от страшной боли и упал. Но в ту же секунду поднялся на руках и, словно акробат, перебросил свое тело, высвобождаясь из-под коня. Правая передняя у коня была оторвана выше копыта. На счастье Багирова, мина оказалась не осколочной.

«Наверное, моя Катерина счастливая», — с благодарностью подумал старшина о своей кировоградской молодке.

Лошадь сдержанно стояла сквозь зубы.

«Если б не твоя нога, друг, заплатил бы я своей, — думал Вася, доставая пистолет. — Конь мой, конь! Если были бы конские протезы, оставил бы я тебя в живых. Но прости!»

И Вася выстрелил копы между ушей.

Сняв седло с убитого коня, старшина вернулся к своим.

— Что с вами, старшина? — воскликнул Хаецкий, всматриваясь в вечерних сумерках в Багирова. — Так это под вами трахнуло?.. Вы весь в саже, как сатана из трубы!

— Отмоюсь... В Дунае, — ответил Вася.

И, вытираясь, старшина изложил ездовым свой новый план. Эти планы, иногда почти фантастические, рождались у него в голове один за другим. И чем сложнее были обстоятельства, тем больше было планов. Новый заключался в следующем.

Пробиться к дороге одновременно всем подводам невозможно. Это уже видно по всему. На хуторских волов тоже надежды напрасны: как только стемнело, голоногие погонщики разбежались кто куда, пушкари выпрягли круторогих «му-два». Но и выпряженные, они не могли уже сдвинуться с места. Значит, одна надежда — только на себя и на своих коней. Иван Антонович уже, наверное, высматривает их с «огурцами». Багиров предлагает: от всех шести подвод отобрать самых крепких коней, запрячь в одну подводу и тянуть ее к шоссе. Потом таким же образом взять вторую, третью, пока не вытянут все до последней.

Этот простой способ дал неожиданные результаты: к полуночи первая подвода была на Будапештском шоссе. Это уже много значило: на подводе десять ящиков, сотня мин.

Метод Багирова вскоре подхватили все.

Наверное, нигде целесообразная мысль, свежая инициатива не распространяются с такой молниеносной быстротой, как на фронте. И сколько таких мелких зерен, брошенных в боевом пылу безыменными тружениками армии, давали в самый короткий срок буйные всходы.

Все больше и больше подвод и орудий, глубоко перепахав в темноте размытое поле, выезжало на шоссе. Как ни странно, однако армейские лошади тянули лучше, чем фермерские круторогие. Может быть, потому, что лошади, понимая язык бойцов, напрягались и отдыхали по единой команде.

На рассвете Будапештское шоссе было запружено орудиями и тяжелыми транспортом с боеприпасами. Ни одна подвода не шла навстречу, на восток. Все гремело, спешило, рвалось по Дунай.

Х

В конце ноября 1944 года войска 3-го Украинского фронта форсировали Дунай на юге Венгрии, под Югославией. Создав первый задунайский плацдарм и захватив важные города: Мохач, Печ, Батажек, войска фронта повели наступление на запад, между озером Балатон и рекой Дравой, и на север — между Балатоном и Дунаем.

— Из всех наших фронтов мы теперь самые западные, — шутили офицеры. — Перевалили за девятнадцатый меридиан.

Спустя несколько дней после начала стремительного наступления на север, вдоль правого, западного, берега Дуная, советские войска очутились в полусотне километров от Буда.

В столице началась паника. Заводчики и коммерсанты бежали на запад. Вверх по Дунаю поспешно отплывали корабли, груженные государственным добром. Плыли против течения по темному, тяжелому Дунаю, как по туче.

Немецкое командование поспешно снимало новые свои дивизии из Италии и с союзнического фронта и бросало на Дунай.

В эти дни на врага свалился еще один оглушительный удар. На северо-востоке от Будапешта войска 2-го Украинского фронта также перешли в наступление, прорвали оборону и надвигались на столицу. Советские тапки,

пробиваясь горно-лесистым бездорожьем на север от Будапешта, достигли Дуная. Тем временем ниже по Дунаю, к югу от Будапешта, саперы в одну ночь навели переправу. Части, перейдя на западный берег, соединились в районе озера Велепце с «задунайцами», наступавшими с юга.

Полк Самиева все эти дни вел бои вдоль одной из шоссеиных магистралей, которая шла к столице с северо-востока.

Оправившись после первых ударов в дни прорыва, враг все больше усиливал сопротивление. То на одном, то на другом участке он при поддержке «королевских тигров» переходил в контратаки.

Против «королевских тигров» с нашей стороны стали применять не только специальную противотанковую артиллерию, но и артиллерию тяжелых систем.

Можно было видеть в степи спесенные танковые башни, отброшенные взрывом от такого «тигра» далеко в сторону. Приходилось штурмовать каждую ферму, каждый городок, продвигаясь вперед километр за километром.

В населенных пунктах стали все больше встречаться беженцы из Будапешта.

Как-то во двор, где остановился Багиров со своими бойцами, зашел высокий, интеллигентного вида, старик с палочкой в руке, в широком кофейного цвета макинтоше. Здороваясь, он уважительно, но без подобострастия подвинул фетровую шляпу, открывая седую львиную шевелюру, зачесанную на одну сторону, как у русских художников прошлого столетия. Смуглое с орлиным носом лицо иностранца еще сохраняло следы былой красоты. Прибывший довольно хорошо говорил по-русски.

— Прошу, господа, у вас есть кухня? — спросил он.

— У нас все есть, — отвечали бойцы. — А тебе что?..

— Я хочу вам рубать... огонь. Извините, дрова, — предложил старик свои услуги.

Повар Гриша с недоверием посмотрел на его белые руки, на интеллигентное лицо с мешками под глазами.

— Что касается меня... погрейся, — сказал Гриша. — Разомнись в порядке физкультуры.

Зантересованные ездовые пришли посмотреть, как капиталист будет колоть дрова. Они не сомневались, что перед ними именно капиталист, хозяин какого-нибудь раз-

бомбленного предприятия. Венгерец положил свою элгантную палочку, пригладил бородку и, стараясь скрыть смущение, бодро взялся за топор. Уже по тому, как он его держал, было видно, что этот дровосек не много нарубит. А Гриша нарочно подложил ему толстую, крепкую колоду.

Венгерец подходил к ней со всех сторон, хищно нацеливался и тюкал. Колода только перекатывалась с места на место, оставаясь целехонькой. Бойцы посмеивались, ухмылялись. Незадачливый «дровосек» быстро вспотел. Хаецкий не мог больше спокойно смотреть на это самостязание. Он отбросил кнут, решительно плюнул на ладони.

— Эх ты, Европа... Дай-ка я рубану!

Венгерец, смущенно улыбаясь, отдал подолянину топор.

— Гех! — выдохнул Хома, размахиваясь из-за плеча. Топор впился в дерево.

— Гех! — воскликнул боец, замахиваясь еще раз.

Колода треснула, как тыква.

Через минуту Хома расщепил ее на мелкие поленья. Венгерец зачарованно смотрел на работу бойца.

— У вас золотые руки, — восторженно сказал он.

Хаецкий, польщенный такой похвалой, взглянул на свои заскорузлые, покрытые мозолями ладони. Золотые...

— Ты кто? — спросили венгерца. — Капиталист? Коммерсант?

Старик засмеялся.

— Я артист, — ответил он. — Человек свободной профессии. Живописец!

— А с чего же это тебе вздумалось дрова колоть?

Старик горько вздохнул.

— Что вы спрашиваете? — заступился за него Хома. — Разве не видите, что он припухает? Гам-гам нинчен!

— Гам-гам? — спросил повар. — Говори прямо.

— Да... Я из Будапешта.

Бойцы знали, что беженцы жестоко бедствуют.

— Пойдем... Заправисься.

Человека свободной профессии повели к кухне. За столом старик стал подробно рассказывать о себе.

Звали его Ференц.

Он был одним из тех многочисленных жителей венгерской столицы, которые, спасаясь от террора салашистских банд, тысячами оставляли родной город и уходили

в сельские местности. В первую мировую войну Ференц три года пробыл в русском плену.

— Ваш народ благороден и великодушен, — говорил художник, вытирая платочком усы. Он рассказал, как однажды ему пришлось ехать в теплушке вместе с говорливыми украинскими крестьянками. Сжалившись над оборванным солдатиком, они дали ему большую краюху хлеба, хотя тогда и в Донбассе с хлебом было туго. Прошло почти четверть века, а старик никак не мог забыть ту краюху.

— Может, то как раз была моя мамаша, — задумчиво сказал повар. — Она жалостливая... Всем бы помогала...

— Ваши всегда помогали народам, — продолжал Ференц. — Вот и теперь ваши армии проливают кровь на полях нашей Унгарии. Кто скажет, что это кровь эгоистов? В Будапеште радио ежедневно распиналось: «С востока надвигаются азиатские варвары! Спасайтесь, венгры!...» Тогда я сказал: «Я знаю, какие это варвары. Я жил среди них три года, как среди братьев... Не от них нам надо спасаться».

Свободный художник, правдивый и принципиальный, в разговорах не щадил салашистов. Это не могло пройти бесследно: над ним нависла угроза ареста. Пришлось скрываться от преследования в разных районах города, в бушерах и подземельях. Ему помогали многочисленные знакомые. В Будапеште где-то остались его дочь и маленький внук, а зять погиб в Интернациональной бригаде в Испании.

— Все честные люди в Унгарии, — говорил Ференц, — ждут вашу армию. Я мадьяр, я патриот, и верьте моему сердцу.

Художник рассказывал бойцам о жизни в Будапеште, о Салаши, которого он считал своим личным врагом.

— Бандит, уголовник, гитлеровский наймит! — И Ференц, к великому удовольствию бойцов, выругался крепкой русской бранью. Ему было известно, что Салаши, главарь «Скрещенных стрел», еще во время регентства Хорти Миклоша не раз попадал в тюрьму, а как-то даже сидел в сумасшедшем доме.

— Странно, что фашизм выносит на поверхность именно таких дегенератов, — рассуждал художник. — Дегенерат Гитлер, морфинист Геринг, тупой разбойник Салаши... Наверное, сама гнилая атмосфера фашизма пло-

дит таких микробов. Но настоящая демократия, как солнце, убьет их!..

Повеселев, Ференц рассказал бойцам известный всему Будапешту казус — как Салаши выступал по радио.

«Румыния продала нас и всю Европу! — однажды кричал Салаши. — Она капитулировала перед красными войсками. Мадыяры, берите пример с непоколебимой, каменной Финляндии!»

А на другой день капитулировала и «каменная» Финляндия. Гитлеровцы после этого случая не подпускали своего лакея к микрофону.

Захватив власть, Салаши и его подручные устроили в Буде, в королевском дворце, комедию присяги короне св. Стефана. Ход церемонии транслировался по радио. Вдруг, когда салашистский диктор на минуту умолк, в эфире прозвучал чей-то грозный голос:

— Мадыяры! Помните, как Салаши в июне тысяча девятьсот тридцать восьмого года стоял перед судом!..

Салашистские шпики с пог сбились, разыскивая этого неизвестного патриота, который, рискуя жизнью, мужественно обратился к народу по радио.

— Нашли? — нахмурился Хома, внимательно слушавший художника.

— О нет! Нелегко пайти, невозможно уничтожить того, кому симпатизирует народ! Его не было нигде, и он был всюду.

— Молодцы, не выдали! — повеселели бойцы. — Значит, и у вас есть такие, что не дремлют...

— Голос неизвестного патриота был голосом самой правды, — продолжал Ференц. — Я надеюсь, что этот пройдоха Салаши когда-нибудь опять предстанет перед судом, как в тысяча девятьсот тридцать восьмом году. На этот раз перед судом нашего народа.

— Только теперь его нужно лучше судить, — заметил Хома с апломбом опытного юриста. — Что то за суд, если живым выпустили!

Художник понравился бойцам.

Постепенно он привык к ним, прикатил откуда-то свою детскую коляску с разным скарбом: рулонами холста, красками, бумагой... Другого имущества у Ференца не было.

На досуге он показывал бойцам свои альбомы с этюдами Будапешта. Это были зарисовки руин — разбитые фронтоны, беседки, детали храмов, набережные. Под

какими-то развалинами над Дупаем стояла подпись венгерски.

— «Разгневанный Дупай», — с горечью перевел художник. — Это мои обвинения. В новой, демократической Венгрии я предъявлю эти этюды судьям.

Ференц старался во всем помогать бойцам, не желая даром есть их хлеб. Хотя он был совсем непрактичен, бойцы с присущим только нашим людям добродушием цепляли уже одно стремление Ференца честно трудиться, помогать им. Они не обижали старика, и, когда садились есть, каждый приглашал Ференца к своему котелку. То, что он без конца хвалил свою Унгарию, с которой они воевали, совсем не обижало бойцов.

— Мы уважаем патриотизм всякой нации, — успокаивая художника, говорил старшина Багиров, — потому что мы сами патриоты.

Чаще всего Ференц подсаживался к котелку Хома. С подолынием он, видимо, чувствовал себя свободнее, чем с другими. Хома умел над каждым посмеяться и в то же время вызывал общую симпатию своим юмором и чувством коллективизма, которое, казалось, уже было у него в крови.

Как-то Хома изъявил желание, чтобы Ференц нарисовал его на память потомкам подольской Вулыги. Художник охотно согласился и в несколько минут увековечил Хому на листе плотной бумаги. Полнощекый, с глазами навывкате, Хома, позирруя, надувался еще сильнее, чтобы выглядеть «более страшным». Он непременно хотел быть с конем и, держа своего серого за повод, время от времени щелкал его по зубам, для того чтоб конь вышел бравым. Левую руку Хома небрежно положил на рукоятку трофейного кияжала, висевшего у него на боку. Усы вверх, шапка-ушанка чертом набекрень.

— Рисуй так, чтоб на Котовского был похож, — заказывал Хома. — Шею у копя — вот так, дугой!

Хома падувался и делал страшные глаза. Но художник придал его лицу вместо грозной воинственности простодушное выражение беззлобной, озорной лукавости. Несмотря на такое своеволие художника, Хома, посмотрев на свой портрет, остался доволен.

— Похож! — сказал он. — И усы и конь как живой... Ишь как резвится... У тебя, Ференц, хорошие руки. — Хома художнику «тыкал». Он вообще почему-то всем иностранцам говорил «ты». — Прямо скажу, Ференц, что

у тебя... серебряные руки. Кесенем сейпен — весьма благодарю!

Ференц, улыбаясь, мельком взглянул на свои белые, как будто и в самом деле серебряные руки.

XI

Противник поспешно отходил к Будапешту, минирова за собой шоссе.

Минометчики двигались полем со стволами и лафетами на плечах, не укладывая их на вьюки. Знали, что очень скоро остановятся на новом рубеже, чтобы отбить очередную контратаку. Всю ночь пехота вела бой за населенный пункт, маячивший впереди фабричными трубами. Пехотинцы, раненные ночью, брели навстречу и говорили, что это видны уже трубы северо-восточных окраин Пешта.

Утро выдалось серое, пасмурное. Хлестал холодный, колючий дождь. Земля покрывалась гололедицей. Обледневшая озимь ломалась под погами бойцов, как хрустящее зеленое стекло. Палатки тарахтели на людях, переламываясь при каждом движении.

Рядом с минометчиками ехали верхом полковые артиллеристы. Лошади, напрягаясь, тащили пушки. Всадники, озоруя, уверяли, что им с седел уже виден голубой Дунай. Молодой лейтенант из батареи Саша Сиверцев, догнав Черныша, весело поздоровался. Они вместе лежали в госпитале, вместе вернулись в полк.

— Ты, Жея, сияешь на все поле, как в броне, — сказал Сиверцев, притронувшись к обмерзлой блестящей кожанке Черныша. — С кем махнул?

— С Григоряном на шинель... Прогодал?

— Смотря по тому, как ты себя ночью чувствуешь... Зубами здорово клацаешь?

— Что ты! Бывает даже жарко.

— То-то я вижу: ты сегодня весь горишь, весь цветешь. Тут что-то не то, дружище!..

Жея шутливо толкнул товарища в спину. Может быть, потому, что Сиверцев почти угадал.

Последние дни Черныш действительно был в беспричинно радужном настроении. Не знал, откуда это, а может, просто не хотел сам себе признаться. Вчера вечером на КП он опять разговаривал с Ясногорской. Это был

простой разговор о том, как в госпитале он приводил в порядок записи Брянского, перед тем как послать их в наркомат.

— Сколько там мыслей, — вырвалось у него. — Каких богатых мыслей!

— Вы думаете, что будет еще когда-нибудь война? — спросила, хмурясь, Ясногорская.

— Я этого не хотел бы... Но наш опыт, добытый кровью, стоит сохранить. К тому же это — память.

Шура вздохнула.

— Женья, — сказала она после долгого молчания, — вы... настоящий друг.

Он шел на огневую и слышал, как звенят эти слова в темноте осенней ночи. Стало как будто рассветать, и уже не было вокруг ни дождей, ни холода, ни беспросветной тревожной темноты... Сердце беспричинно цело, и жизнь, как земля к солнцу, поворачивалась к Чернышу своей самой лучшей стороной... Вместо ракет, рассекавших ночь, будто высокая заря виднелась впереди, вспыхивая свежо, ярко, по-весеннему...

Нет, он ни в чем не хотел признаться даже самому себе.

— О чем ты задумался, Женья?

— Так, о Дунае... Какой он весною... Маковейчик, какой он, по-твоему, веспой? — обратился лейтенант к своему телефонисту, шагавшему впереди с катушкой на спине. Боец обернулся радостный, раскрасневшийся, ихлеставный дождем. Брови у него обмерзли.

— А он такой, как Днепро, товарищ гвардии лейтенант...

— Ну да, ты же днепровец...

— Не совсем, товарищ гвардии лейтенант... Мы от Днепра километров двадцать. У нас в степи совсем никакой речки нету. И село называется Сухеньке. Была, говорят, когда-то речка Восьмачка, так выпила ее баба Приймачка, вот такая жажда была у бабуся... А как-то раз мама взяли в колхозе коней, и мы поехали на зеленые праздники в Переволошино, к тетке в гости. Знаете Переволошино, где Мейшиков Мазепу и шведов потопил?

— Знаю, — смеется Черпыш.

— Так вот, едем мы, степь, солнце палит, жаворонки порхают... И вижу перед собой далеко — белб-белб, а еще дальше — сипб-сипб, как будто льны цветут у самой

земли. «Мама, спрашиваю, то льны цветут?» А мама смеются: «То, говорят, Днепро». — «А почему он такой синый?» — «От неба», говорят.

— Так ты думаешь, что и Дунай такой?

— А почему ж... Летом, может быть, и такой... От неба. Небо всюду синее, голубое...

— Сейчас он как сталь, — задумчиво говорит Сапа Сиверцев. — Как Нева. — Сиверцев был родом из Ленинграда. — Знаешь, у рек, как и у людей, время от времени меняется настроение. Ясно — голубеют, пасмурно — темнеют...

Из-за кирпичных строений поселка выпрынула подвода, запряженная тяжелыми венгерскими битюгами. Когда она подъехала ближе, передние минометчики обступили ее. Черныш издали узнал Шовкуна, сидевшего на подводе с автоматом за плечами. Шовкун правил лошадьми, туго натянув вожжи. Усы у него обмерзли, а лицо было суровое, сердитое. Иван Антонович, остановив подводу, склонился над ней, что-то рассматривая. Подойдя, Черныш ужаснулся: под откинутой плащ-палаткой лежали Сперанский и Ясногорская.

Они лежали рядом, оба бледные, неподвижные. Сперанский смотрел куда-то в сторону диким, бессознательным взглядом и едва слышно стонал. Ясногорская, казалось, не дышала, она была смертельно бледная, белая, как мрамор. Лежала без берета, коса сползла ей на грудь и покрылась седым инеем. Увидев над собой лицо Черныша, девушка вздрогнула.

— Женья... — прошептала она бескровными губами. — Женья...

И умолкла, глядя на него грустно, как сестра, словно, прощаясь, хотела о чем-то предупредить, от чего-то предостеречь.

— Погоняй, да берегись мин, — сказал Иван Антонович Шовкуну, и Шовкун тронул лошадей.

Иван Антонович, взяв за край обледеневшую плащ-палатку, накрыл адъютанта и Ясногорскую, словно крышкой.

Черныш шел темный как ночь. Хрустел сапогами по зеленым ледяным иглам озими. Что она хотела ему сказать? Почему так грустно смотрела своими доверчивыми, помутневшими от боли глазами из-под бессильно приспущенных век?

— Вылечатся, опять вернутся в полк, — глухо говорил Саша Сиверцев, шагая рядом, а Чернышу казалось, что голос доносится издалека. — Ведь мы вернулись...

Черныш молчал, изредка оглядываясь на ходу. Подвода скрылась в ложине. Вдоль шоссе, извиваясь до самого горизонта, бежали окованные льдом телеграфные столбы. Противник не успевал их спиливать. Далеко на левом фланге, покачиваясь, двигались полем седые танки. Рассыпавшись по всему полю, брели подразделения пехоты, и бойцы в натянутых плащ-палатках, подавшись вперед, против ветра, издали напоминали серых горбатых степных орлов.

Позже Черныш узнал от комбрига, как все произошло.

Ночью капитан Сперанский, обходя боевые порядки, наткнулся на мину и подорвался. Ясногорская в это время была поблизости, в одной из стрелковых рот. Услышав взрыв, а затем и крик раненого, она бросилась на помощь. Казалось странным, что и она не подорвалась. У Сперанского были изранены ноги. Шура тут же на месте принялась за перевязку. Тем временем противник, засевший неподалеку в кирпичных домах на окраине, открыл пулеметный огонь, целясь в темноте туда, откуда слышались стоны раненого. Ясногорская взвалила капитана на спину и поползла. Вскоре ее тоже ранило — в руку, выше локтя. Рука подломилась. Сперанский, очевидно, догадался, что случилось, и приказал Шуре оставить его и ползти одной. Ясногорская отказалась. Сперанский стонал и грубо ругался.

Шура молча пыталась тянуть его одной рукой. Так их и застали пехотинцы, посланные навстречу командиром стрелковой роты. Один взвалил капитана себе на спину, другой поднял Ясногорскую на руки, как ребенка, и бросился с ней к окопам. Уже у самого окопа ее ранило вторично двумя пулями: в бедро и в правую руку, которой она крепко обнимала солдата за шею. Солдату только обожгло затылок.

Шовкун раздобыл у мадьяра подводу и положил обоих — Ясногорскую и адъютанта. Лежа рядом, они ни словом не обмолвились о прошлом, хотя Сперанский подозревал, что именно Шура пожаловалась тогда на него Воронцову.

Но все это было таким далеким, таким мелким! Теперь им было совсем не до того.

Будапешт был окружен.

Уже 24 декабря 1944 года завязались бои на окраинах города, начался знаменитый будапештский штурм. Немецко-фашистское командование придавало огромное значение обороне Будапешта. Расположенный на узле двадцати шести железнодорожных и шоссеиных магистралей, Будапешт стратегически представлял своеобразные ворота в Австрию, Чехословакию, в южные провинции Германии, которые до сих пор гитлеровцы считали своим самым глубоким тылом. Падение венгерской столицы неминуемо вышибло бы из строя последнего сателлита Германии. С падением этого города пошатнулся бы весь южный фланг немецкого фронта, который все еще нависал над Балканами.

Поэтому не удивительно, что немецко-фашистское командование стягивало под Будапешт многочисленные войска, перебрасывало сюда свои лучшие резервы. Гитлеровские генералы грозили дать Советской Армии под стенами Будапешта неслыханный реванш за Сталинград. Бойцы поговаривали, что кто-то уже читал фашистские, как всегда безграмотные, шутовские листовки, в которых фюрер якобы хвалился: «Берлин сдам, а Третий Украинский в Дунае выкупаю».

И вот теперь этот колоссальный город с территорией в двести квадратных километров, начиненный войсками и техникой, с действующими заводами, которые еще выпускали танки и снаряды, оказался зажатым в железные тиски.

Всю ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря армейские мощные звуковые станции с переднего края фронта непрерывно передавали окруженным сообщение советского командования.

Дикторы сообщали, что 29 декабря в 11 часов по московскому времени в расположение противника придут с советской стороны парламентарии — вручить окруженным ультиматум. Чтобы сохранить Будапешт, спасти от гибели его исторические ценности, памятники культуры и искусства, чтобы избежать многочисленных жертв среди мирного населения, советское командование предлагало окруженным гуманные условия капитуляции.

Двадцать девятого декабря в 11 часов в направлении Будапешта выехала легковая машина. Над ней развевался

большой белый флаг. В машине ехал офицер-парламентер с текстом ультиматума, подписанного командующими обоими Украинскими фронтами. Всюду вдоль шоссе, где проезжала машина парламентаря, наступала тишина. Наши бойцы заранее получили приказ прекратить огонь в этом районе. Гитлеровцам также был хорошо известен маршрут советского парламентаря. Белый флаг над машиной был далеко виден. И все же, когда машина въехала в расположение вражеских передовых позиций, из всех окон и чердаков по стеклам кабины ударили фашистские пулеметы.

Парламентер был убит.

В это же время на другой берег Дуная, в Буду, был направлен второй парламентер с переводчиком. Тут события развернулись иначе. Гитлеровцы пропустили парламентаря через передний край и направили в свой штаб. В штабе командование заявило парламентарю, что оно отказывается принять ультиматум. Офицера вежливо отпустили. Выходя из штаба, он не знал, что, обгоняя его, по проводам на передний край уже летят предательские приказы тех, кто только что с ним разговаривал. И когда он, высоко подняв белый флаг, уже возвращался в нашу зону, фашисты открыли огонь ему в спину. Парламентер упал, обливаясь кровью¹.

Так могли поступить только фашисты. Разбоем они начинали, разбоем и заканчивали. С давних времен во всех войнах парламентеры пользовались правом неприкосновенности. А сейчас они истекали кровью на правом и на левом берегах Дуная, в предместьях европейской столицы. Упали на мокрую мостовую иссеченные белые флаги, которые должны были даровать жизнь тысячам людей, спасти от разрушения огромный город. Теперь оставалось одно: карать.

Подлое убийство парламентарей вызвало волну гнева и возмущения среди наших войск. Очевидцы их смерти — бойцы передовой линии — сурово смотрели из-под ушанок на чужой огромный город; сердито набивали диски, заряжали тяжелые гранаты. Пушкари с грохотом вкапывали на руках орудия в подвалы, во дворы, за каждый дом. Поднялись тысячи жерл, ожидая команды.

¹ Погибшему советскому парламентарю капитану Остапенко ныне поставлен в предместье Будапешта памятник, сооруженный венгерским народом. (Прим. автора.)

— Держись, проклятый гад! — говорили бойцы.

— Пощады теперь не жди!

Убийство парламентаров было провокационным вызовом. Армия вандалов, загнанная в тупик, оставалась и тут верной себе. Она не дорожила ничем. Что ей было до этого города, до его жителей? Обреченная сама на гибель, она все хотела бы потянуть за собой в пропасть. Она бросила вызов...

И тысячи советских орудий ответили на него. Как живые, задрожали серые кварталы. Загудел, раскаляясь, влажный воздух. Будапешт, выбрасывая гигантские языки пламени, окутался едким дымом и гарью на пятьдесят дней и ночей.

ХIII

Завязались бои в кварталах в условиях современного европейского города.

С тех пор как начались бои в городе, в минометной роте Брянского произошло немало перемен. Теперь она уже не делилась на тыл и огневую. В условиях города исчезла необходимость в таком разделении. Сейчас все снабжение осуществлялось непосредственно из полка. Вообще весь гибкий армейский организм здесь сжался, стал туже, сократился, как мускул. Штабы и тыловые базы, которые в полевых условиях, согласно уставу, размещались в определенном отдалении от фронта, сейчас получили возможность базироваться у самого переднего края, в соседних кварталах.

Командир роты Кармазин, собрав всю роту вместе, превратил и ездовых в огневики. Старшина Багиров временно исполнял обязанности командира взвода, а тайком мечтал о том, что ему дадут штурмовую группу. Собственно, у минометчиков такие штурмовые группы были уже подготовлены — в свободные часы сам Багиров обучал их уличному бою «по сталинградским правилам». В тылах остался один Гриша, который заменил на батальонной кухне контуженого повара.

Черныш, как и раньше, занимался преимущественно корректированием. Даже требовательный Иван Антонович давал его работе положительную оценку.

Сегодня Черныш стоял на чердаке высокого дома и вел наблюдение через маленькое слуховое окно. Объектом

его наблюдений было одно из городских кладбищ. Оно лежало за квартал впереди, окруженное каменной стеной. Напротив стены, по эту сторону улицы, в развалинах кирпичных строений, засели стрелковые подразделения батальона.

Чернышу с его наблюдательного пункта открывалась панорама большого города.

После многопедельных дождей и туманов наконец распогодилось, и в ясном воздухе над Будапештом с утра до ночи висела наша авиация. Окруженный город еще дымился сотнями заводских труб, поднятых ввысь, как жерла огромных крепостных орудий. На заводах до сих пор производились танки, бронемашины, тысячи снарядов для окруженных войск. Советские летчики то в одном, то в другом районе города сбрасывали бомбы на военные цехи. Казалось, лопается земная кора до самых глубин. Языки неярких дневных пожаров выбивались то там, то здесь над пестрыми провалами многочисленных кварталов.

Небо, не пасмурное и не голубое, было затянуто каким-то высоким подстратосферным белым покровом, и лучи серебристого холодного солнца лились сквозь него, словно сквозь грандиозный матово-белый абажур. Под молочными лучами тускло поблескивали бесчисленные крыши, купола, водонапорные башни, высившиеся над кварталами, словно гигантские фаустпатроны.

И так до самого горизонта — сколько хватал глаз — каменные ярусы кварталов, башни, шпили, купола храмов, заводские трубы; и снова каменные застывшие каскады на том берегу Дуная, на загадочных высотах Буды.

Кавонада не смолкает ни на минуту, методично грохоча и грохоча; словно работают колоссальные камнедробильные тараны, заведенные раз и навсегда. Над близкими кварталами — запах тола, кружится сажа...

Внимание Черныша приковано к кладбищу. Зажав в зубах давно погасшую сигарку, он припал к узкому окну. Он обшаривает взглядом тот прямоугольник, который лоснится мраморными плитами и надмогильными столбиками, белеет крылатыми серафимами. Лейтенант знает, что за каждым благодушным серафимом притаился автоматчик. Черныш ищет вражеские пулеметы. Командир стрелковой роты с самого утра чертыхается по телефону: пулеметы противника связывают ему руки. Чер-

пышу уже удалось подавить несколько огневых точек, но на их месте оживают другие.

В правом углу кладбища темнеет круглая часовенка... Взгляд лейтенанта поймал под ее крышей едва заметную вспышку. Быстро вычислив данные, Черныш крикнул Маковейчику:

— Передай!

Маковейчик прижался под балкой, согнувшись над аппаратом. Серьезный, сосредоточенный, колдует у трубки над цифрами.

Лейтенант, нервничая, следит за тем, как мины рвутся вокруг часовенки. Наконец одна — в крышу.

— Ha! — бросает сквозь зубы Черныш.

Часовенка дымится.

На этом же чердаке, возле другого окна, стоит лейтенант Сиверцев. Он ведет наблюдение за другим сектором, собирая данные для своей батареи. Иногда он кричит Чернышу:

— Какая видимость в твой телескоп, дружище?

— Много нечисти вижу.

— Выкуриваешь понемножку?

— Выкуриваю.

В этот момент крыша над ними рассекается огнем, словно в нее ударяет молния. Саша Сиверцев падает, закрывая голову руками, как будто только ее и бережет. Тяжелая мина взрывается на балке, озарив на миг весь чердак. В туче дыма и пыли просвистели осколки. Саша поднимается, протирает запорошенные глаза.

— Жень, ты жив?

— Жив, — откликается Черныш из тучи поднятой пыли.

— И я жив! — где-то в самом углу бодро звенит Маковей. — Наше счастье, что крепкая балка над нами!

Отряхиваясь, снимая с себя клочья паутины, офицеры пробираются друг другу навстречу.

— Неужели нащупал? — размышляет Сиверцев. — Как ты думаешь, Женья? Сгонит нас с этой мансарды?

— Мансарда в самом деле бальзаковская... Ты куда бьешь?

— По семнадцатому объекту.

— Как попадание?

— Уже горит.

Сиверцев в свое время много рассказывал Чернышу о своем любимом Ленинграде, о трагедии блокады. Перед

самой войной он закончил среднюю школу и мечтал о художественном институте. Саша хорошо знал не только Ленинград, но и Пушкин, Гатчину, Петергоф. Знал, как свой собственный дом, все дворцы, памятники, аллеи, статуи... О них он подробно говорил с Чернышом, горячо мечтал, как лучше реставрировать тот или иной дворец. В азарте он забывал, что Черныш не ленинградец и понимает не все, о чем идет речь.

— Как, ты не видел статуи Самсона? — искренне удивился Сиверцев. — Нет, ты шутишь...

Он всех считал ленинградцами. Иногда начинал:

— Знаешь, дружище, Эрмитаж отстроили.

Саша хорошо знал, что это не так. И все же он, почти подсознательно, пылким своим воображением уже возрождал разрушенное, заравнивал воронки на ленинградских площадях, вводил в порт пароходы. У него все становилось на свои места. Черныш, слушая трогательную неправду своего друга, поддакивал и невесело усмехался.

Теперь, когда они сидели, покуривая, под продырявленной будапештской крышей, Черныш подумал, что его другу-ленинградцу, наверно, больше всего сейчас хочется — в отместку за развалины далекого родного города — все здесь разрушить, стереть вражескую столицу с лица земли. Сиверцев с такой неприкрытой гордостью сообщил, что его семнадцатый объект уже горит.

— Скажи, Саша... Тебе иногда хочется за все... За Петергоф, за оскверненные вандалами пушкинские места... За блокаду — за все, понимаешь? — и здесь так сделать? — Черныш кивнул в сторону окна. — Чтобы все дотла... Чтоб распахать плугами!.. И начать потом все запово, а?

Сиверцев задумался. Его мальчишеское лицо, обрамленное рапными бакенбардами, сразу повзрослело.

— Нет, — наконец ответил он, вздохнув. — Нет, дружище. Будапештские памятники ни в чем не виноваты. Не они бомбили Эрмитаж... Кстати, ты знал капитана Остапенко?

— Того, который поехал к ним парламентаром?

— Эх, Остапенко, Остапенко... Что за душа!.. А они его так по-бандитски... — Сиверцев повертел головой, словно преодолевая внутреннюю боль. — А знаешь, я бы тоже охотно согласился на такую миссию...

— Парламентаром?

— Да, парламентаром, — пыхнул Саша цигаркой. — Представляешь, среди страшной бойни собственной рукой поднять вдруг флаг гуманности, почувствовать, что ценой одной своей жизни даруешь жизнь сотням тысяч детей, матерей, спасаешь от уничтожения музеи, храмы, парки, мосты... Вот третьего дня Ференц показывал мне свои этюды дунайских мостов...

— Он и мне показывал, — тяжело вздохнул Черныш.

— Это же красота, подлинное творение человеческого гения!

— Не пощадили салашисты и это: уже взорвали.

— Что ты? — искренне ужаснулся Сиверцев. — Кто сказал?

— Были вчера перебежчики.

Сиверцев помолчал.

— Ланц-хид, — стал припоминать он, — цепной мост.

— Взорван.

— Эржебет-хид...

— Взорван.

— Ференц-Йозеф-хид...

— Взорван.

— Проклятые, проклятые! — неожиданно воскликнул Сиверцев, поднимаясь. — От Пушкина до Дуная! Всюду взрывают, жгут, уничтожают!.. А послушать их — только и слышишь: цивилизация, культура, прогресс!

— О, они краснобаи, — сплюнул Черныш и грубо выругался.

В этот момент Маковейчик, подслушав разговор на КП, радостно выкрикнул:

— Самоходки! Самоходки идут на помощь! Будут таранить стену!

Офицеры разом бросились к своим местам.

Штурмовым группам никак не удавалось ворваться на кладбище. В течение дня они несколько раз пытались перескочить через каменную стену, и все неудачно. Трупы первых атакующих еще и сейчас лежали на панели. Теперь по требованию комбата поддерживающий артиллерийский полк выслал два самоходных орудия. Они вышли на передний край и с расстояния в несколько десятков метров ударили в стену.

Снаряды прогудели у самой земли. Орудия все время били по одному и тому же месту. Стена окуталась тучей каменной пыли, и вскоре сквозь нее засветились большие

проломы. Один за другим штурмовики ринулись в эти проломы, быстро рассыпаясь по кладбищу.

Черныш переносил огонь через голову штурмующих все глубже и глубже, словно старательно вымачивал мостовую, прокладывая своим огнем дорогу батальону вперед.

Вечерело, и пожары над городом, мало заметные днем, теперь как бы разбухали, паливаясь кровью. Их стало неожиданно много.

XIV

За домом, с крыши которого Черныш вел свои наблюдения, стоял другой дом такого же стандартного типа. То и дело из его этажей вырывалось хвостатое упругое пламя. Били минометы. Жестоко, без умолку.

Вначале Иван Антонович хотел установить свои «самовары» на земле. Для этого нужно было вырубить несколько каштанов во дворе: они мешали стрелять.

Хаецкий уже спустился в бункер — огромный подвал под домом, чтобы достать пилу или топор. Ференца он взял с собой в качестве переводчика. Старый художник, как и многие другие беженцы, двигался вслед за фронтом до самого Будапешта. Иногда он отставал, пропадал, но, зная уже немало людей из полка — старшин, писарей, политработников, — Ференц на новом месте всегда отыскивал «хозяйство Ивана Антоновича». Возле минометчиков он никогда не оставался голодным. Зато Кармазин, и комбат Чумаченко, и даже бойцы в случае необходимости использовали его как переводчика. Веселый художник немало гордился этим, а войдя в Будапешт, в беседах с земляками даже стал величать себя «партизаном».

Хома Хаецкий хотя и хвалился публично, что уже хорошо шпрехает по-венгерски, однако на сей раз, спускаясь в бункер, все-таки решил прихватить с собой и Ференца.

— Будь при мне на всякий случай за адъютанта, — на ходу определил он старику его роль.

В бункере было полно жителей — детей, женщин, стариков. Они выглядывали отовсюду: из груд каких-то лохмотьев, из-за пуховиков, теснились на нарах, настеленных в три ряда.

— Ноев ковчег! — заметил Хома, оглядывая бункер хозяйским глазом. — А инструмента и не вижу.

Узнав от Ференца, что русский ищет пилу или топор, испуги не на шутку переполошились. Они и раньше были уже до смерти запуганы пропагандой об азиатских «зверствах русских», а теперь, увидев усатого черного Хому с кинжалом на боку и автоматом на груди, решили, что зверства сейчас начнутся. С громким плачем бросились к материнским подолам изможденные, перепуганные дети. Они не сомневались в том, что усач со звездой на лбу начнет их сейчас пилить пилой или рубить топором.

— Что за шум? Чего это они там шпрехают? — строго обратился Хома к «адъютанту». Когда дело становилось серьезным, Хома всегда обращался к своему приятелю строго и никакого панибратства не допускал. — За кого они меня принимают? Почему плачут дети?

Ференц объяснил Хоме причину переполоха.

— Спокойно! — поднял руку боец. — Передай, что я их ни рубить, ни пилить не буду. Передай, что пила нужна мне для каштанов, потому что они нам мешают. А молодички пусть тоже не пугаются, бо я человек семейный и в чужой огород не лезу.

Неизвестно, как перевел Ференц, только после этого жители бункера сразу приободрились. Молодицы перестали прятаться в платки, стали просить «папа капитана», чтобы он не рубил каштанов. Это пролетарский квартал, и дети рабочих летом не видят никакой зелени, кроме этих каштанов. Пусть пан капитан сжалится над их кичи¹.

Хома, забыв о европейском этикете, задумчиво почесал затылок и, взяв в руки два топора, заявил, что сам этого решить не может, потому что у него есть командир постарше. Хома так и сказал, очевидно считая себя перед мадьярами также командиром. К тому же они его по собственному почину величали «паном капитаном». Хома не исправлял их ошибки. Его, казалось, совсем не удивляло, что в глазах мадьярок он вдруг из рядового бойца превратился в «пана капитана». На шапке у него светилась вырезанная из белой жести большая пятиконечная звезда. Он нарочно вырезал такую большую, чтоб далеко было видно, чтоб уважали его иностранцы.

¹ Маленькими (венг.).

Мадьяры вслед за Хаецким послали наверх целую делегацию искать «самого старшего командира».

Иван Антонович, с присущей ему педантичной сухостью, через Ференца выслушал делегатов.

Он стоял у двери первого этажа в своей неизменной плащ-палатке, которую никогда не снимал с тех пор, как получил ее со склада. На КП среди офицеров эта палатка давно уже стала притчей во языцех. Говорили, что Иван Антонович поклялся сбросить ее только после полной капитуляции врага.

Слушая делегацию говорливых женщин, Иван Антонович исподлобья косился на голые, почерневшие каштаны. Он видел, как Хаецкий и Островский встали около деревьев с топорами наготове.

— Руби! — скомандовал старшина Багиров.

— Постой, — медленно поднял руку старший лейтенант.

— Отставиты! — крикнул Багиров.

Иван Антонович неторопливо осмотрел двор, словно был тут комендантом и обдумывал какую-то реконструкцию по дому.

— Хорошо, — сказал он делегации. — Пусть живут. Пусть ваши малыши, играя после войны под этими зелеными деревьями, помянут и нас незлым, тихим словом. Так, товарищи?

— Так! — отозвалась огневая. — Так!

И старший лейтенант приказал поднять минометы выше, устанавливать их в самом доме, против окон. В такой позиции каштаны минометам не мешали.

Солдатская уступчивость искренне растрогала женщин. Каждому было приятно смотреть, как истощенные матери окружили старшего лейтенанта, благодаря за подарок, сделанный ротой детям будапештской окраины. У Ференца на веках задрожали слезы. Он знал, что придет время — и солдатский подарок зазеленеет на радость малышам, которые, живя в придунайском городе, почти не видели самого Дуная и не ездили, как дети богачей, на белые дачи Балатона.

— А нам говорили, что русские, что коммунисты... — полнуясь, лопотала одна из делегатов. — Вы, конечно, нем коммунист?

Кармази улынулся:

— Коммунист.

Женщины вытаращили на него глаза.

— Коммунист?

Ночью рота собралась переходить на новую позицию. Расчеты, привычно разобрав минометы на части, спускались вниз. Этажи замирали. Спускаясь последним, Вася Багиров заметил у одного из вырванных окон высокую сгорбленную фигуру.

— Ты, Денис?

Фигура не шевельнулась.

Старшина подошел ближе и узнал Ференца.

Художник стоял, прислонившись к оконной раме, и молча смотрел на город. Горбоносое, застывшее лицо старика, тускло освещенное далекими заревами, напоминало вычеканенного орла со старинной монеты.

* * *

Пылающий Будапешт лежал перед ним как на ладони.

Багряные хребты подпирали небо. В подоблачных черных глубинах тревожно гуляли прожекторы. Зенитные пулеметы прокладывали трассы. Гремела и гремела кановада.

— О Будапешт! — с болью вырвалось у Ференца.

В Будапеште художник провел всю свою жизнь.

Здесь были похоронены его родители и деды, здесь промелькнула его молодость. Отсюда он тайком провожал своего лучшего ученика и зятя в Испанию, в Интернациональную бригаду... Янош, Янош!.. Чахнет твоя жена, сиротой растет твой сын... Где-то затерялись они в подземном Будапеште. Живы ли? И где их искать? На Догань-утца? Но существует ли сейчас и сама Догань-утца? Швабы и салашисты минируют все... Вчера Ференц разговаривал с перебежчиком. Подземельями тот пробрался на советскую сторону... Рассказывает: в центре нестерпимые грабежи, мародерство, голод. Фашистские молодчики отбирают у населения остатки продуктов, гонят всех баррикадировать улицы, возводить противотанковые сооружения. Того, кто уклоняется, — расстреливают на месте. Никаких признаков гражданской власти, полный разгул и террор «Скращенных стрел». Чем все это кончится? Чем кончится твоя большая драма, Будапешт?

Не гирляндами электрических огней — страшными пожарами осветились ныне твои керуты¹. Не бурлят по вечерам людные, шумные набережные Дуная, — трескается там камень от стали! Не звенят трамваи, не играют цветные рекламы, не поют авто... Ночь разрушения, ночь кары окутала тебя! Тысячetonными глыбами валятся стены на мостовую. Все трещит, грохочет, рушится в неслыханной по размаху катастрофе. Кажется, за одну такую ночь город провалится, исчезнет бесследно, как Помпея, и только дунайские волны понесут к морю пушистую черную сажу и кровь...

Все лучшее, созданное Ференцем-художником, родилось в Будапеште и для Будапешта. Его картины украшали ратушу, парламент, отель «Европа», кафе «Балатон»... Правда, ими наслаждалась преимущественно надменная аристократия, но художник не терял надежды, что когда-нибудь их увидит и весь трудящийся Будапешт.

Над островом Чепель кружатся, урчат моторами «юнкеры». Они еще могут садиться на городском ипподроме. Эвакуируют раненых, подвозят снаряды. Гитлер приказал держаться во что бы то ни стало: в Комарно выгружаются сотни танков, идут на помощь. Что ж это будет? Чем все это кончится?

— Горит правильно, — заметил Багиров после молчания. — Много видел пожаров, а такого не доводилось... Будто полмира вспыхнуло и пылает.

Художник, обернувшись, пристально смотрит на освещенного вспышками старшину.

— Спасите, — говорит он тихо и торжественно. — Спасите Будапешт. Кроме вас... больше никому.

— Не волнуйся, Ференц. Все будет в порядке.

Старшину зовут снизу. Рота выступает.

— Ты с пами, Ференц?

— А с кем же мне?

Спускаясь с Багировым по ступенькам, художник начинает рассказывать ему о знаменитом отеле «Европа», до которого отсюда рукой подать...

А город горит и не сгорает. Гарью и дымом насыщен ночной воздух. Снаряды с мертвенно-белыми вспышками рвутся на стенах неподалеку. Проваливаются сквозь крыши. Осколки грохочут по кровле.

— Словно домовые ходят, — замечает кто-то.

¹ Бульвары (венг.).

Хома дерзко вскидывает голову:

— Эй вы, нехристи! Чем там грохотать, спустились бы сюда. На рукопашную!

— Хаецкий! — прикрикнул Иван Антонович.
Дальше продвигаются молча, как на облаву.

XV

Следующей ночью батальон врезался в новый квартал, упиравшийся углом в перекресток улиц. Продвигаться дальше мешал угловой дом противоположного квартала, выходявший фасадом на самый перекресток. При мерцающем, неестественном кровавом свете зарева разведчики прочли: «Егора». Латинский прифрт теперь уже свободно читали даже бойцы с низшим образованием.

— «Hôtel Eu-go-ra», — медленно, по складам, разобрал какой-то усатый воспитанник церковноприходской школы.

Все этажи отеля снизу доверху щетились пулеметами и дулами автоматов. Из одного окна время от времени выбрасывалось пламя миномета.

Отель представлял собой выгодную позицию. Отсюда противник имел возможность простреливать не только две улицы, к которым подошли стрелковые роты, но держал под огнем и весь квартал, захваченный батальоном Чумаченко. Огонь был очень плотный. Бойцы для эксперимента выбросили на перекресток пустое ведро. Через минуту оно стало как решето.

На командном пункте, который разместился в длинной низкой казарме, стоял нестихающий гомон. Перекликались телефонисты, куда-то исчезали и вновь появлялись ординарцы, некоторые бойцы разбирали трофейные седла, занимавшие почти четверть казармы. По очереди приходили греться минометчики, — их огневая была у самой казармы.

Капитан Чумаченко обсуждал в углу с несколькими офицерами обстановку. Отель нужно было захватить этой же ночью, днем его никак нельзя было взять. Но как захватить? Правда, можно было вызвать полковых саперов и с их помощью, подкравшись в темноте, взорвать дом, поднять на воздух... Это уже не раз практиковали и сам Чумаченко, и соседние батальоны: взрывать объект вплоть до разрушения стен и полного уничтожения гарнизона. Но

в данном случае комбата это не устраивало. Исходя из своих тактических соображений, он хотел захватить отель целиком. Если бы ему нужно было взять только этот объект, Чумаченко безусловно взорвал бы его. Но, кроме «Европы», ему нужно было сломать сопротивление еще десятков объектов, и он уже сейчас думал о них. Здание отеля было, во-первых, высокое и крепкой старинной кладки, а во-вторых, угловое; завладев им, батальон приобрел бы своеобразный удобный трамплин для того, чтобы захватить следующий квартал.

— А я установил бы в нем свои «самовары», — размышлял Кармазин. — Позиция для огневой — в самый раз.

Гвардии майор Воронцов, прибыв на КП с вечера, сейчас молча сидел у стены на куче трофейных немецких противогазов, похожих на телячьи намордники. Казалось, он сидя дремлет, уткнувшись широким подбородком в курчавые отвороты кожанка. А между тем он внимательно слушал офицеров, обсуждавших различные варианты штурма. Наконец поднял тяжелые припухшие веки:

— Чумаченко, где твои сталинградцы?

— Все на местах, товарищ гвардии майор: возглавляют птурмовые группы.

— Кто да кто?

Комбат стал считать по пальцам. Своих сталинградцев он знал наперечет. Когда назвал Багирова, Иван Антопович вспомнил:

— Да! Мой старшина носится там с оригинальным планом...

Кармазин вкратце изложил суть этого плана.

Комбат немедленно послал за Багировым.

В это время в казарму неожиданно вошли командир полка Самиев и плотный, в кожаном пальто, генерал-майор, командир дивизии.

— Батальон, смирно! — вылетел вперед Чумаченко.

— Вольно, вольно, — остановил его генерал.

Окидывая взглядом казарму и вытянувшихся бойцов, генерал прошел к столику, сооруженному в углу из каких-то дверей.

— Ну, чумак, давай карту объектов.

«Чумак» в устах генерала звучало снисходительной шуткой и свидетельствовало о том, что «хозяин» сегодня в веселом настроении.

Генералу, конечно, было известно, что комбат-3 капитан Чумаченко приходится лишь далеким потомком тем

чумакам, которые ходили когда-то в Крым за солью и гуляли «в Киеве на рыночке». Сам же капитан в прошлом работал инженером-электриком на высоковольтной линии, которая питалась Днепрогэсом. Но сегодня «хозяин» пожелал назвать комбата чумаком, и комбат по одному этому уже чувствовал, что если и будет нагоняй, то не слишком жестокий. Нужно сказать, что насколько Чумаченко был спокоен и выдержан в бою, настолько же он терялся и дрожал перед начальством. Засуетившись, он подал генералу не ту карту, какая была нужна.

— Ай, чумак, зачем ты мне даешь Терексентмиклош? Неужели мы его должны вторично брать? Я думаю, с них хватит и одного раза.

— Простите, товарищ гвардии генерал-майор!

Вошел старшина Багиров, смело и по форме подошел к высшему «хозяину», вызывая восхищение Ивана Антоновича.

— Товарищ гвардии генерал-майор, разрешите обратиться к гвардии капитану...

— А-а, это тот, что на коне за танком гонялся? — усмехнулся генерал. — Тот, что кухню с кашей захватил? Помню, помню... Обращайся, что там у тебя...

Речь зашла об отеле. Старшина неторопливо изложил свой план. Генерал заинтересовался.

— Смело, хотя и рискованно, — сказал он. — Но риск для гвардейца... — Генерал выжидающе посмотрел на Самиева.

— ...благородное дело, — закончил скороговоркой вытравившийся Самиев.

Багирову разрешили отобрать в штурмовую группу, кого он сам захочет. Такую роскошь Чумаченко допускал только в исключительных случаях. Охотников вызвалось много. Однако Вася отбирал «по знакомству».

— Может быть, на смерть идут, — рассуждали между собой телефонисты, — а тоже «по знакомству». Как будто не успеют! Вот натура человеческая!

В самом деле, среди отобранных оказались давние друзья старшины, большей частью отчаянные ребята из взвода батальонных автоматчиков. Из мипометчиков Вася взял Дениса, Романа Блаженко и Хаецкого. Хотя старшина нередко и укорял Хому за его недостатки, все же явно симпатизировал подолянину.

— Чертов зубоскал, — говорил иногда Вася Хоме, — ты становишься настоящим солдатом!

И сейчас, когда старшина спросил Хаецкого, готов ли он, веселый подолянин ответил решительно:

— Как штык!

Осматривая бойцов, генерал остановился против Хома. Подолянин ел его глазами.

— Ту же затяните, — заметил генерал, беря бойца за ремень. Ватные штаны на Хоме спускались: в карманах было полно гранат.

— Не спадут, товарищ гвардии генерал-майор! — уверил Хома, затягивая ремень.

— Не спадут? — Генерал оглядел бойца с ног до головы. — Сталинградец?

— Нет, товарищ гвардии генерал, мы... поближе. Но хватка у нас сталинградская. Старшина научили!..

Генералу, видимо, понравился ответ.

— А ну, расстегните ватник. Посмотрю, что там у вас есть.

Хома расстегнулся, выставив грудь с гвардейским значком и медалью «За отвагу».

— Ого! Хорошо! Я себе давно прошу у командующего такую медаль, — не дает. Это, говорит, только передовикам.

— Зато же вам орден Суворова недавно нацепили, — смело выпалил Хома.

— Нацепили.

— Разрешите глянуть, какой он из себя.

Генерал, улыбаясь, расстегнул свое кожаное пальто, блеснув густыми орденами.

— То же добре, — сказал Хома.

— Так, говорите, готовы... Гм.... — Генерал пристально смотрел на Хому. — А вот представьте себе: неожиданно в темпоте вы сталкиваетесь с фашистом. Что бы вы прежде всего сделали? Ваше первое движение?

Хома задумался. Иван Антонович похолодел.

— Вот представьте, к примеру, что я фашист, что вот так я иду, — показывал генерал, — что бы вы сделали?

— Штурмовал бы, товарищ гвардии генерал.

— Так сразу и штурмовали бы?

— А как же! Потому что я вас вижу, а вы меня — нет.

— Согласен, пусть так... Допустим, я вас не вижу. Но как именно вы штурмовали бы? А ну, вот вас двое, — ге-

перал кивнул на Багирова и на Хаецкого, — вы и вы... Покажите. «Штурмуйте» меня.

Хома с опаской взглянул на генеральское блестящее хромовое пальто, на белоснежный воротничок, туго облежавший шею.

— Однако, товарищ генерал, — замялся Хома. — Как-то... Повалим вас, а вы потом рассердитесь. Нет, здесь штрафной пахнет...

— Ничего, ничего. Берите так, как вас учили. Смелее. Ну!

Вася подмигнул Хаецкому: давай, дескать, по всем правилам.

Бойцы расступились.

Генерал берет у кого-то автомат на руку, шагает мимо окон, изображая вражеского часового, неторопливо прохаживающегося на посту. Шагает. Туда и обратно. Прислушивается. Хома и Багиров, уловив момент, набрасываются. В секунду автомат генерала летит куда-то в сторону, ему заламывают назад руки, чья-то соленая рукавица втиснулась между зубами... Генерал защищался, отбивался изо всех сил, но его повалили, и Хома сел на него верхом.

— Отпустить! — приказал Самиев, улыбаясь. — Молодцы!

Генерала отпустили, помогли встать, отряхнуться. Он стоял, тяжело посапывая, лицо его густо налилось кровью. «Может, разозлился? Может, и в самом деле здесь штрафной пахнет?» — подумал Хома. Однако генерал был искренне доволен.

— Академик, что же это такое? — обратился он к командиру полка. — Меня и то повалили, а что с тобой, сухарем, было бы? Нет, эти умеют скрутить...

— Пускай их, Чумаченко, пускай орлов. Штурмуйте, товарищи, на славу! Всем выдам... «Славу».

Бойцы хором заверили, что постараются.

XVI

— Алло, Ференц!

Валохмаченный седовласый художник поднялся на нарах, спросонок удивленно оглядывая бойцов, заполнивших бункер.

— Старшина?

— Как видишь... Слазь.

В Будапеште художника многие знали. В подземельях он нередко встречал близких или дальних знакомых, и они охотно давали ему приют.

Ференц спустился с пар и стал совещаться с Багировым. Отель «Европа» интересовал художника, наверное, не меньше, чем старшину. В свое время Ференц оформлял фойе и бильярдный зал этого отеля. Там висели его картины. Теперь художника беспокоило, что дом взорвут и весь его труд полетит в воздух. Относительно этого художник и старшина накануне стрсили немало разных спасительных проектов. К удивлению Ференца, Вася немедленно перешел от слов к делу.

Художник разбудил какого-то штатского, в кепке, в ветхом демисезонном пальто, и тот, поднявшись, за просто поздоровался с советскими бойцами.

— Пролетарий, — отрекомендовал его Ференц. — Иштван...

— Давай-давай, — живо сказал Иштван-пролетарий и, крепче натянув свою кепчонку, двинулся по длинному бункеру вглубь. Бойцы пошли за ним, осторожно переступая через спящих. В глубине бункера, против влажной, заплесневевшей стены провожатый остановился.

— Здесь! — указал он рукой на стену.

Старшина скомацдовал:

— У кого кирки — сюда!

Кирки дружно застучали. Венгры испуганно просыпались, озираясь: что тут делается? Не только в Пеште, а и под Пештом уже нет покоя. Ни днем ни ночью. Габор, проклятый габор¹. Ференц успокаивал. Бойцы долбили попеременно, врубаясь все глубже в стену.

— Может быть, не здесь, Ференц?

— Здесь, здесь! — уверяли и Ференц и провожатый.

— Смотрите не ошибитесь!.. Тогда обоим — секим башка.

— Будь спок, Вася! — ответил Ференц популярным солдатским присловьем.

Бойцы засмеялись.

Наконец Денис сильным ударом проломил стену. Затаив дыхание, стали прислушиваться. Из дыры, как из очка улья, доносился монотонный приглушенный гул.

Денис просунул голову в дыру.

¹ Война (венг.).

— Полно́, — сообщил он. — Молятся.

Дыру расширили и стали по одному пролезать. Снова очутились в бункере, еще большем, чем предыдущий. Десятки его обитателей стояли на коленях, с молитвенниками и свечками в руках.

— Иштенем, иштенем, — вздыхало во всех углах.

Здесь советских бойцов видели впервые и смотрели на них как на посланцев другого, незнакомого мира. Казалось странным, что они не режут всех подряд, не насилуют. Что хорошо одеты, хорошо вооружены. Все сильные, пышут здоровьем — харчей, видно, у них хватает... Так чего же они тогда ищут здесь, в подземельях несчастного Будапешта?

Ференц, обращаясь к присутствующим, о чем-то горячо заговорил по-венгерски. Помянул и Хорти и Салаши... Тем временем Иштван-пролетарий подвел к старшине пожилую изможденную женщину в роговых очках.

— Моя сестра, — сообщил он через переводчика. — Эстафету передаю ей...

Опять пошли. Женщина в очках шагала впереди. Пересекли весь бункер, маневрируя между постелями, чемоданами, мебелью, и стали подниматься по крутой лестнице. С каждой ступенькой гром канонады нарастал, как будто они входили в грозовую тучу.

Очутились во дворе. Пригибаясь, метнулись вдоль стены вперед и через какой-нибудь десяток метров снова попали в подвальный ход и стали спускаться. Под ногами захрустело.

Багиров зажег карманный фонарик. Показалось, что они попали в шахту. Просторный бункер чуть ли не до потолка был засыпан блестящим антрацитом. На четвереньках поползли по углю в глубину. Раздвинули немецкие бумажные мешки с чем-то тяжелым, как соль, один за другим прыгнули вниз и очутились в сыром и холодном помещении, загроможденном котлами парового отопления.

Молча, стараясь не стучать, не греметь, прошли между котлами и увидели перед собой приоткрытые двери, сквозь которые пробивался слабый свет. Оттуда пахло на бойцов тяжелым смрадом непрветриваемого жилья.

Старшина погасил фонарик. По его знаку бойцы встали за котлами в ожидании. Женщина в очках вошла в бункер одна. Вася внимательно следил за тем, как она подошла к нарам и стала будить кого-то, дергая за

белые боты. На нарах поднялась заспанная девушка и, удивленно слушая женщину, все шире улыбалась. Потом легко соскочила на пол, торопливо взглянула в зеркальце, поправляя прическу, и, схватив женщину за руку, энергично потянула ее к выходу.

— Маричка! — тихо воскликнул Ференц, бросаясь навстречу девушке. — Маричка!

Выяснилось, что это была подруга его дочери, хорватка. Девушка чмокнула старика в щеку, потом повернулась к бойцам, энергично подняв стиснутый кулачок.

— Смерть фашизму — свобода народам! — резко, взволнованно салютовала она.

Ференц объяснил бойцам, что брат Марички — югославский партизан — воюет сейчас против фашистов где-то в горах.

Неожиданная встреча с девушкой, ее торжественный ротфронтовский салют глубоко взволновали всех. Радость, такая большая и чистая, какую, возможно, никогда не вызывает в человеке его узколичное счастье, в этот момент охватила бойцов. Смерть фашизму — свобода народам! И столяр с Крайнего Севера, и русский, и украинец, и далекий брат-славянин с Балканских гор — все как бы встретились здесь, в подземельях Будапешта, у этих остывших паровых котлов. Каждый еще острее почувствовал, в какой великой борьбе на необозримом фронте он принимает участие, какие надежды на него возлагает человечество. Свобода народам! Бойцы горячо пожимали девушке руку, словно эта маленькая горячая рука как-то объединяла их с вольнолюбивыми народами Балкан.

Женщина в очках, которая должна была уже возвращаться, что-то сказала Ференцу. Художник смутился.

— Чего она хочет, Ференц?

— Просит документ.

— Что, что?

— Хочет, чтобы господин офицер выдал ей какой-нибудь документ о том, что она помогала... демократии.

— После, после, — отмахнулся Багиров. — И ей, и пролетарию, всем выдам... Пошли!

Теперь место провожатой заняла Маричка.

Некоторое время пробирались в темноте, потом старшина зажег свой электрический фонарь. Перед ними была довольно широкая цементная труба. Девушка, согнувшись, уверенно вошла в нее.

— Денис, отныне говори: прошел Крым, Рим и будапештские трубы, — не удержался Хаецкий.

На него зашикали.

Вскоре труба кончилась. Бойцы опять попали в котельную. Нащупали ступеньки и, держась одной рукой за скользкую стену, а другой за автоматы, стали подниматься по лестнице. То и дело останавливались, прислушиваясь.

Небо! Высокий багряный простор! Молчаливо рыщущие прожекторы... Бойцы с облегчением вдохнули свежий, морозный воздух...

— Гараж, — прошептал Ференц, разглядывая в темноте длинное приземистое строение. — Гараж «Европы». Я его узнаю.

Багиров, осторожно высунув голову, оглядел, словно обнюхал, двор, потом дом над головой. Окна всех этажей с этой стороны были целы и вспыхивали рубиновыми отблесками.

— «Европа»?

— «Европа», «Европа», — уверенно шептал Ференц. Автоматчик Самойлов, высокий неразговорчивый москвич, тоже выглянул, словно из башни тапка.

— Она!

Действительно, над ними была гостиница, хотя ее и трудно было отсюда узнать: немая, темная, с балконами. С фасада балконы уже давно были сбиты, на их месте торчал только покореженный металл.

Старшина отправил Маричку и Ференца обратно, поблагодарив за помощь.

— Завтра встретимся...

Завтра! Ой, как же ты далеко — завтра! К тому, кто дремлет, ожидая тебя в бункере, ты придешь скоро и незаметно. Но в какой страшной дали ты скрываешься от напряженного взора тех, кто должен был идти к своему завтра через этот старинной кладки дом, сквозь смертельные его коридоры, где притаилось по сто черных смертей и ждут, подстерегают...

«Друзья, кому из нас нынче умирать?» — глухо вздыхает темнота.

Никто не отвечает.

— Роман, Денис, ваш дед-кармелюка жил сто пять годов, а чи пережил он хоть одну такую ночь?

— Разве это ночь? Это — вечность!..

Багиров в последний раз инструктировал свою штурмовую группу. Благодаря рассказам Ференца он хорошо представлял себе внутреннее расположение отеля. Распределил бойцов по этажам. Они должны были тайком добраться до коридоров, засесть там в засаде и ждать сигнала. То, что их было немного, имело свои преимущества: они могли действовать свободно, не боясь убить в темноте кого-нибудь из своих.

— Знай, что каждый, кто идет на тебя, — враг, — предупредил старшина.

На первом этаже должны были действовать сам Багиров и Хаецкий. Здесь, уничтожая гарнизон, нужно было в то же время выломать парадные двери, для того чтобы первые атакующие влетели в дом без задержки. Комбат предупредил, что как только в отеле завяжется бой и пулеметный огонь противника будет дезорганизован, с фронта отель атакуют еще несколько штурмовых групп.

Бойцы пожали друг другу руки. Это была молчаливая взаимная клятва, выражение взаимной уверенности в том, что они будут драться до последнего. И если случится так, что эта ночь станет для них последней ночью, то они проживут ее с достоинством.

Самойлов, поднявшись во весь рост, с гранатами в обеих руках, пошел прямо к двери. Вскоре он, как тень, исчез за порогом. Все ждали взрывов изнутри. Их не было.

— В порядке, — облегченно вздохнул Хаецкий.

Бойцы один за другим бесшумно скользили в черный прямоугольник двери.

Братья Блаженко шептались о том, что, если нужно будет, они встанут друг к другу спинами. Как-никак тогда у них будет четыре ноги — не легко собьешь. Глаза кругом, два автомата.

Когда настала их очередь идти, старшина еще раз предупредил:

— На вашем этаже — в третьем окне слева — миномет.

— Не в третьем, а в четвертом, — поправил Денис.

И, темный, высокий, он неторопливо направился к дверям. В это время в помещении что-то задребезжало, и на встречу Денису вынырнул гитлеровец с пустым ведром.

Роман приготовился прыгнуть на помощь брату. А Денис, не ускоряя шага, прошел мимо гитлеровца, едва не задев его плечом. Солдат не обратил на него внимания, приняв за своего, и, насвистывая, поплелся куда-то через двор.

— Вот это первы! — восторженно заметил Ростислав, маленький боец, почти подросток. — Нужно будет переманить Дениса к себе в батальонную разведку.

Ростислав с товарищем должен был оставаться на дверях, и Багиров приказал ему:

— Когда этот айн-цвай будет возвращаться, уложить... только чтоб ни звука.

— Будет исполнено.

Отель молчал, лишь где-то, как и раньше, глухо постреливали пулеметы.

Ушел Роман. За ним поднялся Хаецкий.

— Молись за меня, жинка, — промолвил он тихо. — Молитесь за меня, дети. Потому что я... пошел.

— Дуй!

Тело его сжалось в тугой клубок мускулов. Шел словно по воздуху. Земли под собой не чувствовал. Старался не дышать — казалось, что весь Будапешт слышит его дыхание. Весь Будапешт — настороженный, темный неведомый лес — видит в это мгновение его фигуру, которая тенью продвигается к дверям. Трофейный кинжал, вынутый из ножен, блеснул, как рыба, вскинувшаяся при луне. Хома зажал его так сильно, что пожелай он сейчас разжать собственные пальцы, не смог бы.

Но как только переступил порог и очутился в абсолютной темноте, которая как будто взглянула на него множеством глаз и услышала его присутствие множеством ушей, — почувствовал себя на удивление уверенным. Знал, что теперь уже никакая сила не вытолкнет его отсюда за порог. Никакая!

Где-то в глубине коридора открылась дверь. Кто-то вышел, смеясь, и снова закрыл за собой дверь. Идет, стуча по паркету подковами. Хаецкий прижался к скользкой колонне и стоял не двигаясь.

Шаги приближались.

В этот момент у двери выросла фигура Багирова.

— Алло, Ганс? — спокойно сказал шагавший по паркету, и Хаецкий слышал, как он, приближаясь, достает на ходу фонарик. — Ганс, их денке...

Он не договорил. Сверкнули, скрещаясь, две световые полосы: гитлеровец направил фонарь на старшину, а старшина, не растерявшись, направил свой на гитлеровца. Какую-то долю секунды не двигались: стояли, упершись тугими полосами света один другому в грудь. Луч Багирова был сильнее.

Гитлеровец заморгал, зажмурился. И в это мгновение, сверкнув кинжалом, Хаецкий прыгнул на него из-за колонны.

Свет погас. Никто не вскрикнул.

Когда Ростислав переступил порог и встал на свое место под стеной у входа, он услышал только обрывки отдаленного приглушенного разговора:

— Готов?

— Не шевелится.

— Марш на дверь!

— Есть!

Еще раз на секунду блеснул фонарик и погас. Хаецкий быстро пошел к парадному входу.

Старшина стоял у одного из номеров и прислушивался к тому, что делается внутри.

Вдруг за дверью гулко, словно в цистерне, ударил пулемет. «А-а!» Багиров дернул чеку, рванул дверь и швырнул гранату, тут же отскочив в сторону. В комнате загрохотало. Вырванная дверь полетела в коридор. Перебегая от двери к двери, старшина в каждый номер запускал гранату.

Коридор наполнился газами.

Почти одновременно на верхних этажах тоже загрохотали взрывы. Весь отель заходил ходуном.

В удушливой, горькой темноте нечеловеческими головами заорали недобитые. Треском, топотом, грохотом сотрясало все этажи.

Хаецкий, напрягаясь, отваливал мешки с песком, пробиваясь к парадному входу.

Старшина все глубже забирался в коридор. Номера за ним с грохотом раскрывались сами. Тяжело дыша, он стоял уже у шестой или седьмой двери, когда она сама перед ним распахнулась, и оттуда, теснясь и застревая, с криками повалили гитлеровцы. Ничего не видя в темноте, они чуть не свалили Багирова с ног. Не ожидая, пока это случится, он сам упал на пол под стену и дал длинную очередь вдоль коридора. На фоне коридорного окна ему было хорошо видно, как падают и снова под-

нимаются фашисты. С криками мечутся от стены к стене раненные, а на их место из номеров сослепу выскакивают другие. Старшина выбил опустевший диск, загнал полный и снова дал очередь почти по самому полу, срезая тех, которые упали нарочно. Кажется, он никогда не стрелял с таким буйным наслаждением, как сейчас, потому что знал, что ни одна пуля здесь не вылетает зря. Спихватившись, некоторые гитлеровцы тоже застрочили кто куда, укладывая своих же. По всему коридору, от пола до потолка, зарикошетили, зашипели трассирующие. Не добытые в комнатах гранатами, очумевшие солдаты бросались в коридор на свою погибель.

Как только в отеле завязался бой, капитан Чумаченко бросил штурмовые группы в атаку. С автоматами наперевес бойцы мчались через перекресток на kloкочущий снизу доверху дом. К этому времени его огонь был уже парализован. Одна из групп подскочила к парадным дверям и, схватившись за них, рванула на себя. Изнутри, обливаясь тяжелым потом, ломился Хома. Двери были наглухо забиты, но под дружным двусторонним натиском не выдержали и затрещали. Хома, радостно ругаясь, вылетел прямо на головы своих товарищей. Ткнулся усами в чей-то влажный полусшубок, схватился за него, чтобы не упасть.

— Вы, Хоецкий? — слышался голос майора Воронцова.

— А то кто же!

— Показывайте хозяйство!

— Прошу! Дом как гром!..

Одни влетали в двери, другие высаживали забаррикадированные окна с бойницами и амбразурами и вскакивали в них. Темный, заваленный телами пол мягко вдавливался и стонал под сапогами. Кто-то скомандовал атаковать третий этаж. Там в двух комнатах засели враги и упорно обороняются.

Когда бой начал уже стихать, Денис и Роман Блаженко ворвались в комнату, где, по их расчетам, стоял немецкий миномет. Зажгли вместо свечи обрывок кабеля, осмотрелись. Все помещение было наполнено белым гусиным пухом. В разодранных врывом перинах лежали у миномета иссеченные, залепленные пухом солдаты расчета.

— Со всего отеля стянули перины, — отметил Роман. — И на себя, и под себя. Отстреляются — и в пуховики греться.

— Такая уж раса хлюпкая. Зябнет.

Денис глазом знатока осмотрел вражеский миномет и, обнаружив, что он не поврежден, приказал брату:

— Срывай плиту. Перенесем.

Миномет перенесли в комнату напротив. Перетащили плетеные кошелки с минами. Выломали окно, смотревшее за город. Будапешт гудел, клокотал, от края до края охваченный пожарами.

Денис привычно навел прицел. Хотел спуститься вниз и отыскать Антоныча, чтобы узнать, куда бить.

— Разве ты сам не знаешь куда? — удивился Роман.

— И то правда.

Мины были трофейные — это были их мины, они могли ими распорядиться по своему усмотрению.

— Огоны! — сам себе скомандовал Денис.

Первая мина опустилась в ствол.

Били, пока раскаленная труба не начинала светиться в темноте.

— Ну как, Роман? — спрашивал Денис брата, который подавал ему мины из кошелки. — Жарко?

— За ночь поубавится фашистской сволочи!

Давали стволу остыть и снова били, били, били...

XVIII

То освещая гранатами путь перед собой, то тайком обходя задними дворами прилегающие к отелю дома, штурмовые группы до самого утра пробивались в глубь квартала.

В «Европу» перешел командный пункт батальона. Сюда уже несли на плечах боеприпасы, связисты тянули кабель, на первом этаже санитары перевязывали раненых. Во всех штабах по инстанции старательно отмечали на карте еще один важный объект, захваченный ночью.

Артиллеристы в одних гимнастерках катили на руках противотанковые пушки, устанавливая их за углом отеля и на перекрестке — в круглом окопе, отрытом гитлеровцами для своей зенитки. Разбитая зенитка еще и сейчас целилась в небо мертвым хоботом.

— Пушкари не отстают, — удовлетворенно сказал Чумаченко, выглянул сквозь провал окна на перекресток. Сегодня он был доволен всем, что творилось на белом свете.

С тех пор как пачались бои в Будапеште, орудия сопровождения шли рядом со штурмовыми группами. Эти славные маленькие пушечки то торчали в разрушенном подъезде, то, притаившись, выглядывали из окон подвала, то прыгали по мостовой, вдоль узкой улицы, зажатой обвалившимися стенами и напоминавшей горное ущелье после землетрясения.

Пушкарни, ладные, крепкие ребята, единым духом выбросили вражескую зенитку из окопа и поставили на ее место свою, противотанковую. На стволе пушечки светились, как ордена, красные звезды, и на щите красовалась надпись: «Смерть белофиннам!»

Где остались те белофинны и те карельские леса, а надпись не слиплась и в Будапеште.

Артиллеристами командовал Саша Сиверцев. Его бодрый голос звенел радостно и энергично. Сиверцев устанавливал пушки жерлами в разные стороны: одну вдоль проспекта, протянувшегося вниз, казалось, до самого Дуная, другую — в боковую улочку. Сегодня юношеское лицо Сиверцева играло особенно ярким румянцем. Уши под черным околышем фуражки пылали, как петушиные гребешки. Он был в том настроении деятельного вдохновения, которое всегда так озаряет, красит человека перед боем.

— Саша! — услышал он откуда-то сверху знакомый голос. Возле окна третьего этажа стоял Черныш, тоже возбужденный и радостный. — Доброе утро, Саша! Как спалось?

— Благодарю, друг. Никак не спалось. А ты разве спал?

— Какое там спал! У нас же сегодня вальпургиева ночь! «Хозяин» говорит: классическая ночь.

— Где твои «самовары»?

— Всюду: два во дворе, два тут со мной, один где-то кочует.

— Вы опять ввели кочующие?

— Почему же не ввести... Тут тоже как в горах!.. Ты меня с земли поддержишь?

— Обязательно... А ты меня из своих апартаментов...

— Апартаменты!.. Одни разбитые ванны, и фрицы с ночи лежат... Как твоя «Смерть белофиннам» чувствует себя в дунайском климате?

— О, будь здоров! Готовится принять новую звезду на ствол.

— Сейп! ¹

Морозное свежее утро расцветало над Будапештом. Белело небо, белесым казался тонко вибрирующий воздух. На востоке по горизонту легла огромная оранжевая полоса. Самолеты над высотами Буды купались в светлом недостижимом небе.

Где-то внизу, вдоль проспекта, гулко ударил «фердинанд». Одна за другой с адским гудением понеслись болванки, прыгая по асфальту. Рвался тугой воздух. Посыпались стекла. Черныш видел, как засуетились артиллеристы. Где-то в глубине кварталов заскрипела железным скрежетом «собака» — шестиствольный вражеский миномет, — и одна мина разорвалась около пушкарей. Кто-то из них, видимо, выбыл из строя, потому что Сиверцев сам подскочил к пушке и поклонился, стараясь поймать цель в панораму.

А цель надвигалась снизу по проспекту. Выкрашенный в белый цвет «фердинанд» приближался, словно сплошная ледяная глыба, выброшенная Дунаем. Сиверцев припал глазами к панораме и только хотел отдать команду, как тяжелая горячая болванка просвистела над самой его головой и спесла щит.

— Бей! — что есть силы выкрикнул Сиверцев и закрыл лицо руками.

Прозвучал выстрел.

Сквозь пальцы Сиверцева сочилась кровь.

Внизу, на ближайшем перекрестке, белая глыба вспыхнула высоким пламенем.

— Лейтенант! Вы ранены?

Непонятно, как могло его ранить: болванка, просвистев над головой, полетела дальше, то и дело звеня о мостовую и подскакивая, словно камень, пущенный над водой.

Однако Сиверцев все еще стоял возле своей пушки, закрыв глаза руками.

— Лейтенант, откройтесь!

Он с трудом оторвал от лица окровавленные, дымящиеся руки. Бойцы расчета ужаснулись: Сиверцеву вывернуло из орбит глазные яблоки. Непонятно было — как это и чем? Окалиной ли щита или страшным ударом воздушной волны от болванки.

¹ Прекрасно, чудесно! (венг.)

Бойцы взяли его под руки и повели в помещение «Европы».

Сейчас он лежал у стены на ковре и ждал, пока его перевяжут. Косячки юношеских бакенбард слиплись от крови.

Батарейцы метались, разыскивая фельдшера. Все они, как один, были рослые, гололобые. По обычаю, введенному Сиверцевым, они брили друг другу голову в любых условиях, летом и зимой.

— Запорожец! — позвал Сиверцев одного из своих сержантов. — Подождли?

— Подождли.

— По моей наводке?

— По вашей.

Офицер помолчал. Фельдшера не нашли, вместо него явился Шовкун и, опустившись перед Сиверцевым на колено, стал быстро разрывать бинт.

— Последний раз в своей жизни, — сказал Сиверцев неожиданно ровным, спокойным голосом, — я видел в своей панораме «фердинанда»... Горит?

— Догорает.

— Ребятки... Последняя моя панорама...

Ребятки, отвернувшись к стене, смахивали слезы шершавыми, обожженными ладонями. Гвардейские затылки, тщательно выбритые по инициативе Сиверцева, лоснились от пота.

Шовкун бережно, мягко перевязывал.

— Пушка цела? — спросил через некоторое время лейтенант.

— Цела.

— Берегите ее, — тихо завещал он.

ХІХ

Черныш как раз вел огонь, когда телефонист передал, что его хочет видеть офицер с батареи.

— Лежит внизу... Раненый.

Командира роты не было, и Черныш не мог уйти.

«Раненый... С батареи? Саша? Неужели Саша? Но как? Когда?» — думал Черныш между командами.

Через некоторое время появился Кармазин и, заменив Черныша, отпустил его к товарищу.

Но внизу раненого уже не было. У окна стоял Шовкун с фаустпатроном в руках. От санитары Черныш узнал, что его хотел видеть действительно Сиверцев.

— Но это только так говорится... видеть, — с горечью сказал Шовкун. — Ему, бедняге, уже не суждено ничего видеть...

— То есть как?

— Без глаз остался...

Евгений стоял словно пораженный громом. Мелькнуло в памяти, как однажды в госпитале Саша признался, что ничего так не боится потерять, как зрение.

— Пусть это будет между нами, Женья, — говорил тогда Сиверцев, — по я строже всего берегу глаза... Как наши фронтовики больше всего из-за своей красоты переживают, чтоб, не дай бог, лицо осколками не обезобразило, так я зрение берегу... Берегу для мирной жизни, для Ленинграда. Так, знаешь, хочется еще хоть раз все это увидеть... И шпиль Петропавловки, и балтийских морячков с девушками на набережной. И Эрмитаж... После трех лет разлуки... все это, Женья, как-то само в глаза просится... Понимаешь, в сердце просится...

Кто-то крикнул, что на проспект снова вырвался немецкий танк. Шовкун приготовил фаустпатрон к выстрелу.

«И когда он научился пользоваться им?» — мельком подумал Черныш, торопливо возвращаясь на огневую.

Во второй половине дня напряжение боя несколько спало, и Черныш, в тяжелой задумчивости бродя по отелю, встретил в бильярдном зале Ференца. Художник, заложив руки за спину, стоял в углу, сосредоточенно разглядывая что-то на полу. Подойдя поближе, лейтенант увидел в разбитой позолоченной раме изодранное полотно картины. Следы многих сапог остались на ней.

— Моя, — промолвил художник, указывая ногой на картину.

Вася Багиров за помощь в ночной операции подарил художнику широкий ремешок. Сейчас, затянувшись им поверх макинтоша, художник и в самом деле был немного похож на партизана. Высоко поднятая шляпа открывала выпуклый смуглый лоб.

— Да, моя...

Картина изображала гору Геллерт на правом берегу Дуная, где теперь стоит цитадель. На картине гора изображена еще не застроенной, такой, какой она была в

древние времена. Словно скала на безлюдном материке. На самой вершине — всадник, суровый степной витязь, в шеломе, в кольчуге. Утомленный конь опустил голову в поисках корма. Корма нет. Ибо: «Не будет расти трава там, где ступит копытом мой конь». Всадник, откинувшись, забрало, вглядывается в далекий горизонт.

— Кто это?

— Арпад. Один из первых венгерских витязей, который привел наших пращуров из Приуралья на берега Дуная.

— Куда он смотрит?

— На Пешт. Вернее, на то зеленое поле, где через много лет вырастут кварталы Пешта.

— Хотите реставрировать?

— Зачем? Кому сейчас это нужно, лейтенант?.. Сейчас я вижу новые темы, новые краски. Вы знаете мои альбомы? Я их пополняю...

В зале появился запыхавшийся санитар, козырнул лейтенанту:

— Я отправлял гвардии лейтенанта Сиверцева. Он передал вам записку.

Незнакомой женской рукой было написано:

«Женя, друг мой!.. Пишу. Не пишу, а диктую. В сап-ротте. То, чего больше всего боялся, случилось. Случилось бесповоротно, навсегда. В одно мгновение ушло все, о чем мечталось. Нет зрения. Нет художественного института. Лежу и думаю про Павку Корчагина.

А тяжело, тяжело. Неслыханно тяжело, Женя. Перед отправкой хотел еще раз встретиться с тобой — не удалось. Знаю, что ты не мог.

Желаю тебе в ближайшее время увидеть Дунай. Тот Дунай, о котором мы столько передумали, — чистый, голубой от неба... «Как льны цветут». Может быть, он будет таким в ясный день Победы. Желаю тебе дожить.

Жди, буду писать на полк. *Саша Сиверцев*».

XX

Спустя несколько дней, уже в другом квартале, Черныш получил возможность познакомиться с новыми альбомами Ференца.

Бункер, в котором нашел себе пристанище художник, был в том же дворце, где и огневая минометчиков.

Посреди двора высился замерзший фонтан, возле него накануне, во время налета, были убиты две лошади из боеснабжения. От коней остались уже одни ребра да копыта со стертыми, блестящими подковами. Остальное забрали венгры. В минуту затишья они выскакивали сюда из всех бункеров, как на охоту.

Приближаясь к подвалу, Черныш догнал двух девушек. Одна из них несла кусок мерзлой конины, осторожно придерживая его пальчиками.

Венгерки, пропустив Черныша, о чем-то живо заговорили. Потом одна из них, та, что несла конину, подбежала к нему и слегка дернула за локоть.

— Господин офицер!

Черныш обернулся.

— Что тебе?

— Господин офицер...

Девушки о чем-то наперебой затараторили, все время смущенно, умоляюще улыбаясь.

Черныш понял только одно слово «кепир» — хлеб. Девушка, державшая конину, повторила его несколько раз. Потом, чтоб лучше объяснить лейтенанту смысл своего предложения, она торопливо расстегнула шубку, показывая свою тонкую, перетянутую поясочком талию.

— Сейп!

За кусок «кенира» она предлагала ему себя. Черныш покраснел. Смущенно ругнувшись, неизвестно по чьему адресу, он надвинул на глаза фуражку и быстро побежал вниз. Девушки удивленно смотрели ему вслед.

Чернышу было стыдно и тяжело. Мелькнула почему-то мысль о Шуре. Разве она смогла бы так? Даже под угрозой голодной смерти?

В бункере он сразу увидел Ференца.

Художник работал, сидя в одной рубаше перед узким зарешеченным окном. Подтяжки, словно бурлацкие лямки, лежали на его плечах.

Упругие солнечные лучи заливали бункер. Когда во дворе разрывался снаряд, в бункере вспыхивал короткий неяркий, как дневная молния, отблеск. Сейчас эти отблески не страшны, они не багровые, как ночью, а светлые, перемешанные с солнцем. Время от времени они бьются, трепещут вокруг Ференца, жильцы тогда жмутся к стенам, только художник, как колдун, не трогается с места.

Услышав оклик лейтенанта, Ференц отложил работу и почтительно поднялся, приветствуя вошедшего.

Пришли и девушки с кониной и, избегая взгляда Черныша, виновато шмыгнули в дальний угол.

Ференц достал альбом. Это были зарисовки венгерских дорог, трупы в кюветах, придорожные указки, эскизы серых степных ферм, забытых богом и людьми... Карандашом, тушью, акварелью...

— А вот это...

Ференц перевернул лист.

Юноша с бакенбардами стоит на коленях у пушки. Сосредоточенным взглядом впился вперед Сапа Сиверцев.

— Вы его видели... тогда?

— Видел. Какой офицер!.. Мне говорили его солдаты... Я все знаю...

Черныш посмотрел на Ференца. «Что ты знаешь о нем? — хотелось спросить. — Очень мало ты знаешь, Ференц! Разве знаешь ты о том, что этот офицер, ведя огонь в Будапеште, думал о восстановлении Ленинграда? Что, обстреливая какую-то поликлинику, переполненную больными, он умышленно не выпустил ни одного снаряда по окнам?.. В этом он признался только своему другу. Сколько он думал об этом Будапеште! И ненавидел — и любил... Беспощадно бил — и не хотел убивать!»

Девушки, обрезая конину, украдкой поглядывали на лейтенанта. Он стоял над раскрытым альбомом, глубоко задумавшись. Густые широкие брови сурово сошлись на переносице. Голодные девушки разочарованно шептались. Они шептались о том, что этот черный, похожий на мадьяра офицер, наверное, в кого-то влюблен. Иначе почему же он оказался таким несговорчивым? Они молодые, у них красивые фигуры. Может быть, он боится плохих болезней? Но ведь мог бы расспросить жителей бункера, убедиться... Нет, он видимо, идеалист и безнадежно влюбленный. С такой нежностью рассматривает альбом...

— Что означает эта подпись, Ференц?

— «Спаситель», — перевел художник подпись под изображением Сиверцева.

Вечером, когда к огневой подъехала кухня, Черныш позвал повара.

— Гриша, у тебя суп остается?

— Бывает.

— Если останется... Раздай тут жильцам. Припухают.

— Да я знаю, что у них в этом году пятнадцать месяцев.

— Как пятнадцать?

— А так... Кроме наших двенадцати, прибавилось три пемедких: терпень, холодень и голодень.

После раздачи в котле оказались остатки, и Ференц объявил в бункере, чтобы пили с посудой во двор: «русский Гриша» будет выдавать суп.

Гриша, в халате поверх ватника, стоял над котлом с черпаком в руке. Носатое хитрющее лицо на этот раз было серьезным, словно он вершил важное государственное дело.

Венгры выстраивались в очередь, и Гриша отмерял каждому полчерпака, стараясь никого не обделить. Он сердито ворчал, что нажил себе «этих нахлебников» и должен из-за них торчать тут, пока фашист не пришлет ему горячей поджарки. И все же Гриша честно примерял глазом, чтоб раздать поровну, чтоб всем хватило. Венгры смотрели на него почти с благоговением. Надолго-надолго запомнится голодным жителям будапештских трущоб этот «русский Гриша» с черпаком в руке и автоматом за спиной.

Гриша ворчал и злился; однако когда женщина, которой он паливал еду, показала на пальцах, что у нее еще двое «кичи», малеських, то Гриша, вместо того чтобы отмахнуться, пропустить это мимо ушей, сразу же начал наводить справки:

— Правду она говорит?

Магьяры закивали головами: правду, правду.

Гриша отмерил и на «кичи».

Черныш со стороны наблюдал за раздачей.

Среди других в очереди стоял, подняв воротник, пожилой мужчина в драповом пальто, с толстым портфелем под мышкой. Указывая украдкой на этого субъекта, женщины шипели Грише:

— Шпекулянт!

Ференц на ухо сказал лейтенанту, что субъект с портфелем действительно спекулянт. Одну порцию он уже получил, а теперь подходит во второй раз. Черныш тоже видел этого типа днем. Он терся среди бойцов, спрашивал, нет ли у кого золота.

— Есть, — сказал ему тогда Хаецкий. — Вот где есть! Полный диск, золотом набитый. Только не продаю — даром отдаю! Кому должен — расплачиваюсь!.. Хочешь?..

Спекулянт тогда не захотел. Теперь он стоял возле кухни и, задрав свою черную козлиную бородку, нетер-

исливно протягивал банку к черпаку. До этого Гриша как будто не слышал, о чем ему шептали женщины. Он не боялся ошибиться: хоть лица спекулянта и не запомнил, зато запомнил его консервную банку из-под американской «тушенки». Когда она потянулась к котлу, Гриша, не говоря ни слова, с размаху треснул черпаком по банке, выбил ее у спекулянта из рук. Тот испуганно отшатнулся.

— Вот тебе для начала! — пригрозил Гриша вдогонку. — Я научу тебя честно вести со мной коммерцию! Ишь... дипломат!

Отбежав в сторону, спекулянт косился на повара волком. Пройдет немного времени, и он будет выступать на предвыборных митингах где-нибудь в Веспреме или Сегеде, требуя замены жестоких советских оккупационных войск американскими.

Черныша развеселило это происшествие. Улыбаясь, он направился на огневую.

Девушки, которых он встретил днем на ступеньках, сейчас, стоя в очереди, внимательно следили из-под надвинутых шляпок за его упругой походкой.

XXI

«На протяжении трех суток вас не слышу. В отчаянии, потому что все время пребываю под угрозой смерти. Делаем все, чтоб поддержать связь. В Офен Штолили Пешт русские заняли все районы. Реннплац¹ занят».

Такая шифрограмма была однажды перехвачена нашими войсками.

Окруженные взывали к Гитлеру. Гитлер приказывал держаться.

Дивизия, снятые из-за Рейна, с гор Италии, прибывали под Будапешт. Срочно были высланы на фронт курсанты берлинских военных училищ. Прямо из эшелонов их бросали в бой.

Грандиозная танковая битва разгоралась на северо-западе столицы. Тут враг сосредоточил главные силы для того, чтобы извне протаранить кольцо окружения. Степи на огромном пространстве пылали пожарами. Танки

¹ Название площади в Будапеште, на которой приземлялись немецкие самолеты со снабжением.

на рассвете горели в туманном поле, как костры кочевников.

...Будет лето после войны. По пыльному тракту из Будапешта на Секешфехервар будет мчаться «виллис». Американец из Союзной Контрольной Комиссии в дымчатых очках, защищающих от солнца, будет оглядывать окружающие поля. Что за кладбище техники, что за стада железных тяжелых громад разбрелись от Дуная до самого Балатона? То песочно-желтые, то обгорело-черные «пантеры», «тигры» зарастают бурьяном выше гусениц... Откуда их столько? За минуту насчитаешь десятки. И кто их остановил? Сколько мчит машина — все они, они, они вдоль дороги. Неужели все это ревело моторами, поводило жерлами, изрыгало огонь? Неужели все это было остановлено теми русыми ребятами в обмотках, которые стоят сейчас на будапештских площадях, старательно регулируя уличное движение?

Эпос, зарастающий степными буйными травами, пропетый в придунайских полях зимой 1945 года советскими пушками, советскими людьми. За спиной темнел Дунай, впереди светилась Победа. В те дни, опаленные нашей горячей кровью, не один советский боец повторил подвиг Матросова! Обвязавшись гранатами, с гранатами в потрескавшихся, почерневших руках, с глубоко ввалившимися глазами, озаренными бессмертием, бросался он под ревущий танк. Уходил из жизни, взрывался под танком, как бомба неслыханных атомных сил, наполненная святой энергией любви и гнева.

Окруженные в Будапеште не знали, как за Дунаем советские гвардейцы уничтожают их долгожданных «королевских тигров», как рвут немецкую броню подкалиберные уральские снаряды. Окруженные уже потеряли ипподром, куда садились их транспортные «юнкерсы». Теперь боеприпасы им сбрасывали на парашютах в огромных пакетах. Пакеты все чаще попадали в руки наших штурмовиков, которые шаг за шагом приближались к Дунаю.

Бойцам батальона Чумаченко уже была слышна стрельба с правого берега, из Буды.

Командный пункт батальона в это время помещался в комиссионном магазине, который выходил витриной на одну из центральных улиц.

В полутемном, длинном и узком помещении, где когда-то шмыгали услужливые продавцы, теперь распо-

ложились озабоченные бойцы и офицеры. Под погами трещало стекло расколотых пулями зеркал, шелестели пушистые лисицы, которые должны были окутывать плечи венгерских аристократок. На прилавке сидел телефонист. Он передал трубку комбату, и Чумаченко, поддакивая, выслушивал рапорт из четвертой роты, которая штурмовала объект за двести метров отсюда.

— Первый этаж занят, — докладывал командир роты, — на лестницах гранатный бой.

— Не врешь?

— Слушайте.

В трубку были слышны взрывы гранат.

На другом конце прилавка бойцы возились около патефона, найденного в этом же магазине. Среди груды пластинок со всякими фокстротами и румбами бойцы нашли и несколько наших отечественных. На некоторых пластинках еще были ярлыки с ценами комиссионного магазина.

— «Есть на Волге утес» — двести пенго! — выкрикивал батальонный радист.

— «Ой гай, мати» — тоже двести!

— А румба?

— Сто!

— Иштенем? Что же это такое? Свои дешевле ценят, чем наши!

— Еще бы! Разве у них есть такие?

— Вот смотри: «Побратався сокіл».

— Далеко наши соколы залетели!

— Над Дунаем вьются!

— Немцы украинский черпозем вывозили целыми эшелонами в райх, а эти — музыку...

— А ну-ка поставь.

Радист ставит пластинку, заводит патефон:

Побратався сокіл
З сизокрилим орлом...

Шовкун, торжественно пригладив усы, подхватывает знакомый мотив. Товарищи поражены — какой чистый, сочный голос у этого санитаря. Он пел, задумчиво глядя в разбитую витрину, словно видел там не чужую улицу с изуродованным, заснеженным трамваем, а родную зеленую весну, когда шумят дубы и цветут луга.

Ой, брате, мій брате,
Сизокрилий орле...

Бойцы один за другим стали подтягивать. За дружными голосами пластинку едва было слышно.

— Прекратить! — рявкнул комбат от телефона.

Бойцы умолкли, пластинку сняли, однако песня продолжала звучать и парастать где-то во дворе.

— Что за черт!

Иван Антонович кипулся к выходу на внутренний двор. Вся его огневая пела.

Паїхали, брате, папї й папепята
Та забрали діти мої — соколята...

Стоят по грудь в земле братья Блаженко. Стоит лейтенант Черныш. Стоит Хома. Стоит Багиров. Стоят все огневики и, задумавшись, поют песню, мотив которой долетел к ним из КП.

Иван Антонович внутренне любит свои бойцами, и ему трудно подать команду:

— Прекратить!

Но он подает ее, потому что комбат разговаривает.

А Чумаченко, закончив разговор, и сам подошел к телефону.

— Что вы тут завели? — стараясь быть строгим, посмотрел он на Шовкупа. — Собрали целую капеллу.

— Мы так... не нарочно...

— Не нарочно!.. Где та пластинка? — спрашивает комбат. — А ну-ка дайте сюда!

И, положив ее на диск, сам начинает крутить ручку.

Теперь комбат мешает Ивану Антоновичу. Но Антоныч молчит. Он сидит в углу в своей неизменной плащ-палатке, в шапке с опущенными ушами и рассматривает топографические карты.

Эти карты накануне откуда-то принесли батальонные разведчики. Они думали, что захватили карту Венгрии, может быть, как раз тех мест, где им в будущем придется вести бой. Но Иван Антонович обнаружил, что перед ним самая настоящая Черниговщина.

Шевеля губами, Антоныч медленно разбирает венгерские названия знакомых мест. Возможно, именно по этим картам карательные экспедиции мадьяр гонялись за черниговскими партизанами. Старший лейтенант находит села своего родного района, разыскивает знакомые дороги, перелески, холмы, балки, по которым ему приходилось ездить на партактивы и учительские сессии в район-центр.

— Наврали, стервы, — ругается себе под нос Иван Антонович. — Тут мне всякий раз приходилось греть чуб. Встанешь, бывало, с велосипеда и прешься на гору одиннадцатым номером. А они вlepили две горизонтaли!.. Две горизонтaли!.. Тьфу!

Обнаруживая на картах ошибку за ошибкой, Кармазин всякий раз докладывает об этом комбату с неприкрытым возмущением и презрением. Кажется, он готов пожаловаться на составителей карты, но беда в том, что некуда подать жалобу. Поэтому Антоныч сам делает и вывод, словно выставляет школьникам оценки.

— Я их научу составлять, — угрожает он, раскладывая карты на вытертых коленях. — Я им покажу! Пусть попробуют к моей карте придраться! Каждый объект занесу, каждый закоулок. Каждый фонарь на моей карте будет стоять!

Дело в том, что Иван Антонович собирался сам составить карту тех будапештских кварталов, в штурме которых он принимал участие.

— Для чего это вам, Иван Антонович? — шутили над ним молодые офицеры.

Старший лейтенант пазидательно отвечал:

— Никогда не теряйте чувства перспективы. Пройденные пути должны быть зафиксированы. Вот... — Он поднимал замусоленный блокнот. В этот блокнот — все знали — старательно был занесен весь боевой путь Ивана Антоновича. Блокнот был душистый, он лежал в сумке рядом с туалетным мылом. На листках блокнота — расчерченные схемы, а под ними внизу объяснения маршрута. Эти дополнительные заметки Иван Антонович, пользуясь терминологией топографов, пазывал легендами.

— Детям передам! — угрожающе говорил он и прятал блокнот с душистыми легендами в свою пузатую полевую сумку.

XXII

— Антоныч, огонька! — кричит комбат от телефона. — Хорошего огонька!

Из третьей роты ему передают, что противник идет на объект в контратаку.

Кармазин быстро вскакивает на ноги.

— Есть, огонька!

Голос его, философски спокойный в разговоре, неожиданно обретаёт звонкую твердость.

— Мы их научим, как составлять черниговские карты! Старший лейтенант бегом пересекает магазин.

— Черныш! — кричит он ещё с порога. — НЗО¹ — два! Пять беглых! Всеми!

Антоныч сразу стал бодрым, посвежел, словно умылся снегом.

Стоял и считал выстрелы. Расчет братьев Блаженко, самый опытный из всех расчетов, снова вместо пяти мин ухитрился выпустить семь. Эти орлы, видимо, полагают, что старший лейтенант за другими выстрелами не заметит их нарушения. А Иван Антонович сам хитрее всех хитрых. Наверное, не родился ещё тот, кто бы его обманул.

Выстрелы утихли, командиры расчетов один за другим докладывают:

— Очереды!

— Блаженко! — строго кричит Иван Антонович. — Опять семь?

Ефрейтор выпрямился в ячейке. Молча хмуясь, ждет показания.

— Товарищ гвардии старший лейтенант! Он случайно! — ухмыляясь, заступает за ефрейтора Черныш.

«Знаем вас, — думает Антоныч. — Расточители. Я вас по глазам вижу». Но не сказал ничего. Ему почему-то не хотелось сейчас наказывать за перерасход мин.

Со скрытой гордостью смотрит на свою роту. Работяги!

Комбат снова требует огня. Кармазин подает команду:

— Расчеты!..

И в мгновение ока все на своих местах. Словно стоят так уже давно.

Дома, как четыре высокие скалы, обступают двор. Снежные крыши. Полуобвалившиеся стены. Высоко вверху чудом держатся скрученные лестницы. На четвертом этаже виднеются внутренние стены одной из комнат, оклеенные обоями. Открылись внутренности человеческого жилья, впервые увидели небо. С закопченной вырванной оконной рамы свисает головой вниз длиноволосый беле-ый гитлеровец. Пальцы, растопыренные, как когти, навсегда выпустили винтовку. Она теперь валяется внизу, под окном, уже припорошенная снегом. Тут же и его пи-

¹ Неподвижный заградительный огонь.

лотка с нашитым спереди мотыльком. Окостеневшие руки солдата будто тянутся вниз, чтоб достать выбитое оружие.

— Глубоко, не дотянешься! — кричит вверх Хаецкий.

Слева и справа гремит каменный Будапешт. Земля все время дрожит, не знает отдыха.

Откуда ни возьмись, над самыми крышами с воем проносится самолет. На брюхе черные кресты. Такой, как в сорок первом. Но тогда он ходил по головам, как хозяин. Теперь словно удирает стремглав от погони.

— Девочки, — шутливо командует кто-то из бойцов, — по щелям!

Самолет засыпает двор мелкими трескучими гранатами. Затрещало, захрустело всюду, как будто рассыпалась на осколки высокая стеклянная стена.

— Одурел фашист!

Треск утихает, бойцы вылезают из укрытий.

— Меня ранило, — торжественно обращается ко всем Хаецкий.

— Куда?

Хома тут же при всех расстегивается, спускает штаны.

— Денис, посмотри!

Он нагибается.

Ребята, зайдя подолянику с тыла, внимательно, без смеха, смотрят.

Осколок, острый и маленький, как овод, впился в тело. Денис Блаженко берет его пальцами.

— Тяни! — командует Хома.

Ефрейтор осторожно тянет.

— Ты нас демаскируешь! — кричат ребята Хоме. — Сверкаешь до самой Буды!

Осколок вытащен.

— Засмоли, Денис, — говорит Хома земляку. Денис заклеивает ранку бинтом.

— И кровь не идет!

— Заживет, как на том сером...

— Я вам этого не забуду, — подпоясываясь, грозит Хома в сторону Дуная.

— В санзвод пойдешь?

— Ты что: пьяный или кулака просишь? Пошел бы и срамиться!

— Очень ты боишься срама...

— Довольно про это, — говорит Хома. — А кто брякнет лейтенанту — прибью. Сам скажу, когда присохнет.

Командир роты и лейтенант Черныш курили в тамбуре подъезда и слушали далекую стрельбу с того берега.

— Сужается кольцо, как шагреновая кожа, — говорил Иван Антонович. — Теперь им хоть верть-круть, хоть круть-верть, а...

Он смотрел на Черныша и ждал.

— ...А под нашей миной смерть, — закончил Черныш именно тем, чего ждал Иван Антонович. Серьезная, без улыбки, беседа про круть-верть происходила между ними почти всякий раз, когда они были в хорошем расположении духа. В такой форме они разрешали себе подтрунивать над высшим начальством, над его манерой разговаривать.

Мимо ворот неожиданно прогрохотал вражеский танк. Он мчался на максимальной скорости, вылетел на перекресток и, разворачиваясь, стал палить по кварталу, где уже расположились полковые тылы. Минометчики в радостном азарте кинулись к воротам, на ходу готовя противотанковые гранаты.

— Куда? — остановил бойцов старший лейтенант. Он считал, что этот танк должен стать добычей артиллеристов, а совсем не минометной роты. Черныш, тоже схватив гранаты, прошмыгнул за спиной Ивана Антоновича. Но старший лейтенант все же успел заметить его.

— Черныш! — крикнул он вдогонку.

Черныш не слышал или сделал вид, что не слышит.

Пиратский танк газовал по улице обратно.

— Гвардии лейтенант! — окликнул Черныша Иван Антонович и выругался так, как солидным педагогам совсем не пристало ругаться.

Черныш застыл в подворотне.

Танк мчался, пылая. Вдоль всей улицы с верхних этажей на него сыпались гранаты, бутылки с горючей смесью: одни попадали, другие рвались по сторонам танка, впереди его — весь асфальт горел. Механик-водитель давал полный вперед, сбивая пламя встречным ветром и надеясь выскочить из огненного мешка.

Черныш, стиснув зубы, швырнул гранату. Она ударила в борт. Неужели удерет? Неужели выскочит?.. Черныш швырнул другую. Граната грохнула под гусеницей, гусеница, сползая, потянулась за машиной, как гадюка, танк повернулся боком и застопорил. Открылся люк, из него стала подниматься хромовая перчатка. В этот момент ар-

теллеристы откуда-то дали по борту, и танк взорвался, как бомба.

Черныш вернулся на огневую под восторженные выкрики товарищей.

Но на этом дело не кончилось. Ночью все запомивший Иван Антонович долго и нудно пробирал своего лейтенанта. Он любил исповедовать молодых. Черныш слушал Антоныча покорно, однако глаза его озорно смеялись искристым смехом.

Они сидели на КП у командира батальона.

Был тот предрассветный час, когда даже не умолкающий от гула Будапешт заметно успокаивался, содрогаясь, как бы в тяжелой дремоте, редкими взрывами.

— Так вот расскажи, Черныш, гвардии капитану, — говорил Иван Антонович, попыхивая козьей ножкой. — Все расскажи.

— О том, как танк подорвал? — не без лукавства спросил Черныш.

— Нет, как парушил приказ командира роты.

И, переходя на свой философский тон, Иван Антонович спросил уже вполне серьезно:

— Скажи, ты задумывался над своим поступком? Делал ты тактический и психологический разбор его?

Черныш думал об этом. В самом деле, что понесло его в ворота, где он — вполне вероятно — мог потерять голову? Официального приказа он не имел, даже наоборот. Жажда славы? Возможно, и так, но только ради славы он никогда не согласился бы рисковать жизнью. Чувство мести? Черныш знал, что чувство мести у солдата на фронте очень много значит. У одного фашисты сожгли хату, у другого дочь увезли на каторгу, третьего самогогноили в концлагерях. Все это много значило. Но разве только это? Семья Черныша во время лихолетья была далеко от Украины и горестей оккупации не испытала. Его дом не сожгли. Его мать не испытала обид от иноземцев. Значит, не личная месть погнала его с гранатами к воротам.

— Мне просто хотелось уничтожить танк, — сказал Черныш. — Чтоб одним было меньше... Чтоб хоть на шаг или полшага ближе к концу войны.

— Да, пора и пошабашить, — сказал капитан Чумаченко, закуривая из кисета Ивана Антоновича. — Сколько дома работы ждет... Знаете, я до войны работал электриком. Была такая на юге высоковольтная сеть «Днепро-

энерго». Может, видели за Днепром в степи высокие металлические мачты? Это она. Между прочим, совсем изменила знаменитый украинский пейзаж. Мне выпало счастье и строить ее, и работать на ней. Когда мы ставили те мачты, я был еще комсомольцем. Бравый, знаете, парень был, чубатый.

— А теперь, вишь, вiski уже как снег, — задумчиво заметил старший лейтенант.

— Что ж подделаешь, Антоныч?.. Потрепало нас. И сеть мою потрепало. Из тех проводов, которые я собственноручно натягивал, ложки при немцах отливали. Провода, знаете, алюминиевые, толстые.

— Может быть, эта моя трофейная из них? — невелико пошутил Черныш, доставая из-за голенища складную ложку.

— Может быть... А сколько там нашего труда вложено! наших радостей! нашего сердца! Когда мы форсировали Днепр, я снова увидел нашу славную мачту — Днепрянку. Она была смонтирована на воде. Красавица, знаете ли, была. Легкая, стройная, на высоком фундаменте. А теперь гляжу, лежит головой в воду, как утопленница. Захотелось подойти, обнять, сказать: «Встань, поднимись!» Вам, наверное, трудно это понять. А для меня эта сеть была всем. Потому что не только я ее возводил, но и она меня возводила, поднимала. Родом я из Лопманской слободы — есть такая на заднепровских пещках. Отцы и деды мои гоняли дубы по Днепру. Так вот, как только стала действовать сеть «Днепроэнерго», то и мое село сразу изменилось. Вы знаете, как рисуют украинское село на картинах? Хатки под соломой, тополя край дороги, месяц над ней. А в нашей Лопманской слободе рядом с тополями выросли край дороги ажурные металлические мачты. Красота! Электричество на улицах. Да еще вечера лунные. При щедром освещении жили. На глазах, пощипываете, пейзажи менялись. И я, лопманский парубок, Гаврик Чумачок, становлюсь за это время инженером Гаврилой Петровичем Чумаченко. Так как же было не любить эту сеть? Всю душу она забирала... И вот однажды — тревога! Линейные сообщают, что где-то обрыв... Обычно в таких случаях что делают? Выключают рубильник — и баста! Ремонтируй.

Правда, для этого нужно остановить все предприятия Ново-Московска или Павлограда примерно на полдня. И вот, знаете, мне так больно тогда стало за мою сеть!

Не хотелось, чтобы кто-нибудь сказал о ней плохое слово. Не хотелось услышать его, как плохое слово о любимой дивчине. И я взялся устранить обрыв без исключения тока. Вы представляете, что это значит? Ток по сети идет напряжением в тысячи вольт. Если бы где-нибудь чуть-чуть оступился — в одну секунду от меня остался бы только уголек. Но что же? Дал расписку, как перед операцией, что берусь добровольно. И взялся... Не буду говорить о технических деталях этого дела. Дело, знаете, очень деликатное. До этого никто у нас еще не пробовал так... Скажу только одно: когда работал, — а была как раз ночь, непогода, синие искры трепетали в ионизированном воздухе вокруг проводов, — когда работал, ни разу как-то не подумал о себе. Наверное, точно так же, как Черныш сегодня в подворотне. Работаю, руки немеют, а мне так приятно думать, что все заводы города работают бесперебойно, сотни людей, стоя у станков, даже не подозревают, что где-то в степи орудует штангой неизвестный электрик, думая о них и зная, что каждую секунду его может испепелить молнией.

— Когда это крайне необходимо — я понимаю, — рассудительно ворчал Иван Антонович. — А тут... Подумаешь, богатырь, Алеша Попович! На поединок с «тигром» идет, у артиллеристов добычу перехватывает... Не забывай, Черныш, что страна отдала фронту своих самых сильных, самых крепких, самых преданных. Она послала их на Дунай не для того, чтобы они транжирили здесь свои жизни налево и направо...

Антонич строго осуждал тех офицеров, которые иногда ради внешнего успеха легкомысленно относились к себе или к подчиненным. «Неоправданные людские потери — самый большой позор для командира», — говорил старший лейтенант. В этом отношении взгляды Антоныча целиком сходились со взглядами комбата. Всегда уравновешенный и терпеливый, капитан Чумаченко становился беспощадным, когда узнавал, что какая-то рота понесла напрасные людские потери.

— Ты понимаешь, что дано в твои руки государством? — пробирал он какого-нибудь не в меру азартного вояку. — Не конь, не машина, не станок. Шофер машину разобьет, и то его судят. А ведь это люди. Люди, понимаешь?

Иван Антонович понимал это, кажется, лучше, чем кто-либо другой. Оставаясь в душе сугубо штатским чело-

беком, он был почти влюблен в настоящего бойца-фронтовика.

— Может быть, потому, что фронтовик ежедневно встречается со смертью с глазу на глаз, — вслух размышлял сейчас Антоныч, — может, именно поэтому он лучше других познает истинную цену жизни. Вы заметили, что на фронте люди живут дружнее? И мне кажется...

Иван Антонович не договорил: во дворе разорвался тяжелый снаряд. С минуту все молча прислушивались, потом Черныш поднялся:

— Пойду взгляну, не зацепило ли часового.

Капитан и Антоныч тоже встали. Переступая через бойцов, спавших вповалку, вышли во двор. Воздух был горький, дымный.

— Пропуск! — послышался голос Романа Блаженко.

— Не узнаешь, Блаженко?

— А спросить обязан!

— Правильно.

Где-то над головами спокойно, уверенно ходили «кукурузники». Мурлыкающие неутомимые друзья пехотинцев, они начинали свой боевой стаж в курских и украинских кукурузных полях и там получили от бойцов шутливую кличку «кукурузников». И это солдатское прозвище они пронесли до венгерской столицы, где уже нет под ними никакой кукурузы, а высятся одни каменные громады.

За Дунаем встают малиновые горы. Полыхает Буда. Горит что-то и поблизости, в этом квартале. Треща, ощерились багровые ребра балок. Над другим зданием поднимается дым, курчавясь вершиной, как дуб. С одной стороны его белая ветвистая шапка была зловеще-багровой. Большая часть дымовой кудрявой кроны оставалась в тени и только угадывалась. Но вот где-то внизу забил другой световой источник, и гигантская крона вырисовалась вся, затрепетала в отблесках... От этого мигания, частого, как далекие летние зарницы в степи, дуб как будто покачивается. Вот он уже расплывается, растет, превращается в тучу. И все мигает, мигает. От этого немного мигания кажется, что и все небо, и вся земля покачиваются.

— Не холодно, Блаженко? — спрашивает старший лейтенант.

— Ничего.

Боец стоит, положив на автомат руки в лайковых перчатках, которые лопнули у него по швам.

В ячейках чернеют минометы. Они сейчас напоминают

длинношеих лисиц, которые, подняв передние лапы, присели на хвосты в напряженном ожидании. У минометов в ячейках спят бойцы, накрывшись плащ-палатками и согреваясь собственным дыханием. Иван Антонович обходит их, присвечивает фонариком. Палатки поседели от мороза.

Где-то на левом фланге заметнулись в небо упругие хвостатые кометы «катюш». Полетели яркими, огненными трассами через темный Дунай на Буду. Через минуту донесся грохот, словно ударил молодой весенний гром.

— Звучно, — говорит капитан Чумаченко. — На хорошую погоду. Вот так и заводские гудки у нас над Днепром: на дождь — хрипят, а на хорошую погоду — поют звучно.

XXIII

Пешт, восточная часть города, был уже почти полностью очищен от врага. Пять тысяч кварталов остались за спинами наших бойцов. Выбивая врага из квартала в квартал, советские войска уже прижали его с трех направлений к Дунаю. Враг бешено сопротивлялся в прибрежном районе.

На той стороне Дуная в белесой мгле утопала Буда, опускаясь террасами кварталов к самому берегу. На горе был виден высокий королевский дворец. Артиллерия, установленная противником возле дворца и ниже, под горой, обстреливала оттуда Пешт.

Полк Самиева и его соседи уже штурмовали площадь перед парламентом. Самоходные пушки и танки, вырвавшись из засад, где они еще с почи ждали сигнала атаки, сейчас прочесывали огнем всю площадь до самого берега. Прикрываемые ими штурмовые группы рывок за рывком приближались к парламенту.

Минометчики Кармазина прокладывали дорогу — автоматчикам своего батальона, наступавшим правее парламента через небольшой сквер. У них было задание выйти к набережной.

Между памятниками, фонтанами, железными оградами перебежали, отстреливаясь, гитлеровцы. Штурмовые группы вытеснили их из сквера, и они теперь вели огонь из-за колонн парламента, из-за гранитного парапета набережной.

Энергичный бой нарастал. Как лесное птичье царство, стрекотали автоматы среди каменных громад. И минометы

сегодня били как-то особенно звонко. И словно бы даже радостно.

Минометчики в это утро уже несколько раз меняли позицию, маневрируя в фарватере штурмовых групп. Сейчас горячие минометы остывали в самом сквере. Их трубы еще дымились, как будто дышали паром на морозе.

— Дожили, — весело выкрикивал Иван Антонович, — дожили, что бить некуда!

Действительно, штурмовые группы уже сблизились с противником настолько, что мины могли зацепить своих. Бить по вражескому тылу? Но тылом был Дунай.

Дунай, Дунай! Так вот ты какой! Не голубой, не вальсовый!.. Темный, как туча! Широкое смертельное поле, гибельная нейтральная зона! Искрошенный снарядами лед трется о берега! Клокочут темные глубины, пенится вода, как па подводных камнях... Нет, не голубой, не вальсовый!

Из Буды вражеские орудия все чаще бьют по Дунаю. Вражеские артиллеристы уже видят в бинокли своих, прижатых к берегу. Сбившись за углом парламента, наскоро перегруппировавшись, гитлеровцы бросаются в контратаку. Продержаться хотя бы до ночи!.. Свинцовый град сечет воздух. Заскрежетала бронза монументов. Шипящие трассирующие пронизали сквер.

Черныш, выглядывая из-за какого-то пьедестала, видит, как на штурмовиков лейтенанта Барсова кинулись десятки озверелых фашистов.

— Гвардии старший лейтенант! — почти кричит Черныш командиру роты. — Разрешите поддержать Барсова!.. Наседают...

Пятна густого румянца на щеках Черныша разгораются, словно под солнцем.

— Разрешите, гвардии старший лейтенант! — кричат бойцы.

Антопыч разрешает первому взводу.

Черныш радостно взмахнул автоматом.

— Первый взвод! За мной!

Как стая тяжелых птиц, разворачиваясь, летели у самой земли бойцы. С разгона Черныш наскочил на какого-то бойца-пластуна. Он полз, волоча за собой автомат, оставляя на снегу свежий кровавый след. След был яркий, он, казалось, пылал.

— Где санпункт? — поднял голову боец. Он был без ватника, в одной гимнастерке, заправленной в штаны. — Где санпункт?

— Там! — Черныш показал рукой в тыл, не останавливаясь.

— Давайте, «самоварники»! — крикнул раненый вслед минометчикам. — За Парламентом их набилось, как саранчи. Давайте, братья...

Парламент, высокий, темно-коричневого цвета, с готическими шпилями по бокам и куполом в центре, мрачно смотрел на бойцов. Он как будто удалялся от них, отодвигался в Дунай. Был похож на огромный, массивный средневековый собор.

Без криков падали раненые; минометчики, перескакивая от укрытия к укрытию, уже соединились со штурмовиками лейтенанта Барсова.

— Евгений, ты здесь? — услышал Черныш голос откуда-то сбоку. Оглянувшись, он увидел Барсова, молодого, разгоряченного боем офицера, с автоматом в руке. Тот, поглядев на Черныша, прицелился куда-то из-за каменной тумбы, дал очередь и прыгнул через ограду к парапету набережной. Знакомый Чернышу парторг четвертой роты, пожилой высокий сержант, поднялся во весь рост, крикнул «ура» и повалился, раненный, на талый снег. Но «ура» не погасло, оно вспыхнуло, как из искры, и покатилося вдоль берега, подхваченное множеством голосов. Наверное, его слышали на том берегу широкого Дуная.

Фашисты, бешено отстреливаясь, отступали за гранитные массивные колонны. Эти колонны с западной стороны, со стороны Дуная, подпирали тяжелый тысячелетний Парламент.

Хаецкий, пробираясь под стеной, подкрадывался к одной из таких колонн. За ней он увидел вражеского автоматчика. Гитлеровец строчил, не замечая Хаецкого.

Мало у тебя глаз, враг! Не знаешь ты, что долгие недели городских боев в лабиринтах Пешта многому научили бойца Хаецкого! Сто семьдесят кварталов, добытых в жестоких боях батальоном Чумаченко, Хаецкий прошел не зря. Они наложили новый отпечаток на его боевое поведение в разных условиях. Хома привык уже к этим трупобам, к подземельям, к баррикадам на улицах, к окнам-бойницам, к колоннам-укрытиям. Он уже знает, где ему нужно быть осторожным, где бесстрашным прыжком броситься вперед.

Так, как здесь.

Хаецкий прыгнул сбоку, вцепился в горячий ствол обеими руками и рванул его на себя. За автоматом из-за колонны потянулся и его хозяин. Здоровенный, выше Хомы, в черных паушиках, с блуждающими, дикими глазами. Он никак не хотел выпустить автомат из рук, словно и сам был частью этого автомата. С минуту они, сопя, напрягались, тянули друг у друга автомат, каждый стремился схитрить и столкнуть противника в Дунай. Оба пятились от берега. Наконец Хома, улучив момент, изо всех сил вертанул автомат. Руки гитлеровца хрустнули в суставах. Какой-то солдатик, совершенно незнакомый Хоме, пробегая мимо, треснул гитлеровца прикладом по черепу. Фашист схватился за голову, закружился, но не упал. Он с ужасом попятился от высокого берега. Дунай темнел внизу, как пропасть.

— Не бойся! — тяжело дыша, крикнул Хаецкий и стукнул врага его же автоматом. — Поддержу!

Гитлеровец кинулся к берегу. Хома с разгону поддал ему сапогом в спину. Взмахнув руками, фашист полетел в воду.

Произошло это молниеносно.

Весь берег клокотал и вихрился. Тяжелый, смрадный дым стлался над рекой. Штурмовики вдоль всей набережной гранатами и врукопашную добивали противника.

Тем временем по улицам прилегающих к Парламенту кварталов уже тянулись колонны пленных. Сами пленные теперь ускоряли шаг, чтобы быстрее выйти из-под огня своей же артиллерии. Она без умолку била по Пешту с высот Буды.

Прошагала колонна венгров с белым флагом, со своим полковником впереди.

— Где плен? — спрашивал полковник.

Орловцы и черпиговцы показывали ему, не пользуясь картами Будапешта.

Немцы брели в колоннах, опустив головы, ни на кого не глядя. Одни — еще в своей униформе, другие — уже в штатских пальто, плащах, пиляпах, с платками на шеях. Как будто ведут их по городу из тюрьмы на работу или в баню. У них не было сил, морального права встретиться взглядом с бойцами, которые стояли на тротуарах, еще потные, разгоряченные, радостные после боя. Было совсем не холодно, а у плещущих под носами висели капли.

— Хоть бы утерли свои сопли! — кричали бойцы. Гитлеровцы не утирали.

Партию пленных, человек полтораста, гнал Казаков. Сержант был сегодня особенно возбужден.

— Чистокровное стадо! — кричал он знакомым однополчанам. — Даже два оберста! Думаю, что майор Воронцов разрешит нам сегодня сесть на лошадей.

— А Буда?

— Ей то же самое будет!

Колонны брели и брели.

— Было в сорок первом году, — обращаясь к товарищам, рассуждал на тротуаре какой-то тонконогий пожилой пехотинец в обмотках, туго накрученных до самых колен. — Один, бывало, их автоматчик гнал паших десятерых... А теперь один наш гонит их сотню... Всякое бывает, братцы.

— История, браток, история, — вмешался бас. — Колесо истории... Тютюн ван? ¹

— Ныч ². Сигареты... гаванские.

— Это барахло, браток. Кремепчугской махорочки бы!.. А впрочем давай.

XXIV

После боя на набережной минометчики, влетев в помещение Парламента, столкнулись у входа с Ференцем.

— Ты уже здесь, Ференц? — крикнул Вася Багиров. — Убьют! Еще ведь стреляют!..

— Уже не убьют, — снимая шляпу, спокойно и торжественно ответил художник. — Уже нет.

Приблизившись к Чернышу, Ференц взял его за руку.

— Товарищ лейтенант... гвардии, — произнес он с акцентом. — За все... всем вам... армии вашей... спасибо.

Черныш крепко пожал ему руку и бросился вместе с бойцами наверх по белым мраморным ступеням. За гурьбой радостных, возбужденных бойцов спешил и Ференц в распахнутом макинтоше. Он указывал на колонны из цельного мрамора, возвышавшиеся по сторонам.

— Эти доставлены из Швеции... Эти из Феррары... Эти из Германии... Мополиты...

¹ Табак есть? (искаж. венг.)

² Нет (венг.).

А Чернышу виделись иные монолиты — громады тех серых скал, среди которых остался лежать Брянский.

— Приемный зал... Красное дерево... Бронза... Розовый мрамор... Перед вами — высокое искусство! Шедевры!

Слово «шедевр» больно резануло Черныша. Не раз он слышал его от Сиверцева, когда речь заходила о Ленинграде.

— А то разве не шедевры?

Чернышу стеснило грудь. Каждое слово Ференца ранило его.

Бойцы какого-то другого полка группами спускаются навстречу, с ручными пулеметами на плечах, шумные, сияющие. Перебрасываясь шутками, они гонят, весело подталкивая, несколько обезоруженных фашистов.

— Куда, братья славяне? — спрашивают тех, что поднимаются навстречу.

— К министрам!

— Нету.

— Еще сидят в канализационных трубах!

— Го-го-го!

Залы, словно гулкие Альпы, откликаются веселым эхом.

В окна сквозь разноцветные стекла льется мягкий, радужный свет, наполняя залы, фойе и коридоры пестрым полумраком. Как будто поднимаешься по этим белым ступеням в призрачный, фантастический мир.

— Палата депутатов, — с гордостью объясняет минометчикам Ференц, забегая то с одной, то с другой стороны.

Чем выше поднимались, тем светлее становилось вокруг. словно взбирались на высокие горы. Сквозь пробитый снарядами купол светилось небо.

Палата депутатов... Мрачный, величественный зал с ярусами стульев. Перед каждым стулом столик с табличкой. На ней фамилия депутата. Где сейчас эти депутаты, продавшие фашистам свой народ? В Швейцарии, или в Баварии, или на острове Капри?

Внизу, посреди зала, как на арене цирка, круглый стол под зеленым сукном. Вокруг стола на полу разбросаны тяжелые старинные фоллианты в кожаных переплетках. Стоят кресла министров, обитые красным бархатом.

— Трибуна оратора... Ложи дипломатов... Ложи журналистов.

Ференц замирает от гордости и уважения.

Хаетский утомленно присел в одно из кресел, жадно разглядывая разукрашенные стены. Только теперь почувствовал, как гудят ноги после долгого напряжения.

— Хома! Хома! — встревоженно говорит Ференц. — Это кресло министра!

— Министра? — Хома заглядывает под себя. — Так что же... сломается? Нет, как будто стульчик не хуже других. Мягкий, как раз для меня... Ты же знаешь, Ференц, что меня садануло осколком в самое деликатное место.

Хома утирается рукавом. Бойцы рассыпались между депутатскими рядами, шныряют, ищут: не притаился ли часом где-нибудь застигнутый врасплох фриц.

Художник собирает с пола тяжелые фоллианты и, вытирая их, складывает стопкой на стол.

— Что это за книги?

— Законы, Хома. Наши старые законы...

— А, это те законы, что пели, как скрипка. — Хома неожиданно тонким, вибрирующим голосом имитирует скрипку. — Иде весілля — нап'ємося й наїмося, йде весілля — нап'ємося й наїмося... Так? А паш бас им отвечает (Хома скандирует медленно, басом): «Ще по-ба-чи-мо, ще-по-ба-чи-мо...» Вот и побачили. Разве не так, Ференц?.. А почему они, твои законы, такие затоптанные, пылью прибитые?

— Перетру, Хома.

— Перетри, перетри хорошенько, Ференц, — поучает Хома, — да еще и перетруси. Бо там, наверное, уже и моль завелась. Какие хорошие — оstarь, а какие плохие — в печку. На их место положи новые. Такие, чтоб войн не было. Слышишь, Ференц?

— Но это в компетенции мипистров, Хома.

— Как ты говоришь?

— Ну... это должны наши министры...

— Министры... Гей вы, министры! — задорно кричит боец пустым местам палаты, будто там и в самом деле стояли перед ним министры. — Пойдите-ка сюда, имею к вам разговор. Буду своего добиваться. Вот фашистов мы выперли в Дунай. Места для вас свободны. Будьте ласковы, мерси, занимайте... Но знайте, что теперь Хома не захочет, чтобы вы снова гнули фашистскую политику и погибали ее на войну. Разве напрасно я всю Мадьярщину до самого Дуная своими окопами перекроил? Разве напрасно не вернулись в пашу Вулыгу Олекса,

и Штефан, и кум Прокоп? Нет, ой нет... Теперь я буду внимательно к вам прислушиваться. Не захотите жить мирно да ладно, будет вам горько, как сегодня!.. Не успе-хайся, Ференц, не скаль на меня зубы. У меня у самого еще такие, что гвоздь перекушу. И рука еще не сдает. Да и сыны еще дома растут, червонные, как калина, и крепкие, как дубки. Я им пишу, чтоб смотрели с нашей Вулыги и на Дунай, и за Дунай, и на весь белый свет.

Черныш стоял наверху, в палате сенаторов, окутанный белыми сумерками. Молча осматривал пышную окраску стен, скользя по ним рассеянным грустным взглядом и думая о тех далеских, оставленных по пути, что шли и не дошли сюда. И боец Гай, и Юрий Брянский, и Саша Сиверцев, и Шура Яспогорская — все, кто на веки или временно выбыл из строя, как будто, сойдясь здесь, поднимались только что вместе с ним вооруженной толпой по белым ступеням и вступили в этот зал. Он ясно видел их лица, слышал их голоса и сам мысленно обращался к ним:

«Вы не должны быть никем забыты, ни изменчивыми политиканами, ни прожженными дипломатами. Ибо вы шли в авангарде человечества и без вашей жертвы не было бы ничего...»

Рыдал сухими глазами, кричал немymi словами:

«Вас человечество подхватит, как песню, и понесет вперед, ведь вы были его первой весенней песней...»

Большие дороги армии пролегли перед глазами Черныша. Отсюда, с этой вершины чужого побежденного города, он достигал взглядом бесчисленных тысяч серых окопов, разбросанных по полям Европы, слышал перестук солдатских подков по замнированным асфальтам и стон забытого раненого в подоблачных горах. Жизнь, перестав быть вихрящейся загадкой юности, открывалась перед ним в просторе своего величия. Он видел ее смысл сейчас яспес, чем когда бы то ни было. И пусть он, может быть, упадет, как Юрий Брянский, в задупайских долинах или в словацких горах, он и в последнее, предсмертное мгновение будет благодарить судьбу за то, что она не еодила его окольными путями, а поставила в ряды великой армии, на прямую магистраль.

Мысли его прервал Багиров, явившись с сообщением, что батальон собирается.

Спускаясь по лестнице из верхней палаты, Багиров и Черныш услышали в глубине Парламента голос Хоми.

Заглянули в пижую палату. Хома сидел глубоко внизу, закинув ногу на ногу, и о чем-то разглагольствовал, держа автомат на коленях. Бойцы, столпившиеся вокруг него, громко хохотали. Среди них были и самиевцы и солдаты из других, незнакомых частей.

— Кончай почесать! — скомандовал старшина. — Минометная, выходи!..

Хома вылетел из кресла.

— Будь здоров, Хома, — тряс ему руку Ференц, прощаясь.

— Будь здоров, Ференц... И не кашляй!

— Будь спок, будь спок, Хома. Спасибо за кушай-кушай... Спасибо за все.

Бойцы загрохотали между депутатских мест по деревянным ступенькам.

Из Буды били орудия.

Один снаряд, проломив купол, разорвался в пышном приемном зале. Полетели обломки статуй. Тучей поднялась со стен белая известковая пыль. Бойцы, запорошенные ею, весело чертыхаясь, выскакивали из парламента на свежий воздух. Оружие стало сиять. И каждый боец вылетал сияющий, как сокол.

XXV

Вечером полк готовился к маршу.

Подразделения сосредоточивались в одном из темных кварталов. Командир полка Самиев, собрав комбатов, общал им порядок движения.

Пахнувшие борщами кухни тряслись через двор, роняя жар из поддувал. Бойцы спешили с котелками на ужин.

Багиров, добыв подводы в транспортной роте, укладывал материальную часть. По всему было видно, что марш будет дальний. Иван Антонович заставлял своих минометчиков переобуваться в его присутствии, под его наблюдением, чтобы не потеряли ноги в пути.

Полковые разведчики уже гарцевали на черных лошадях.

Среди бойцов о марше ходили разные слухи.

— Говорят, под Турцию...

— А я слышал, что на Дальний Восток.

— Брехня... Идем на север форсировать Дунай.

— Чего тут гадать: куда прикажут, туда и пойдем.

В огромном пустом гараже бойцы разложили костры. Ужинали, переобувались, сушили портянки. От нагретых ватных штанов шел пар.

Иван Антонович подошел к одному из костров, разложенных минометчиками. Волна теплого воздуха мягко накатилась на него.

Среди минометчиков у костра сидели лейтенант Черпыш, майор Воронцов. Прихлебывая чай прямо из закопченных котелков, присутствующие вели спокойную, видимо, давно начатую беседу.

— Знаете, как об этом сказал Михаил Иванович? — говорил майор. — «Вы, говорит, явитесь домой новыми людьми, людьми с мировым именем. Людьми, которые сознают свое непосредственное участие в создании мировой истории...»

— Чуешь, Роман? — толкнул земляка Хома. — Творец мировой истории!

— А они нас считали низшей расой...

— А мы и будем низшей, — говорит Хома.

— Что-о? — уставился на него ефрейтор Денис Блаженко.

— Низшей расой, говорю. Потому что мы останемся на земле, а они закачаются на виселицах. Разве ж это не выше?

Бойцы хохочут.

Маковейчик играет затейливым портсигаром.

— А ну-ка, покажи свой трофей майору! — подзуживают его бойцы.

Маковейчик демонстрирует. Мудреный портсигар, щелкнув, выбрасывает готовую самокрутку.

— Здорово! — заблестели глаза у одного из пехотинцев, такого же молоденького, как и Маковейчик. — Только знай закладывай бумагу!

— Здорово! — говорит и майор, прикидываясь удивленным. — А ну еще.

Маковейчик с простодушной радостью щелкает.

— Домой повезешь? — спрашивают его.

— Я такой мизерии не повез бы, — говорит Хома. — Чи я беспалый, что сам не скручу себе сигарки, най его маме! И вообще это выдумка, чтоб только пыль в глаза пускать. Раз-два и уже заедает. Если уж привезти, так мотоцикл.

— Или часы, — вставляет молоденький пехотинец. — Часов у них — как мусора.

— Все «роскопы», — замечает Депис Блаженко, не отрывая взгляда от развернутой дивизионной газеты, которую держит в руках. — Штамповка.

— А сколько шелков, — бросает кто-то сзади.

— Искусственные, — возражает Хома. — Только в воду — и расползаются...

— Много у них всякой всячины, — задумавшись, говорит майор. — Много у них вещей, поражающих бойца своим блеском... Нам было не до этого. Наши жены, матери и девушки за эти годы забыли о праздничной одежде. Сапоги да армейский ватник стали одеждой всего народа... Но зато как богаты мы с вами в чем-то неизмеримо более важном. Богаты учением своим, правдою своею, которую несем на наших ленинских знаменах... Скажите, у кого из них есть такое государство, — постепенно повышает голос майор, — которое выстояло бы, как скала, в такую грозную бурю?

— Ни у кого.

— А у кого из них есть люди, которые, не сломав хребта, вынесли бы все то, что вынесли мы с вами?

Бойцы сидели некоторое время, задумавшись. Даже в этом молчании было что-то объединяющее их. Видно было, что думают они сейчас не каждый про свое отдельное, а про единое, одинаковое у всех. Это был момент той глубокой задушевности, которая так часто возникает у солдатского костра между людьми, прошедшими вместе долгий, тяжкий путь и сроднившимися в боях. И радости, и боли, и воспоминания, и мечты давно уже стали для них общими, как в дружной семье.

Черныш достал из кармана треугольник письма и, поклонившись к огню, развернул его. «Который уже раз лейтенант его перечитывает», — подумал Хаецкий.

Это было первое письмо от Шуры Ясногорской, полученное Чернышом сегодня.

«Здравствуй, Женья, — писала она. — Лежу в армейском госпитале, как раз в том, где когда-то сама работала и встретила Шовкуна. Здесь же и Саша Сиверцев. Мы часто встречаемся с ним и вспоминаем полк. Полк! Сколько в этом слове для нас и тоски, и боли, и невыразимой прелести. Где вы теперь, Женья? В Будапеште ли, под Эстергомом или под Комарно? Мы каждый день думаем об этом с Сашей и никак не можем угадать: всюду, где самые тяжелые бои, там, нам кажется, и вы. Отсюда, со стороны, все предстает перед нами в каком-то особом

свете. Каждый шаг нашего пехотинца кажется событием, достойным летописей. Женя, как я счастлива!.. Да, именно счастлива... Пусть тебя не удивляет, что после всего пережитого я еще могу говорить о счастье. Не подумай, что я забыла что-нибудь или раны уже зарубцевались и не кровоточат. Нет, Женя... Золотая трансильванская сопка горит, не угасая, и не меркнет, не меркнет. И только величие того, за что он погиб и за что готова погибнуть я, даст мне силы и ощущение счастья даже в самую тяжелую минуту. Разве счастье — это только смех, и наслаждение, и ласки? Так представлять его могут лишь ограниченные люди, которые никогда не были бойцами и не имели своего полка и своего знамени. Разве такие мелкие «счастливицы» не достойны жалости? Да ты, Женя, знаешь это, может быть, лучше, чем я. Знаешь и то, как осточертела мне эта госпитальная койка, эти процедуры и режимы. Хочется скорее освободиться от них и опять к вам, пога в погу с вами».

Во дворе подали команду:

— Офицеры, к комбату!

Евгений поднялся, пряча письмо. Воронцова среди присутствующих уже не было. Бойцы гасили костры, направлялись во двор. В темноте звучали короткие команды, строились подразделения. Пролетал снег.

На западном берегу сквозь белую порошу метели пылали горы. Осветились бстонные быки высоких дувайских мостов. Взорванные фермы опустились в багряную воду, словно пили ее жадно и никак не могли напиться.

Дунай багровел.

— Знаменосцы, в голову колонны! — пронеслась команда командира полка.

Подразделения тронулись.

Будут они идти вначале среди темных ущелий разрушенных кварталов. Потом выйдут в придувайские поля, занесенные снегами. Будут идти всю ночь, слыша канонаду и слева и справа на флангах. Будут идти прямо в нее, не колеблясь, сжимая верное оружие. Впереди взвод знаменосцев с полковым знаменем в жестком брезентовом чехле, с позолоченным венчиком на древке.

Офицеры на ходу будут поглядывать на компасы, светящиеся в темноте на их руках.

Будут идти, идти, идти...

Золотой венчик знамени, покачиваясь, будет все время поблескивать над головами бойцов.

Дѣвѣи поють на Дунаѣ, вьются голоса
черезъ море до Кіева.

«Слово о полку Игореве»

I

Наступала великая весна.

Ширились горизонты, день становился просторней. С каждым пройденным километром солнце припекало все сильнее, словно бойцы приближались к нему.

Наступление приобретало все более стремительный темп. Куцых топографических карт хватало всего на несколько часов движения. Посылаемые из высших штабов, эти карты едва успевали догонять наступающие войска.

За двое суток полк с боями прошел от Грона до Нитры и форсировал ее у местечка Новые Замки. А благодарность Верховного главнокомандующего, полученную за освобождение Новых Замков, бойцы читали уже за десятки километров от Нитры, на реке Ваг — третьем словацком притоке Дуная.

Сухие дороги закружились бурой пылью в глубь Словакии. Шинели просохли и стали легкими, как крылья птиц.

Может быть, потому, что весну полк встретил в походе, у бойцов создавалось впечатление, будто самое понятие времени зависит от них, от темпа их наступления. Чем стремительнее шли они вперед, с боями форсируя искрившиеся холодные реки, задыхаясь в горячих маршах, тем быстрее, казалось, наступает весна.

Долгожданная пыль апрельских дорог! Впервые в этом году за клубилась она над бойцами. Не та, что разъедала нам глаза в сорок первом, не та, которой отравлялись мы в украинских, изнемогающих от жажды степях! То была тяжкая пыль горя, смешанная с горькой сажей пылающих родных жилищ... А эта — золотистая, легкая, апрельская! — поднимается рядом с тобой могучими крыльями, предвещая великую солпечную весну. Бурная спутница походов, она, кажется, уже несет в себе привкус победы.

— Странно! — восклицает посеревший от пыли Маковей, обращаясь к Роману Блаженко. — Аж на зубах скрипит, а приятно!

— Приятно-то приятно, да как бы засуха не ударила...

Они скачут верхом на лошадях за ротными повозками. Вокруг расстилаются плодородные придунайские равнины. Изредка покажется на горизонте одинокий словак с одиноким волом в плуге. Лучи солнца, повернувшегося к западу, рикошетом скользят по далеким полевым озерам. Над прошлогодними камышами уже взвиваются белые стайки чаек, первых вестников, выпущенных в поля раннею весной. Впереди вся дорога клокочет войсками. В тучах поднятой пыли сплошным потоком движутся подводы, всадники, машины. Сотнями серебряных молодиков¹ поблескивают на солнце подковы. Спокойно покачиваются на лафетах полковые артиллеристы. Обгоняя минометчиков, одна за другой проплывают «катюши», грациозно унося вперед скрытую в себе грозу.

Гомон марша, как всегда, возбуждает Маковея. Словно сквозь огромный радостный оркестр пролетает он, ротный соловейко. Ему хочется петь.

— Роман, каких я девчат видел в Галанте!

— Эх, Маковей, Маковей... Выплет тебе старшина по первое число. Мы тут всей ротой тебя искали...

— Старшине я уже доложил... Выругал на первый раз — и все!..

— Счастье твое, хлопче, что не во время боя отстал.

— Дурак бы я был — во время боя отстать! За это, пожалуй, дали б штрафную... Но какие там девчата! Вidel бы ты их, Роман! — Телефонист сладко прищурился, покачал головой. — Павы!

Горячо бродил этой весной молодой солдатский хмель в крови Маковея. Юноша влюблялся чуть ли не в каждую

¹ Молодой месяц (укр.).

девушку, увиденную где-нибудь мимоходом, пролетевшую, как мечта. Одна любовь подала ему кружку воды через забор, другая лукаво улыбнулась, выглянув из окна, третья...

— Смотри, парепь, как бы эти павы не сбили тебя с панталыку...

— Словачки да мадьярочки, Роман! Эх! Как высыплют из костела да как поплывут по улице — глаз не оторвешь!.. Платки на них яркие, юбки короткие, круглые, с какими-то обручами внутри... Идут по тротуару в красных сапожках, маленькие молитвеннички к груди прижимают и на меня из-под косынок только зырк-зырк!.. А сапожки у них дзинь-дзинь... Еду себе рядом с ними на коне и люблюсь.

«Марусина!» — зову одну, самую лучшую... А она улыбнулась мне, остановилась у калитки. «Я не Марузина, а Иринка!» — «Ах, Яринка! Йов, говорю. Хочу, говорю, посмотреть, что там у тебя так красиво позванивает, когда ты идешь по улице... Покажи-ка свое дзинь-дзинь-дзины!»

Тогда она глянула на меня — да как глянула! — и, засмеявшись, подняла свой красный сапожок. И что бы ты думал, Роман? Ничего особенного... Просто между высоким каблуком и подошвой у нее прилажен маленький, как пуговица, медный колокольчик... А я вначале думал, что там какое-нибудь чудо необыкновенное!

«Я, говорю, Яринка, думал, что это сама земля под тобой позванивает...»

А она повела игриво глазенками, щелкнула по колокольцу своим кожаным молитвенничком, и звоночек аж засмеялся! Чудесно!.. Но вижу: ехать уже пора. Тронул коня, а Яринка как глянет на меня... И жалобно как-то и испуганно: «Хова?»¹ «Фронт», — говорю. «Не надо фронт... Не любим фронт...»

Ну что ты ей скажешь на это? Пока я за угол не свернул, все стояла на месте как вкопанная, смотрела мне вслед...

— Ой, хлопче, хлопче, — укоризненно говорит Роман, — не играй с огнем. И не заметишь, как в капкан попадешь...

— Что ты мне мораль читаешь? — вспыхнул вдруг Маковей. — Взялись за меня, опекуны! И ты, и Хома, и

¹ Куда? (венг.)

все — одно и то же: води себя хорошо, остерегайся, гляди в оба... Сам не маленький, кое-что понимаю!

— Маковей, — спокойно продолжал Роман, — я прожил две твоих жизни, прислушайся к моему слову, спасибо когда-нибудь скажешь... Разве я, или Денис, или офицеры зла тебе желают, приструнивая тебя? Да ведь вся рота болеет за тебя, как за родного сына! Ты, правда, хлопец хороший, в боях авторитет приобрел... И грамотнее многих из нас, и медали не зря тебе повесили... Но молодой еще и падкий на все, что в глаза бьет!

— А что ж, по-твоему, у меня душа из репейника?

— То-то и оно, что душа у тебя молодая да горячая, доверчивая ко всему. Оберегай ее, Маковей, не вывихни нигде! Разве забыл, сколько в Будапеште шпионок наши хлопцы поймали! Сколько там всяких субчиков в дамские жакеты переодевались? Уже у них и повязки на рукавах, уже они и «антифашисты», уже они и «подданные» других держав — паспорта у них заранее заготовлены... Для чего это? Думаешь, добра тебе желают такие типы? Они только и ждут, чтобы завести тебя куда-нибудь одного, напоить метиловым спиртом — и ножкой в спину... Это тебе, хлопец, не дома, тут чужая территория...

— Выходит, и на дивчину глянуть грех? Уж и пошутить с ней нельзя?

— Грех не грех, а береженного бог бережет. Думаешь, то красивые сапожки тебе позванивают? То искуше-ния твои, Маковей, тебя подстерегают!.. Ходят они по улицам в сапожках, обступают со всех сторон, в глаза тебе лезут. Все перед тобой выставлено: вина панские, картинки бесстыдные, женщины тонкобровые... Бери, Маковей, развлекайся, получай полное удовольствие!.. Кто слаб духом — сразу накинется. А о том и не подумает, что вина те, может, с отравой, а женщины те, может, с дурными болезнями, а в картинках тех — разврат! Разве не капканы? А ты их обойди и иди своей дорогой, куда твоя миссия пролегла. Глянь, Маковей, какие пути-дороги перед тобой стелются! Такие пути, что как встанут, так и до неба достанут!

Маковей невольно поглядел на далекую дорогу, что лежала перед ним, окутанная золотистой пылью, запруженная войсками. Ни конца ей, ни края... Протянувшись вдаль, уходя за горизонт, пылающий над ней грандиозной аркой. Неужели если встанет, так и до неба достанет?

Маковей присмирел, задумался.

— Разве я этого не знаю, Роман? Не такой я ветрогон, как некоторым кажется... Яринку-то я сегодня и в глаза не видел!

Блаженко свирепо уставился на юношу.

— Как не видел?

— Да так... Это одно только воображение...

— Тыфу на твое воображение! И это меня своими сказками о ней всю дорогу дурачишь?!

— Так она ж была! Только не в Галанте, а еще в Кампидине на плацдарме... Я видел ее, когда ездил в полк за ордепом.

— Когда это было...

— А вот сегодня почему-то вспомнилась, встала перед глазами. Вот и рассказал тебе про нее... Сапожки красные, и колокольчики, и улыбка... Не идут с глаз, хоть убей...

— Чудной ты, Маковей... Всегда говоришь так, как будто сны рассказываешь... Надумал меня своими сказками тешить! Весна на тебя действует, вот что я тебе скажу.

— А на тебя не действует?

Роман промолчал, явно уклоняясь от ответа. Потом снова навалился на парня:

— Где ж ты, в таком случае, болтался? Мы тут с ног сбились, разыскивая тебя.

— У меня конь засекся, так я перевязывал, чтоб старшина не заметил и не пристыдил всепародно. Знаешь, он как начнет! И вообще нечего было меня искать, панику разводить... Что я вам — ребенок на ярмарке? Кто вас заставлял бегать высунув язык?

— Как раз ты и заставил, леший бы тебя побрал! — рассердился Блаженко. — Может, думаем, сдуру где-нибудь в беду парень попал, может, ему помощь нужна...

— Не попаду, — засмеялся Маковей, — будьте уверены!

— Потому и уверен, что вся рота с тебя глаз не сводит, что все товарищи о тебе заботятся... Дружба, брат, великое дело. Вишь, как только где-нибудь запропастился, так уже и всполошилась рота: где Маковей? Где телефонист? Разыскать немедленно! Высыпать по первое число! А как же иначе? Вся рота хочет, чтоб из тебя человек вышел.

Парень слушал, улыбаясь, мечтательно разглядывая впереди высокие степы пылающего заката.

— Что тебе? Образование у тебя восемь классов — не то что мы, церковноприходские... Котелок у тебя на плечах варит, юная кровь играет так, что ну... Да при желании ты даже в офицеры можешь выйти!

Внимание Маковей поглотила дорога. Вся она двигалась, дрожала, бесконечно дымилась, словно горела. Закат полыхал все сильнее, полевые озера зарделись, как будто палились яркой кровью. Клубящаяся над дорогой пыль стала красно-бурой. Далеко на горизонте дорога изгибалась, исчезая где-то у самого солнца. Там, на небосклоне, силуэт колонны едва темнел, вытянувшись на пылающем фоне, как неподвижная полоса леса. Можно было только догадываться, что и там, вдали, как и здесь, все грохочет, движется вперед, все, как и здесь, затянута красно-бурым дымом, который медленными волнами ложится на окрестные словацкие поля.

Маковей мерил дорогу глазами, улыбался ей.

— А ведь и вправду, как встанет, так до пеба достанет! Это ты верно сказал, Блаженко!

Вдруг лошадь под Маковеем взвилась: кто-то сзади с размаху огрел ее плетью.

— Гони, не давай мочиться! — прозвучал знакомый голос.

Между всадниками как из-под земли вырос Хома Хаецкий. Горячий, весь запыленный, будто только что от молотилки. Вспотел, «най его маме», ватник во всю грудь распахнул. На погонах, крепко вшитых в плечи ватника, толстым слоем осела серая пыль. Едва заметно рдели под ней красные старшинские «молотки». Уже около месяца Хома старшинствует. Васю Багирова взяли в полк, к знамени. В горах Вертешхэдыгег погибло несколько знаменщиков, и Багиров в числе других ветеранов-сталинградцев заменил погибших. А в роте его заменил Хаецкий. Кому ж было запясть освободившуюся должность, как не старшему ездovому, как не герою Будапешта? Командир роты назначил, а замполит Воронцов, узнав об этом, благословил:

— Добро. Поздравляю вас, товарищ Хаецкий... Теперь вы развернетесь.

И теперь вот Хома как раз разворачивался. Пользуясь властью, уже сколотил для роты хозяйство большее, чем было раньше. Вышколенный Багировым, уверенно гнул свою старшинскую линию. Маковей покоя не давал. Глазастый, «най его маме», все видит, все примечает...

Вот и сейчас, поравнявшись конем с Маковеем, сразу же принялся распекать телефониста:

— Когда остановимся, Маковей, на привале, то мы сядем ужинать, а твоя ложка пусть немножко отдохнет. Первым делом сведешь коня в ветлазарет.

— Зачем?

— Он еще спрашивает — зачем... Засекся ж!

«И откуда ты это знаешь, чертов «най его маме»? Ведь конь даже не хромает!» — подумал Маковей и стал защищаться:

— Я промыл, забинтовал...

— Знаю, чем ты промыл... Мочою! А здесь нужен охтиол, понял? Пора уже тебе кое-что кумекать в медицине. Сделаешь, как сказано, и доложишь.

— Слушаюсь, — буркнул телефонист.

— А сейчас — гони!..

Некоторое время они ехали молча. Жеребчик Хома, песмотря на то что с него хлопьями падало мыло, то и дело прижимал уши и яростно, по-собачьи, щелкал зубами то на Маковейчикова коня, то на коня Блаженко.

Далеко впереди, за едва различимой головой колонны, садилось солнце. Огромные ребристые облака раскалились, встав вдоль горизонта, словно золотые горы. Протянулись одна за другой неподвижными светящимися крыжками. Одни совсем близко, другие за ними, иные еще дальше, так, как будто пошли куда-то на край света. А между этими чистыми золотыми хребтами в пылающем просторе купалось солнце. Затопило румянным сиянием все вокруг себя, охватило полнеба пылающими стожарами.

Роман закурил, взглянул на солнце, потом на товарищей. Хаецкий и Маковей уже, кажется, забыли о своем резком разговоре, ехали плечо к плечу, устремив взгляды на полыхавший закат.

Все трое притихли, будто заколдованные чарами этого ясного весеннего вечера.

— Заходит, — наконец произнес в раздумье Хома. — Где это оно заходит, Маковей, а?

— За Веной, может быть... Нет, Вена левее, и Братислава левее... За Прагой заходит, за золотой Прагой...

— Почему — золотой?

Телефонист задумался: в самом деле, почему?

— А почему — Злате Моравце? Народ так назвал: Злате Моравце, Злата Прага. Сегодня на станции, когда я с конем возился, мне два чеха помогали... «Торопитесь,

говорят, пап товарищ, вызволять нашу Злату Прагу... Там на вас вельми чекают...»¹

Грохот подвод, гул моторов, ржанье коней — все звучало теперь значительно громче, чем днем. Звонкие вечерние поля будто сами подхватывали и усиливали шум похода. Справа и слева по степи всюду двигались войска. Все словацкие дороги сегодня задымили на запад. Теперь и оттуда, с параллельных дорог, звонкий весенний вечер доносил до Маковей — через луга, через озера — музыку моторов, которая час тому назад еще не была слышна.

Парню припомнились осенние дожди да густые туманы где-то у Тисы... Долгие-предолгие ночи, топкие черные поля... Хриплые команды, глухо тонущие в седой мороси... Там даже звук собственного голоса, словно отяжелевшего от сырости, падал в пескольных шагах от тебя... А сейчас... Как хрустально-звонко вокруг! Весна... Маковсю кажется, если он сейчас запост, то услышат его за тридевять земель, аж на самом Днепре... По голосу узнают паренька девчата: наш Маковей! Где-то на Дунае поет, а в Орлике слышно...

Тем временем на западе солнце неутомимо возводило свои величественные сияющие чертоги, воздвигало из золотых туч города с башнями, соборами, кудрявыми садами. И все это светилось изнутри, разгораясь все сильнее.

— Вы видите: город в тучах! — взволнованно крикнул Маковей товарищам. — Смотрите, какой он золотой! Раскинулся в тучах дворцами, башнями, садами... А среди них — волны, волны, волны, как флаги. Плывут, переливаются, летят...

Зрелище захватило всех. Но в этих прозрачных сооружениях каждый видел свое. Хоме рисовался гигантский золотой трактор, вставший на дыбы над закатом. Роман же уверял, что то гиганты кузнецы стоят с молотами над огромной наковальней и куют. А Маковей настаивал на своем: это город.

— Ну как вы его не видите? Кто знает, может, это Прага! Может, она и в самом деле золотая?

В его широко открытых глазах горели радужные переливы далекого неба.

— Там где-то нас ждут!

¹ Там вас очень ждут (искаж. чешск.).

Солнце зашло, степные озера потускнели и стали темно-красными, словно запеклись. Седые волокна легкого, прозрачного тумана поплыли над ложинами, густо усыпанными холмиками кротовых подземных поселений. Сзади в колонне кто-то радостно звал товарищей посмотреть вверх: высоко над войсками летели на север журавли.

— Смотри, как дисциплинированно летят, — заметил, задрав голову, Хома. — Даже дистанцию соблюдают!

II

Старшинствовать Хаецкий стал в начале весны.

Полк тогда наступал в горах, вдоль северного берега Дуная. Безлюдный, угрюмый край... Голые вершины сопок, темные массивы лесов, ущелья, пропасти, размытые проливными дождями дороги, бешеные пенистые потоки, разбухавшие с каждым часом.

Противник откатывался через горы за Гроп. Рвал за собой мосты и мостики, забивал тропы и стежки завалами, минировал нависающие над дорогами скалы. Основную тяжесть наступления в эти дни выносили на себе саперы. Все подразделения помогали им. Чуть ли не каждый пехотинец шел вперед с кайлом или топором, как строитель. Приходилось ежесуточно форсировать по нескольку водных рубежей; возводя для артиллерии и тяжелых обозов свежие мосты в таких местах, где их никогда не было.

Дожди лили беспощадно. Гуляли в седых ущельях холодные ветры-бураны. Однако ранняя весна с каждым днем все явственнее напоминала о себе. Даже в непогоду сквозь тучи пробивалось столько света, что воздух казался не серым, как осенью, а почти белесым, искрящимся. И лица бойцов, блестящие, умытые дождями, все время были как бы слегка озарены невидимым солнцем.

В горах почти не встречались населенные пункты. Лишь изредка попадались убогие поселки венгерских и словацких лесорубов. Гвардейцы не останавливались в них ни почевать, ни переобуться или отдохнуть. Днем и ночью двигались вперед, унося в отяжелевших шинелях воду бесчисленных горных потоков, перейденных вброд.

Не хватало фуража для лошадей. Старшины, напрасно обскакав бесплодные окрестности, в конце концов давали лошадям, как и своим гвардейцам, порции размокших сухарей.

В это время Иван Антонович Кармазин получил распоряжение: откомандировать старшину Багирова в полк. На сей раз Антоныч не мог даже пожаловаться на то, что его грабят, что у него забирают лучших людей. Наоборот, Антоныч и вся рота провожали Васю с удовлетворением: он шел к знамени, ему оказана такая честь! Это была честь для всей минометной!.. Старшинские дела, по приказу Антоныча, принял Хаецкий. Вася передал ему свою полевую сумку с ротными списками, коня и толстую плетую пагайку.

— Гремела наша минометная и греметь будет! — на прощанье заверяли Васю товарищи. А он, собрав свое немудреное солдатское имущество, уместившееся в кармапах, и пожимая растроганному Хоме руку, весело завещал:

— Держи руль, друже, тверже, не отклоняйся от гвардейского курса!..

Легко Васе сказать: держи! А он, этот старшинский руль, оказался довольно-таки горячим. Поначалу чуть было руки не обжег, «най его маме»! До сих пор жила в памяти Хаецкого первая ночь его старшинства. Горькая и поучительная ночь... Хорошо запомнил ее и командир роты.

Батальон Чумаченко вынужден был тогда задержаться перед бурной горной рекой. При свете факелов, замерзая в ледяной воде, роты наводили переправу. Некоторым подразделениям, в том числе и минометчикам, комбат разрешил короткий отдых. Наконец-то можно отоспаться!

Расположились тут же возле реки, на камнях. Завернувшись с головой в палатки, бойцы падали там, где стояли, и мгновенно засыпали. Грудами мокрых тел сплелись под повозками, пригрелись под попонами, у теплых тел истощенных коней. А командир роты Антоныч еще долго сповал по своему табору, проверяя посты. За деревьями по-чужому шумела река, сутились люди с факелами в руках, стучали топоры. Время от времени в черной глубине противоположного берега взвивались ракеты, вспыхивала короткая перестрелка — то батальонные автоматчики, форсировав речку «на котелках», вели где-то разведку боем. Иван Антонович уже промок до последней питки, и казалось, что теперь ему безразлично, где свалиться, лишь бы немного поспать. Но он все еще бродил, не решаясь улечься прямо в слякоть, как другие. А дождь сплошной массой воды обрушивался на окружающие леса, на темные скалы и высоты.

Где-то в темноте среди повозок Хаецкий громко отчитывал непослушных лошадей.

— Я выбью из тебя эти предрассудки! — кричал Хома коню. — Будешь у меня шелковый!

«И чего он до сих пор не уговорится?» — подумал командир роты и, осторожно переступая через клубки сонных мокрых тел, направился к подоляку. Хома, разумеется, еще издали узнал Антоныча по характерному чавканью сапог и по тому глухому побряхтыванью, с каким комроты медленно спускался с бугра, однако счел нужным остановить начальство грозным окликом:

— Кто идет?

Что-то проворчав в ответ, Иван Антонович подошел к подоляку вплотную.

— Почему до сих пор не спите, Хаецкий?

— На посту, товарищ гвардии старший лейтенант.

— На каком посту? — удивился Иван Антонович. — Кто вас назначил?

— Видите ли... я сам себя назначил.

Старшине, конечно, не полагалось стоять на посту, и Хома это прекрасно знал. В роте существовал порядок, при котором на огневой несли охрану назначаемые офицерами бойцы расчетов, у повозок же старшина должен был выставить отдельный «автономный» пост из числа ездовых. Охраняя повозки, они одновременно должны были ухаживать за лошадьми. Сейчас на этом посту Антоныч неожиданно застал своего выдвиженца.

— Вам права старшины известны?

Хома насупился в темноте, как сыч.

— Известны.

— Почему же вы в таком случае своих подчиненных уложили спать, а сами стоите над ними в роли пьянки?

Некоторое время Хаецкий молчал. Потом, собравшись с духом, затянул нараспев своим полнотонным подольским тенорком:

— Товарищ гвардии старший лейтенант! — Антоныч уже давно заметил, что Хома начинает таким манером напевать всякий раз, когда у него больно и горько на душе. — Все мы одинаково не спали: и я и они. Да разве ж мне ноги покорчит — выстоять какой-то там час? А не стань — сразу начнутся разговоры!

— Спокойнее, Хаецкий... Какие разговоры?

— Известно какие... Ишь, скажут, как начальником стал, так и взялся из нас веревки вить. Блаженки домой

папишут, все отпрапортуют в артель... Накпнулся, скажут, Хома собакой на земляков...

Иван Антонович слушал жалобы Хома и диву давался: кто это говорит? Тот ли Хома, который, будучи рядовым, ни перед кем не поступался своими правами, который не уступил бы самому генералу, если бы чувствовал свою правоту? А теперь, став начальником, вдруг запел такое... Он будто стыдился своего нового звания.

— Та лучше я самосильно все лямки буду тянуть, чем упрёки выслушивать!

— Эге-ге, — сказал Иван Антонович. — Вижу, вы, Хаеткий, плохо усвоили свои командирские функции. То, что вы солдата жалеете, это хорошо. Командир — отец своим бойцам и должен их жалеть. Но то, что вы их работу хотите перевалить на свои плечи, — это уже плохо: как бы ни были крепки плечи одного человека, они не выдержат того, что выдержат плечи коллектива. Что же в конце концов получится? Сегодня да завтра... Отстояв часы за рядового, вы потом свалитесь с ног, зададите хера. А кто будет за вас посты проверять? Кто будет выполнять ваши прямые старшинские обязанности?

— Меня хватит на все.

— Не хватит, Хаеткий, если будете стоять из ночи в ночь... Свалитесь непременно. Днем начнете дремать, на ходу. А я не дам. Я буду гопять беспощадно. И буду требовать вашей прямой работы не с того ездового, вместо которого вы сейчас с лошадьми возитесь, а персонально с вас. И не спрошу, спали вы или нет. И даже когда с ног свалитесь, то не пожалею, а, наоборот, строго накажу. Если солдат валится с ног по своей собственной неосмотрительности, его за это надо строго наказывать. Плохо, пикуда не годится, Хаеткий! Подумайте: старшина роты, — Иван Антонович многозначительно поднял палец, — ездовых охрапает! Лошадей за них кормят! А они спят себе сном праведников... Ну, как это пазывается, Хаеткий? Отвечайте!

— Панибратство, — подумав, говорит Хома. — Либерализм.

— Вот-вот... Именно так. А где панибратство, где либерализм, там уже не спрашивай железной дисциплины. Там, смотришь, старшине и на голову сядут. А поэтому, — Кармазин перешел на грозный тон, — отныне приказываю: вам, как старшине, на пост не становиться. Копя под седло возьмите самого лучшего. Артиста возьмите.

Чтоб с первого взгляда было видно: ага, это старшина едет! Образец для всех! И никому никаких поблажек. Все, что подчиненным положено, — дайте. Все, что с них полагается, возьмите. Имейте в виду, я, в свою очередь, буду изыскивать с вас безжалостно по всем пунктам. Понятно?

— По всем пунктам.

— Мы на войне, товарищ Хаецкий, — уже мягче говорил Иван Антонович. — И вы не обращайтесь внимания, кто да что о вас скажет или подумает. Ибо вы не мне угождаете, не Ивану, не Степану, а выполняете волю родины. Все отбросьте, все забудьте, кроме нее, кроме долга. Действуйте неуклонно, честно, справедливо. И тогда, каким бы вы строгим и беспощадным ни были, бойцы никогда не перестанут вас уважать и любить.

Иван Антонович, подойдя к повозке, склонился на ящик мин, задумался. Хома тем временем, хлюпая по лужам, добрался до крайней повозки, разыскал среди ездо-вых своего земляка и приятеля Каленика.

— Каленик, вставай!

Ездовой что-то буркнул в ответ, но не проснулся. Хома нагнулся, затряс его за плечо:

— Вставай! Кому сказано!

С большим трудом очумелый Каленик поднялся, сел.

— Что такое?

— На пост.

— На пост? — Каленик протяжно зевнул. — А который час? Разве ты свое уже отстоял?

— Уже отстоял.

— Что-то очень скоро...

— Положено столько.

— А Гмыря где? Нехай сейчас он станет, а я пойду в третью.

— Нет, ты станешь сейчас.

— Та почему ж?

— А потому, — рассвирепел Хома, — что встань, когда с тобой командир разговаривает!

Приятель вскочил как ошпаренный.

Когда Хаецкий вернулся к Антонычу, тот все еще стоял, задумавшись, у повозки. Нахлобученная плащ-палатка торчала у него на голове, дождь барабанил по ней. «Почему ж он сам до сих пор не ложится? — подумал Хома о командире роты. — Весь день наравне с нами над-рывал жилы и ночью не приляжет...»

— Товарищ гвардии старший лейтенант!..

Антоныч не откликнулся. Склонившись на ящики, он уже крепко спал.

«Стоя, по-лошадиному спит, — дружелюбно ухмылялся Хома, остановившись за спиной Антоныча, чтобы подхватить его, если тот будет падать. — Стой, Антоныч, стой, держись на своих двоих... Должен ведь... не то свалишься тут, возле воза, по собственной вине, так еще и кару примешь...»

Утром, прежде чем двинуться на переправу, Хасцкий провел ревизию на повозках и доложил командиру роты о паличии мин. На каждой повозке было по боекомплекту.

— Больше не поднимете? — поинтересовался Кармазин.

— Больше? — замылся Хома. — Чего ж... Можно попробовать...

Откровенно говоря, Хоме и самому хотелось догрузить подводы хотя бы сотней мин, воспользовавшись тем, что машины полкового боепитания стояли сейчас под боком. Все может случиться: машины могут отстать, и еще не известно, какие горы там, за переправой. Хорошо, если дороги, а если бездорожье, обрывы, овраги? Зарез! Тогда лишняя сотня мин будет паходкой. Хома уже давно все это обдумал, прикинул. Не случайно он чуть свет взялся за ревизию. Но дело в том, что на повозках лежали не только боеприпасы, — много места занимало личное имущество бойцов и офицеров роты, в том числе вещи самого Ивана Антоповича. Как быть? В какой форме доложить Антонычу о своем решительном намерении? Но старший лейтенант, видимо, догадался сам.

— Старшина...

— Я!

— Немедленно очистить повозки от посторонних вещей. Выбросить все, что не может стрелять или взрываться. Вместо этого догрузиться боеприпасами.

— Слушаюсь! Разрешите начать?

— Начинай...

Через секунду Хасцкий был уже на повозке. Бойцы, предчувствуя расправу, обступили его со всех сторон. Случилось так, что первым попал в руки Хасцкого именно ранец командира роты, обшитый снаружи собачьим мехом. Ординарец Антоныча почтительно смотрел из толпы на этот мех.

— Чье? — глядя в упор на Антоныча, громко спросил Хома, хотя прекрасно знал, чьи это вещи.

— Старшего лейтенанта, — поспешил ответить ординарец.

— Принимай! — крикнул Хома ординарцу и с размаху швырнул ранец к его ногам.

«Пропали авторучки, — покорно подумал Антоныч, молча наблюдая эту сцену. Все знали, что в его ранце, кроме белья и чистых тетрадей, приготовленных заранее для родной школы, хранилась целая коллекция авторучек, которые бойцы дарили Антонычу после каждого боя. — Теперь каюк ручкам... Наверно, все изломались...»

— Ну что вы ему на это скажете? Ведь ничего и не скажете, — смеялся Черныш в глаза Антопычу.

— Смейся над чужим горем! Рад, что у тебя ничего нет, кроме полевой сумки.

А Хома тем временем ходил по возам, напрягаясь, воруя тяжелые ящики, отчитывая ездовых за либерализм, за то, что принимают на хранение всякий хлам.

— Чье одеяло?

Одеяло слетело с повозки.

— Чья торба?

Братья Блаженко дружно встали перед Хомой.

— То наша, — заявил Роман. — Кидай сюда.

Но Хома, прежде чем сбросить мешок, из любопытства заглянул в него.

— О человек! — загремел он, обращаясь к Роману. — Сыромятины в мешок напихал!.. Тыфу!.. А-а-а, най его маме! Стыдился бы с таким барахлом на переправу въезжать! Гляньте, гвардейцы, на трофей нашего Романа: полоп мешок сырца! Чи не на постромки для своей тещи заготовил?

— Не насмехайся, Хома, — мрачно вмешался Денис. — То на гужи для хомутов. Писали ведь тебе, что сбруя в артели никудышная, все немец пограбил, веревками копей запрягают...

— Так что же ты, Денис, на плечах это в артель понесешь?

— И понесу!

— Ну неси! Бог на помощь!..

Хома кипул братьям их мешок и взялся за другой.

— А это чей?

— То мое, — подбежал Маковей.

— Что же ты сюда насовал, Тимофееч? Как будто костлявого фрица заткнул.

— То запасное седло... Праздничное! Не выбрасывай, Хома!

В другой раз Хаеткий, безусловно, уважил бы просьбу Маковей. Как и вся рота, Хома опекал телефониста и, где только мог, протезировал ему. Но сейчас Хома был беспощаден.

— Не подбивай меня, Маковей, на грех. Что не положено, то не положено...

Раскидывая ранцы и вещевые мешки, Хома добрался наконец и до своего собственного имущества. Стоя на поезде, он взял свой мешок за лямки, вытряхнул содержимое на ящики и стал внимательно перебирать. Смена белья, бритва и помазок, пара голенищ, отрезанных от сношенных домашних сапог, полотняный домотканый рушник... Петяжелый скарб у Хома, однако и ему нет места в армейской повозке. В походе солдату даже иголка тяжела. Взял вышитый рушник, развернул на руках, и ветвистая калина улыбулась бойцам, напоминая далекие родные края, защелкала расшитыми соловейками.

— Патку мий, патку! Своими руками Явдошка эти узоры выводила! Долго берег, а нынче разлучаться должен... Не осуди, жинка, не осуди, любка! Пускаю твоих вышитых соловейков на высокие горы! Летите, коли па то пошло!..

— Не выкидай, Хома, — запротестовали товарищи. — Голенища брось, а рушник оставь!

Хаеткий раздумывал мгновение, видимо колеблясь, потом аккуратно сложил свою красочную памятку, сунул ее в карман.

— Немного весит. Может, даже легче с ним будет в походе...

...Все это происходило ранней весной в хмурых придумпайских горах. С тех пор прошло около месяца. Хома освоился, привык к своим новым обязанностям. В горных переходах он было заметно похудел, а теперь опять вошел в норму, даже шире раздался в плечах, загорелая тугая шея распирала воротник.

Горы остались далеко позади, серый камень сменился тучным словацким черноземом. Не провесень, а уже полная весна дышала вокруг.

Едучи в колонне к далеким стожарам гаснущего заката, Хаеткий чутко ловил знакомые с детства запахи весенних, распаренных за день полей. Пахло родным По-

долям, пресными земляными соками, хмельной силой будущих урожаев.

— Как все здесь Украину напоминает, братцы! — возбужденно озирался Хома по сторонам. — Может, мы уже землю вокруг обогнули и опять домой возвращаемся? Ты слышишь, Роман? Ты слышишь, Маковей?

И земля и села пошли знакомые, будто виденные уже когда-то давно. Напевная, понятная словацкая речь радостно звенела повсюду...

III

— Добры ранок, пане вояку!

— Здорова будь, сестра!

Где-то поблизости бойцы разговаривали со словачками. Сагайда сквозь теплую дремоту слышит их громкие мелодичные голоса, думая, что это ему еще снится. Разве уже утро? Он медленно раскрыл глаза и был радостно поражен: прямо над ним, вся в цвету, раскинула ветви молодая яблонька. словно пришла откуда-то ночью и встала у его изголовья. И все деревья вокруг, казавшиеся ночью черными и колючими, будто сплетенные из колючей проволоки, стояли сейчас бело-розовые, мягкие, праздничные. Золотые пчелы гудели, копошились в лепестках, то скрываясь в чашечках, то вновь появляясь, еще гуще покрытые золотой пылью. Теплый спокойный воздух, пахнущий пронизанный солнцем, был чист и ясен.

Сагайда встал и потянулся, ощущая в отдохнувшем теле крепкую силу и желание действия. Совсем близко на западе высились горы Малые Карпаты, протягиваясь могучей грядой с севера страны до самой Братиславы. Ночью, когда полк подходил к ним, горы казались мрачными, напоминая зубчатые стены средневековых крепостей. К утру они будто придвинулись ближе, заблестели камнями на солнце, весело зазеленели травой на склонах. Где-то в горных глубинах глухо гремел бой, а здесь, вокруг Сагайды, было тихо и спокойно. Весь полк Самиева, которому после неистового марша выпала наконец короткая передышка, сейчас блаженствовал. Сегодня он должен был получить пополнение. Штаб полка остановился ночью в словацком селе Гринава, раскинувшись вдоль Братиславского шоссе, а боевые подразделения, в том числе и минометчики Ивана Автоновича, расположились

в садах предгорья, нависавших над селом огромным цветущим амфитеатром.

Сагайда, выпрямившись среди низких деревьев, некоторое время стоял, ослепленный сверканьем утренней природы. Он по-детски протирал кулаком глаза, стараясь освоиться в этой непривычной весенней стороне. Огромными сверкающими шарами раскатились по всему склону цветущие черешни. Внизу, словно приплыв из далеких зеленых равнин, пришвартовалась к подножью гор словацкая Гринава. Вытянувшись вдоль шоссе, она едва пробивается черепичными крышами сквозь густые сады. Раскинула над собой белые снасти ветвей, распустила чистые паруса цветущих садов и будто легко повисла на них, готовая уплыть вдаль при малейшем дуновении ветра... Куда поплывешь ты, Гринава?..

На равнинах за селом разлеглись исполосованные межами поля. Едва виднеются на дорогах ползающие обозы, их то и дело обгоняют машины, ослепительно сверкая на поворотах стеклами кабин. На далеком горизонте неумимо струится прозрачное море, словно волны светлых атакующих войск. «Вот это весна, я понимаю!» — с наслаждением думал Сагайда.

Роту он догнал несколько недель назад на Гроне. Тогда весна еще только трубила падали, высылая вперед своих дерзких разведчиков — гремучие буйные ручьи на южных склонах гор. А вот сейчас весна развернулась во всю ширь, двинув навстречу наступающим полкам свои прекрасные солнечные силы, и полки соединились с ними, словно две братские армии.

Гринава гудела вблизи, как улей, впервые выставленный после долгой зимы на солнце. Бойцы и словаки расхаживали группами по улицам села, толпились на площади. Несмотря на ранний час, то в одном, то в другом конце села взлетала песня.

У минометов несколько бойцов чистили оружие, среди них гоголем похаживал свежевыбритый Денис Блаженко, заглядывая в стволы и придирчиво доискиваясь пятен.

— Где парод? — громко обратился к нему Сагайда.

— Все там, — махнул Денис рукой в сторону села. — Митингуют со словаками и словачками. Как раз их партизаны из гор выходят...

— И комроты там?

— Командир роты в полку. Пошли с гвардии лейтенантом отбирать пополнение.

- Пришло?
- Как будто.

Сагайда сбросил китель, снял рубашку и стал мыться. Цепис прямо из ведра щедро лил ему на спину прохладную воду, окатывая его до пояса, а он, с наслаждением выгибаясь, фыркал, гоготал и плескался во все стороны.

- Мне комроты пичего не передавал?

— Они вас вдвоем трясли за ноги, никак не могли добудиться. Потом бросили, засмеялись: пускай, говорят, поспит, для эксперимента, сколько влезет. Говорили, что вы три дня можете спать без просыпу.

— Вот еще мне экспериментаторы! — засмеялся Сагайда и, сбив набекрень свою кубанку, уселся возле термоса, в котором ему был оставлен завтрак. — Садись и ты, Денис, рубанем. Хватит на двоих.

- Нет, я уже...

- Как хочешь... А я повеселюсь.

После завтрака Сагайда тоже отправился в село. Он шел напрямик, то скрываясь под белыми кропами садов, то снова выходя на залптые солнцем, не распутившиеся еще виноградники. Весело приветствовал знакомых офицеров, которые, разувшись, ходили по террасам предгорья и, перекидываясь шутками, впервые пробовали голыми подошвами теплую щекочующую землю. Два незнакомых Сагайде бойца, сидя под деревом, мирно беседовали, потягивая из котелка свежее, покрытое высокой пеной молоко.

— Вот ты говоришь, Мартынов, ненависть... А по-моему, не только ненависть, а прежде всего любовь двигает наши армии, — говорил один, в погопах сержанта. — В первую очередь любви! Любовь ко всем угнетенным, ко всем трудящимся людям на земле. Ею мы сильны, Мартынов, вот в чем суть...

«Философы», — дружелюбно подумал Сагайда, проходя незамеченным мимо бойцов и, вопреки своей привычке, не поднимая их окриком, чтобы отдали ему припекствия. «Любовь двигает армии»... гм... загнул», — улыбнулся Сагайда, припоминая, что однажды уже слышал нечто подобное от Брянского. Тогда он лишь посмеялся над словами друга и даже назвал его Спинозой. А сегодня эти слова как-то легко и свободно вошли Сагайде в сердце.

Начинались окраинные дворы Гринавы. Тут было совсем тихо и ничто не напоминало о войне. Кухдахтали

куры, собираясь к гнездам. В парипках поднималась расада. Лишь за спиной, где-то далеко, зеленые громады гор приглушенно гремели. Неужели там еще идет бой? Неужели он, Сагайда, только на время вырвался из мрачного зноя войны и очутился вдали от грохота, вдали от дыма и крови, среди этих садов, среди цветенья и солнца, словно выброшенный во сне на какой-то солнечный остров?

— Младый пане!

От грядки через двор семенит к нему старенькая, сгорбленная словачка.

— Просим вас, не обходите мой дом, загляните хоть на одну минутку!..

Она стоит перед Сагайдой маленькая, словно куропатка на меже, жалобно и неуверенно улыбаясь.

— Богатые люди днесь¹ открыли пивници, угощают драгих высвободителей. — Губы у бабуси обиженно задержались. — А я, убогая словачка, ниц не мам, герман вшецко повыел, повыпил... Але хце се ми тако² принять гостя, русского вояка, посадить его на красном месце... Не откажите... Зайдите-но!..

Сагайда взволнованно засопел:

— Отчего ж... Зайду... С радостью зайду.

Бабуся торопливо пошла впереди него к дому, то и дело оглядываясь, словно хотела убедиться, действительно ли офицер идет за ней. Скрипнула дверь, распахиваясь настежь, запела на весь двор:

— Про-о-сим!

Хата была как венок. Хотя бедность выглядывала из всех углов, впечатление сглаживалось заботливой, какой-то целомудренной чистотой, которая чувствовалась во всем. Стены разрисованы ветвями винограда, на окнах цветы. От порога к столу протянут пестрый домотканый коврик, очевидно только сегодня положенный. Часть комнаты отгорожена простой переносной ширмой. Бабуся, поднявшись на цыпочки, заглянула за ширму, улыбнулась и отставила ее в сторону.

На низкой деревянной кровати, свернувшись клубочком, спала девушка, тяжело дыша и время от времени вздрагивая во сне всем телом. Белокурая, совсем юная, она была одета так, словно только что вернулась из даль-

¹ Сегодня (словацк.).

² Хочется мне также (словацк.).

него пути: в сапогах, в теплом платке, подпоясана ремнем. Светлые вьющиеся волосы рассыпались по ее плечам шелковистыми волнами.

— Видите, опять оделась, — говорила бабуся, поглаживая белый высокий лоб девушки. — Так всегда, стоит мне отлучиться на минутку, вернусь, а она уже одета, как бы мает сейчас куда-то идти. Далеко ли ты собралась, голубка? И ночью так: проснется, схватится и — все на себя, все па себя. Оденется, как будто до войска, потом упадет и спит... Езус Мария, как у нее лоб горит!..

— Давно заболела? — спросил Сагайда, стесняясь подойти к кровати.

— О, то было еще зимою, — параспев, с гордостью говорила бабуся. — Видите, ноги и по сне у нее все дергаются, как будто сами куда-то идут, идут, идут... Юличка моя все Татры прошла с нашими партизанами. А как застудилась в горах, то ее лечили добрые люди в Братиславе. Потом они тайно привезли Юличку сюда. Теперь стала вот поправляться... Но метели да бураны до сих пор мерещатся...

Лицо девушки пылало. Раскрасневшееся, напряженное, оно часто меняло свое выражение. Тонкие изогнутые брови то мрачно хмурились, то ласково разбегались, придавая всему лицу выражение спокойствия, удовлетворения и сердечности.

Старушка вытерла и без того чистый стул и пододвинула его Сагайде.

— Юличка так хотела вас видеть, так хотела, — говорила она таким тоном, словно Юличка лично знала Сагайду и именно его хотела видеть. — «Покличьте та покличьте, мамця, русского вояка, пусть увижу...»

У самой кровати на тумбочке стояла корзинка со свежими синими цветами, похожими на подснежники. Сагайда остановил на них взгляд и задумался. Собственное детство мелькнуло крылатым видением, протопало босыми ножками по загородным рощам среди синих подснежников... Старушка заметила этот взгляд, взяла в руки корзину, как вазу.

— Маєте на Руському¹ эти цветы? Как то зовется по-русски?

— Подснежники.

¹ В России (словацк.).

— Подснежники? По-словацки — небовый ключ. Это есть самый ранний, первый цветок нашей весны. Юличка кохается в тотех цветах... «Мама, ходи-но до леса, достаь мне небовый ключ». — «О доня, там еще снега лежат». — «Мама-люба, уже солнце за окном высокое, уже пророс небовый ключ... Принеси, пускай здоровая буду». Теперь каждый день ей ношу, — тихо смеется старушка, — хай видит, хай радуется, хай здоровьем красна будет...

Неожиданно девушка, вскинувшись, начинает громко говорить во сне.

— Виола, Виола! — настойчиво зовет она. — Где ты, я не вижу тебя, Виола!.. О, какая метель, какой ветер студеный!..

Мать смотрит на Юличку спокойно, она, видимо, уже привыкла к этому.

— Виола — это ее посестра из Банской Быстрицы, — объясняет старуха Сагайде, когда девушка замолкает. — Они вместе были в Высоких Татрах, в одном отряде у Яна Пепы. Вы слышали про Яна Пепу?

— Нет, не слышал, — откровенно признался Сагайда, немного смущаясь оттого, что не слышал про этого Пепу.

— О, та он же был знатным коммунистом, народным посланцем республики. Оккупанты давали сто тысяч крон за голову Пепы!.. Его имя гремело в наших горах, как весенний гром!.. А про пана Степу вы слышали?

— Про какого Степу?

— Про Степу из Русска... Из России. О, его, кажется, вся Словакия знает!.. То был славный парень... Как вырвался из немецкой концентрации та появился прошлый год в Крушногорье, так все гардисты уже не мали себе спокойного сна... Пана Степу наши партизаны признали между собой старшим, хотя летами он был, говорят, совсем еще юнак. Але ж запомнился его отряд немцам и гардистам!.. Мосты летели на воздух, машины вместе с оккупантами гремели в пропасти... А неуловимый был, как молния в горах!..

— О, кабы я могла, кабы я была мощна¹, — снова бредила Юличка. И вдруг она порывисто поднялась, села, спустив ноги с кровати. Мать бросилась к ней. Девушка смотрела в стену неподвижным, бессознательным взглядом.

¹ Сильная (словацк.).

— Юличка! — Мать обняла ее за плечи и прижала к себе. — Ты хотела позвать гостя, кукай-но¹. — Она указала дочери на Сагайду, сидевшего у окна. — Ты видишь, кто зашел к нам? — Она сказала это таким тоном, словно Сагайда приходился им близким родственником, которого давно ждали. — Ты не узнаешь его? Да это ж русский!..

Юличка несколько мгновений молча смотрела на погоны и ордена Сагайды. Потом вдруг порывисто встала, вся озарилась улыбкой:

— Братку!..

Она держалась рукой за плечо матери, боясь упасть. Сагайда поднялся и, густо краснея, пошел ей навстречу.

— Я позову врача...

— Не падо лекаря, братку... Найлучшие лекарства уже маю! Достатечне маю! Открывайте, мама, все окна в сад... О, какая там весна сегодня, какое солнце ласковое...

IV

Хому в этот день видели повсюду. То он стоял в дверях паровой мельницы и громко витийствовал перед словаками, советуя им «обобществлять предприятия для народа»; то сидел, распустив усы, за столом в садике католического священника и поносил перед ним папу римского; то, наконец, ходил по селу с захмелевшими хлебоборбами и угрожал поделить чьи-то земли.

В конце концов слух об этом дошел до майора Воронцова, и тот приказал немедленно вызвать Хасецкого к нему. «Дай ему волю, так он завтра колхоз организует, — думал Воронцов о подолянине, — а ты в дивизии потом за него пилюли глотай...»

Вскоре Хома явился на вызов. Он прибыл не один, а в сопровождении целой толпы местных крестьян, с которыми, видимо, успел уже где-то угоститься сливовицей. Словаки запросто звали его по имени, как своего односельчанина, и, размахивая руками, клялись, что избрали бы Хому своим приматором, если б он только остался здесь.

— Приматор — это что? Председатель сельсовета? — спрашивал Хома и уверял своих новых друзей, что его, мол, на такой пост и дома выберут.

¹ Смотри-ка (словацк.).

Это были в большинстве пожилые, степенные крестьяне в домотканых одеждах, с трубками в зубах. Им не нужен был переводчик: словацкий язык удивительно близок певучему подольскому диалекту Хома.

Шагая по улице, подолянин без удержу сыпал шутками да прибаутками, а словаки, весело толпясь вокруг, на ходу заглядывали ему в рот, ловили каждое сказанное им слово.

— Если мой товарищ майор будет меня слишком уж распекать, так вы поддержите, — учил Хома своих новых приятелей. — Мою руку держите... Будьте живыми свидетелями, говорите, что, мол, Хома нас ничем не обидел...

Возле двора, где расположилась политчасть, Хасецкий столкнулся с Воронцовым. Майор вышел из ворот, с ним было несколько вооруженных юношей в коротких пиджаках и в гетрах, с партизанскими ленточками на шапках. Юноши оживленно рассказывали Воронцову о «Степе из Русска».

Увидев Хасецкого, майор остановился.

— Рассказывайте, — строго обратился он к минометчику, — чью там землю вы собрались делить? Может быть, у вас тут собственные поля? И кто вас вообще уполномочил на такие вещи?

Хома, вытянувшись, некоторое время ел майора глазами, стараясь угадать настроение начальства.

— Совесть меня уполномочила, товарищ гвардии майор! — наконец уверенно выпалил он. — Речь шла о земле тех предателей, что с немцами поудирали.

— То гардисты! Тисовцы! Полицианты! — дружно загудели словаки. — Бежали б они к своей могиле!

— Не будет им нашей земли!

— Пусть им Гитлер даст!..

Хома, единодушно поддерживаемый хором голосов, сразу приободрился и, видимо, не чувствуя за собой никакого греха, смело продолжал:

— Зачем бы я ихнюю землю делил? Разве вы, братья словаки, — обратился он к своим приятелям, — сами не способны управиться? Разве вы позволите врагам народа вернуться из-под немца и снова осесть на этих полях?

— Не позволим, пане Хома! — возбужденно подтвердили словаки.

— Я, товарищ гвардии майор, только советовал им, как лучше...

— Что ж именно вы советовали?

— А мой совет был такой: обработанные и засеянные поля предателей распределить между партизанскими вдовами и матерями. Здесь есть даже такие семьи, что сыны их против фашистов воюют... А незасеянные поля нарезать более крепким хозяйствам, которые собственное тягло имеют... А чтоб не было никаких нареканий и перегибов, надо выбрать такую комиссию, как наши комбеды были!

«Что ты ему возразишь? — думал, улыбаясь в душе, Воронцов. — Неплохо рассудил, черт возьми!»

— Все эти вопросы, Хасецкий, будут разрешены органами новой гражданской власти. Я уверен, что здесь обойдется без вашего вмешательства. Товарищи словаки сами управятся с такими делами. Как вы скажете, товарищи? — приветливо обратился Воронцов к свидетелям Хома. — Управитесь?

— Управимся, товарищ майор! — энергично закивали усачи.

— Вот видите, Хома, — улыбнулся Воронцов, выходит, что ваше вмешательство непродуктивно и даже излишне.

— Товарищ гвардии майор! — почти с дружеской сердечностью воскликнул Хома, уловив знакомые веселые искры в глазах майора. — Да разве я очень вмешиваюсь? И могу ли я во все вмешиваться! Но если меня люди со всех сторон дергают: расскажи, помоги, посоветуй, — должен же я посоветовать! А как же! «Ты, говорят, Хома, ведь академию социализма прошел, а мы только за парту садимся. У тебя вот какая практика за плечами, а мы еще только по первой борозде проходим». Так должен же я людям помочь, свой опыт передать!..

Воронцов едва сдерживал улыбку, глядя на распалившегося Хому. Вспомнилось майору, как в прошлом году в Альпах товарищи тянули Хасецкого канатом на отвесную скалу. А сейчас «патку мий, патку» уже сам вытягивает других.

— Хорошо. Только это не все...

«Теперь за папу римского начнется», — решил Хома, заметив, что майор снова нахмурился. Хасецкий не сомневался в том, что вся эта волокита началась из-за попа, с которым он сегодня выпил чарку, а после жестоко поспорил, — они не сошлись во взглядах на папу римского. Надо было, пожалуй, совсем не трогать его, этого кляузного попа. Ткнути бы ему фигу при встрече, как мать

учила когда-то, и пойти себе прочь. Может, это и пред-
рассудок, но помогает наверняка. Чуть ли не всем чер-
норясникам Европы Хома уже понатыкал кукишей, что-
бы никакой беды не случилось, а этого пощадил. И вот,
пожалуйста: заработал неприятность. Конечно, не кто
иной, как поп, пожаловался замполиту. Наверно, расска-
зал, какие угрозы посылал Хома папе римскому, сидя
за поповским столом... Сейчас начнется, держись,
Хома!..

Однако майора интересовало совсем другое.

— Докладывайте, как вы там на мельнице распоря-
жались.

— Должен был, товарищ гвардии майор! — честно до-
кладывал Хома, обрадовавшись, что самая главная, по
его мнению, опасность миновала. — Должен был! Хозяин
той мельницы в Австрию пятками засверкал, а у людей
мука кончилась. Как быть? Выходит, надо обобществлять
предприятие... Я им прямо говорю: обобществляйте! На-
бейте жернова по-повому и пускайте машину! А то как
же? Правдивое мое слово, Юраш? — апеллирует Хома
к одному из своих явных приверженцев, стоящему ближе
других.

— О Хома! — с удовлетворением откликнулся Юраш. —
Обобществим для народа, най его маме!

Воропцов переглянулся с юношами-партизанами, ко-
торые весело следили за происходящим, и все засмеял-
ись.

А неугомонный Хома, разойдясь, уже допрашивал
другого:

— Штефан, а твое мнение?

— То так должно быть! — воскликнул Штефан, при-
земистый, воинственный, видимо, готовый хоть сейчас
взяться за мельницу богача. — То буде демократическа
справа!

— Франдишек! А ты почему молчишь? Ты — за?

— Айно¹, — решительно топнул босой потрескав-
шейся ногой Франдишек. — Айно!

— Айно! — подхватили в один голос остальные кре-
стьяне.

— Слышите, все говорят: файно! — резюмировал
Хома. — Народ хочет! А если народ чего-нибудь дружно
захочет, то уже так и будет, клянусь своими детьми!

¹ Да (словацк.).

Воронцов вскоре отпустил подоляпина, не наложив на него никакого взыскания. Однако серьезно предупредил, чтобы в дальнейшем Хома не брался распределять землю, которая ему не принадлежит.

Хома заверил, что — най его маме! — линию не перенет.

А часом позже он уже хозяйничал в роте. У него и тут была уйма дел.

Офицеры только что привели пескольных бойцов молодого пополнения, и Хаецкий, осуществляя свои старшинские права, должен был выстроить их и проинструктировать. Иван Антонович, лейтенант Черпыш и все расчеты, посмеиваясь, наблюдали, как Хома приструнивал новичков. «Най его маме», он знал, с чего начать! Первым долгом важно обошел шеренгу, прощупал каждого с ног до головы, затем, не моргнув бровью, стал экзаменовать новоприбывших: твердо ли запомнили номера своих автоматов и карабинов? Потом просовывал свою руку за ремень каждого, определяя, туго ли затянуты «орлы». Видно, Хома остался доволен.

— То, что номер карабинки заучил, — это раз хорошо. То, что погоны на тебе сидят как влитые, — это два хорошо. А то, что вид имеешь молодецкий, — это три хорошо. Таким будь! — восклицал Хома. — Должны и впрямь внимательно за собой следить, бо у меня на тятляп не проживешь. За первую пуговицу даю замечание, за другую — уже взыскание пакладываю. Звезды на пилотках чтоб сияли у вас на две версты вперед! Понятно? Иначе я не признаю. Ведь ты не какой-нибудь там айпцвай, ты — всликий человек! На тебя весь мир смотрит, следит, как ты сел, как встал, как двинулся, как пошел!.. Все это вы должны себе раз и навсегда зарубить на носу и держать голову высоко. В нашей минометной нема таких, что уши по земле волочат. У нас такой народ, что сам на чужие уши наступает! Всем понятно?

— Понятно!

— Не слышу!

— Понятно!

— Разойдисы!..

Новички рассыпались во все стороны. Однако Хоме показалось, что они разбежались недостаточно быстро.

— Эге, разве ж так гвардейцы расходятся? Гвардейцы разлетаются во все стороны, как пружины. Становись!

Новички снова выстроились.

— Разойдись!

— Становись!

— Разойдись!

— Становись!

Уже пот ручьями катился по раскрасневшимся лицам новичков. Наконец Хома сжалился:

— Добре. Вот так чтобы всегда. А сейчас пойдете со мной на склад. Я получу обмундирование, а вы принесете. Потому как старшине носить на плечах тюки не положено.

Весть о летнем обмундировании вызвала в роте всеобщий восторг.

V

«Что, собственно, произошло? — думал Сагайда, шагая по улице Гринавы. — Почему тебе таким особенным, значительным кажется этот сегодняшний разговор в словацкой хате? Ну, пригласили тебя, ну, обласкали... В конце концов самая обычная вещь... Но почему ж ты вышел оттуда таким взволнованным, смятенным? Каким зельем тебя напоили в той убогой светлице, разрисованной до самого потолка буйным виноградом? Идешь — и земли не чуешь под собой... Идешь — и звенит все время у тебя в ушах нежное слово: «Братку!»

Словно разбогатец неожиданно, словно впервые со всей полнотой ощутил свою большую солдатскую ценность...

Откуда все это?

Было время, когда тебе, грубому, мстительному, озлобленному личными потерями, хотелось все вытоптать в этих чужих землях, ты не видел перед собой ничего и никого, кроме врагов. С мрачным недоверием смотрел ты на тех, кто тебя приветствовал. В их приветствиях тебе слышалась неискренность, виноватая предупредительность и покорность перед твоей силой. Упрямый в своей ненависти к врагам, ты с постоянным подозрением проходил среди чужих людей, будто продирался сквозь колючий кустарник, полагаясь только на себя, на товарищей, на оружие.

«Любовь двигает армии вперед»... Кто это сказал? Где? А-а, это те молодчики... Те философы... В самом

деле, если подумать, черт возьми, так это же счастье — любить людей!.. Конечно, стоящих, конечно, настоящих, таких, как... эти».

Сагайда восторженно смотрел на своих однополчан, которые толпились вперемежку со словаками возле каждого двора, дружески беседуя, перебрасываясь шутками. Некоторые уже в свежем, только что полученном обмундировании, другие еще в прошлогоднем, вылинявшем... Обтрепанные в походах обмотки, выгоревшие гимнастерки, простые, открытые лица... Однако смотришь на них и насмотреться не можешь... Будто новыми глазами взглянул сейчас Сагайда и на себя, и на своих товарищей. Кажется, еще нигде он не ощущал так глубоко свою значимость и свою роль освободителя, как здесь, на этой словацкой земле, где его ждали «шесть долгих-долгих лет»...

Только что его спрашивали:

— Матку маш? ¹

Он подумал о Родине.

— Маю, — отвечал он с гордостью.

— Витцю маш? ²

— Маю.

— Братьев маш?

— Маю, маю!..

— Сестру маш?

Когда Юличка спросила его о сестре, он не мог сразу ответить. Этот вопрос больно задел его по незатянувшейся ране. Ведь у него и в самом деле есть где-то сестра, родная щебетунья Зинка, вывезенная в запломбированном вагоне на немецкую каторгу... «Где ты, Зинка, где ты, сестричка? Может, изнываешь рабыней на подземных каторжных заводах, состарившись в свои восемнадцать лет? А может, палачи уже загнали тебя в могилу?» Юличка, видимо, разгадала его тяжелое молчание.

— Считай меня сестрой, — сказала она. — Буду тебе как родная...

Юличка... Когда она лежала, свернувшись, в постели, то казалась ему совсем маленюшкой. А когда, откинув косы, встала на ноги и выпрямилась, то оказалась высокой и стройной...

— Здравия желаю, гвардии лейтенант!

¹ Мать есть? (словацк.)

² Отец есть? (словацк.)

Кто это? Шовкун!.. Стоит перед Сагайдой уверенно, с достоинством, как равный перед равным. Голос его заметно окреп, в нем теперь твердо звенит гвардейская медь, сменив ту вкрадчивую, податливую мягкость, над которой так издевался Сагайда, когда Шовкун был еще ординарцем Брянского. Теперь Шовкун, очевидно, не позволил бы никому отыгрываться на себе. Усы подстрижены щеточкой, санитарная сумка на боку. Гвоздь! Сагайда от души рад ему, как рад всему на свете, что хоть в малейшей степени причастно к первому его другу, к Брянскому.

— Получил вот письмо от Ясногорской, — сообщает новость Шовкун. — Скоро будет в полку. Комбат сказал, что как только Ясногорская появится на горизонте, опять потребуют ее к нам.

— А Нюра?

— Наладим, — сказал Шовкун о своей нынешней начальнице так решительно, словно ее судьба целиком зависела от него. — Разве она стоит Ясногорской? Мизинца ее не стоит... На нее уж и командир сапроты зубы точит. Нас, то есть санитаров, представил на «Отвагу», а ей — дулю под нос, извините за выражение. Потому что мы из огня не вылазим, а Нюра наша больше за кавалерами бегает...

Чувствовалось, что Шовкун хорошо знает цену своей работе, и хоть тяжела она ему, однако нисколько не обременительна.

— Ты, дружище, уже врос в свою новую должность, как добрый всадник в седло, — засмеялся Сагайда. — Хвалю за хватку!

— А чего ж... при моей должности иначе и быть не может. Людьми дорожишь — и тобой дорожат.

— Да, я слышал... Комбат о тебе хорошего мнения... Когда же приедет Ясногорская? Хоть бы увидеть, какая она...

— Через неделю-другую прилетит.

— Ого! До того времени еще трижды умереть можно!

— Теперь уже грех помирать, товарищ лейтенант... К цели подходим.

Вернувшись в роту, Сагайда не узнал своих: все были переодеты в новое, зеленое, весеннее. Хома встретил его упреком:

— Наконец-то дождался вас, гвардии лейтенант. Видите: все уже, как рута, зазеленело, только вы один вы-

лпнявший... Да еще Маковей где-то черт посит, и па обед не появлялся...

— Прощу, получайте свое обмундирование и вещевую книжечку.

Черныш был уже с ног до головы в новом — вырядился, как на парад. Привинтил орден, затянул ремень, подошел к Сагайде:

— Осмотри меня, Володька! Скажи свое авторитетное слово!

— Повернись... Так... Все как на тебя шито. Только сапоги не гармонируют... слишком уж богатырские.

Сапоги из желтой юфти, с высокими плотными голенищами, действительно были несоразмерны и тяжелы для легкой, красивой фигуры Черныша.

— Хромовые на тебя просятся.

— То ничего, что тяжелые, — заметил Роман Блаженко. — Зато походка выработается. Ведь коня-рысака специально подковывают тяжелыми подковами, чтоб ногу до груди выбрасывал.

Антоныч, разувшись, старательно примерял сапоги. Сагайда ждал от него какого-нибудь неприятного сюрприза: где, мол, был да у кого спрашивался, уходя из расположения роты? Но Антоныч сделал вид, будто Сагайда уходил из роты с личного его, Антоныча, разрешения. «В конце копцов этот курносый — симпатичный тип, — подумал Сагайда о командире. — Но почему же мы с ним никак не можем ужиться? С первого дня на пожах...»

Вернувшись из госпиталя в полк, Сагайда был неприятно поражен тем, что его ротой — славной ротой Брянского! — теперь командует какой-то Кармазин. Правда, этого «какого-то» он хорошо знал, ибо Иван Антонович долгое время командовал мипометчиками соседнего батальона. В ту пору Сагайде не раз приходилось иметь с Антонычем разные дела, официальные и неофициальные, и отношения между ними в основном оставались добрососедскими. Но то, что Кармазин вдруг оказался его непосредственным начальником, Сагайду покорило. Пусть Черныш, пусть кто угодно другой, близкий к Брянскому, возглавил бы роту — Сагайда принял бы это безоговорочно. Но какой-то Кармазин! Посторонний человек, далекий от семейных традиций роты, пришел на готовенькое и стал спокойно распоряжаться!.. Первую

дли Сагайда чувствовал себя так, словно, вернувшись в родной дом, неожиданно застал в нем мачеху.

Свое неприятие «мачехи» Сагайда невольно переносил и на бойцов, прибывших в роту уже при Кармазине. Имея привычку давать людям прозвища, Сагайда окрестил их «кармазинщиками». Незаслуженно обижая их, Сагайда всю свою грубоватую, еще не угасшую влюбленность в Юрия Брянского теперь перенес на ветеранов роты, на тех людей, которые как бы несли на себе немеркнущий отблеск погибшего друга-офицера. Ими дорожил, их оберегал за счет других. Нелюдимому, неуживчивому Сагайде вообще было трудно кого-нибудь полюбить, но если уж кто завоевывал его суровую любовь, то — на всю жизнь. В особом фаворе был у него маленький Маковей. Ему лейтенант даровал всякие льготы, выматывая жилы из других телефонистов, напарников Маковей. Антоныч не мог мириться с такой несправедливостью, и на этой почве между ним и Сагайдой не раз возникали острые стычки. Иван Антонович, расшвыривая, кричал, что, пока он командует ротой, никому не позволит создавать в ней нездоровые отношения. «Нет у меня сынков и пасынков, своих и не своих! У меня есть только наши люди, советские бойцы!» Накануне, сцепившись с Сагайдой, Антоныч пригрозил, что предаст его офицерскому суду чести.

А сейчас как будто ничего между ними и не было. Примеряя сапоги, Кармазин спокойно сообщил Сагайде, что получил только что пополнение — несколько молодых, необстрелянных ребят.

— Все пойдут в мой взвод? — настороженно спросил Сагайда, ожидая, что командир роты умышленно даст ему всех новичков вместо воспитанников Брянского.

— Не дам тебе ни одного, — оглушил Антоныч Сагайду.

— Почему?

— А потому... Ты трудно уживаешься с людьми. Воспитываешь медленно. Всех даю в первый взвод, Чернышу. А ты возьмешь тех, с которыми... полегче.

Сагайда обиделся, но промолчал. Он понимал, что здесь не обошлось без сговора командира роты с Чернышом. Черныш, конечно, тоже хотел бы иметь у себя людей проверенных, опытных, на которых можно положиться. Но он согласился взять к себе весь этот необстрелянный молодняк. Думает, что у него лучшие, чем

у Сагайды, командирские данные. Ну что ж... Пусть будет так.

Не спеша натянув на ноги новые желтые сапоги, Антоныч прошелся в них туда-сюда, попробовал, не жмут ли, и, усевшись на холмике, снова разулся. Потом кликнул ординарца:

— На, спрячь мою обновку!

— А вы как? — удивился ординарец.

— Пока что буду шкрёбать в старых, добыю уж их до конца. А новые, — Антоныч улыбнулся и оглядел окружающих, — в новые обуюсь уж в День Победы.

— К тому времени я себе еще одну пару выцыганю у начальника ОВС, — решительно сказал Сагайда и, держась за плечо Черныша, с такой силой выбросил вперед ногу, что наполовину стянутый старый его кирзовый сапог отлетел на несколько метров в сторону, едва не стукнув Ивана Антоновича по темени.

— Куда вы швыряете? — неожиданно послышался снизу голос Маковей. Телефонист вышел из-за ветвистых белых деревьев, улыбаясь всей роте. — Разве вы не видите, что это я иду?

— Иди-ка, иди, гуляка, — поманил его Хома, — засажу тебя до ночи бараболою чистить!

Маковей появился на огневой, как молодой королевич: в складке его пилотки задорно синел кустик небового ключа. Увидев повичков, хлопец тут же предупредил их, что, как только отдохнет, будет с каждым из них по очереди бороться.

— Испробую вашу зеленую силу.

Обедать Маковей отказался.

— Я недавно заправился, — сообщил он. — Обедал с разведчиками и партизанами, даже вина кружку вынул. Вы не знаете, что это за народ — партизаны! Как есть наши, «Полюшко» даже поют! Мы с Казаковым первыми их заметили, когда они с гор спускались. Смотрим: спускаются стечкой один за другим, машут нам фуражками и беретами... Они береты носят, как испанцы. Я сгоряча подумал было, что это мы со вторым фронтом соединились. «Союзники!» — кричу Казакову. А ближе подошли, слышим по разговору — братья словаки.

— Откуда ж они «Полюшко» знают?

— А у них в отряде командиром был какой-то наш капитан по имени Степа. Он их всему научил. «Степа из Русска» — так они его называли. А настоящей его фа-

милли никто не знает. Известно только, что был этот Степа офицером Красной Армии, потом попал в плен, все концлагери прошел... Его уже в печах должны были сжечь, а он организовал товарищей, перебил с ними охрану и вылетел, как орел, на волю! — Маковей даже засмеялся при этом. — Появился в Высоких Татрах, установил контакт с партизанами и в боях славу добыл. А потом они выбрали его командиром одного из своих отрядов. Незаменимый, говорят, был вожак! Повсюду немчура перед ним дрожала.

— Это правда, — поддержал воодушевленного Маковея Сагайда. — Я тоже слышал о нем.

— Бывает же такое с человеком, — задумался Ромап Блаженко. — Дома его уже, наверное, занесли в без вести пропавшие, а он где-то живет, действует, за наше дело борется...

— Где он сейчас, Маковей?

Парень опустил глаза.

— Месяц назад где-то в Моравии голову сложил... Вместе с целой группой партизан... Но фамилия его непременно будет установлена! Майор Воронцов сам взялся за это.

— Данных мало, — пожалел Денис, — трудно будет искать.

— Чего там мало, — энергично запротестовал Маковей. — Звание известно — это тебе раз. Имя известно — это тебе два. Родом... советский — это тебе три! А я еще не договорил — у него где-то дивчина осталась. В свободное время он как-то рассказывал о ней партизанам. И песни, говорят, по вечерам пел для нее. Чтоб она их услышала, чтоб знала, где он есть. Всюду, где он проходил со своим отрядом, словаки поют его песни. По всему Крушногорью поют, в каждой хатенке лесника, где он отогревался в метели и вьюги... Разве по таким фактам нельзя человека узнать?

— Узнают, — улыбнувшись, сказал Сагайда. — По песням да не найти!

VI

Так Хоме и не пришлось на сей раз засадить Маковея чистить картофель. Вечером полк снялся, вошел в зону Малых Карпат. Чем дальше, тем слышнее гремел бой, ленты трассирующих пуль, прорезая темные ущелья, приближались, становились ярче.

Отсинело высокое гринавское небо, отзвенела певучая братская речь, отшумели белым шумом переполненные чаши садов. Кончалась короткая праздничная передышка, когда солдаты, как бы выйдя из войны, из ее душных цехов, попали было на мгновение в неожиданно солнечный, непривычный, обновленный край. Все это опять оборвалось... Впереди темным, зловещим морем снова хлопотала война. Полк привычно входил в нее по пояс, по грудь, по шею...

Такое, по крайней мере, ощущение было сейчас у Сагайды. Он шел по обочине узкой дороги с командиром взвода бронебойщиков Теличко. Из-за ближнего хребта уже вздымались багровые маяки зарев, подпирая небо над передним краем. Дорога круто поднималась в гору, то пролегая по узким карнизам над пропастями, то входя — как сейчас — в лесистые ущелья, темные и тесные, как туннели. Тяжело дышали в темноте лошади, таща повозки и пушки. Позвякивало оружие на бойцах. Слышались короткие сердитые команды.

Постепенно приходя в себя после сильных гринавских впечатлений, Сагайда беспощадно гремел своими новыми сапогами по мелким камням. Его спутник, Герасим Теличко, маленький, задиристый, горластый, принадлежал к числу тех, с кем у Сагайды был определенный круг своих общих солдатских сердечных тайн. Младший лейтенант Теличко был ветеран, «старик», с ним Сагайда не раз попадал в трудные переделки, и поэтому, встречаясь, они никак не могли наговориться. Сегодня минометчики и бронебойщики шли рядом, и Сагайда, уверенный в своих «гренадерах» (а с новичками пусть нянчатся Кармазин и Черныш!), мог спокойно всю дорогу точить лясы с приятелем. Они успели уже перемыть косточки любовнице какого-то дивизионного начальника, уже дали прозвище знакомому скряге интенданту и теперь добрались до Аптоныча, над которым поиздеваться и сам бог велел.

— Знаешь, Герасим, мой курносый Сократ (так Сагайда заочно величал Аптоныча) опять проехался по мне.

Услышав это, Теличко расхохотался: видно, жалоба Сагайды прозвучала для него совсем комично.

— Как же это он умудрился, формальная его душа? Ведь по тебе, Вовка, проехаться — нелегкое дело!

— Представь себе — умудрился. Из нового пополнения не дал мне ни одного свистуна. «Ты, говорит, медленно воспитываешь, тебе с новыми людьми трудно, —

садись на более легкий хлеб...» Ну, разве не дракоп оп после этого, скажи?

— И ты смолчал?

— Смолчал. Как раз был в таком настроении, такая лирика нашла на меня после Гринавы... Не хотелось ни с кем ссориться, с каждым братался бы... Как ни говори, а он, Антонич, тоже честно протопал свою тысячу километров, чтобы освободить эту самую Гринаву... Работяга, вол!

— А как же с новичками? Что... он их себе за пазуху положит?

— Передал всех в первый взвод Чернышу. Пусть, дескать, выковыывает.

— И тот не возражал?

— Куда там, сам захотел. Видишь ли, Черныш считает, что у него для этого больше данных, что мне это будет труднее, чем ему... Ну и пусть тянет...

— Он, кажется, до сих пор из себя недотрогу корчит, этот ваш Чернышок? Ни анекдота от него стоящего не услышишь, ни спиртяги с ним не потянешь. Все чем-то озабочен, все время серьезный такой, все у него идет по программе. Чихнуть не может без программы.

— Ты его просто мало знаешь, — возразил Сагайда. — Он только на вид теоретик, а на деле задушевный парень. А что любит на каждом шагу мировые проблемы решать, так это уж у человека такой характер. Между прочим, он хочет после войны диссертацию писать о роли минометного огня в условиях форсирования водных рубежей. Целые вечера бубнит об этом с Кармазиным.

— Лишь бы терпения хватило, — заметил Теличко, — а мысль неплохая.

— Терпения хватит. И шарики у него работают дай боже... Недаром с ним Брянский дружил.

— А это правда, что у него с Ясногорской что-то там наклеивается?

— Факт. Тайком молится на ее фотографию.

— Почему тайком? — удивился Теличко. — Если бы мне такая ответила взаимностью, я на весь мир раструблил бы...

— А он строит из себя безразличного. Мучается, кипит, переживает, а письма ей пишет холодные, как рапорты нашего Чумаченко. Вот натура! И знаешь, что его сдерживает? «Она, говорит, была певичкой моего друга. Я, говорит, не имею морального права на это». Так и жи-

вет, стиснув зубы. А по-моему, именно он, а не кто-нибудь другой, далекий Брянскому, имеет право на ее любовь. Как ты считаешь?

— Я лично не вижу тут ничего предосудительного, — развел руками Теличко. — Конечно, если бы закрутился легкий роман, мне было бы обидно за Юрпю.

— А мне? — воскликнул Сагайда. — Да за такое я им обоим глаза повывирал бы! Но тут совсем другая песня... Тут дело серьезное... Если уж Евгений не может пере-силить себя, если это для него «первая и последняя», если и она его искренне сердцем избрала... то тут нужен другой подход. Здесь должен сказать свое слово настоящий судья.

— Кого ты имеешь в виду?

— Брянского. Представляешь, как бы он ответил на этот сложный вопрос? Осудил бы он их или нет? По-моему, нет. По-моему, он одобрил бы... Ведь тут не пустячки, не шутки, тут люди сгорают. Разве чистой, настоящей любовью осквернишь его память? Разве, скажем, для меня или для тебя было бы что-нибудь обидное в том, что человек, которому я хотел создать счастье, на-шел его где-нибудь после моей вынужденной посадки? Я ведь не какой-нибудь дикарь, скиф, который, отправля-ясь на тот свет, приказывал и жену свою убивать да класть рядом с собой в могилу. Я, наоборот, завещал бы друзьям беречь ее, любить, осчастливить. Погибая сам, я хотел бы, чтобы моя любовь была, как знамя, подхва-чена другим и честно пронесена им дальше через всю жизнь... Чтобы в ваших чувствах билось мое чувство, чтобы в вашей верности жила моя верность. Кому бы из нас не хотелось даже после смерти остаться примером для других? Примером не только в подвигах и боевых делах, но и в самом интимном...

— Ты, Вовка, разошелся, как влюбленный. Все это, видимо, результат твоих гринавских встреч. Теперь мне ясно, что ты не на шутку влип.

— Ты со мной не согласен?

— К сожалению, я тут ни при чем. Выкладывай это Чернышу, а не мне.

— Уже выкладывал.

— А он?

— Молчит.

Черныш молчал. Шел с новичками впереди, иногда вместе с ними принимался подталкивать повозки, все

время думая о Ясногорской. То, что Сагайде казалось простым и понятным, для него было мучительным клубком чувств — их трудно распутать, трудно выразить словами. Если бы мог, вырвал бы их из своего сердца, чтобы не жгли, не растревляли его... Скоро она вернется в полк... Опять будет рядом. Хочет он этого или не хочет? Иногда он готов был закричать ей отсюда: приходи, скорее приходи! А иногда наоборот, сам остановил бы: не приходи! Ведь он не тот, ведь он... другой! Но, забегая мыслями в послевоенное, мирное время, представляя себя в новой, необжитой обстановке, он почему-то всякий раз встречал там и ее, Шуру, хотел и не мог разминуться с ней: она возникала рядом с ним всюду на будущих воображаемых путях...

Выплыл месяц, и хребты гор заблестели каменной чешуей. Колонна, перевалив через кряж, стала спускаться. Здесь был яснее слышен привычный гул ночного боя. Стали видны оружейные вспышки в далеких ущельях. Повозки, скользя на разогретых тормозах, громко, пронзительно стонали в ущельях, словно лебеди из старинных славянских песен.

Черныш слышал, как сзади, то и дело спотыкаясь на острых камнях, Маковой допытывался у Блаженко:

— Интересно, Роман, чем тебе кажутся эти силуэты на месяце? Говорят, какой-то Авель поднял на вилах своего брата Каина.

— Не Авель Каина, а Каин Авеля.

— В конце концов это не так важно — кто кого. Факт, что брат брата заколол. Вот варвары!.. Но где же вилы? Сколько ни смотрю, а вил не вижу. По-моему, эти силуэты больше на солдат похожи. Смотри: один сидит, а другой над ним склонился и рану ему перевязывает... Будто дивчина над бойцом.

Где-то совсем близко, как бы проснувшись, заговорили пулеметы. Громкий 'дробный грохот дерзко ворвался в тишину, словно кто-то сверху по длинным желобам спустил массу мелкого щебня. Перекатилось эхом, замерло... Несколько голубых ракет, взвившись над ущельем, мрачно осветили часть горной дороги, безлюдную опушку, лесной домок на курьих пожках...

Прозвучал приказ: немедленно развернуться в боевые порядки. С оружием наготове подразделения спускались в темные буераки, куда голубое сияние месяца не проникало.

По пояс, по грудь, по шею...

«Здравствуй, Женья!

Вот я уже и на пороге родного дома. Наш сапитарный эшелон сейчас стоит на пограничной станции Н. Это письмо пишет тебе под мою диктовку медсестра Лида.

Утро. Мы только что умылись на берегу и теперь сидим под насыпью, ожидая встречного поезда. Все, кто только мог, высыпали из вагонов, восторженно приветствуя долгожданную родную землю. Даже если бы мне не сказали заранее, что за рекой, совсем близко отсюда, уже начинается наша родина, то я сам узнал бы об этом. Я почувствовал бы ее по легкому весеннему воздуху, что плывет на меня оттуда, словно с высоких, вечно чистых гор.

Представляешь, Женья, что у меня на сердце? Представляешь, что может быть на сердце у человека, когда у него есть куда возвратиться, есть с чем возвратиться? Я не случайно подчеркиваю именно то, что у меня есть, что я приобрел, а не то, что я потерял. Поверь, мои потери в сравнении с моими приобретениями кажутся мне в этот момент почти ничтожными. Так, верно, должен чувствовать себя каменщик, чьи руки выложили хотя бы один карниз величественного дворца.

Постепенно привыкаю к своему положению. И страшная вещь: мне временами кажется, что, несмотря на потерю зрения, я все-таки вижу. Может быть, это потому, что я не одинок, что меня всегда окружают товарищи и друзья. Со всех сторон я чувствую поддержку товарищеских рук, товарищеских глаз. Они стремятся передать моему восприятию окружающий мир во всей его полноте, они хотят, чтобы мне все было видно так же, как им. И я вижу, Женья!

Мы ехали через Трансильванию. Грохоча в туннелях, наш эшелон пролетал теми самыми ущельями, где в прошлом году были наши огневые. Два дня мчались над самым Мурешом, над тем самым бурным Мурешом, который — помнишь? — пришлось нам форсировать вброд октябрьской ветреной почью?.. Я снова чувствовал под собой те горные хребты, по которым мы прошлый год карабкались на запад. Мезитур, Арад, Дева... Вслушайся, дружище, в названия этих мест! Я уверен, что от них на тебя так же повеет чем-то теплым, чем-то близким.

Мне кажется, что все земли, по которым мы прошли с такими боями, стали для нас навсегда близкими. Я, во всяком случае, не смогу теперь безразлично слушать румынскую или венгерскую речь, не смогу спокойно воспринимать газетные или радиосообщения о жизни этих народов. Я не смогу быть безразличным к ним. Да и кто из нас отныне может не интересоваться ими, не следить за развитием их жизни, за их движением по новому пути? В конце концов разве это не естественно? Разве не оставил здесь каждый из нас частицу самого себя? Земля эта еще и сейчас горяча от нашей крови, еще до сих пор солоната от нашего пота. Вот почему я волновался, как при встрече с родными, когда Лида сказала мне, что вдоль железной дороги стоят вооруженные кирками и лопатами смуглые трансильванцы в своих боярских папках и в войлочных шапках. Это те самые чабаны и лесорубы, которых мы с тобой часто встречали в горах. Сейчас они прокладывают через горы газопровод. Я слышу их искренние возгласы, которыми они приветствуют наш эшелон. Все мы взволнованы до глубины души. Да! Освобожденные не могут забыть освободителей, — это понятно. Но я уверен, что и освободители тоже никогда не станут безразличными к освобожденным.

Иногда горы вставали у самых вагонов, как небоскребы. Иногда отступали вдаль. Тогда бойцы, толпясь у окон, с радостью узнавали вершины, которые им довелось штурмовать, вслух обращались к ним, как к живым существам. Для меня эти вершины, окутанные тучами, были как бы символами развенчанной недостижимости, они воплощали в себе величественный эпос нашего похода. Чувство преодолимости всего, что раньше казалось непреодолимым, — не это ли самое сильное чувство, которое вынес я из войны? Сейчас в моем представлении все самое могущественное на свете кажется карликовым по сравнению с человеком, борющимся за свои идеалы.

Может быть, все это не ново, но для меня лично это было в какой-то мере открытием. Откровенно говоря, раньше и люди, и явления жизни выступали передо мной несколько приуменьшенными. И только на фронтах этой войны я узнал настоящую цену себе и своим товарищам. Ведь именно на этих фронтах каждый из нас, простых людей, рядовых гвардейцев человечества, отчетливо ощутил, что он имеет свой определенный вес на чаше великих весов истории.

Такими мыслями я жил, пересекая вторично Трансильванские Алыны. Не раз мне хотелось поделиться этим с тобой, не раз я вспоминал наши ночные беседы под мокрыми скирдами, разбросанными в венгерских степях, под холодными заревами Будапешта, когда мы волновались за судьбу и пути человечества не меньше, чем за нашу полковую разведку, ушедшую куда-то на смертельное задание. Кстати, как там наш Казаков? Как другие «волки»? Приветствуй их, если живы.

В Плоешти нам пришлось перебазироваться из венгерских вагонов в советские. Теперь уже до самого Плоешти доходит наша отечественная широкая колея. Отсюда поезда водят наши машинисты с нашими девушками-кочегарами. Нам попались обычные «телячьи» вагоны, поклеванные за войну пулями и осколками и уже старательно залатанные на наших вагоноремонтных заводах. Гвардейцы, ощупывая нашитые доски, нежно поглаживали их ладонями, как зарубцевавшиеся раны. Гладил и я. А Лида плакала.

Как твои отношения с Ш.? Я почему-то уверен, что если вы до сих пор не сблизились, то в будущем это произойдет непременно. Зная вас обоих, ваши характеры, ваши взгляды, склонности и интересы, я себе представляю вас в жизни не иначе как рядом.

Прибыл встречный эшелон, остановился рядом с нашим. Заиграли гармошки, зазвучали песни. Это молодежь едет на фронт. Счастливые: они пойдут в бой! Возможно, кое-кто из этих новичков попадет именно в твою роту. Придется тебе, Женья, выступать уже в роли ветерана-учителя... Что ж! Обучай их гвардейской науке.

Должен кончать. Гудок. Эшелон молодых двинулся к вам на запад. Нам тоже команда по вагонам... Домой, домой!..

Привет однополчанам, привет гвардии.

Саша Сиверцев».

VIII

Это письмо Черныш получил на Мораве.

Полк готовился форсировать реку. В кустарниках вдоль полноводной Моравы уже ползали разведчики, изучая характер противоположного берега, засекая враже-

ские огневые точки, выяскивая самые выгодные причалы для предстоящей высадки десантов.

Десантные группы уже были здесь, неподалеку, за спиной у разведчиков. Если бы враг мог заглянуть в гущу приморавских лесов, он увидел бы, какая целеустремленная и уверенная гроза собирается у него над головой! В лесу становилось тесно от непрерывно прибывающих войск.

Полк Самиева работал старательно, спокойно и деловито, как огромная мастерская. На этот раз он должен был переправляться на подручных средствах. Вся техника сосредоточивалась где-то севернее: направление главного удара было выбрано там.

Самиевские мастера сегодня соревновались в изобретательности. Саперы и пехотинцы, скинув телогрейки и поплевав на ладони, принялись вязать плоты. Из ближайших сел по лесным тропинкам бойцы несли на плечах тяжелые лодки и остроносые душгубки. Отдельные десантные группы были уже сформированы и, располагая перед боем несколькими свободными часами, проводили пробные учения. Атака на Мораву должна была начаться вечером, сразу же с наступлением сумерек.

Черныш готовил своих новичков, когда батальонный почтальон Олег Чубарик принес ему письмо.

— Танцуйте, лейтенант!

Но Чернышу в этот день было не до танцев. Выяснилось, что большинство его новичков впервые стояло перед серьезным водным рубежом. Были, правда, среди них и прошедшие суровую купель форсирований. У молодых наводчиков Бойко и Шестакова за плечами был опыт форсирования Дуная. Солдатская судьба привела их сюда через госпитали и запасные полки с 3-го Украинского. Они уже побывали в Болгарии и Югославии, имели на груди красные и золотые нашивки и держались уверенно. Даже Хома, ведя с ними длительные беседы, признавал, что хлопцы видали виды и могут немало интересного рассказать ему о балканских краях, о тамошних порядках.

За этих Черныш был спокоен. Беспокоили его такие, как рядовой Ягодка. Этот статный краснощекий юноша с умными, внимательными глазами с первых дней заинтересовал Черныша. «Видно, башковитый парень, с хорошим образованием, — думал о Ягодке Черныш, отбирая его из пополнения. — За три дня станет наводчиком!»

Каково же было его разочарование, когда он узнал, что Ягодка совсем неграмотный: не умеет даже расписаться. Вся рота была удивлена. В самом деле, бойцам непривычно было видеть неграмотного юношу двадцати лет, умного, работающего и безусловно способного. На Ягодку приходили посмотреть, как на что-то диковинное. Где он рос? В каком лесу?

Оказалось, что Ягодка родился и вырос при румынской оккупации. Он был родом откуда-то из Измаильской области. В роту прибыло несколько таких солдат, недавно ставших советскими гражданами, и все они первые дни держались в стороне, ходили невеселые. Их, видимо, угнетала собственная отсталость. Одного из них, бессарабца Иону, Хасцкий взял к себе в сдовые, пообещав «сделать из него человека», остальных Черныш забрал в свой взвод. Сегодня он должен был повести их в первый, самый страшный для них, бой. Как они будут держать себя на Мораве? О чем они сейчас думают? Что их беспокоит?

Прочитав письмо Саши Сиверцева, Черныш оглядел своих молодых бойцов. Они сидели возле него на опрокинутой вверх дном лодке. Одни смотрели на Черныша доверчиво, спокойно, у других в глазах затаилась глубокая тревога. Вероятно, им казалось, что они сидят сейчас на собственном гробу, а не на боевом судне, которое очень скоро поспешит их навстречу подвигам, славе, победе. Может быть, именно их встретил Саша на границе? Может быть, как раз им не хватает великой науки — науки боя? Обучать? Но как их сейчас обучать? Сагайда — тому легко. У Сагайды просто. Вот он поблизости муштрует своих бывалых.

— Пока Денис и Анохин гребут, ты, Ромап, ведешь по берегу огонь. Понял?

— Понял.

— Если тебя легко ранило, все равно ведешь огонь. Понял?

— Понял.

— Если тебя... совсем ранило, тебя заменит Фесюра. Фесюра, понял?

— Так точно.

— Ну вот...

— Товарищ гвардии лейтенант! А если меня убило?

— Убило? — Сагайда на мгновение заколебался. — Тогда, — еще энергичнее выкрикнул он, — передай весло

Маковею, а сам падай на плот! Похороним на плацдарме!..

Червыш не мог так легко договориться со своими. Для них нужны другие слова. Прощальная тоска залегла в голубых глазах Ягодки. Чем его утешить, чем ободрить? Как разбудить богатырскую силу, что дремлет сейчас в широких плечах юноши, в его крепких, развитых руках? Трудно? Но ведь ты командир, ты коммунист, сумей найти дорогу к его сердцу!

— Вы, Ягодка, хорошо действуете веслом?

— Неплохо.

— Наверное, часто рыбачили дома?

— Не часто, но по воскресеньям ездил... когда хозяин пускал.

— Какой хозяин?

— А тот, у которого я служил.

— Вы служили? Кем?

— Кем? — Ягодка покраснел, как опозоренный. — Всё вместе... я чабапом был... и брызгу делал... Зимой со всей худобой сам управлялся... Двенадцать лет отбатарчил.

— Двенадцать из двадцати! И круглый год? Черт возьми, это же каторга! Неужели нельзя было иначе? Иона тоже вот батрачил, но он только посезонно.

— Я не мог посезонно, я... одинокий. Ни кола ни двора. Ни роду ни племени. Да, может, это и лучше...

— Почему лучше?

— А потому, что, как шибанет вот здесь, на Мораве, так никто и жалеть не будет. Никому и не икнется.

— Это вы, Ягодка, уж слишком...

— Почему слишком? Скажете — не так? Это только для виду каждый хочет показать, что ты ему нужен... А я, товарищ гвардии лейтенант, уже давно знаю, что никому я не нужен. Как напьюсь вот навеки моравской воды, так никто и не заметит. И ничего тут не подлаешь... У кого же заболит по-настоящему — есть такой Ягодка на свете или нет его?..

Боец безнадежно махнул рукой, словно уже заживо хоронил себя.

— Все это чепуха, — сказал Черныш после неприятной, гнетущей паузы. — Одинокий, ненужный... Чепуха, товарищ Ягодка. Давайте подумаем иначе: вот вы скоро выйдете на тот берег. Что он сейчас представляет собой? Чужая опасная земля, начищенный фашистскими вой-

сками клочок австрийской территории. Место, где только предполагается создать плацдарм. Но как только ты, Ягодка, ступишь туда своей ногой, сразу все изменится. Тот загадочный берег перестанет быть просто берегом, он уже станет плацдармом. Произойдет на земле событие, пусть небольшое, пусть нерешающее, но оно вызовет немедленно сотни других событий, повлияет на них, внесет изменения в судьбу многих людей. И если сейчас, пока ты сидишь в этих кустах и изливаешь мне свою хандру, о тебе, может быть, и в самом деле мало кто думает, то тогда о тебе подумают все. Для противника ты станешь большой опасностью. Другьям ты будешь крайне нужен, не только нужен, а просто-таки необходим и дорог. Вот тогда-то ты увидишь, какая у тебя родня! Весь полк, вся армия с молниеносной быстротой узнает, что у нее на таком-то участке за Моравой появился плацдарм. Откуда, каким образом? Очень просто: ведь там уже стал своей ногой гвардии рядовой Ягодка. Поддержат его немедленно! Помочь ему во что бы то ни стало! Можешь представить себе, сколько людей будет тогда за тебя переживать? Все взгляды обратятся к тебе, все мысли будут о тебе, тысячи людей будут работать для тебя. А как же? Для тебя где-то на Урале дивчина целые сутки не выйдет из цеха. Из-за тебя Верховная Ставка даст кому-нибудь хороший нагоняй, чтобы лучше о тебе заботились, чтобы, паче чаяния, не погиб там, не пропал этот гвардии рядовой Ягодка! В высоких штабах, недосыпая ночей, будут вырабатывать для тебя самые лучшие маршруты. Для тебя саперы будут строить мосты. К тебе по всем путям-дорогам потянутся обозы. А кто о тебе, рядовом Ягодке, забудет в этот решающий час, тот, чего доброго, и под трибунал пойдет... Тут не до шуток. Как же ты можешь после этого сказать, что ты одинокий, непутевый? Да какой отец, какая мать вложит столько сердца в своего Ягодку, сколько вложит в тебя Отчизна?!

— Здорово, — засмеялся боец, смущенно закрыв лицо руками.

Товарищи восторженно смотрели на него, словно сидел перед ними не смущенный измайловский парепек, а кто-то уже намного важнее и ценнее его.

Черныш взволнованно продолжал:

— А перескочишь ты Мораву, вырвешься на широкий тактический простор и придешь первый туда, где тебя

люди годами ждут... Тебя там ни разу и в глаза не видели, а думают о тебе давно. Ты им нужен, ты для них свой. Знаешь, как тебя там встретят? Видел, как нас встречала Словакия? С колокольным звоном, с цветами, с открытой душой! Ты для них будешь и самым близким, и самым дорогим, и самым родным! Первые благодарности — тебе, первые приветы — тебе, первая любовь народов — тебе. Потому что ты самый передовой из передовых, ты — освободитель!..

Возбужденный, разгорячившийся Черныш умолк.

— Это все так, товарищ гвардии лейтенант... Но ведь для этого надо быть самым передовым?

— Безусловно.

— Таким, как наш старшина? Как братья Блаженко? Как все ваши «брянчики»?

— А вы думаете, что они такими родились? Думаете, они пришли в прошлом году к Брянскому законченными гвардейцами? Уверю, что Хаецкого тоже таскали тогда за ремешок не хуже, чем он теперь нас таскает. И меня в свое время таскали, и Сагайду... Не сразу Москва строилась. Но как раз в том и состоит одно из преимуществ нашей армии, что мы быстро совершенствуемся, растем, крепнем. Быстрее, чем другие! Сегодня вы, Ягодка, просто рядовой, завтра — уже хороший боец, послезавтра вы — герой, победитель, любимец народа...

— Только в атаке не оглядывайся, — спокойно посоветовал Ягодке наводчик Шестаков. — Это — гибель. Как сел в лодку — забудь про свой берег...

— Но про товарищей не забывай ни на секунду, — добавил Бойко, пришедший в роту вместе с Шестаковым с 3-го Украинского, — иначе беда!.. Когда мы зимой по тонкому льду форсировали Дунай, так приходилось за руки братья, человек по двадцать. Возьмемся и продвигаемся так. Крепко держались, пусть вот Шестаков скажет. Если один и проваливался, так те, что шли рядом, сразу подхватывали его и не давали утонуть. А если бы в одиночку двигались, каждый сам по себе, много нас накрылось бы...

Ягодка внимательно слушал. Потом быстро заговорил по-молдавски со своими земляками, а молдавский язык он знал не хуже, чем свой родной. Выслушав Ягодку, молдаване заметно оживились, повеселели.

— О чем это вы секретничали? — улыбнулся Черныш.

— Я им сказал, — охотно перевел Ягодка Чернышу, — что хозяин мне всегда врал! Хозяин всегда, бывало, как подвыпьет, любил читать правоучения. Лучше всего, мол, в жизни идти одному. Быстрее к цели, говорил, приходит тот, кто идет в одиночку, через головы других.

— Это действительно ложь, — согласился Черныш. — Быстрее приходит коллектив.

IX

— Ты знаешь, что это не мой каприз, а желание массы, коллектива, с которым ты не можешь не считаться, — говорил в это время майор Воронцов командиру полка Самиеву. — Ведь мы с тобой, возможно, за этот коллектив ордена получаем...

— Я уже сказал, Воронцов, — и давай на этом покончим... Как сказал, так и будет. Пока все там не закончу, пусть сидят здесь. Мало ли что кому в башку взбредет!

Речь шла о полковых знаменосцах. Воронцов настаивал на том, чтобы Самиев разрешил знаменосцам переправиться на ту сторону, как только атакующие закрепятся на плацдарме. Он ссылался на факты, хорошо известные им обоим.

— Ты же слышал, Самиев, солдатскую поговорку: где знамя пронесено, там мы уже в землю вросли. Если знамя будет на плацдарме, то сила и уверенность каждого бойца возрастут во сто крат. Тогда его ничем не вышибешь оттуда. Разве твой боец, почувствовав вблизи знамени, отступит от него хоть на шаг? Ты сам видел, как в Барте подразделения реагировали на то, что знаменосцы появились около них в самый критический момент боя. Может быть, мы и выстояли там только благодаря неслыханному энтузиазму, который был вызван знаменем...

Самиев категорически возражал:

— В Барте было одно, здесь — другое. Ты знаешь, с кем нам придется иметь дело на этом плацдарме. Пока наведут переправу и перебросят артиллерию, «тигры» могут нас трижды смешать с землей. Еще, может быть, так припрут к берегу, что... Да не будем об этом!

— Вот чтобы этого не случилось, чтобы не приперли, я и предлагаю...

— Лучше не предлагай мне, Воронцов! На этот раз ты меня не сагитируешь. Я пропаду, ты пропадешь — нас с тобой заменят. А если со знаменем что-нибудь случится? Ты представляешь себе? Самоубийство для полка! Как ты вообще можешь мне предлагать такое?

— Не такое, а совсем обратное. Да если уж на то пошло, я готов ответственность за судьбу знамени взять на себя.

— Как же! Пока ты будешь «отвечать», мне, как командиру, уже голову снимут. Я против таких эффектов. Форсируем, расширимся, пойдем вперед, — вот тогда дам команду. Не бойся, Багиров нас не потеряет, у черта в зубах найдет.

Они разошлись, на сей раз не придя к общему решению.

Воронцов дружил с командиром полка, любил его за решительность и честность в бою, за горячий темперамент. Воронцов восторгался «своим таджиком», когда тот руководил боем. Это было подлинное искусство, уверенное, всегда изобретательное и точное. Однако слабостей вспыльчивого «академика» тоже, бесспорно, никто не знал лучше, чем Воронцов. Проявлением одной из этих слабостей Воронцов считал и состоявшийся только что неприятный разговор. В такое время держать знаменосцев в обозе! Как может Самиев недооценивать присутствие их там, в самом пекле боя? Это близорукость... И ничем ты его не проймешь, если упрется... «Бывают иногда моменты, когда он становится просто песносным», — сердито подумал Воронцов и отправился в батальоны.

Шел густо заселенным лесом, тяжело ступая и чуть ссутулясь, как грузчик, несущий на плечах невидимую ношу. Ко всему присматривался, все ощупывал своими серыми внимательными глазами. Останавливался возле десантных групп, привычно «брал на пробу» их настроение. Перед боем Воронцов, казалось, беспокоился больше, чем во время самого боя. Сейчас его приятно удивляло царившее в подразделениях оживление, сверкавшие в глазах самоуверенные дерзкие огоньки, какие можно заметить перед наступлением лишь у действительно бывалых воjak.

На одной из лесных полян бронебойщики под руководством безусого ефрейтора разложили костер, варят бог знает где добытую смолу. Ефрейтор, засучив рукава,

сидит верхом на переперпнутой лодке, смолит потрескавшиеся днище.

— Непреодолимых водных рубежей нет, — доказывает он товарищу, — все они проходимы.

Пожилой крепыш вытесывает весло, скептическая улыбка гуляет у него под усами.

— А ты их все перепробовал?

— Дон пробовал, Днепр пил, Тису на бочке форсировал. Чего тебе еще надо, старый хрен?

Бронебойщики дружно хохочут.

Капитан Чумаченко, собрав под деревом своих командиров, разъясняет им боевое задание.

— Самое опасное на плацдарме — это помнить о лодках и веслах, — слышит Воронцов глухой голос Чумаченко. — Выбрось их из головы! Известно, конечно, — в начале боя тебе и твоим людям будет тесно, душно на пятаке. Река все время будет притягивать тебя, тянуть назад. Тебе будет казаться, что как только ты оторвешься от берега, пойдешь на глубину, так тебя и отрежут сразу, окружают, сомнут. Не поддавайся этому чувству, — оно ложное. Смелее отрывайся от берега, углубляйся в лес, выходи вот на эту дамбу. — Чумаченко тычет пальцем в карту, расстеленную перед ним на земле. — Тогда ты сразу почувствуешь себя свободнее, развяжешь себе руки для маневра.

Заметив замполита, офицеры вскакивают, отряхиваются.

— Сидите, — машет рукой Воронцов и первый садится возле развернутой карты комбата.

Сегодня с самого утра Воронцов на ногах. Разогнав в «низы» всех политработников, он не мог на этом успокоиться и неутомимо ходил от подразделения к подразделению, в одном выступая с речью, в другом ограничиваясь веселой репликой, брошенной на ходу, в третьем беря кого-нибудь за жабры не хуже, чем Сампел. Всюду видели в этот день его широкоплечую высокую сутуловатую фигуру в меховой офицерской безрукавке.

— Имейте в виду, — обратился Воронцов к командирам рот батальона Чумаченко, когда они сели возле него полукругом, почтительно вытягиваясь даже спя, — имейте в виду, товарищи, что на плацдарме нам не мпновать встречи с танками. Предупредите об этом своих людей, чтобы танковый удар не ошеломил их среди боя.

Против нас стоит бронетанковая эсэсовская дивизия «Шенрайх».

— Битая? — спросил один из молодых офицеров.

— Битая, но мало. Совсем плохо битая. Недавно переброшена сюда с Западного фронта, из Люксембурга.

Офицеры задумались. Чумаченко сердито смотрел на свою четырехверстку, пересеченную голубой лентой Моравы.

В это время на замполита налетел комсорг полка Толя Домбровский.

— Листовки уже получены, как быть? — радостно крикнул он.

— Не знаешь — как? Немедленно в подразделения, читать вслух!

В минроту первым из рук агитатора выхватил листовку Маковой. Проскользнув между товарищами, вскочил на лодку, зазвенел:

— «Вперед, за Мораву, советские богатыри!»

Ягодка, опершись на весло, жадно слушал.

Х

— Десанты, в лодки!

Команду подали шепотом, но впечатление было такое, будто ударила она как гром. Наконец!.. Весь левый берег, до этого казавшийся безлюдным, теперь ожил, задвигался. Темнота наполнилась почти невидимым, по явно ощутимым движением множества человеческих фигур.

— Десанты, в лодки!

Прошуршав по песку, лодки стрелами влетали в воду. Затрещали темные кусты, выбрасывая на воду тяжелые, заготовленные днем плоты. Заплескалось вокруг, захлопало... Бойцы, по колено в воде, на бегу вскакивали в свои шаткие суденышки, сильными ударами весел отталкивались на глубину.

Грозными роями взвились в темноте ракеты, пущенные с противоположного берега. Осветилась широкая река, уже покрытая — сколько хватал глаз — и слева и справа — плотами, лодками и лодочками, низко летевшими от восточного берега. Вдоль реки блеснули пулеметные вспышки, словно рванулись навстречу десантам слепящие струи расплавленного металла. Густо затех-

кало вокруг, волны закипели, будто нагрелись вдруг до сотни градусов.

— Гребь сильнее! — хрипел Черныш, не спуская глаз с противоположного берега, направляя веслом лодку. — Гребь!.. Гребь!.. Гребь!..

Бойцы молча гребли. Втянув головы в плечи, выворачивали веслами пенящую волну. Река превратилась в сплошной бурлящий водоворот. Жутко закричали раненые. Опережая Черныша, пронеслась душегубка с полковыми разведчиками. При вспышке зеленой ракеты Черныш заметил зеленоватое сосредоточенное лицо Казакова. Промыгнула лодка пулеметчиков, ведя огонь с ходу. Пригнувшись к плотам, яростно гребла пехота.

— Гребь, братцы, гребь!

В нескольких метрах от Черныша гонят свой тяжелый плот десантники Сагайды. За спинами братьев Блаженко лицом на восток сидит, согнувшись, Маковей. Торопливо перебирает обеими руками красную нитку кабеля, протягивая его через реку. Широко открытыми серьезными глазами смотрит на свою работу. Создается впечатление, будто тянет он красный провод не с катушки, висящей на груди, а из самой груди. Тянет, как окровавленную живую нитку собственного нерва.

Пуля задела лодку Черныша, прошелестела щепы, отколовшись от борта.

С обеих сторон ударила артиллерия. Лес пaskвозь осветился пламенем, затрещал, загрохотал. Пузатые немецкие мины зашумели над головой, тяжело шлепнулись в реку, и она всколыхнулась до самых глубин.

Черныш, отталкивая чью-то опрокинутую взрывом душегубку и стараясь удержать направление, кричал на незнакомых пловцов, приказывая быстрее цепляться за его лодку. Они повисли на бортах, захлебываясь водой. Грести стало тяжелее, минометчики изо всех сил налегали на весла. Черныш уже не видел ничего, кроме противоположного берега, завихренного огнем. Рвался к нему не только взглядом, но всем своим существом. Вот уже скоро, вот уже близко... Стать бы только ногой на землю!.. Вспыхнуло, взорвалось рядом... Черныш инстинктивно пригнулся ко дну лодки, тяжелый фонтан с шумом навалился на него, окатил с головы до ног. Почувствовал, как неустойчивое дно лодки выскользнуло из-под ног: охваченное холодом тело стало погружаться в воду.

Неожиданно коснулся погой дна. Стоя по шею в воде, Черныш оглянулся на свой десант.

— Все здесь?

— Все, все! — откликнулись ему новички удивительно близкими, желанными, родными голосами.

— Лафет пошел ко дну, — сердито сообщил Ягодка и, не ожидая приказа, исчез под водой. Через минуту его мокрая голова появилась на поверхности. Набрав полную грудь воздуха, Ягодка пырнул вторично. — Есть! — доложил он, появляясь над водой.

Кто-то подал ему руку, помогая преодолеть быстрое течение. С плеском и хлюпаньем бойцы поспешно выбирались за Чернышом на берег.

Весь лес впереди трещал, клокотал горячей пальбой, раскатистым, как море, шумом наступления. Зловещие вспышки вражеских ракет над деревьями уходили все дальше и дальше.

Вот наконец она, таинственная земля чужого берега! Ягодка шагнул из воды, с недоверием занося ногу над берегом, как над огромной миной. Казалось, ступит — и весь берег взорвется под ним. Ступил... и ничего не случилось.

Санитары и фельдшеры метались в темноте, подбирая раненых. С левого берега непрерывно прибывали новые волны десантников. Не пришвартовываясь, прыгали прямо в воду, навстречу плацдарму, бежали вперед, мокрые, горячие, стискивая гранаты в руках. Сагайда не стал вытягивать за собой плот. Уже не нужны ему плоты — отступать отсюда никто не собирается!

Решительно махнул рукой:

— Бросьте его! За мной!

Денис Блаженко, стоя по колено в воде, с силой оттолкнул плот на быстрину:

— Плыли до Черного моря!

XI

Саперы паводили переправу. Тут же, в кустах, играл оркестр. Музыканты упорно дули в свои трубы, обливаясь потом, изнемогая, как от тяжелой работы. Это действительно была работа. Они знали, что в данном случае поставлены здесь генералом не для того, чтобы развлекать, а с вполне практической целью: помогать саперам своими

маршами. Именно так смотрели на оркестрантов и сами саперы. Они уже по опыту знали, что музыкантский взвод — немалый помощник: под музыку мост вырастет значительно быстрее.

Музыканты играли в нарастающем темпе, саперы двигались все проворнее, работа горела у них под руками. Сваи несли бегом, доски несли бегом, все делалось только бегом. До самого утра работали в ледяной воде, согревались не спиртом, а собственной кровью да вот еще этими горячими маршами, которые неудержимо рвались с левого берега, требуя простора, звонких мостов на плацдарме, дальних дорог.

И все-таки к утру мост еще не был закончен. Утром над Моравой появилась вражеская «рама», и химки вынуждены были окутать все строительство дымовыми завесами. Однако стук топоров и молотков не затих и в дыму, бурные марши и сквозь дым требовали дорог. Шум предстоящих триумфов, радостных майских громов уже слышался бойцам в этих могучих ритмах, несущихся над незакопченной моравской переправой.

Лес перед будущим мостом ломился, трещал, запруженный артиллерией, машинами, обозами. Никому не стоялось на месте, каждый тянулся поближе к переправе, чтобы первым вырваться на плацдарм.

Хома со своими повозками бился в общей тесноте, ругался, поносил всех и вся, лез через головы вперед, крича, что, дескать, пачальник переправы приказал пропустить его первым. Конечно, Хома и в глаза не видел этого авторитетного пачальника, на которого все время ссылался, протискиваясь шаг за шагом к мосту. А тем временем — откуда ни возьмись — появился и сам воображаемый покровитель Хома. Налетел на орущего подоляка, остолбенел:

— Я? Тебе? Разрешал?

— Товарищ майор!.. Экстренный груз!..

— В сторону! — затрясся от возмущения пачальник переправы. — В сторону! В сторону!

Только что введенные Хомой в заблуждение и поэтому особенно злые артиллеристы накинулись с кнутами на его лошадей. В одно мгновение все повозки Хома очутились далеко сбоку, затиснутые в кустарник.

— Выставили!.. А-а, най его маме...

Хома сплунул и как ни в чем не бывало отправился искать новые возможности пробиться к мосту.

Неожиданно из-за леса прилетели первые снаряды. Враг начинал обстреливать переправу. Близкие взрывы ударили на берегу, заглушая звуки оркестра. Вскоре возле переправы остались только те, кто работал. Остальным было приказано рассредоточиться в лесу.

Хома не мог больше ждать. Раненые, на лодках эвакуированные с плацдарма, приносили далеко не утешительные вести. С ужасом оглядывались они на реку, словно не верили, что вырвались оттуда живыми. Хоме казалось, что судьба плацдарма зависит от него, что все там пойдет вверх тормашками, если он задержится со своим боевым грузом. Саперы работали уже под обстрелом. Среди них были раненые.

Хаецкий сел на коня.

— За мной! — скомандовал он ездовым. Ездовые не спрашивали — куда.

Молодые деревца забились под копытами лошадей, затрещали под колесами. Выхав на просеку, старшина вырвался на своем жеребчике вперед:

— Гони за мной!

Погнали что есть духу.

Будь что будет! Хома решил попытать счастья у соседей. Он знал, что справа, выше по течению, строит для себя мост «Сестра», соседняя гвардейская дивизия. Еще выше наводило переправу казачье соединение. По дороге Хома узнал от встречных, что мост «Сестры» тоже готов только частично и саперы там работают под огнем.

— А у казачат?

— У казачат заканчивают.

Хома подался к казакам.

Солнце поднялось из-за леса. Чистое, по-весеннему светлое небо синело над просекой. Тихо, торжественно набухали почки на деревьях. О, как эти деревья оденутся через неделю, как закрасуются буйно и весело!.. Но где будет в то время Хома? Дождется ли он зелени в этом году? Может быть, уже сегодня осиротеют его дети? «Явдошка, дружина моя любимая! Сыны мои, Миронко, и ты, маленький Ивась! Чи видите вы, где ваш батько сейчас по свету мыкается? Смотрите, родные, в эту сторону!.. Если увидите, что среди чистого неба молнии на западе бьют, — то и меня в них увидите. Если услышите, как издалека гром на голые деревья рушится, — то считайте, что и татко ваш в том громе... Бо то не гром гудит, то гудит наш плацдарм».

За Моравой на десятки километров ухали и ухали пушки. Иногда даже слышно было, как постукивают на плацдарме пулеметы — тонко, дремотно, по-птичье. Словно где-то долбят кору на деревьях неустойчивые дятлы. Что там сейчас творится? Как чувствуют себя товарищи? Перед глазами Хома проносились страшные картины. Он знал, что это значит — удерживать плацдарм без артиллерии. Правда, еще утром несколько легких батарей были переправлены за реку на плотках. Но разве их хватит? Мосты нужны, мосты, мосты!..

Тревога не покидала Хому всю дорогу.

Когда он привел свои повозки к казачьей переправе, по ней уже потоком двигались войска. С холма по отлогому склону влетали на мост всадники, орудия, кухни, транспортеры, — в кавалерийском соединении все это двигалось одновременно. У переправы стоял генерал в черной войлочной бурке, время от времени подгоняя своих казаков:

— Галопом! Пулей! Пошел!

Войска вгонялись в переправу, как в обойму, стремительно вылетали на западный берег, разветвляясь там по дорогам. А из-за пригорка уже напирали другие, неслись горячим, шумным потоком, конь к коню, колесо к колесу.

Генерал пропускал своих в первую очередь. «Гости» пока что должны были ждать в стороне, с завистью поглядывая на уплотненную до предела лавину конников, хозяев переправы. Здесь Хома встретил нескольких старшин-однополчан. Они кляли на чем свет стоит казачьего генерала, который на лету выхватывает «гостей» из колонны и без разговоров спроваживает вместе с лошадьми в сторону. Сейчас старшины, раздобыв где-то красные кубанки, маскировали своих ездовых под казаков. У Хома кубанок не было. Да и как он замаскирует, скажем, своего Каленика? Ведь у Каленика будто на лбу написано, что он пехтура. Хома, не теряя времени, проинструктировал ездовых, как им надлежит держаться. Каленику пригрозил:

— Ты мне чертом смотри!

— Есть! — промычал Каленик.

— Помните за мной!

Пришпорив коня, окваченный холодком решимости, Хома бросился в общий движущийся поток. Ездовые дружно пробивались за ним. Сверкая зубами, огрызаясь налево и направо, Хома в конце концов сбил конем

какую-то захудалую казачью кухню, втерся на ее место и, под нагайками сдерживая нажим, втиснул между казаками своего совсем озверевшего Иону. Теперь все. Стоит затесаться одному! Через минуточку-две Иона, сдерживая лошадей, пропустил вперед себя всех своих минометчиков. Их сразу подхватило, понесло. Только б на мост, только б ступить на первую доску! Оттуда уже никакой генеральский окрик, никакая сила не повернут их вспять.

Мчась рядом с повозками, Хома расстегнул телогрейку, выставил грудь, чтобы звенела «Славой» и «Отнагой». Может быть, заглядится генерал хоть на секунду, zalюбуется таким казачиной!.. Лихо осадил коня вплотную перед генералом, заслоняя от него своих ездовых.

— Товарищ генерал!

Первая подвода Хома влетела на мост.

— Товарищ генерал!!

Вторая подвода протарахтела на мост.

— Товарищ генерал!!!

Третья подвода вырвалась на мост.

— Да что ты мне заладил: генерал, генерал... Пьяный или плетки хочешь?

Четвертая подвода зазвенела на досках... Все! Хома сверкнул зубами, дал шпоры коню, метнулся за ней. Оглянулся уже на мосту. Генерал, которому он только что заговаривал зубы, смеясь грозил ему вслед тяжелой плеткой. Напрасно! Хома был уже отделен от него тысячеголосым бушевавшим валом, неудержимо напиравшим на мост.

За переправой вздохнулось легче.

Миновали перелесок, выехали в поле. Некоторое время двигались вдоль грунтовой дороги, запруженной казаками. Впереди, до самого горизонта, как маки на ветру, покачивались красные донышки кубанок.

Куда ехать?

Казаки сворачивали на север. Хоме падо было южнее, к своим. Он лишь приблизительно представлял себе, где сейчас может быть его рота. Попробуй разыщи ее в этой массе полков, уже развернувшихся по всему широкому плацдарму. Стрельба доносилась отовсюду, с каждым шагом слышнее. В ней натренированное ухо Хома явственно различало чихканье батальонных минометов — там, и там, и там... Чихкающих минов уже можно было насчитать не меньше десятка на широком, еще не остывшем после боя плацдарме. Но где рота Хома? Полагаясь

главным образом на свою старшинскую интуицию, Хаецкий искал своих где-то слева, там, где, извиваясь в луговых низинах, убегала за горизонт дамба. Между нею и приморавским лесом тянулась на юг широкая полоса открытой местности. Заболоченные балки, голые холмы, покрытые редким кустарником луга... Хома окинул взглядом эту пустыню и взял курс на юг, параллельно дамбе.

Бархатная илистая земля мягко зашуршала под колесами. Занесенное откуда-то половодьем прошлогоднее сено висело на кустах бахромой, показывая, как высоко еще недавно поднимались здесь весенние воды. Теплые поля, разогретые леса дышали по-весеннему свободно, посылая к нему прозрачные струи марева.

Вдоль всей дамбы тянулись окопы — незнакомые Хаецкому подразделения спешно занимали оборону. В некоторых местах, уже на самой насыпи, стояли орудия, и по тому, как они били — отрывисто, сердито, неослабно, — Хома догадывался, что противник где-то недалеко за дамбой.

Хома торопил ездовых. Вырывался на своем конике далеко вперед, возвращался к тяжелым повозкам и опять нетерпеливо рвался вперед. Если бы мог, то, кажется, сам впрягся бы в эти горы ящиков и тянул их быстрее к огневой. Прибыть вовремя, доложить Антонычу!.. Так, мол, и так.. Получайте!

Ездовые не жалели батогов, пена ключьями летела с лошадей.

Хотя плацдарм был уже достаточно широк и внешне положение казалось более или менее устойчивым, Хому все острее охватывала тревога. По многочисленным, на первый взгляд незначительным приметам он определял, что дела неважные. Почему так часто скачут всадники-связные от насыпи к реке и обратно? Почему так лихорадочно суетится народ, торопливо роя окопы вдоль всей дамбы? Почему артиллеристы, скинув телогрейки, не отлучаются ни на секунду от своих орудий и стоят возлох в напряженных по-охотничьи позах? Раненых много. Одни ковыляют к лесу сами, других несут на палатках. И все обращаются к Хоме с одним и тем же вопросом:

— С переправы? Переправа готова?

Небо дрожит, как натянутое. Спаряды воют над головой, стаями летят к лесу. С характерным пощелкиваньем бьют вражеские самоходки, замаскированные в оврагах за дамбой.

Хаецкий на ходу расспрашивает раненых про свой полк. Вот уже начали встречаться люди его дивизии. Где-то здесь рядом, левее, и однополчане Хома. Раненые выглядят страшно. Измученные, бледные, в грязи... Некоторые хромают, смертельно усталые, у иных еще горит в глазах лихорадочное боевое возбуждение. Никто из них не обращает внимания на снаряды, рвущиеся совсем близко на опушке, словно эти разрывы — пустяки в сравнении с тем, что им пришлось пережить.

Тем временем над Моравой в высокой голубизне закружились «юнкеры». Стрекотом зениток встретили их переправы. Не опускаясь, самолеты капнули косыми бомбами, и гулкие леса застонали. Над берегами поднялись дымовые завесы, пышные, густые, ослепительно белые на солнце.

Стрельба приближалась. Весь ясный горизонт на западе сотрясали неестественным первым громом. В разных местах над открытым плацдармом высоко взлетали огни ракет, жутко бледные при дневном свете.

Снаряды ложились все ближе. Хаецкий вел свой обоз у самой дамбы, чтобы на случай артналета ездовые могли прыгнуть в первые попавшиеся окопы. Испуганные лошади, чувствуя опасность, летели вихрем, готовые выскочить из шлей. Снаряды уже рвались слева, справа, спереди, сзади. Хома, оглушенный взрывами, не заметил, как очутился против своего батальона. С насыпи на него смотрело множество знакомых лиц, которых он почти не узнавал. Размахивая руками, кричали:

— Падай, падай!

Ездовые, соскакивая с передков, бросались в ближайшие окопы. Хома, тяжело дыша, с ушами, полными звона, тоже свалился на чьи-то тела и оказался лицом к лицу с Маковеем.

— Маковей!

Паренек бросился в объятия Хома.

— Ты с переправы, Хома? Что привез?

— Мины, гранаты...

— О, гранаты!.. Нужны до зарезу! Мы уже пять контратак отбили! Такое тут творилось! На артиллеристах горели рубашки, приходилось бить по танкам с расстояния в полсотни метров!..

— Где Антоныч? Надо доложить ему...

— Докладывай Чернышу. Антоныч... отвоевался.

— Как так?

— А так... Вот он возле моего окопа...

Хасцкий высунул голову за бруствер. Вытянувшись на плащ-палатке, лежал Кармазин в своих потрескавшихся, разбитых сапогах. Смотрел прямо на Хому, напряженно открыв рот, словно хотел что-то громко крикнуть и не мог. Муравьи уже гуляли по его посеревшему лицу.

Хому затрясло, как в лихорадке. Лицо его судорожно перекошилось от лютой боли, сжимающей горло. Он сел в углу, стиснул тяжелые кулаки:

— О, до каких же пор это будет? До каких пор, а?..

Маковсея вдруг охватил ужас. В самом деле, до каких пор? И кто на очереди?

Как только кончился артналет, Хому вызвали к командиру полка. Самиев с несколькими офицерами стоял под дамбой. Сегодня все они были с автоматами в руках, как рядовые.

— С переправы? — встретил Самиев Хаецкого, не ожидая формального рапорта.

Хома доложил скупо и невпопад. Все время он думал об Антоне.

Узнав, что Хома переправлялся совсем в другом месте, «хозяин» не стал его дальше слушать. В другое время он отметил бы старшинскую смекалку подлявина, похвалил бы его за то, что он первый прорвался на плацдарм с обозом боеприпасов. Но сейчас Самиев, видимо, думал о другом. Не выслушав Хаецкого до конца, отвернулся и заговорил с офицерами о всаднике, приближавшемся со стороны леса.

— Казаков?

— Он.

Полчаса назад Казаков был послан на переправу узнать, каковы там дела. Сейчас он во весь дух гнал обратно. Посеревший, с расстегнутой грудью, подскочил к командиру, доложил, не вставая с седла:

— Переправа разбомблена. Начинают снова.

XII

Дамба напоминала собой гигантские соты: яма на яме, окоп на окопе. В ячейках рядом стояли солдаты и офицеры, разведчики и штабисты. Всех, кто был под рукой, командир полка поставил в оборону.

Хома, вытащив из окопа тело убитого пехотинца, занял готовое укрытие на самой дамбе. Соседями Хома были справа — бронбойщики, слева — Маковей со своим аппаратом.

Маковей этот день казался неестественно длинным, бесконечным. Солнце, остановившись посреди неба, как будто уже не движется дальше. Отбито пять контратак... Сколько еще их придется отбить до ночи?

Наступление в первые часы после форсирования реки разворачивалось довольно успешно. Полк, выбив решительным ударом противника из леса, отбросил его за дамбу. Многие думали, что теперь наступающие подразделения пойдут и пойдут вперед, не задерживаясь. На рассвете комбат Чумаченко наметил было свой будущий КП у станционной водокачки, едва видневшейся в сипевой мгле на горизонте. Самоуверенность Чумаченко никого не удивила, хотя до водокачки было еще много непройденных километров, а на самой станции еще гудели немецкие поезда. Среди комбатов уж давно выработался дерзкий гвардейский обычай — под свои будущие КП заранее выбирать пункты, еще занятые врагом. В общем, расчет был верный: раньше или позже, но комбаты со своими штабами неизменно появлялись там, где наметили.

На сей раз дело обернулось иначе. В самый разгар наступления неожиданно, почти в спину атакующим, ударили вражеские танки. Они зашли откуда-то слева по балке, смяв на открытой местности пехоту левого соседа. Самиев приказал батальонам немедленно отойти снова за дамбу. Возвращаясь по голому полю под шквальным огнем, батальоны понесли значительные потери. В это время минометчики и потеряли своего Ивана Антоновича. До насыпи его донесли еще живым. Он умер незаметно, когда рота уже залегла на дамбе рядом с другими искомсанскими подразделениями полка и отбивала первую бесшесную контратаку. Это было утром. Тогда здесь еще стояла полковая батарея легких пушек, которые, собственно, и решили судьбу предыдущих схваток. Несколько подбитых вражеских машин сейчас стояло в балке перед самой дамбой — результат славной работы батарейцев. Но самой батареи здесь уже не было. Самиев перебросил ее на помощь соседу далеко на левый фланг, куда сейчас перенесся центр боя. Там противник, прорвавшись через

дамбу, постепенно вклинивался в плацдарм, стремясь снова выйти к Мораве.

Маковей то и дело тревожно посматривал туда.

Хома тем временем углублял свой окоп, показавшийся ему слишком мелким.

— Это теперь моя хата, Маковей... А все хозяйство — десяток гранат...

Разгрузив свои повозки, Хома передал их в распоряжение санитаров, которые повезли на них раненых к реке. Боеприпасы, доставленные Хомой для своей роты, были распределены поровну между всеми минометными подразделениями полка. Хома не жалел: пусть все пользуются, лишь бы с толком.

— Хуже всего, что местность кругом танкодоступная, — через бруствер жаловался Маковей Хаецкому. — Если он нас столкнет отсюда, с этой насыпи, никто не добежит до леса... Передавит среди поля гусеницами...

— Ячейки держись, — мрачно посоветовал Хаецкий.

— Ура! — неожиданно закричал Маковей, прижимая трубку к уху. — Иптап пришел!.. Иптап!

Услышав это слово, бойцы выставили головы из окопов, радостно всматриваясь в опушку. Иптап! Истребительный противотанковый артиллерийский полк... Гроза фашистских танков, надежда гвардейской пехоты! Не раз уже бойцам приходилось видеть блестящую работу иптапов. Вооруженные новейшими скорострельными пушками, подвижные, летучие, как молнии, они неутомимо носились по фронту, появляясь неожиданно то тут, то там — в местах наибольшей опасности. Прямо с марша вылетали на поле боя, разворачивались с ходу, били без промаху!

— Где иптап, Маковей? — посыпались на телефони-ста вопросы. — Где ты его видишь?

— За речкой, у переправы, стоит наготове! «Хозяину» оттуда кто-то передает...

Последние слова Маковея потонули в сплошном грохоте. Противник открыл огонь по всему плацдарму одновременно. Ударил из всех видов артиллерии: из самоходок, танков, тяжелых минометов. Плацдарм закипел на десятки километров, от края до края покрылся огромными пузырями взрывов.

Маковей бывал во всяких переделках, но, пожалуй, впервые попал под такой обстрел. Это был даже не обстрел, а сплошной, всепоглощающий шквал огня, воющий

смерч рвущегося металла и поднятой на воздух земли, тяжело бушевавший над людьми. Исчезли паузы между залпами. Голова еще зависла от предыдущего взрыва, еще сотрясенная земля сыпалась в окоп, а воздух уже опять качался, завывал, пружинил, втискивал тебя в землю. Удар близкой молнии, горячее урчанье чугунных обломков, и снова пескочаемое вытье, вытье, вытье...

Забившись на дно ячейки, спрятав под себя аппарат, как нежное живое существо, Маковей пронзительно заклипал в трубку:

— «Земля», «Земля», «Земля»...

— Чего тебе? — кричали на него из батальона. — Сиди там и дыши!

В самом деле, что ему нужно? Ему просто нужно услышать человеческий голос, убедиться, что линия действует, что все на своих местах. И снова:

— «Земля»!.. «Земля»!..

На этот раз ему никто не ответил. То ли не хотели, то ли связь порвало, разметало снарядами?.. Маковей похолодел.

— «Земля», — взмолился он и едва не заплакал в трубку. — «Земля»...

А «Земля» молчала. Все вокруг вихрилось, оглушало, обжигало горячей воздушной волной, присыпало сверху. Неужели никто не откликнется? Маковей вдруг почувствовал себя заброшенным далеко, на край света, забытым, обессиленным, беспомощным. «Где ты, Хома? Где ты, Роман? Где вы, товарищи? Связь моя порвалась, аппарат молчит, погибаю!..»

Может быть, только сейчас, в эту минуту, он, беззаботный Маковей, сразу и до конца постиг, какое значение имела для него эта тонкая нитка красного кабеля! Она соединяла его с командными пунктами, с соседями и с тылами, соединяла в конце концов с самой родиной. Пока она действовала, парень чувствовал себя твердо и уверенно. А порвалась — и все вокруг как бы заслонилось тучей, дохнуло на солдата вихрящейся пустыней, рушилось на глазах, теряя прочность и смысл. Уже не нужно ему ни девчат в красных сапожках, ни весенних песен на просторе, — уже он задыхается в своем тесном окопе, как в наглухо заклепанном котле. Так вот как страшно остаться без этой нитки! Нечем без нее дышать в жаркой ячейке, тесно, одиноко и жутко сидеть здесь! Маковей решительно поднимает голову. Дым тя-

желыми бурунами бродит над плацдармом, как над разворстывшим кратером гигантского вулкана. Бьют и бьют огни!

«Побегу!» — решает Маковей, поднимаясь.

— Куда? — откуда-то снизу кричит ему лейтенант Черныш. — Сиди, пока не утихнет!

— Порыв!

— Сядь, говорю!

Маковей присел в своей норе. Немая трубка стиснута в его застывшей руке. Не зумерит онемевший аппарат.

А плацдарм грохочет. Разрывы разворачивают, сотрясают, рвут дамбу. В поднятой на воздух земле мелькают, поблескивая, сплюснутые алюминиевые котелки, колеса станкача, чьи-то желтые сапоги... Может, Антонича? И солнце еще светит, и небо еще иногда прорывается сияющей синевой сквозь бурлящие тучи земли и дыма, а Маковей этот день кажется ненастоящим, неестественным, фантастически уродливым. Как будто земля уже выскочила из своей орбиты и, разваливаясь на куски, летит куда-то вверх тормашками, и некому ее поставить на место.

— «Земля!» — снова неистово молит Маковей в трубку. — «Земля»!

О, если бы она ответила! Если бы ожил его изорванный кабель, его родной живой нерв! Все на свете вернулось бы к Маковею... Все вокруг сразу приобрело бы прочность, целесообразность и ясность. Тогда ему ничего не было бы страшно! Не давили бы на него вот так эти тяжелые пласты зноя, свиста, стали, что, завывая, пропосытся над ним в чужом, затянутом тучами небе... Когда этому будет конец! Когда это утихнет! Почему лейтенант не пустил его бежать на линию? Может быть, приказано сниматься, отступать за Мораву? Ведь ясно, что после этой канонады сюда двинутся танки... Сейчас уже каждому понятно, что батальонам не усидеть на этом чертовом пятаке! Отступать, пока не поздно!.. Может быть, в окопах уже ни души, может быть, Маковей остался один-одинешенек на всей этой дамбе?

Сквозь сплошной грохот слышно, как размеренно, с беспощадной неутомимостью работающих станков бьют гитлеровские самоходки. Как будто работают сами, без людей, автоматически разряжаясь и опять автоматически заряжаясь из неисчерпаемых погребов. Кажется, что это комбинированное истязание металлом, грохотом, газом,

свистом никогда не кончится, не уляжется, не затихнет; пока не доведет несчастного Маковеева до безумия.

Однако кончилось, улеглось. Окутанная дымом насыпь стонала, словно огромное живое тело, изуродованное, порванное на куски. Раненые звали на помощь. Соседи перекликались между собой, чтобы узнать, кто из них есть, а кого уже нет. Хома, черный как черт, выбрался на поверхность и положил на бруствер тяжелую связку грапат.

— Теперь беги! — крикнул Черныш Маковееву.

Маковеев стремглав бросился вниз. Под насыпью он замстил майора Воронцова. Стоя среди лежащих вповалку раненых, майор, едва сдерживая раздражение, успокаивал окровавленного бойца, который боялся, что все уйдут, а его бросят.

— Никуда мы не уйдем, никого не бросим, — сердито заверял майор. — Идти будем только вперед. Я уже послал гонца за знаменем.

XIII

Для Воронцова этот день был особенно тяжелым. Задержка с переправой, неустойчивость общего положения на плацдарме, прорыв немецких танков на левом фланге, изурительные контратаки, значительные потери — все это вызывало кое у кого из личного состава неуверенность и подавленное настроение. Последний артиллерийский удар, казалось, не оставил на дамбе ни одной живой души. Но дым рассеялся, убитых и раненых снесли вниз — их оказалось меньше, чем можно было ожидать, а из окопов снова выглядывали замурзанные, сразу похудевшие, напряженные лица.

Нахмуриw косматые брови, замполит проходил вдоль дамбы, задерживаясь иногда возле раненых, осторожно переступая через убитых. Вся дамба следила за ним, утомленными взглядами докладывала, как ей тяжело.

Воронцов знал, что это смотрят на него трактористы и доменщики, педагоги и десятиклассники, шахтеры и студепты... Смотрят не только своими собственными глазами, а и глазами своих семей, матерей и детей, вверяя ему коллективно свою судьбу. Майор знал и то, что каждый его непродуманный приказ, каждый его опрометчивый шаг и даже ошибочный жест прольется чьей-то

кровью здесь, под чужой дамбой, обернется сиротами и вдовами там, на родине.

«Ты не имеешь права быть опрометчивым. Ты должен действовать безошибочно». Но что такое безошибочно?

Правильно ли поступает он сейчас, решив с Самиевым держать свой полк на этом голом кулаке, вытянутом далеко к западу? Не обрекает ли он тем самым своих людей на поголовное уничтожение танками, которые, без сомнения, рано или поздно опять пойдут на штурм дамбы? Может, и в самом деле был прав начальник штаба, советуя до прихода артиллерии снять отсюда подразделения и положить их в оборону по лесным болотам вдоль Моравы: танки в лес не пойдут, потери в живой силе будут незначительны, плацдарм хоть и сократится, но будет удержан безусловно. Все это хорошо. Но если спянется полк Самиева, то правые соседи тоже вынуждены будут один за другим оставить дамбу, перекочевать в лес. А окопы? Кому достанется эта нарезанная ворами окопов дамба? Ведь здесь опять засядет противник. И потребуются кровь, много крови, чтобы выбить его вторично. Сколько тогда еще ляжет здесь этих шахтеров, и трактористов, и педагогов?! Самиев только что передал в дивизию: «Если танки слепя прорвутся и отрежут меня от реки и связи уже не будет — считайте, что я на дамбе. Дамбу не обстреливайте».

Воронцов поддержал это решение командира полка. Но хватит ли сил удержать дамбу под брошированным патиском «Шенрайха»? Не раскayтся ли позже Воронцов и Самиев в свое упрямство? Вот уже минометчики молча, по-деловому хоронят своего мудреца — Антоныча. Как жил, так и умер: спокойно, просто, малозаметно. Война есть война... Не все здесь умирают с блеском. Антоныча скосила пуля, когда он задержался возле одного из своих убитых новичков, чтобы взять его минометную трубу. Труба... Тысячи таких труб не стоят одного Антоныча! Но разве он мог примириться с тем, что она достанется врагу?.. Минутой позже Сагайда уже тащил через дамбу окровавленного Антоныча вместе с трубой. Теперь его хоронят. Черныш и Сагайда берутся за края палатки, опускают тело в пустой окоп. Хвеецкий смотрит на их работу исповедным взглядом.

— Тяжело, товарищ Хвеецкий?

— Ой, товарищ замполит... Так тяжело, будто всю землю на плечах держишь...

— А пужно... Ведь больше некому.

Воронцов проходит дальше. Отовсюду глядят на него сосредоточенные, до неузнаваемости изуровненные лица. Родные, близкие ему почти кровной близостью. О каждом бойце Воронцов думает, каждому он хотел бы сберечь жизнь. Но как? Что такое безошибочно? Не переоцениваешь ли ты своих людей? Правильно ли ты определил запасы их душевных сил?

Майор уверен, что самый лучший полк любой другой армии мира не удержался бы на этой проклятой дамбе в таких условиях. Но ведь его полк — советский. К нему нужно подходить с другой мерой. С новой мерой.

— Знамя несут! — неожиданно послышались с дамбы радостные голоса. — Знамя!.. Знамя!..

Словно целительный ток пробежал по утомленным лицам. Раненые поднялись, встали на колени. Все смотрели в сторону леса. Оттуда как раз выходили, направляясь напрямик через поле, полковые знаменосцы.

— Воронцов! — позвал майора командир полка. Он стоял под насыпью, поднявшись на поски, сердитый, первый. Замполит подошел к нему. — Ты видишь? — Самиев порывистым движением указал на знаменосцев. — Ты видишь, до чего додумались, головы? Ты видишь, куда они идут? Ну, покажу же я им, ч-чертям!

— Это я за ними послал, — медленно произнес замполит.

— Что? — Самиев весь потемпел, стал колючим, неприятным. — Ты? Ты? Ты? — застрочил он бешеной скороговоркой.

— Я знал, что ты не станешь возражать, — спокойно продолжал Воронцов, как будто не замечая вспышки гнева «хозяина». — Надо людей поддержать. Видишь: совсем замучились, гаснут.

— Воронцов, я тебя не понимаю! — нахохлился «академик» и, петушком отскочив от замполита в сторону, опять впился глазами в знаменосцев. Смотрел, хмурился, нетерпеливо поскрипывал на месте новенькими сапогами. Но чем ближе подходили знаменосцы, тем заметнее успокаивался командир полка. Затихал, остывал на глазах. Сжатые кулаки постепенно разжимались.

Знаменосцы пересекали поле. Изрытое, опаленное, оно местами было еще затянуто клубами седовато-бурого дыма. Знаменосцы уверенно продвигались сквозь эти клочковатые облака, ныряя и вновь появляясь в них,

будто двигались на огромных высотах среди естественных, разметанных ветром туч.

Дамба притихла в напряженном торжественном ожидании. Светлели угрюмые лица, расписанные высохшими ручьями черного пота. В смертельно усталых, пригасших глазах вновь вспыхивали живые, радостные огоньки.

Маковей, вернувшись с линии, опять стоял в своем окопе. Он одним из первых заметил знаменосцев, когда они только появились на опушке. Сейчас Маковей уже не думал о том, будет ли приказ уходить отсюда. Разве теперь это возможно? Ему стало вдруг совершенно ясно, что отсюда можно сниматься только вперед или героем погибнуть здесь, отстаивая знамя. И даже это страшное предположение сейчас не пугало и не смущало его. Более того, ему было даже радостно чувствовать в себе эту дерзкую готовность идти на все. Он смотрел на знамя сияющими, восторженными глазами.

Привыкнув видеть святыню полка в голове колонны, телефонист надеялся и на этот раз увидеть за знаменосцами колонну боевого подкрепления. И странным казалось, что она, эта колонна, не выпрыгнула из леса за знаменосцами. Однако она была! Вздвигавший Маковей в радостном порыве как бы наяву увидел ее. Увидел всех, кого привык встречать под такими знаменами на родине, на бурных первомайских демонстрациях, на всенародных праздниках: отцы и матери, сестры и одноклассники, пионеры и учителя — все они будто в самом деле шли сейчас за знаменосцами, спешили на помощь Маковею. Чужой глаз не мог их заметить. Они видны были только ему, приднепровскому соловейке, и его верным товарищам.

— Видишь, Хома?

— Вижу.

Знамя все ближе и ближе. Уже ясно видит командир полка Васю Багирова, его скуластое напряженное лицо, на котором еще сохранился загар сталинградского солнца. Уже видны командиру полка шершавые, узловатые руки башкира, крепко стиснувшие древко. Уже вспыхнул над чехлом пятилучный огонек золотого венчика, согревая своим светом сердитого, измотанного за день Самиева. И вот потемневшее, как волошский орех, лицо «академика» вдруг прояснилось. Предчувствие катастрофы быстро исчезало, воздух светлел, тесный пятак плацдарма словно раздался вширь, стал просторней. Даже дышалось

легче. Положение казалось уже не таким безнадежным, как до сих пор.

— Посмотри, Воронцов, как он идет, как он идет! — следя за знаменосцем, восторженно воскликнул Самиев. — С каким достоинством!.. Даю слово, есть что-то величественное в его походке!..

Самиеву казалось уже, что не Воронцов, вопреки его воле, послал гонца за знаменем, а что это сделал лично он, «хозяин». И когда знаменосцы приблизились к нему, неся перед собой святыню полка, Самиев мгновенно как бы вырос, выпрямился и отдал честь энергичным, вдохновенным жестом.

XIV

Как и надо было ожидать, шестую контратаку начали танки. Они выползли из широкой лощины, таявшейся перед дамбой, и, выстроившись в ряд, открыли сумасшедший оружейный огонь. Стояли несколько минут на пригорке, захлебываясь вспышками, дергаясь всеми своими стальными мускулами, как на привязи. Потом, прекращая огня, с грохотом двинулись на дамбу в лоб. Рябы, полосатые чудовища, они еще сохраняли на броне следы неснявшейся зимней окраски. Утром таких здесь не было, — видимо, только что прибыли, спешно переброшенные с какого-нибудь другого участка плацдарма.

За танками, пригибаясь, высыпали табуны эсэсовцев. Брели, стреляя наугад, пачками пуская в ясное небо ракеты, словно им было темно среди этого белого весеннего дня.

Дамба молчала. Высоко над нею в сопровождении юрких «ястребков» плыли на запад тяжелые бомбардировщики. Плыли спокойно, уверенно, как в далекое будущее. И хотя они не могли повлиять сейчас на судьбу защитников дамбы, все же после их перелета окопникам стало легче. Может быть, потому, что плацдарм в небе был шире, чем на земле: самолеты гордо понесли на своих крыльях красные звезды дальше на запад.

Дамба безмолвствовала. Бронебойщики замерли возле своих ПТР. Хаецкий положил руку на связанные в пучок гранаты, лежавшие перед ним на бруствере. Маковей, по примеру старшины, приготовил и себе связку. Ему казалось, что танки идут прямо на него и что полковое зна-

ми стоит под дамбой именно за его, Маковея, спиной. А Хаецкому между тем казалось, что знамя стоит как раз за ним, за Хаецким, а не за кем-либо другим.

Танки двигались, тяжело покачиваясь, тускло лоспясь боками, будто выбирались из воды на сушу какие-то доисторические земноводные. А за ними вихрились огни ракет, в бессильной злобе соревнуясь с весенним богатством солнца.

Маковей уже не видел ни солнца в небе, ни плацдарма, увитого дымами, ни австрийской станции, мрачно маячившей вдали. Весь мир перед ним сосредоточился в этих гроыхающих стальных машинах, надвигающихся на него. За машинами уже слышалось воинственное пьяное гоготанье наступающих гитлеровцев.

Дамба грозно молчала. Даже раненые сдерживали стоны, вслушиваясь в нарастающий железный скрежет. Знаменосцы окаменели внизу под насыпью, в глубоком — по грудь — окопе. Знамя стояло между ними посредине, как солдат.

Неожиданно, в момент, когда одна из машин, обходя подбитый утром бронетранспортер, повернулась боком к насыпи, ударила первая бронебойка. Выстрел ее в мощном, тяжелом грохоте танков прозвучал бледно, толко, почти нежно. Но машина сразу вспыхнула. Это было настолько неожиданно, что вражеская пехота на некоторое время оторопела. Но три других танка, не останавливаясь, ползли вперед, и эсэсовцы, придя в себя, еще с большим остервенением кинулись за ними.

Теперь уже по всей дамбе захлопали бронебойки. Захлебываясь длинными очередями, ударили станки. За спиной у бойцов дружно зачихали минометы. Один из танков шел прямо на Маковея и Хаецкого. Сви́репо подгребая под себя землю, дыша угарным зноем, он неуклонно приближается, вот он уже, дыбясь, пачинает взбираться на самую дамбу. Еще минута, и он приплюснет Маковея к земле, перевалится через насыпь и, перемалывая раненых, пойдет прямо на знаменосцев! Нет, он не пойдет на них, он ни за что не пройдет здесь! Маковей бросится на него с гранатами, бросится всем своим телом, лишь бы только он взорвался. Уже по танку бьют товарищи. Уже вся земля вокруг него вспыхивает взрывами, гремит, дымится. Хома уперся подбородком в бруствер, впился своим сразу озверевшим взглядом в машину, держит

наготове тяжелую полупудовую связку гранат. Еще немного... еще... еще...

И Маковей не дышит. Еще... еще... еще...

Вдруг, как будто сговорившись, Хома и Маковей мешаются одновременно. Есть! Там! Но проходят нестерпимо долгие секунды на грани жизни и смерти, пока под жирным закопченным брюхом машины ударяет громовой взрыв. Танк вздрогнул, дернулся на одной гусенице, и, неуклюже накренившись, застыл. Казалось, толкни его сейчас рукой, и он кувыркком покатится обратно вниз.

Пулеметчики секли по вражеской пехоте, меняя ленту за лентой. Вода закипала в кожах. Из-под насыпи с самой короткой дистанции залпами били минометы, обдавая горячим пламенем бойцов расчета. Мины густо ложились по всей ложине, табуны эсэсовцев растерянно шарахались среди взрывов.

Неожиданно слева, на другом краю насыпи, заглушая трескучую пальбу, прокатилось могучее горячее «ура». Маковей, меняя диск, взглянул туда и сам закричал изо всех сил: на самой дамбе, охваченные жирным пламенем, неподвижно стояли еще два танка. Горящие, они были сейчас видны всему плацдарму. Маковей вдруг почувствовал, как ему становится легко, просторно. В это время у него за спиной зазвучали радостные голоса минометчиков:

— Иптап идет!

— С казачьей переправы!

— В атаку!

Маковей не разобрал, кто первый подал эту команду: Самиев или Воронцов, бежавшие по дамбе с автоматами в руках. Казалось, она, эта команда, родилась сама собой и, множась, нарастая, полетела вдоль насыпи.

— В атаку! В атаку! В атаку!

И, как бы в ответ на этот призыв, весь плацдарм загремел капопадой. Выскакивая из окопа, Маковей оглянулся и на миг застыл, пораженный: седое поле до самого леса мигало множеством оружейных вспышек.

— Иптап!

Это был действительно он. Разворачиваясь с ходу, иптаповцы открыли массированный огонь по танкам, пытавшимся с фланга прорваться к реке. До сих пор их едва сдерживали полковые сорокапятники.

Маковей, передав аппарат напарнику, спрыгнул с насыпи в гущу атаки.

Гибель Ивана Антоновича была для роты горькой неожиданностью. Как-то сложилось так, что рота за него беспокоилась меньше, чем за других. И не потому, что Антоныча мало ценили. Наоборот, он пользовался среди бойцов гораздо большим уважением, чем, скажем, неуравновешенный, временами грубый и крутой лейтенант Сагайда. И, несмотря на это, Сагайду, особенно во время боя, оберегали внимательнее, нежели Кармазина. Странность этих отношений объяснялась, возможно, тем, что бойцы были глубоко убеждены в безошибочности и правильности каждого шага Ивана Антоновича. На вспыльчивого Сагайду иногда «находило» такое, что он, забывая о всякой осторожности, мог вслепую полезть на рожон. С Кармазиным этого никогда не случалось. Осторожный, рассудительный, вдумчивый, он в самые критические минуты не терял спокойствия и самообладания. Никто не помнил, чтобы он при каких бы то ни было обстоятельствах изменил своей степенной походке и пустился бегом, как другие. Даже во время последнего боя, когда подразделения, спасаясь от танков, ветром летели за дамбу, Кармазин в своей плащ-палатке бежал солидной рысдой.

Его не считали ни героем, ни трусом. Он был скромный работяга войны, честный, всегда уравновешенный. Именно поэтому он никогда не вызывал опасений за свою жизнь, все были уверены, что кто-кто, а он «дотянет»...

Иван Антонович и сам охотно поддерживал общую уверенность в том, что с ним никакой беды приключиться не может, что он непременно увидит конец войны. Поэтому, когда Сагайда перетащил его на своей спине через дамбу, никому не верилось, что это лежит, истекая кровью, Иван Антонович. И даже когда его засыпали землей, бойцам еще некоторое время казалось, что Ивана Антоновича не похоронили, а просто он ушел из роты по служебным делам, временно передав командование Чернышу.

У Черныша и Сагайды были равные звания, и вначале минометчики не знали, кто из них будет назначен командиром роты. Но бойцы, не сговариваясь, сразу же стали обращаться к Чернышу как к командиру роты. В первые минуты ему было неловко перед Сагайдой. Но Сагайда, заметив это, сам начал неприятный разговор.

— Принимай роту, Женька, — предложил он мрачно.
— Почему не ты?

В самом деле, почему не он? Ведь у него, Сагайды, фронтовой стаж значительно больший, чем у Черныша. В то время когда Черныш еще порхал где-то курсантом, Сагайду уже замечали в окопе суровые донские снега. Черныш не перемесил и половины той фронтовой грязи, какую пришлось перемесить Сагайде. Да, все это было так. Но Сагайда не позволял себе закрывать глаза на то, что Черныш «хоть и поздно встал, зато много взял». Знания его были более глубокие, чем у Сагайды, решения более гибкие и дальновидные. «У тебя мысль имеет ровный, анкерный ход, — не раз говорил Сагайда Чернышу. — А у меня все как-то налетами, с приливами и отливами».

Методом скоростной прицельной стрельбы из миномета, который недавно предложил Черныш, уже заинтересовалось высшее командование. Этот метод давал возможность взять от родного оружия значительно больше, чем предусматривалось нормативами. Воюя, командуя, Черныш непрерывно учился, из каждого боя делал поучительные выводы, словно и на войне оставался курсантом. Сагайда же полагался главным образом на огонь своего сердца, и хотя сердце у него всегда kloкотало и рвалось в бой, этого было, конечно, недостаточно... И вот теперь он должен уступить первенство. Это было обидно, но Сагайда не дал разгуляться своему самолюбию. Речь шла об интересах дела, а в таких случаях он умел быть беспощадным не только к другим, но и к себе самому. Ведь, по существу, он сам виноват, и нечего теперь лезть в бутылку. Надувшись не на Черныша, а на самого себя, Сагайда ответил, как думал:

— Ты сам знаешь, почему не я. У тебя больше данных, тебе и поле деятельности шире. И — не ломайся!

Вскоре после этого разговора Чернышу передали из штаба официальный приказ: он назначается командиром роты.

Прошло несколько дней. Морава уже стала для гвардейцев глубоким тылом. Плацдарм теперь не воспринимался как плацдарм — он был необъятно широк! Пересекая с упорными боями Восточную Австрию, полки постепенно приближались к австро-чешской границе. Здесь бои приобрели своеобразный характер. В большинстве это

были ночные короткие атаки, молниеносные штурмы укрепленных высот и дорфов¹.

Каменные мрачные дорфы... Они лежали, словно зарывшись в землю, отгороженные один от другого валами крутых холмов с ветвистыми виноградниками на склонах. Советским бойцам приходилось перебираться через голые высоты большей частью ночью, сквозь перекрестные струи вражеских пулеметных очередей. Стегало огнем отовсюду. Засады, западни, минные поля...

В глубоких долинах пылали населенные пункты. На окраинах сел, среди виноградников, ровной линией выстроились приземистые бетонированные бункера. В мирное время в этих бункерах хранилось вино. Теперь они служили удобными убежищами для эсэсовских банд. Виноградные лозы у бункерных пещер были скошены пулеметами, словно косами.

После нескольких дней тяжелого наступления полк Самиева оказался в нефтеносном Цистерсдорфском районе Австрии.

XVI

Как-то под вечер батальоны штурмовали большую железнодорожную станцию, раскинувшуюся на голом плоскогорье, утыканном вокруг на десятки километров нефтяными вышками. Еще до начала боя ударом авиации были разрушены все пути, ведущие от станции на запад, и она сразу превратилась в огромный тупик; отрезанный, замкнутый со всех сторон. Десятки пузатых цистерн с горючим, сгрудившись на путях, гулко лопались, сгорая в собственном огне. То в одном, то в другом месте рвались начиненные боеприпасами вагоны. Несколько паровозов еще кряхтели в тупиках, фыркая белым паром. Вся станция была охвачена огнем: корежась на ветру, яростным пламенем пылали крыши амбаров, из края в край бушевал дым. Пустынные, выжженные поля на подступах к станции вихрились взрывами, бушевали седой заметью поднятой ветром пыли. В этой замети короткими перебежками наступала пехота.

Близился вечер.

¹ Д о р ф — деревня (нем.).

Хома со своим громоздким транспортом стоял, замаскировавшись, в одном из оврагов, в километре от станции. Может, и здесь пробивалась из земли молодая зелень, может, и здесь весна заявляла о себе, но Хома не замечал ее. Ему казалось, что опять возвращается ненастная осень. Ветер разгуливался, собирался дождь. Низко над землей нависли темные косматые тучи, стремительно летя против ветра. Потемнели посадки, пригибаясь к дорогам. Нефтяные вышки, четко очерченные днем, сейчас, в сгущавшихся сумерках, едва маячили на близких и дальних холмах. Только станция горела все ярче, грохотала, билась среди поля гигантскими черно-багровыми крыльями дыма.

Поле жалобно стонало, нагоняя на Хому тоскливые думы. Вспоминался родной дом, жена, вспоминалось все то, до боли влекущее, что могло осуществиться только после войны. Хотелось бы пойти к нему пешком, швырнув здесь все о землю, навеки забыв об этих трассирующих снарядах, которые, светясь и завывая, рассекают потемневший воздух у самой земли... Это была одна из тех минут, когда солдату чего-то остро недостает, когда сердце у него вдруг без причины защежит и он неожиданно почувствует, как далеко зашел, как трудно вернуться обратно, какие холодные дали отделяют его от родного края. В такие минуты Хому неудержимо тянуло к своим огневикам. С ними на переднем крае, в самом сердце боя, он чувствовал себя увереннее, чем здесь, в необстреливаемом овраге, но без них, без своих огневинок. Поэтому, как только стало известно, что первые подразделения ворвались на территорию станции, Хома сел на коня и махнул ездовым:

— За мной!

На станции еще все трещало и дышало жаром, когда Хаецкий во главе своего обоза ринулся через переезд. Колеса подпрыгивали на развороченных рельсах, лошади путались в оборванных телеграфных проводах, а ездовые гнали все быстрее. Обгоняя один другого, они с разгона влетели в пристанционный поселок, как в огненную просску. Обвалившиеся стены, спесенные крыши, изломанные заборы... Вся улица изрыта свежими воронками, на дне которых еще белеет устоявшийся дым. Храпят чуткие кони, втягивая ноздрями тяжелый смрад тлеющего тряпья, горелой сажки, газа, недавно разорвавшихся мин. Ветер с шумом раздувает пламя, и оно бьет жаркими

хлопьями из дверей пустых, гулких пакгаузов. Слышно, как раскаленные гвозди, срываясь с покореженных железных кровель, свистят, словно осколки.

Пехота, заняв первые кварталы, уже вела бой где-то в центре, но пули еще жужжали вдоль улиц и переулков. Хаецкий, развернувшись со своим транспортом на перекрестке, кинулся на северную окраину, куда, как ему казалось, углубились и его огневики. Проехав узким изломанным переулком и не встретив однополчан, Хома из осторожности остановил повозки и, передав коня ездовым, пешком отправился искать своих.

Все больше темнело, стал накрапывать дождь. Нигде никого не было видно. Дома, мимо которых проходил Хаецкий, злоеподе смотрели на него темными провалами окон. Может, потому, что, пройдя улочку из конца в конец, он не встретил никого из своих, все окружающее особенно остро пахнуло на него чужбиной... Мелкий дождь, усиливаясь, хлестал в лицо как-то враждебно.

В конце улочки Хома остановился. Дальше тянулся пустырь, загроможденный разбитыми машинами и тракторами. «Вот бы добыть разрешение и послать один домой! — подумал мимоходом Хома. — Какая радость была бы в колхозе! Хаецкий с фронта трактор прислал! А то бабы лопатами землю ковыряют...»

За пустырем виднелись длинные мрачные пакгаузы. «Склады, — мелькнуло у Хома. — Может быть, с овсом? Добре, если с овсом! Можно будет запастись для лошадей!» У одной двери суеилось несколько фигур. Как будто рвались внутрь, высаживая дверь прикладами. «Наверное, наши разведчики». Хома через пустырь разогнался к ним. И вдруг со всего разбегу дернулся и оцепенел на месте. «Фу-ты, нечистая сила!..» Спрыгнув в ближайшую воронку, присел, выбросил автомат вперед.

У сарая были гитлеровцы.

Только сейчас Хома понял, что они не высаживают дверь, а, наоборот, заколачивают ее, чем-то обливая сверху. Вот у одного в руке блеснул огонек, и пламя лизнуло массивную дверь. В тот же миг Хаецкий выпустил очередь из автомата. Двое или трое сразу упали, остальные, пригибаясь, бросились наутек. Хома наводил автомат на каждого в отдельности и скашивал короткой уверенной очередью. Последнего пуля догнала уже на углу длинного сарая. Выскочив из воронки, Хаецкий бросился

вперед. Уже избегая по ступенькам, он услышал вылетающие из заколоченного сарая душераздирающие людские голоса. Десятки кулаков бьют в дверь, заложенную спаружи толстым ломом. Пламя уже подбиралось по двери к самой крыше. Размахнувшись, Хома ударил прикладом по огромному металлическому замку. Люди, запертые в сарае, сразу притихли в недоумении, но в следующую секунду закричали с еще большей силой — дико, страшно, нечеловечески. Хаецкий, обдаваемый пламенем, подскакивал к горячей двери, ударял по замку и снова отскакивал. Уже тлел на нем рукав, уже потрескался приклад, а замок все не поддавался. Хаецкий оглянулся вокруг, ища глазами что-нибудь более крепкое, чем приклад. Обломок рельса... Он был такой тяжелый, что при других обстоятельствах Хаецкий вряд ли поднял бы его. Но сейчас силы умножились, и он, схватив стальной обломок, размахнулся им, как молотобоец, и изо всех сил трахнул по замку. Больно отдало в руке, сверкнуло в глазах... Замок раскрылся. Едва Хома успел выбить его из петли, как дверь с грохотом распахнулась и из сарая с криком и визгом повалила плотная ошалевшая толпа. Искаженные ужасом, смертельно бледные лица мужчин и женщин замелькали мимо Хомы. Одни скелеты с остекленевшими, ничего не видящими перед собой глазами. Не задерживаясь, люди бежали сквозь пламя, стучали деревянными колодками по ступеням, рассыпались по пустырю. Хома пытался остановить их, но, будто одичавшие, они в ужасе шарахались от него.

Кидались наобум — кто куда. Уносились без оглядки подальше от пакгаузов, от света пожаров, в сумерки поля, в гудящую ветром темень...

Только одна слабенькая девушка, похожая в своих шароварах на лыжницу, услышав голос Хомы, остановилась, взглянула на него мгновенно округлившимися большими глазами и, припав к его плечу, забилась, затрепетала.

— Наши! — обессиленно заплакала она. — Ведь это же наши!

Хома бережно оторвал ее от себя и только сейчас, при свете пылающего сарая, заметил у девушки на рукаве желтую нашивку с коротким словом: *Ost*.

Хома не знал значения этого чужого слова, но сразу почувствовал в нем что-то поворное, унижительное, как клеймо. Схватил нашивку, сорвал ее и гневно швырнул под ноги.

— Сестра! — волнуясь, сказал он. — Далеко ж я тебя встретил, сестра!

Девушка посмотрела на свой изодранный рукав, потом на Хому, потом опять на рукав. Глаза ее, еще полные дрожащих слез, вдруг наполнились ярким светом радости, и она закричала:

— Бронислава! Радомир! Яя!

Кое-кто из бежавших стал неуверенно оглядываться, потом останавливался и, заметив советского солдата, бросался к нему как к защитнику. Через минуту Хому плотным кольцом уже обступили люди, запыхавшиеся, растерянные, возбужденные.

Рабы, невольники... Истощенные, бледные, будто годами не видали солнца... В беретах, в фуражках, в кепках, простоволосые... Блестящими, как после болезни, глазами смотрели они на него со всех сторон. Говорили на разных языках, тянулись к нему десятками рук. Перепуганные взгляды их находили опору в этом загорелом, обожженном стужами лице, в этой темной тугой шее, облитой сияньем близкого зарева. А Хома, веселый и радостный, поворачивался среди них своими широкими плечами, срывал с рукавов желтые, как гусеницы, нашивки и отбрасывал их прочь.

— Отныне вы свободны!

— Свободны! — Это слово повторялось на многих языках. — Свободны! Свободны!..

— Навсегда свободны!

У одного не было нашивки.

— Это француз, — объяснила Хоме землячка. — Мсье Жан... У них не было нашивок.

Старик француз закивал бородой, взволнованно зашептал:

— Же ву, же ву...

— Живу, говоришь? — Хаецкий приветливо хлопнул его по плечу. — Живи на здоровье, го-го-го!.. И больше не попадайся людоедам в лапы!

Невольники наперебой обращались к нему на разных языках. Хаецкий понимал далеко не все, но одно он постиг: он вернул этим людям самое дорогое, самое прекрасное — жизнь и свободу. Сознание значительности своего поступка наполняло его счастливой гордостью. Это он дал им нынешний ветреный вечер, и он дарует им простор широких дорог в родные края и все будущие радости жизни. Сегодня все это должно было оборваться,

кончиться для них навсегда. Сколько людских надежд и мечтаний задохнулось бы дымом в этом сарае, погибло бы под пылающей крышей!.. Когда-нибудь важные комиссии и строгие эксперты откапывали бы на этом месте обугленные кости, определяя по ним, кто это был заживо сожжен здесь. Но разве откапашь из-под пепла мысли, разве воскресишь мечты их сердец, уже нетерпеливо рвущиеся в свободную, окутанную сумерками даль?

Освобожденные взволнованно, наперебой рассказывали Хаецкому о себе. Они работали недалеко отсюда на нефтяных промыслах. Когда фронт неожиданно приблизился, фашисты согнали их на станцию, устроив на скорую руку транзитный лагерь в этих сараях. Охрана лагеря ждала со дня на день вагонов, чтобы увести невольников дальше на запад, на другие работы. Но когда события развернулись с молниеносной быстротой и стало ясно, что ни один вагон уже не выйдет за стрелку, рассвирепевшие эсэсовцы решили запереть барак на замок, облить горючей жидкостью и поджечь.

Среди освобожденных больше всего было чехов и поляков, несколько русских девушек и украинок, несколько французов и даже один араб, неизвестно где захваченный немцами. Услыхав про «арапа», Хома захотел непременно на него посмотреть. Все стали звать Мохаммеда. Но он уже исчез, перемахнув через насыпь в глухое поле.

— Скажите, куда же нам теперь? — горячась, спрашивали Хому девушки, увиваясь вокруг него ласточками.

Подолянин широким властным жестом указал на восток:

— Идите! До самого Владивостока путь вам открыт!

— Но ведь где-то должен быть комендант?

— Комендант? Я для вас комендант! Я вам говорю: топайте!

Девушки плакали от радости. Доставали свои паспорта и просили Хому сделать в них пометки. Это были страшные паспорта рабынь, изобретение новейшего рабовладельчества: «Arbeitskarte». В каждой карточке — фотография владелицы с большой деревянной табличкой на груди. На табличке — шестизначный номер. И тут же рядом — фиолетовый отпечаток пальцев. Надписи повторялись на двенадцати языках: русском, украинском, чешском, английском, французском... Для всех народов были заготовлены арбайтсарты!

Хома не читал. Остановившись посреди двора лицом к пылающему бараку, он огрызком толстого карандаша выдавливал через всю арбайтскарту: «освобожден, освобождена, освобожден, освобождена...»

Протянула свой паспорт и девушка, первой пришедшая в себя среди общей паники.

— Как же тебя звать, сестричка? — спросил Хома, особенно старательно выводя на ее арбайтскарте свою резолюцию.

— Зина, — ответила девушка.

— Кто же тебя дома ждет? Мамаша? Отец? Жених?

— Нет никого. Всех растеряла за войну. Один брат где-то в армии...

— К кому же ты вернешься?

— Как к кому? К нам, домой. У меня сейчас там все родные!.. Как перейду границу, так, наверно, буду обнимать каждого, кого ни встречу...

— Какая же ты худенькая, аж светишься...

Девушка заметно смутилась, словно в этом было для нее что-то постыдное.

— Поправлюсь... Наберусь сил...

— Набирайся, сестричка, набирайся... Счастливой тебе дороги!

Хома спешил, бой уже — слышно было — откатился за поселок, окутанный вечерними сумерками да багровыми заревами пожаров. У Хома не было времени спросить Зину подробнее, второпях он даже забыл спросить ее фамилию. А если бы спросил, она ответила бы: Сагайда.

Объяснив освобожденным, как им лучше всего выбраться за линию фронта, Хома кинулся разыскивать своих огневи́ков.

Он нашел их уже ночью на западной окраине. Гордый своим поступком, долго рассказывал товарищам о концлагере, о землячках, о французах и даже об «арапе», кипувшемся куда-то сослепу, так что не могли его и дозваться.

— Далеко не убежит, — рассу́ждали товарищи. — Рано или поздно все равно к нашим придет...

— Ясное дело... Теперь ведь все дороги к нашим ведут...

— А его, беднягу, тоже, поди, где-нибудь арапка с арапонятами ждет...

— А почему же нет? Человек есть человек...

Сагайда, накрывшись плащ-палаткой, не вмешивался в разговор, сидел задумчивый и молчаливый. Сестра Зина не выходила из головы. «Освобождаем же мы многих, — думал он, — может быть, в эту минуту кто-нибудь освобождает и мою сестричку, мою Зинку».

Долго еще потом шли по Австрии, и почти во всех деревнях встречали бойцы своих земляков и землячек, батрачивших у бюргеров. С хохотом рассказывали девчата, как менялись на глазах, становились добрее толстые бюргерши по мере приближения советских войск.

— Когда вы были на Тисе, моя хозяйка перестала драться и дала мне платье. Когда стали на Мораве, она прибавила мне кружку кофе. А когда вы вступили в Австрию, так начала даже вином угощать...

— Где она сейчас, старая волчица?

— Бросила все, спряталась где-то в бункере.

— А ты, значит, хозяйство сторожишь?

— К черту ихнее хозяйство! Теперь — нах хаузе, дом мой!..

— Не заблудишься? Попадешь ли отсюда в родные края?

— С закрытыми глазами... Сердце доведет!

Сагайда, встречая освобожденных девушек, каждый раз жадно вглядывался в их лица, втайне надеясь встретить среди них сестру, свою щебетунью Зинку.

А она, его любимая сестренка, в это время уже топала босиком по пыльным шляхам на восток, вдоль опостылевших дорфов и бункеров. Все искала кого-то глазами, вглядывалась из-под косынки в каждого встречного военного, стараясь найти среди них своего родного Володьку.

И все здесь для нее были как братья, а для него там все были — сестры.

XVII

В свободные часы Хома со своими ездовыми разбирал положение на фронтах. Для этого он доставал из полевой сумки пачку самых различных карт, вырванных из чужих атласов и учебников. Обложившись ими и потирая руки, точь-в-точь как начальник штаба, Хома говорил:

— А теперь, Иона, разберемся.

Иона-бессарабец пользовался особым вниманием Хома. Подолянин помнил, что, принимая новичка в ездовые, он

покаялся сделать из него человека. И надо сказать, бес-сарабег оправдывал надежды своего учителя. Хозяйственный, работающий и — когда надо — на удивление храбрый, он выполнял свои обязанности безукоризненно.

А между тем Иона, как и Ягодка, был совсем темный человек. Пробатрачив полжизни в имениях румынских землевладельцев, он и сейчас еще не совсем свыкся с новым положением и в обществе «восточников» болезненно ощущал свою отсталость. Всякий раз, когда приходилось расписываться в боеоборудовании за мины, его бросало в жар. Иона расписывался с большим трудом. Поэтому обращение Хома к нему звучало участливо и в то же время несколько иронически. «Разберемся...» На это приглашение Хома Иона поддавался довольно туго: сам дракула¹ не разберется в тех картах, где уж ему, Ионе, со своим батогом! Действительно, отпечатанные в разное время и на разных языках — немецком, венгерском, румынском, — эти карты представляли даже для Хома темный лес. Однако Хома, откусив зубами соломинку, дерзко пускался в этот лес, измеряя масштабы до Берлина. С какого-то момента измерение расстояния до Берлина утратило шуточный оттенок и воспринималось вполне серьезно.

— Сколько? — спрашивали у Хома ездовые.

А он, круто выгибая смуглую шею, заглядывал в карту, как в яму.

— Уже немного, най сго маме!

— Двести? Триста?

— Смотря куда пойдём, — уклонялся Хома от прямого ответа. — Может, нам и совсем не придется там побывать: видите, над Берлином навис Первый Украинский...

— А мы как?

— На нашу долю тоже работы хватит, — успокаивал Хома товарищей. — Мы их с юга за жабы возьмем! Думаете, им отсюда не больно? Думаете, дарма Гитлер за эту Австрию держится, как черт за грешную душу? А-а, качался б ты под осиновой веткой вместе с твоими геббельсами и геббельсеньятами!.. Все слышали, что майор Воронцов говорил давеча? Фашисты, говорит, называли Австрию своей южной крепостью. Одолеем ее — откроем настезь двери во всю неметчину, в самое настоящее бомбоубежище фашизма. Это сюда Гитлер эвакуировал свои

¹ Черт (рум.).

военные заводы. Это ж сюда удирали фашистские крысы из Восточной Пруссии, из Силезии и Померании! Видишь, Иона, Померанию?

— Где? — Иона доверчиво заглядывает в карту.

— Вот она кругом. — Хома накрывает ладонью Германию. — Где фашизм, там ему и помирение! Наша задача — отсюда, с юга их требовать. Пересечем вот этот кусок Австрии, а тогда, наверное, выйдем на Прагу. Освободим братьев славян и — дальше на запад. Эй, беда тебе, враже! Не ждал, верно, Гитлер, что так сложится. Держал этот закуток про запас, а мы уже и отсюда в ворота гремим!

— Сдавались бы, и всё, — говорили ездовые. — Разве им до сих пор не ясно, к чему дело идет?

— Заартачились! Пока ему автомат к горлу неставишь, рук не подымет...

— А некоторые уже переодеваются! Казаков вчера по глазам узнал одного такого...

— Гвардии разведчик!

— ...Стоит в толпе во всем гражданском, и уже белая повязка на рукаве. Обыкновенный себе австрияка. А Казаков ему автомат к груди: хенде хох, дескать.. И что ж вы думаете? Оказалось, под штатским у него и штаны офицерские и китель...

— Вот и верь их белым повязкам!

— Сейчас даже фашисты на своих воротах белые флаги вывесили.

— Знаем их... Сегодня идем с Островским мимо одного такого дома, флаг над ним белеет, а зашли внутрь — нет никого. В чем дело? Потом уже бюргерская батрачка все рассказала. Тут, говорит, фашист жил, старый член ихней партии. Как увидел, что невыдержка, вывесил белый флаг и бумаги все сжег. А потом в последнюю минуту все-таки удрал. Нервы не выдержали.

— Куда это они все удирают? К союзникам, говорят, к американцам?

— Не должны бы их союзники под свое крыло принимать. Ведь как-никак — союзники!

— А слышали, братцы, новость? — ухмыльнулся вдруг Хома. — Будто бы видный какой-то американский генерал недавно один из наших полков посетил...

— Каким это ветром его?

— Ну, каким... Союзник, в гости приехал, — покручивая ус, весело рассказывал Хома. — Обедал, конечно,

с генералами, а потом пожелал даже с простыми нашими солдатами разговор иметь... «Выстройте, будьте ласковы, мне роту, хочу ваших орлов кое о чем расспросить...» Союзник — ничего не поделаешь: выстроили, спрашивай, черт с тобой... Подходит он к одному усачу, вот вроде меня, и спрашивает: «Скажите мне, господин Хаецкий... Если бы вам лично в руки Адольф Гитлер попался... Какую бы вы ему кару назначили?» Задумался солдат, почесал затылок, а потом отвечает: «Господин янки! Я бы в таком случае вот что сделал. Беру большой железный лом, по-нашему — шкворень, распекаю в кузнице один его конец докрасна и потом холодным концом загоняю Адольфу... ну, куда... Ну, допустим в самое горло».

— Почему же холодным? — недоумевают ездовые.

— Вот и американца как раз это удивило... Зачем, говорит, холодным, а не горячим, докрасна раскаленным? А затем, отвечаю, чтобы вы его, этот шкворень, потом обратно выдернуть не смогли!..

— Здорово это ты придумал, Хома! — хохочут бойцы.

— Только вы про это ни гугу, — строго предупреждает Хома. — Наш разговор с американом — это пока что военная тайна...

XVIII

Со дня на день ждали окончания войны. В Берлине над рейхстагом уже реял красный советский флаг. Из конца в конец трещала фашистская империя, рушилась, летела в пропасть на глазах у народов. Гитлеровская армия перестала быть единым целым. Теперь она больше напоминала огромные моторизованные банды, мечущиеся по всей Европе под уничтожающими ударами советских войск. Казалось, вот-вот наступит час развязки и самые мощные радиостанции мира поздравят наконец человечество с долгожданным триумфом.

А между тем орудия все еще гремели на сотни километров, в городах клочкотали уличные бои, мосты, дома, храмы взлетали на воздух. Весенние поля все еще покрывались тысячами свежих окопов, Лилась кровь; как и раньше, бойцы ходили в жаркие атаки по нескольку раз в сутки.

Сейчас это давалось особенно трудно. Все уже чувствовали, как, приближаясь, торжественно шумит над

миром победа, все жили, упиваясь надеждами, заглядывая в будущее — в совсем близкое, сияющее, сказочно-прекрасное будущее.

Неужто и в самом деле настанет день без пожаров, без канонад, без крови и убийств? О, как хотелось каждому дожить до этого дня и хоть бы мгновение — хотя бы одно мгновение! — побыть в нем...

Для самиевского полка это «завтра» скрывалось где-то за рекой со взорванными мостами, за голыми возвышенностями противоположного берега, за фортификационными сооружениями, тянувшимися сплошной линией мрачных укреплений. Австрийско-чешская граница... Водный рубеж, пристрелянный врагом вдоль и поперек. Сегодня полки подошли к нему.

Войска сосредоточивались вдоль реки в многочисленных складках местности, в рощах и перелесках. Наверное, никогда еще этот глухой пограничный уголок австрийской земли не видел такого скопления людей и техники. Земля оседала под такой непривычной тяжестью. Стягиваясь в ударный кулак, уплотняясь, полки готовились к решительному штурму.

Все подступы к реке противник устилал огнем. Земля переднего края выгорела от снарядов, почернела, вымерла. Но по почам пехота ползла и ползла к берегу, залегая в камышах, нацеливаясь на запад тысячами глаз.

Евгений Черныш окопался со своими людьми в одном из крутых оврагов недалеко от реки. Тут же остановились и минометные роты двух соседних батальонов. Начальник артиллерии от имени командира полка приказал на этот раз свести все минометные роты воедино, чтобы испытать метод скоростной стрельбы, предложенный Чернышом. Больше десятка стволов встали рядом. Это была роскошь, какую полк сейчас мог себе позволить. Уже не надо было растягивать огневые средства на километры по фронту, прикрывая наиболее уязвимые места. Сегодня орудиям и минометам было тесно.

На время артподготовки Чернышу пришлось быть старшим, командовать объединенным огнем всех трех минрот. Сагайда в шутку окрестил его «капельмейстером сводного оркестра». Но Черныш сейчас был глух к шуткам Сагайды. Он с готовностью принял на себя обязанности старшего, чувствуя, что они ему по плечу. Но волнение не покидало его на протяжении всего дня. Ответст-

ренность, возложенная на него, как бы натянула все его мускулы и нервы.

Огневая позиция была почти готова. Черныш расположил ее по самому дну оврага, защищенного от противника крутым холмом. В круглых сырых ямах-ячейках стояли минометы всех трех рот. Объединенные в одну батарею, выстроенные в строгий ряд, они имели сейчас внушительный, грозный вид.

Расчеты работали дружно. Проверяли механизмы, ставили вехи, прокладывали последние ходы сообщений. Слева к огневой примыкал лес, и разросшийся молодой дубняк косяком заходил оттуда на самую огневую. Группа самых высоких деревьев, как нарочно, оказалась против взвода Сагайды. Надо было валить деревья, расширяя сектор обстрела, создавая перед каждым минометным стволом широкие ворота на запад. В другой раз Сагайда безусловно надулся бы на Черныша и стал бы доказывать, что тот по дружбе отвел ему самый худший участок на огневой. Но сегодня Сагайда принял это как должное. Черныш поставил его на первый взвод, которым раньше командовал сам. Это было почетно и льстило самолюбию Сагайды. Ведь неспроста Черныш передал свое любимое детище именно ему, а не молодому офицеру Маркевичу, который накануне прибыл в роту из резерва. Маркевич принял от Сагайды второй взвод, «самый легкий», выпколенный лучше других.

— Садись на готовое и смотри не отпусти гайку, — поучал Сагайда Маркевича, передавая ему взвод. — С такими гренадерами тебе и море по колено. А я не гонюсь за легким хлебом, пойду на первый, к молодым гражданам.

— Я тоже не ищу легкого хлеба, — обиженно заметил на это Маркевич.

— А все-таки если дают — бери. Значит, так нужно. Значит, считают, что мой хребет крепче твоего. Тебе, видишь, прогалину Черныш выделил, а я должен лес корчевать.

— Могу вам помочь, — предложил Маркевич.

— Если можешь — давай, быстрее разделяемся.

На том и сошлись. Сейчас бойцы обоих взводов дружно наступали на дубняк. Сагайда, раскрасневшись, тоже посылал с топором по огневой и лихо набрасывался на деревья.

А на склоне холма все глубже зарывались в землю ординарцы, телефонисты, наблюдатели соседних батарей.

Даже Маковейчик, который всегда избегал земляных работ, сегодня натер себе честные мозоли. Конечно, вместо того чтобы копаться в этой тяжелой австрийской земле, парень с большим удовольствием прошелся бы на руках по огневой, поборолся с товарищами или махнул бы в весенний лес, который высится рядом. Как там, должно быть, прекрасно! Озера, птицы, песни!.. Гудит весна в лесу, заглядывает в тесный, пропитанный сыростью окоп Маковея, зовёт-вызывает: «Бросай лопату, хлопец, выпорхни из своей норы на свет божий, махнем степями-лесаами! Покажу тебе свои чудеса, напою тебя березовым соком, улыбнусь тебе синими подснежниками!..»

— Прочь, не мешай мне! — кричит Маковей соседу-связисту, который напрашивается к нему в напарники. — Дай-ка развернуться!

— Да ты уж и так вымахал по грудь...

— А что же? Может, я последний окоп рою, для истории его оставлю!

— Давай на пару.

— А этого не хотел? Ишь какой падкий на дурняк! Видишь мои мозоли?

— Вижу... Тоже исторические?

— Тоже!

В это время с КП батальона, запыхавшись, прибежал Шовкун. Лишь только он влетел на огневую, как все поняли, что сейчас услышат радостную весть. Она светилась в теплом, затуманенном взгляде санитаря.

— Ясногорская вернулась! — крикнул Шовкун, сияя. — Уже в тылах батальона... Сегодня будет здесь!

— Ясногорская! — Шовкун кричал всей роте, а смотрел почему-то на Черныша. И все бойцы, словно сговорившись, посмотрели на Черныша. Лейтенант покраснел и, хмурясь, бросил офицерам:

— Пошли пристреливаться.

ХІХ

Забравшись с командирами рот на вершину холма перед огневой, Черныш терпеливо вел пристрелку. Как всегда в таких случаях, бил только один миномет. Честь пристреливать цель сегодня выпала расчету Дениса Блаженко. Стоя впризу и держа в руке дефицитную дымовую мину, Блаженко смотрел оттуда на офицеров так, словно ждал

сигнала вызывать землетрясение. Но Черныш не спешил с командами. После каждого выстрела наступала длинная пауза — офицеры, не торопясь, разглядывали цель, советовались, вели подсчеты.

День стоял ясный, хрустальный, с далекой видностью. Трепетный воздух мягко струился, как бы подымая своими волнистыми потоками высоты на том берегу, блиндажи, далекие деревья. Все плыло куда-то и в то же время оставалось на месте. Фронт притих, как перед бурей, лишь изредка кое-где лениво ухали пушки. Черныш знал, что завтра они заговорят иначе, — сегодня артиллерия еще только примеряется, работая с кажущейся бессистемностью и скупостью, чтобы не вызвать подозрений противника.

Все мысли Черныша невольно связывались сейчас с Ясногорской; все, что он делал, уже как будто посвящалось ей. Наверное, Шура не догадывается, как ее приезд отражается на чьей-то деятельности, на чьих-то настроениях... Вернулась!.. Неужели она и в самом деле с часу на час может появиться здесь? Чернышу трудно было это представить, не верилось, как в сон. Когда выдавалась свободная минута, он поглядывал с холма на дорогу, тянувшуюся вдоль леса к селу, в полковые и батальонные тылы. При этом каждый раз он смущался, подозревая, что соседи офицеры догадываются, почему ему не сидится возле них. А они, озабоченные пристрелкой, не замечали его волнения.

Дорога, по которой должна была приехать Ясногорская, жила обычной фронтовой жизнью. В направлении передовой двигались группы бойцов; проскакал верхом начальник штаба с несколькими помощниками и ординарцами; выползла на опушку артиллерийская кухня, запряженная знаменитым верблюдом, одним на всю дивизию, который дошел сюда от самой Волги; вот из-за поворота вылетает на своем конике Хаецкий, за ним еще одна за другой вытягиваются повозки, груженные боеприпасами. Может быть, Шура приедет с ними? Но на повозках, кроме ездовых, никого нет. Что ж это такое? Где она так долго задержалась? Хома грозит кому-то плеткой, сбивает верблюда с дороги... Еще кто-то едет... А ее нет. Нет.

— Ну и жара, — жалуется Чернышу один из его товарищей, капитан Засядько, расстегивая воротник. — Сюда бы сейчас ведро пива-холоднычка...

— Толстиков уже без пива клюет носом, — улыбаясь, кивнул Черныш на своего правого соседа, который, уткнув голову в руки, упорно боролся с наваливающейся дремотой.

Они только что кончили пристрелку и, удовлетворенные результатами, лежали втроем на верхушке холма, от печего делать перебрасываясь вялыми фразами. Давала себя знать усталость последних дней. Не хотелось подниматься, трудно было даже повернуть разморенное теплой истомой тело. Солнце припекало. Воронки, еще утром жирно черневшие на поле, сейчас посерели, высохли. Черныш, положив голову на планшет, закрыл глаза...

— Прекрасная, — слышит он поблизости. «О ком это? Конечно, о ней... Сегодня все думают о ней, все ждут ее».

— Кто прекрасная, капитан?

— Позиция, говорю, прекрасная, — поясняет Засядько. — И дс противника рукой подать, и укрыта хорошо...

— Да, да, прекрасная, — тихо соглашается Черныш, думая о Ясногорской. — Прекрасная... Прекрасная...

— Стоп! — Капитан вдруг поднялся, хлопнул себя рукой по шее. — Кажется, капнуло! Еще! И еще!.. Толстиков, проснись!

— Что такое?

— Дождь!

Офицеры, оживившись как ребята, вытянули ладони перед собой, радостно глядя в небо. Высокие тучки были почти незаметны, таяли в бледной синеве. А между тем дождь усиливался, падая, казалось, с чистого неба. Зашумел над лесом, приближаясь тысячным хрустальным шорохом, легко позванивая в деревьях.

Черныш лег навзничь, подставил обветренное лицо под приятные удары капель.

— Вы видели такое: солнце и дожди!

— Слепой дожди!

— Почему слепой? Наоборот, ясноглазый!..

Все гуще и гуще осыпало руки, лицо. От каждой капли радостная дрожь пробегала по всему телу. Уже вокруг, над лесом и над холмистыми полями, засверкали мириады блестящих жемчужных нитей. Словно небо, играя, весело стреляло бесчисленными тонкими очередями, и каждая капля-пуля, проносясь в этой очереди, сверкала, слепя глаза. Чернышу казалось, что после этого весеннего дождя все сразу буйно зазеленеет, зацветет. Припомнил, как в прошлом году в Трансильвании, изнемогая в горах от

зпоя, бойцы с жадностью высматривали тучи... Реки остались внизу, ручейки остались впизу... Воды, поды! А небо было безводным, жестоко голубым. Потом однажды показалась на горизонте дождевая туча. Будто сама родина, услышав мольбы бойцов, посылала им издалека свой подарок. Расстелив на горячих камнях плащ-палатки, бойцы собирали в них долгожданную влагу. Потом делили. Черныш поделился с Брянским... Какой это был животворный, незабываемый напиток!

Дождь усиливался. Никто и не думал прятаться от него. Слышно было, как на огневой звонко щебетал Маковейчик:

Дощику, дощику, припусти
На бабини капусти,
На дідове сіно,
Щоб позеленіло!..

— Маковей, где та капуста? Где то сено? Глянь, австрийская земля кругом!..

— Все равно! Пусть и она зеленеет!..

Черныш, шурясь, улыбался щедрому небу. Думал-гадал, где застанет этот дождь Ясногорскую: в савроте или по дороге сюда... А она в это время уже соскочила с коня на его огневой. Ординарец комбата, гоня своему «хозяину» «порожняком» оседланного коня, по пути прихватил Шуру.

Весь мир засиял. Солнце светило сквозь серебристую мглу, дождь становился мельче, и струйки сверкали тоньше. Вдруг небо над головой заиграло. Мелодично, сильно, свежо. Впервые в этом году загредел гром. Как будто заговорили где-то высоко, за голубыми тучами, дивизионы РС. Раскатилось, разлеглось — широко, привольно... И сразу всей природе вздохнулось легче, будто мир обновился, помолодел. Наверно, не было в эту минуту в войсках ни одного человека, который не взглянул бы зачарованно в светлое, разбуженное первым громом небо и не подумал: «Весна!»

«Весна», — с наслаждением подумал и Черныш, вдыхая посвежевший воздух. Но что это? Вздвогнув, он порывисто поднялся на колени. С огневой вместе с радостной разноголосицей солдатских басов неожиданно дошел девичий голос.

В то же мгновение он увидел Ясногорскую.

Она стояла, окруженная бойцами, и о чем-то весело говорила, глядя вверх. Черныш не знал, смотрит ли она

на него или же на провизанную солнцем серебристую пряжу дождя, неудержимо падавшую с высот.

— Гвардии лейтенант! — позвали его снизу бойцы. — Гвардии лейтенант!

— Тебя касается, — подмигнул Чернышу Засядько. — А может, тебя, Толстиков?

Толстиков благодушно улыбался, разглядывая Ясногорскую.

— О, как она цветет!..

Черныш, придерживая рукой бинокль, стал быстро спускаться по косогору. Прыгал через чьи-то окопы, осыпая в них землю. В окопах не было никого. Все собрались внизу, как на митинг.

Спускаясь, Черныш смотрел как будто себе под ноги, а между тем видел только ее, долгожданную. Приближаясь, видел мелькнувший на ее лице радостный испуг. Она показалась ему выше, чем была. Будто выпрямилась, стала стройнее, моложе. Для Черныша уже не существовало ни дождя, ни веселой толпы огневики, существовали только ее глаза, которые, приближаясь, вдруг ярко заблестели, вздрогнули длинные ресницы. Она еще говорила с бойцами и смеялась, но Черныш не слышал ее слов, да и сама она, паверное, не слыхала их. Глаза ее тянулись к нему, о чем-то спрашивая его и в то же время что-то говоря ему.

Бойцы торжественно расступились, давая лейтенанту дорогу и глядя то на него, то на Ясногорскую. Черныш поздоровался, твердо выговаривая привычные слова воинского приветствия; вернее, они сами сказались, он их не слышал. Ясногорская подала ему руку, и нежный румянец покрыл ее щеки.

За спиной Шуры стоял Сагайда, улыбаясь до ушей. «Чего он?» — удивился Черныш и пробежал взглядом по другим. Все смотрели на него как-то значительно, доброжелательно и подбадривающе. «Мы всё знаем, — говорили их взгляды, — и всё понимаем... И мы даже рады за вас, если уж на то пошло...»

Черныш почувствовал себя легко, в состоянии какой-то окрыленности, как бывает лишь в обществе самых близких друзей и единомышленников. Ему хотелось благодарить каждого из присутствующих за это ощущение.

— Как хорошо загремело! — улыбаясь, нараспев говорила Шура. — Даже странно: откуда этот гром? Небо

как будто чистое, и вдруг так загремело! — Она взглянула на небо. И Черныш взглянул. И все подняли головы. — А лес какой стал, посмотрите! Как он зазеленел сразу! Будто горит под солнцем зелеными огнями, даже зеленоватый дымок над ним вьется! — Говоря это, она и глазами, и рукой, и всей своей фигурой показывала на дымящийся после дождя лес.

Черныш одновременно видел и зеленоватый дымок над лесом, и Шуру, которая тоже как будто окутывалась этим дымком.

Она стояла в новых сапожках на высоких каблуках, в темно-зеленом армейском платье, плотно облегавшем ее фигуру. Платье явно шло ей. Неизмятое, выглаженное, свежее... Видно было, что она падела его недавно, «возможно, даже перед тем, как направиться сюда», — мимоходом отметил Евгений, и Шура, перехватив этот взгляд Черныша, поняла его именно так. Но не смутилась и не застыдилась, а весело, даже с вызовом, ответила на него. «Да, я готовилась, — говорили ее глаза, — я хотела явиться сюда красивой и не стыжусь этого, и все это ради тебя».

— Шовкун все глаза проглядел, ожидая, — говорил Черныш, счастливо любуясь Шовкуном, раскрасневшимся, как девушка. «Но я ждал тебя гораздо больше, чем Шовкун, — скрывалось за этими словами. — Я начал тебя ждать с той самой минуты, когда мы расстались... Я хотел бы коврами устлать дорогу, по которой ты приближалась к нам... Разве ты не слышишь, как все это во мне поет: радуюсь тебе!»

«Слышу, слышу! Я даже издали слышала тебя и летела к тебе!»

«И где ты пролетала, там леса зеленели, а небо над ними гремело молодым громом! Слепой сверкающий дождик бежал впереди и кропил перед тобой пыльные фронтовые шляхи... Ты и сама, как тот солнечный летучий дождик, откуда-то прилетевший и озаривший все вокруг! Взгляни, как парует земля, как дымятся леса! Опьянеть можно от этого!»

«Разве ты еще не опьянел? Я уже опьянела! Смотри!..»

Смеясь, Шура поймала за голову Маковей, который как раз пробежал мимо и подвернулся ей под руку.

— Маковейчик! Как я соскучилась по тебе, — щебетала она ему и в то же время с ласковым озорством смотрела на Черныша. — Мне даже в госпитале слышались твои

песенки, Маковей!.. О, какой же ты большой стал! И какой хорошенький! Дай я тебя поцелую! Тебе не стыдно? — И она поцеловала Маковея в обе щеки, а счастливыми смеющимися глазами, как заговорщица, смотрела на Черныша.

«Еще, еще», — уговаривал ее Черныш влюбленным взглядом. Сейчас он и впрямь чувствовал себя охмелевшим. Весь мир плыл перед ним, дыша весенней свежестью, сверкая зеленью и голубизной.

XX

— Почему вы так смотрите на меня, Шовкун? — настойчиво допрашивала Шура своего санитаря, идя с ним принимать взвод. — Вы не узнаете меня? Да, у вас, пожалуй, есть основания... Сегодня я сама себя не узнаю...

— Что ж тут такого, — деликатно возражал Шовкун. — Сколько не виделись и вдруг опять вместе... Это с каждым бывает...

Бывает! Значит, что-то между ними было? И все это заметили, и все поняли? Ужас! Но что именно было! Короткое рукопожатие, невинный разговор на огневой, несколько взглядов... О, эти взгляды! Разве их можно было скрыть? Разве они не высказали все? Что — все? Ведь не было никакого «все»! И не будет его, не будет!

Неужели это может произойти так естественно и просто? А что, если оно уже произошло? Страшно представить себе, страшно подумать...

— Не смотрите, не смотрите на меня, Шовкун! Это я просто отвыкла... Мне тут еще страшно, и я дрожу... Но я не боюсь. Наоборот, мне очень, очень хорошо!

В госпитале Ясногорская не раз представляла себе встречу с Евгением. Она ждала этой встречи, тайком мечтала о пей, заранее готовила Евгению много упреков... Почему так быстро забыл? Почему так редко писал? Редко, лаконично и сухо... Но разве на него можно сердиться за это? При встрече все упреки как-то вылетели у нее из головы. Все заготовленное пошло кувырком, все повернулось иначе...

А как ей не хватало в госпитале его писем! Не раз Шура ловила себя на том, что ждет их, и даже теряя надежду, сердясь, все-таки ждет. Ей было мало того, что писали другие однополчане, ей почему-то хотелось, чтобы

писал он, Черныш. Особенно когда стала поправляться, когда вышла из палаты и увидела вокруг новую, неустойчивую весну. Песни, недопетые когда-то, опять просыпались в природе, волновали Шуру, перелетными птицами трубили в весеннем небе... Кого-то до боли не хватало, поднялась бы и улетела куда-то.

Госпиталь располагался в венгерском курортном местечке на берегу огромного озера. В вековых парках у самой воды притаились белые, изящные, поцарапанные пулями виллы. словно люди, они носили человеческие имена: вилла Лола, вилла Паула, вилла Маргит... И хоть сейчас здесь было немало страдания и над всем царствовал беспощадный нож хирурга — жизнь брала свое.

На озере начиналась весна. Десятки раз на день оно менялось в цвете и настроении. То слепяще сверкало под солнцем; то, нахмурясь, затягивалось стальной пленкой, а вдалеке переходило в нежно-зеленое и вновь светлело; то покрывалось розовым тихим трепетом, когда его достигали высокие отблески заката...

Вечерами кто-то целовался в беседках, кто-то смеялся на озере в покачивающихся лодках, кто-то жег костры на далеком противоположном берегу. Зазывно трубили весенние трубы, — любить, любить...

И Шуру хотелось любви. Но кто он? Она еще не смела признаться себе, ей все еще было неловко впрямую думать об этом.

Ей не были нужны какие-то обломки счастья. Она стремилась к счастью полному, большому, красивому и щедрому. Чтобы не переставало тревожить и пересхватывало дух, чтобы не старилось и не отцветало, как вечная весна, чтобы гордо выдерживало любые удары и испытания... Такое могло бы быть с Брянским. А может ли быть с другим?

«Я не люблю, не люблю Черныша, — еще сегодня уверяла себя Шура, возвращаясь из госпиталя в полк. — Все это только потому, что он был другом Юрся, что он чем-то напоминает мне Юрку... Только поэтому! И я в глаза ему скажу об этом!»

А когда стояла с Евгением на огневой, — ничего не сказала. Что-то сильное, властное диктовало ей другие слова, другие взгляды.

— Шовкун, я очень плохо вела себя на огневой?

— Вы и скажете такое, ей-богу!.. Да разве вы можете плохо? Мы только радовались, глядя на вас...

— А у меня, поверьте, даже дух захватило, когда я услышала этот гром! Давно я не слыхала такого... Будто маленькая стою где-то в поле под синей тучей и впервые слышу грохочущий гром...

XXI

Санитарный взвод стоял в лесу неподалеку от минометчиков. Тут же рядом расположился и КП Чумаченко.

Евгению все еще не верилось, что Шура сейчас в нескольких минутах ходьбы от него. Когда она скрылась в дымящейся чаще леса и мокрая сверкающая зелень, покачиваясь, сомкнулась за ее спиной, Чернышу на мгновение показалось, что Шуры совсем и не было на огневой, что все это ему только привиделось. Но, оглянувшись вокруг, он увидел, что на всем еще лежит как бы праздничный блеск, принесенный ею сюда: на посвежевших лицах людей, на оружии, на всей природе...

Уходя на КП, Шура пообещала, что через час все устроит, «вступит в права» и потом придет к минометчикам обедать. Ради такого случая Хома привез на огневую зажаренных бургерских уток, уверяя, что они дикие.

Прошел час, а Шуры не было. Уже вечерело, а она все не приходила. Наконец Черныш не выдержал.

— Побудь тут за меня, Володька, — смущаясь, обратился он к Сагайде. — Я схожу в батальон...

— Крой, — сочувственно буркнул Сагайда, — будет порядок...

На полпути к санвзводу Черныш встретил Шуру с санитарями.

Солнце клонилось к закату, и косые лучи пересекали лесную тропу. В густых зеленых вершинах собирались сумерки, а внизу на голых стволах ярко горели огни заката.

Ясногорская шла, склонив голову, и не сразу заметила Черныша. Лицо ее было озабоченно и серьезно. Будто и не она днем так счастливо смеялась и щебетала на огневой. Будто уже вобрала в себя, спрятала все, чем так щедро красовалась днем перед бойцами его роты, перед ним.

— Шура! — Впервые сегодня Евгений назвал ее по имени.

Ясногорская, словно проснувшись, взглянула на него. И прежде чем она улыбнулась, Евгений успел уловить выражение печали и горькой боли в ее глазах.

— Видишь, — сказала она тихо и растерянно, — а я как раз сейчас думала зайти к вам... Иду в боевые порядки.

— Но там ведь есть твои люди... Ты могла бы и не спешить.

— В эту ночь нужно. Пополнение придет.

Шура сошла со стезжки и, пропуская своих санитаров, деловито оглядывала их.

— Шовкун, зачем вы эти носилки взяли? — поморщившись, заметила она. — Там ведь, кажется, есть полегче...

— Но зато эти крепче, — с готовностью остановился Шовкун. — А может, за теми сбегать? Так я мигом!

— Идите уж, идите, — махнула рукой Ясногорская.

И даже в этом жесте Евгений угадал едва сдерживаемую боль, которой Шура сейчас как бы отгораживалась от него. Что с ней случилось? Откуда взялось это отчуждение, неожиданно возникшее между ними? А оно возникло, Евгений это чувствовал, холодея, как перед неминуемой опасностью. Днем, на людях, ему, оказывается, легче было найти общий язык с Шурой, чем сейчас, с глазу на глаз, здесь, в лесу. Тогда все в ней предназначалось ему: каждое движение, горячий взгляд, ласковое слово и даже то, что слышалось за словом... И вот сейчас все это угасло, заслонилось чем-то другим, может быть, даже этими носилками, — не видеть бы их никогда!

— О чем ты задумался, Женья? Пойдем.

Они пошли по тропинке за санитарам.

— Ты имеешь представление о нашей передовой? — глухо спросил Черныш.

— Имею, — вздохнула Ясногорская. — Рассказывали.

Под передовой подразумевалась пехота. Она лежала за холмом вдоль реки. До берега отсюда было несколько сот метров, но этот путь считался смертельно далеким. Для того чтобы попасть в боевые порядки, надо было проскочить по голому склону, обращенному к противнику. Вражеские снайперы не спускали с него глаз, охотясь за каждым, кто появлялся в этой зоне. Ненавистный склон уже стоял батальону нескольких бойцов. Во избежание излишних потерь Чумаченко приказал в дальнейшем «открывать навигацию» только с наступлением темноты. Боеприпасы, продукты, газеты, письма — все это отныне

перебрасывалось в боевые порядки только ночью. Раненых оттуда выносили тоже только ночью. И, несмотря на это, были потери почти после каждого рейса. Накануне перед рассветом старшины притащили на КП красивого капитана, работника дивизионной газеты. Черныш видел его, окровавленного, безжизненного, холодного. Разве можно знать, не притащат ли завтра на КП в таком же виде и Шуру?

— Если б можно было пойти вместо тебя, Шура... Если бы я только имел возможность!..

— О Женя, Женя... Если бы нам было дано заменять собой других... Я тоже пошла бы...

Вместо кого? Черныш не спросил, догадываясь, кого она имела в виду. Конечно, Брянского!

— Почему ты не сменила погоны на полевые? — заметил он погоду. — Будут блестеть при ракетах.

— В самом деле, — покорно согласилась Шура. Она была сейчас необычайно покорная, задумчивая, мягкая. — Я совсем о них забыла... Кажется, у меня здесь в сумке есть полевые.

Порывшись на ходу в своей набитой пакетами сумке, она вынула полевые погоны и остановилась.

— Пристегни, пожалуйста.

Евгений, сдерживая дыхание, коснулся ее плеча. Впервые в жизни он касался этого девичьего плеча, теплого и нежного. Медленно снял узкие белые погоны — один, затем другой — и приладил на их место полевые.

— Готово?

— Готово.

— Спасибо...

На какое-то мгновение руки Черныша, помимо его воли, задержались на ее плече. Шура будто не почувствовала этого.

— Женя, — едва слышно прошептала она, доверчиво глядя на Евгения, как тогда, под Будапештом, когда, уже раненная, лежала на повозке посреди скованной гололедицей степи. — Скажи мне, Женя, скажи... — На глазах у нее вдруг заблестели крупные слезы. — Ведь это плохо, что мы вот так?.. Что между нами вот такое?..

Они одновременно подумали о Юрии. Брянский как бы сошел сюда с далеких трансильванских гор, встал между ними и смотрел на обоих. Суровый, осиянный и крылатый, словно вечно летел к солнцу. Они молчали, обращаясь мысленно к нему, спрашивая у него совета,

проверяя свою совесть, как проверяют дорогу по далекой неподвижной звезде.

— Я все время думал об этом, — нахмурился Черныш. — И если ты хочешь знать мое мнение...

— Не надо, Женя, не надо, — энергично перебила его Исогorskская. — Не будем сейчас об этом... Идем!

Они быстро пошли по тропинке, не касаясь друг друга.

— Ты боишься этого разговора, Шура?

— Не боюсь, я ничего не боюсь, но... позже, после!

— Когда — после? Когда! Назови мне этот день...

— Женя, зачем?

— Назови, чтоб я ждал, чтоб я дожил, даже если... погибну.

— Не говори так, не пужно... Ты знаешь, какой день я имею в виду. Тот, когда все уже кончится, когда наступит наконец новая жизнь.

— Это уже так близко! — обрадовался Черныш.

— Тогда, мне кажется, все станет другим, — говорила Шура, постепенно вдохновляясь собственными мечтами. — Тогда все можно будет решить по-новому... И, может быть, то, что сейчас кажется несуществующим или греховным, тогда станет естественным и возможным. Ведь мы очутимся совсем в другой атмосфере, по другую сторону смерти, крови, боли и кошмаров... А все, чем мы сейчас казимся, останется, словно после исповеди, здесь, по эту сторону. Как ты думаешь, друг мой? Неужели же люди не почувствуют себя... заново рожденными?

— Я тебя понимаю, Шура... Мне и самому тот день представляется не только большой исторической датой. Это, конечно, будет нечто значительно большее. Ведь именно там будут возникать все начала, там будет только будущее, светлое, безбрежное...

Черныш не договорил. Знакомый вибрирующий звук приближающегося снаряда рассек вечерний неподвижный воздух. Сверканьем и треском взвихрилась лесная чаща. Шура инстинктивно схватила Черныша за руку, и они ускорили шаг, оглядываясь на каждый взрыв, раздававшийся сзади. Поверху за ними гнались горячие осколки, прошивая потемневшую зелень, гулко постукивая в ветвях.

Наконец они вырвались из-под обстрела и очутились на опушке. Вид огневой и близких окопов сразу успокоил их.

Высокое небо колосилось последними заревами. Шовкун уже взбирался с санитарями по крутому косогору. Внизу на огневых спокойными группами стояли минометчики, слушая знакомую грустную песню. Здесь, на чужбине, среди дышащих войной австрийских оврагов она как-то особенно глубоко волновала бойцов своей щемящей тоской, страстным призывом неразделенного чувства.

Ой, зійди, зійди, ясен місяцю,
Як млинове коло...
Ой, вийди, вийди, серце-дівчино.
Та промов до мене слово...

То невидимый Маковей, свернувшись где-то в сером окопе, дал себе волю.

XXII

Всю ночь прибывали войска. Дорога от ближайшего тылового села до переднего края была запружена танками, тягачами, автомашинами. Постепенно все это рассасывалось по придорожным рощам и оврагам. Командиры батарей отчаянно спорили за каждый клочок земли: не хватало места для артиллерийских огневых.

В полночь у оврага, обжитого минометчиками, загудели тяжелые танки. Хома, который расположился на ночь со своим транспортом вблизи огневых, ястребом накинулся на танкистов. Наверное, из-за собственного огорода он не сутяжничал бы с такой горячностью, как сейчас из-за этой холмистой опушки, где была его стоянка. Метался с кнутом перед машинами, тщетно пытаясь перекричать ворчанье моторов.

— Цоб держи, цоб! — кричал он изо всех сил невидимым механикам. — Дышло сломаешь!..

Водители не обращали никакого внимания на Хому, лошади шарахались в темноте, дышла трещали.

— А-а, най твоей маме!..

Танки выстроились вдоль опушки, там, где было задумано. Хаецкий, оттесненный со всем своим хозяйством в глубь леса, в свою очередь, вытеснил еще дальше несколько артиллерийских передков и кухню с верблюдом. Устроившись на новом месте, Хома быстро успокоился и примирился с судьбой.

Через некоторое время он, утомившись, прохаживался возле заглушенных машин, спокойно постукивал

по ним кнутовищем и допытывался у танкистов, какова толщина брони. А еще погодя, разлегшись с измазанными водителями возле танков и забыв про все причипенные ему обиды и несправедливости, по-приятельски растолковывал новоприбывшим, с кем они ныне вступили в контакт.

Слушая Хому, можно было подумать, что этот гвардейский стрелковый полк, с которым танкистам сейчас выпала честь действовать совместно, вообще не имеет себе равного. Выходило так, что состоит он сплошь из исключительных людей, из отборных героев-богатырей. Командует этим полком решительный и грозный таджик «академик» Самиев. Полковую разведку каждую ночь водит на невероятные задания знаменитый «волк» Казаков, полный кавалер орденов Славы... Единственный на всю дивизию полный кавалер!.. У полкового знамени стоит герой Сталинграда и Будапешта старшина Багиров. Про этого, наверное, все слышали. Не слыхали? Стыд и срам! Да это же он из-под земли штурмовал отель «Европа»!.. И про Хаецкого тоже не слыхали? И про Воронцова? О, люди! Герой Советского Союза майор Воронцов — замполит в этом богатырском полку. На нем, говоря правду, все держится. Крепкий мужик! Ему уже за сорок, у него сын в армии, а поглядите вы на него: вот это, скажете, спла, этот поведет и выведет!.. Если ты плохой вояка, так он тебя в бараний рог скрутит, а если ты честно выполняешь свою миссию, от него тебе и почет и хвала.

— Зарубите себе это на лбу и не очень воображайте, бо здесь такой народ!.. Орлы!

Казалось, все в этом необычайном полку должно было поразить, ошеломить самоуверенных танкистов. Было от чего прийти в восторг! Ведь в эту ночь неутомимые полковые разведчики шныряют уже на пятой иностранной границе. Через пять кордонов, сквозь тысячу боев пешком пройти — это вам шутка, а?

А между тем механики-водители, по очереди угощаясь вином из канистры и угощая Хому, слушали его без особого удивления. Они как будто и не представляли себе этот полк иным. Днепр? Альпы? Штурм Будапешта и знаменитая битва на Гроне? Хорошо, но что же здесь особенного? Полк как полк.

Когда же Хома слишком уж разошелся, восхваляя свои минометы, кто-то сзади осадил его спокойной шуткой:

— Довольно тебе, друже, про свои чихалки... Пей.

— Чихалки?! А где вы были, когда эти чихалки в Трансильвании по-пад тучами грохотали? Когда мы с выюками к черту на рога продирались? Не эти ли чихалки тогда вам дорогу протапывали? Безводье, жара, даже слюна во рту скипалась. Коней побросали, шинели кинули, а минометов не бросили... Шли и шли, аж горы дрожали от наших залпов! Где вы тогда были, я вас спрашиваю?

Танкисты с великодушным спокойствием рассказывали Хоме, где они были. При этом неожиданно выяснилось, что за их бригадой лежит путь не менее славный, чем за полком Хома. Командует ею гвардии майор Молоков. Хорошо знают Балканы, сколько фашистов перемололи эти зубастые уральские гусеницы! Потом битва на Галатоне. Потом рейды в промышленном районе Вены. А сейчас бригада прибыла сюда для последнего штурма. Круглые сутки мчались на полном газу, чтобы успеть... Завтра танки первыми будут форсировать эту австрийско-чешскую реку. Не дожидаясь мостов, наглухо задраив люки, боевые машины пойдут по дну, вброд.

«Да, это бригада... Видала виды... Тоже, выходит, богатырская!» — думал Хома, постепенно проникаясь уважением к своим прокопченным собеседникам. Танкисты лежали звездой, голова к голове, между их темными лицами нашлось место и для гвардейских усов Хома. Подольнин больше не пытался оглушить собеседников подвигами своего полка. Он был захвачен другим. Братцы, неужели же это и в самом деле последний штурм? Неужели же через несколько месяцев он, живой, неубитый Хома, будет шагать домой полями своего родного Подолья? Гей-гей, если б так случилось! Он наклонился бы и поцеловал пыль родного шляха!..

Возвращаясь к своим, Хома столкнулся в темноте с Маковеем. Хлопец, присев по-татарски, налаживал кабель.

— Слышал, Маковей? Танкисты поговаривают, что завтра выйдем на последний штурм. На последний, понимаешь? А там — мир...

— И верится мне и не верится, Хома, — признался телефонист, зачищая зубами конец провода. — Трудно даже представить себя не в земле, не в походе. Мне кажется, что я весь век буду солдатом.

— Это добре, — похвалил Хасцкий. — Гвардейская жилка тебе всюду пригодится... Скажи, ты мог бы, к примеру, телефонизировать нам район? Весь район — от колхоза к колхозу, от бригады к бригаде?

— А почему же нет? Конечно, мог бы. Только где ты столько аппаратов и кабеля наберешь?

— Ого, об этом, Маковей, не беспокойся. Разве мало ваших аппаратов освободится после войны? А кабеля? Все обратится на мир!

— Но я, паверное, останусь в армии.

— Конечно, тебе еще служить, как медному котелку. Надо же будет кому-то и на гралицах стоять.

— Если бы только жепатому, — засмеялся Маковей. — После войны, паверное, все пожепятся.

— За этим пе тужи... Была бы голова, а хомут найдется, — бросил Хома, удаляясь.

Несмотря на поздний час, войска продолжали прибывать. Шли люди, двигалась техника. Вдоль леса до самого села гудели во тьме моторы. Близость чего-то большого, необычайного возбуждала бойцов. Мало кто спал в эту ночь.

Высланные политотделом мощные громкоговорящие станции остановились впереди войск, загадочные и молчаливые. Прямо с поля надвигались машины с громоздкими понтонами и останавливались около минометчиков. Понтоперы громко перекликались в темноте, передавая и принимая команды. Хома, оставив Маковей, пе замедлил подойти к ним со своими советами.

А Маковей, наладив линию, возвращался в свой окоп, веселый и довольный. Мурлыкал какую-то песенку, улыбался своим мечтам. Из головы не выходила Ясногорская. Шутя приласкав парня днем, она и пе догадывалась, какой след оставила в его сердце, какую молодую неутихающую бурю вызвала! Маковей, конечно, понимал, что то была только девичья шутка, но надежда на что-то серьезное начинала теплиться на дне его встревоженной души. Теплилась, согревала, разгоралась.

«Ведь может случиться, — думал Маковей, уже сидя у себя в окопе, — что она приглядится ко мне внимательно и я ей понравлюсь... Не так, как до сих пор нравился, а как-то совсем иначе... Всякие чудеса бывают на свете!»

Мысли его все время тянулись к боевым порядкам полка, к самому переднему краю. Где-то там, освещаемая

ракетами, готовая к штурму, лежит под огнем пехота. Обстрел не прекращается. Там где-то и Ясногорская, ползая в прибрежных зарослях, перевязывает раненых пехотинцев. Хотел бы Маковей сейчас быть на месте одного из них, в самом остром полка, направленного на запад... Пусть бы Ясногорская, склонившись над ним, перевязывала ему горячую рану... «Потерпи, Маковей, потерпи, — скажет она ему. — Сейчас я прикажу отправить тебя в медсанбат...» Но в ответ на это он только гордо усмехнется. Как? Перед общей атакой, перед штурмом пойти кантоваться по тылам? «Спасибо, но я никуда не пойду отсюда в такой решающий момент. Я остаюсь тут». Ясногорская в восторге от его мужественного поступка, она кладет ему руку на плечо, заглядывает, улыбаясь, в его глаза: «Так вот ты какой, Маковейчик!.. Ты, оказывается, герой!»

Вот тогда он наконец откроется ей. Скажет все, что думает. Даст волю своей нежности, своей любви. И Ясногорская снова приласкает его, как днем. «Маковей, милый, я, оказывается, совсем мало знала тебя, считала мальчишкой. Теперь я о тебе другого мнения. Теперь я тебя люблю».

И раны его заживут сразу, и он встанет на ноги, веселый, здоровый, счастливый. Скажет: «Приказывай что хочешь, я все для тебя сделаю».

Она скажет: «Возьми меня на руки и неси по белому свету».

И он возьмет ее, легкую, как ласточка, и понесет. Она будет говорить: сделай еще то, сделай это, — и он все исполнит, потому что все тогда сможет, все будет ему под силу. Горы свернет от счастья.

— Ты спишь, Маковей? Или просто дремлешь?

Вспугнув нежные грезы Маковея, на дно окопа прыгает гвардии лейтенант Черныш. Сам черный, а глаза под сведенными бровями весело поблескивают.

— Спишь, говорю?

— Нет, это я так...

— Царица полей подает голос?

— Подает.

— Как там у них?

— Пополнение принимают, всю ночь волнуются. Замполит с «хозяином» боевые порядки проверяют.

— Ну, а мы пока что... давай закурим по одной.

Усевшись на дне тесного окопа, перепутавшись погами, они старательно крутят сигарки. Маковей ждет от лейтенанта еще одного вопроса, самого главного. И после напряженной паузы Черныш задает его, этот вопрос, даже не подозревая, что сейчас творится в смятенной душе телефониста.

— Меня оттуда никто не вызывал?

Маковей набирает в грудь воздуха и торжественно отвечает:

— Никто!

Черныш жадно тянет сигарку.

Теперь Маковей все ясно. Да, собственно говоря, разве еще днем не видно было, к чему все клонится? Его обостренный любовью взгляд отмечал тончайшие оттенки в поведении Ясногорской и Черныша. Когда она стояла на огневой и радостно болтала, ловя в протянутые ладони мелкий солнечный дождик, Маковей заметил, как тревожно перебегал ее взгляд по людям, ища кого-то. Потом, когда подошел Черныш, Маковей понял, кого она искала. У всех на глазах она стала будто еще лучше, еще красивее, чем была. Маковей заметил, как чаще, взволнованнее стала подниматься ее грудь. А когда они говорили между собой о первом громе и лесе, вспыхнувшем после дождя зеленым сияньем, Маковей казалось, что они разговаривают не о том громе, который только что прокатился, и не об этом лесе, насвежо вымытом дождем и зазеленевшем вблизи, а о другом громе, об ином лесе, еще более прекрасном, редчайшем! Тот мир красоты был открыт и доступен только им двоим. Это была уже тайна для всех! Между тем Маковей тоже хотелось увидеть все, что видели они, постичь очарование их тайны, к которой они, будто весело сговорившись, никого не подпускали.

С ревнивым вниманием следил Маковей за Чернышом, сидевшим в задумчивости против него. Парень хотел понять, за что Шура отметила и избрала именно этого человека, смуглого худощавого лейтенанта Черныша, а не кого-нибудь другого? Почему она после Брянского, стольких обойдя, стольким дав отпор, остановилась именно на нем? За черные брови, за ясные очи? Но ведь и Сперанский был как нарисованный! За отвагу? Но ведь и Сперанский был храбрый! Нет, здесь что-то совсем другое... Наверное, в нем есть как раз то, чего она искала в жизни. Что-то от Брянского!

Избранник!.. С нежною завистью Маковей разглядывал Черныша. Тайно ревновал его к Ясногорской, но, даже ревнуя, не испытывал к лейтенанту неприязни. То, что Ясногорская полюбила Черныша, еще больше возвышало любимого командира в глазах Маковей. К присущим лейтенанту достоинствам прибавилось еще одно — особенное, исключительное. Яркий отблеск этого исключительного, редчайшего остался на Черныше после того золотого дождика и синего грома. Сияющие взгляды Шуры до сих пор еще будто сверкали на нем, очаровывая Маковей.

«Странно, что я раньше не замечал, какой он и в самом деле особенный, — волновался телефонист, думая о своем командире. — Ведь он самый лучший офицер в нашем батальоне, сейчас мне это ясно. Правда, стрелковыми ротами командуют тоже храбрые, опытные, прекрасные люди... Но наш Черныш — все-таки самый лучший. Если уж Ясногорская отдала ему предпочтение, значит, он не такой, как все остальные. Интересно, что же в нем особенное? — терялся Маковей в догадках. — И как приобрести это особенное? Как его найти? Разве я тоже не могу иметь то редкое, что мило ей?»

Он смотрел на крепкие плечи лейтенанта и украдкой поводил своими: такие ли у него? Замечал при свете сигарки глубокую складку на смуглом лбу лейтенанта и хмурился, чтобы у него появилась такая же. Если бы можно было пережить все чувства и мысли офицера, то он, Маковей, конечно, сделал бы это. «Я тоже добьюсь всего, что ей мило, — убеждал себя взволнованный парень. — Буду справедливым ко всем, буду честным, храбрым, образованным! Обо мне «хозяйин» тоже будет говорить, что я неутомимо дерзаю, совершенствуюсь, ищу новых методов и нахожу их... Тогда подойдем к ней вместе: «Мы оба вот такие, мы сравнялись, — выбирай!»

Черныш потушил сигарку, встал и прислушался. Маковей, пригасив свой окурочок, по привычке спрятал его за манжету пилотки. Шум на передовой постепенно стихал. Лишь изредка кое-где постукивали контрольные пулеметы. На огневой братья Блаженко степенно рассказывали кому-то о февральских боях за Гроном.

— Если меня будут спрашивать, — предупредил Черныш Маковей, — я буду в окне у Сагайды. Только смотри не усни. Лучше уж напевай потихоньку.

— Хорошо, буду петь. Но ведь всего не переню до утра.

— Завтра допоешь, когда снимемся... вперед.

Легко подтянувшись на руках, Черныш выскочил из окопа. Навстречу ему с пригорка спускалось несколько бойцов. Один из них сдержанно стонал и все время просил воды.

— Откуда? — остановил их Черныш.

— С передовой. Раненые.

Все оказались незнакомыми, из свежего пополнения, вчера только прибывшего в полк.

— Быстро вы...

— Окопаться не дал... Как чесанул по всему берегу... Сейчас уже лучше, все окончилось...

— Кто вас перевязывал?

— Там одна девушка, спасибо ей... Намучилась с нами...

— А она... а ей... ничего?

— Ничего... жива-здоровая... Нас вот на весь батальон только четверо.

— Воды... ох, воды... — стонал, весь извиваясь, высокий юноша, которого товарищи поддерживали под руки.

Черныш крикнул своим вниз:

— У кого есть вода?

На его зов первыми явились братья Блаженко, на ходу отстегивая алюминиевые фляги. Раненый оживился, потянулся всем телом к ним навстречу. Денис зубами открутил туго завинченную пробку.

— Куда ранило? — спросил Черныш.

За раненого ответили другие:

— В живот его... Нутро повредило...

Братья Блаженко выжидающе смотрели на лейте-панта.

— Водите! — с неожиданным гневом скомандовал Черныш легким раненым, державшим юношу под руки. — Санитарные подводы внизу налево!

— Да тут уже найдем...

— Роман, проводите их!

— Братцы... один глоток... стораю... Каплю, братцы, — жалобно умолял пехотинец, обращившись на ходу к братьям Блаженко. Но они уже накрепко завинтили свои фляги.

Половина шестого.

Солнце только что взошло, быстро поднимаясь из-за леса. Черныш с офицерами-минометчиками стоял на холме перед огневой и, поглядывая то и дело вперед, делал в блокноте какие-то заметки.

Невдалеке стоял Хома, сквозь трофейный бинокль разглядывая вражеские позиции. Пожалуй, впервые за всю войну подольщик стоял вот так, на видном месте, не маскируясь, и никто уже не кричал на него за это: до начала артподготовки оставались считанные минуты. Правду говоря, самому Хоме было как-то непривычно стоять открыто, не маскируясь. Как будто он вышел перед людьми в чем мать родила. Настойчиво хотелось присесть. Но офицеры стояли, спокойно выпрямившись, и Хома, черт его дери, тоже мог так постоять, хотя ноги его как-то сами просились в землю, в окоп.

Противник не стрелял, наверное, сэкономил снаряды.

В бинокль Хома отчетливо видел вражеский передний край, проволочные заграждения, которые в несколько рядов тянулись вдоль берега, словно за ним сразу начинался огромный концентрационный лагерь. Вдоль высот — причудливые зигзаги траншей, вкопанные в землю самоходки, едва заметные доты и блиндажи, обложенные дерном. Возле одной землянки сушилось солдатское белье, небрежно раскинутое на траве.

«Вот мы вам нынче насущим», — подумал Хома, опуская бинокль на грудь.

Довольным взглядом он окинул позиции своих войск. Теперь война уже не казалась ему, как под румынскими дотами, вихрящимся непонятным ужасом, крошечным адом, в котором трудно солдату разобраться. Боевые порядки войск сейчас воспринимались Хомой как одно неразрывное целое, устроенное чертовски мудро, и он уже сам, как механик, мог охватить — и на глаз и на слух — всю эту хорошо налаженную, тяжелую и грозную машину.

Притаившись в складках местности, густо зеленеют окрашенными стволами батареи. На опушках, старательно замаскированные, застыли тяжелые танки, в овраге выстроились понтоны. По другую сторону шоссе, среди австрийских бункеров, где расположился штаб полка, стоят наготове лошади связанных, громкоговорительная станция,

Она готова к тому, чтобы в любую минуту передать войскам историческое сообщение о капитуляции фашизма. Хома чувствует исключительность этих минут. Все это предполье, запруженное войсками, залитое утренним солнцем, сейчас поднято над землей, как гигантская трибуна, с лесами и оврагами, с огневыми позициями и стрелковыми ячейками. Поднято и хорошо видно всем народам, всем державам!

Настороженная грозная тишина царит вокруг. Залегла на извилистых берегах пехота, спокойная, уверенная в себе, готовая ко всему. В балках и оврагах стоят артиллеристы и минометчики. Они прошли с боями полмира и сейчас стали на последнем рубеже. Тишина. Слышно даже, как звепят полевые жаворонки, повиснув высокими колокольцами над нейтральной зоной.

Слушай, Хома! Смотри, Хома! Не часто такое случается в жизни! Каждое слово команды, каждая отсчитанная секунда навсегда врезаются в твою память. Ты уже никогда не сможешь забыть этих всадников, галопом скачущих от штаба во все концы, группу танкистов на опушке, окруживших своего комбата, который указывает им боевые маршруты. Все запоминай, Хома, потому что это уже история! Не та история, которая дремлет где-то на пожелтевших страницах книг, а та, что творится на твоих глазах, что проходит через твои собственные руки! Ты ведь слышишь, как она близко, как она дышит рядом, ты можешь заглянуть ей прямо в лицо, най его маме! Когда-то ты только от людей слышал о знаменитом колесе истории, а сейчас можешь собственноручно пощупать его, как щупал накануне стальной каток уральского танка!

Величие нарастающих событий и сознание того, что эти невероятные события в какой-то мере зависят непосредственно от него, переполняли Хому не изведанной доселе гордостью. Удивительное ощущение — он, простой подолянин, взшел на трибуну, такую высокую, на какую до него никто еще не поднимался, — это ощущение не покидало его все утро. Если б он мог, воскресил бы всю родню, до самого далекого колена! Пусть бы его деды и прадеды глянули на Хомку, который родился в темной хате, а вырос на печке! Разве смогли бы они узнать в нем оборванного подпaska, который ковылял за чужим скотом на чужих лугах? Э, да разве они способны это понять? Сейчас он стоит у всех на виду, проходит в параде перед народами. В разных землях знает его стар и млад. Из-

дали узнают по гвардейской походке, по знаменитой пилотке с бессмертной алой звездой.

Тишина в войсках.

Жаворонки над войсками.

И вот наконец 6.00.

С окраины села, из-за спины Хаецкого, упиваясь собственной музыкой, заиграли длинную очередь гвардейские минометы. Рванулись наискось в небо огненные реактивные снаряды. Бодрый, сильный гром прокатился от края до края. Не успел он исчезнуть за ясным небосклоном, как заговорило все широченное предполье, вспыхнув до самых дальних флангов огненными языками выстрелов. Воздух над головой вибрировал, звенел невидимыми струнами. Тонны раскаленного металла, вырвавшись из сотен жерл, стремительно прошумели на запад.

Минометы, вверенные Чернышу, присоединились к общему грохоту. И он сам, как наэлектризованный, включился в эту единую могучую силу, которая бушевала вокруг. С этой минуты он не думал ни о себе, ни о Ясногорской. Искал глазами плывущую в дыму цель, не замечая ничего и никого, кроме нее. Его тоже не замечали ни бойцы, ни офицеры, стоявшие внизу на своих местах.

На лету подхватывали брошенные сверху, с холма, команды, и каждый жил в эти минуты только для этих команд:

— Огоны!

— Огоны!

— Огонь!

Хома, обливаясь потом, таскал вместе с подносчиками тяжелые ящики к раскаленным минометам. Походя громко стыдил Ягодку, который все еще прикрывал ладонью ухо, опуская мину в ствол. Ягодка сегодня впервые стоял заряжающим.

«Катюши» непрерывно играли и слева и справа, десятки батарей били одновременно. Грохотал бог войны, заглушая все вокруг. Хлопающие удары минометов, гулкие выстрелы сорокапяток терялись в тяжелых вздохах крепостных орудий-гигантов. Разнокалиберные голоса батарей вскоре слились в сплошной железный гул.

Через несколько минут над полками прошла на запад авиация. Казалось, самолеты идут беззвучно, немymi силуэтами, выключив все свои моторы. Гул эскадрилий заглушался гулом наземной артиллерии. Лишь громовые

взрывы фугасок по ту сторону реки свидетельствовали о том, что и на самолетах в унисон с сердцами наземных войск бьются напряженные сердца летчиков.

Пехота, до сих пор скрытно лежавшая на берегу, поднялась во весь рост, окутанная тучами дыма. По остаткам взорванного моста, по шатким фермам, торчавшим из воды, — на ту сторону, туда, туда! Разведчики Казакова кинулись вплавь.

Огненная буря начала откатываться, переносясь в немецкие тылы. Черныша вызвали на провод. Говорил начальник артиллерии. Оказывается, он все время из боевых порядков следил за результатами скоростной стрельбы по методу Черныша, сегодня впервые примененной массово. Сделав несколько замечаний специального характера, начальник артиллерии поздравил Черныша с успехом его боевого эксперимента.

Тем временем на опушках взревели танки и, разметав зеленую маскировку, ринулись со всех сторон к реке. Покачиваясь, поплыли через поле понтоны. Артиллерия постепенно стихала, огни взрывов все реже вздымались в сплошном море дыма, затянувшего вражеские позиции. Стала слышна истерическая стрельба оживающих вражеских пулеметов и автоматических пушек, бессистемно разбросанных на высотах.

— Весело сыграно! — кричал Чернышу раскраспевшийся Сагайда. — Роскошно!

В самом деле, из всех артподготовок сегодняшняя, организованная с таким блеском, была, пожалуй, самой радостной и поистине праздничной.

«Прекрасный, может быть, заключительный аккорд наших великих боев», — подумал Черныш и, откинув упавший на лоб потный чуб, подал команду вкочиться.

Танки, в разных местах достигнув реки, один за другим входили в воду все глубже и глубже. Сотни глаз страстно следили за этим героическим переходом танков через вражеский водный рубеж.

— Если остановятся хоть на секунду, моторы зальет водой, — с тревогой объяснял товарищам Хома.

Но ни один не остановился! Поднимая вокруг себя сиянье вздыбленных волн, машины уже уверенно выбирались на противоположный берег. Их башни, залитые вражьем расплавленным свинцом, стали серебряными.

Войска уходили вперед. Вскоре все опустело: окопы, леса, многочисленные стоянки батарей...

Хаецкий, сидя в седле, давал последние указания бесарабцу Ионе, которого оставлял на огневой в роли своеобразного «ликвидкома».

— Смотри мне, не забудь потребовать у них бумажку, — поучал Хома ездового. — А как все закончишь, тогда догоняй нас по указкам.

Речь шла о порожней таре, которая горой лежала на огневой; ее надо было сдать в боепитание, получив соответствующую «бумажку», то есть расписку. В такой бурный, почти уже праздничный день, когда наступающие войска неудержимо шли вперед, Ионе совсем не хотелось расставаться с товарищами, возиться с этими пустыми ящиками. Подумаешь, сокровища! Кто о них спросит? Кому они пужны в такой кутерьме? Не такое война списывала, спишет и это...

Иона не скрывал от старшины своего презрения к этой таре.

— Махнуть бы на нее рукой — только и делов!

Однако Хома непоколебимо стоял на своем. Как это — махнуть рукой? Что значит — война спишет? Против такой бесхозяйственности протестовало все его существо. Конечно, в такой час людям не до пустых ящиков. Может быть, и в самом деле никто не обратит внимания на то, что он бросил свою тару где-то в поле на произвол судьбы. А потом и вовсе забудется, перемелется... Где пьют, мол, там и льют!

Но Хома не хотел проливать ни капли.

— Плохой тот старшина, Иона, который хоть гвоздь разбазарит в этих чужих землях. Дома нам все пригодится. Я брошу и пятый и десятый — вот тебе и эшелон! Тысяча вагонов наберется! Прикинь, сколько сюда лесу пошло да сколько столяров работало, чтобы все это нам приготовить. Прикинь, наконец, сколько «огурцов» завод опять упакует в эту тару!

— Довольно уже паковать, — благодушно возразил бессарабец, — война вот-вот кончается.

— О человеке! — воскликнул Хома, укоризненно качая головой. — А Япония? Ты про нее забыл?

Иона молча принялся швырять на повозку ящики, срывая на них свою злость. Автомат болтался у него на шее.

— Скинь автомат, на время работы разрешаю, — смиростивился подолянин, поудобнее усаживаясь в седле.

Иона не припал милости.

— Пусть тот скидает, кому он тяжелый.

— А тебе нет?

— Мне родное оружие никогда не в тягость.

— Ов-ва! Ну, вижу, из тебя человек выйдет!

Свистнув пагайкой, Хома помчался догонять своих. Разыскал их уже за рекой, среди множества разных подразделений, которые, перебравшись по только что наведенным понтонам, на некоторое время смешались, слились в одну огромную, возбужденную, шумливую армаду. Развернувшись по всему подгорью, войска сплошными массами двигались на высоты. Оставленный противником укрепленный район скалился разорванным бетоном, зиял мертвыми дырами амбразур. Стальные колпаки дотов рассыпались вконец, потрескавшись под ударами, как хрупкие колокола. Разрушенные траншеи, распотрошенные блиндажи, множество свежих воронок — все здесь еще дышало горячей яростью недавней капоны.

Хоме припомнились первые бои под румынскими дотами и то ясное голубое утро, когда они после штурма взбирались за Брянским на отвоеванную высоту. Тогда мир тоже ширился, на глазах становился просторней. И такая же просторная светлая тишина царила вокруг, и такие же сложные вражеские укрепления лежали у ног. Но в то время доты оставались почти целыми, их приходилось выкорчевывать из земли взрывчаткой. А теперь они с первого удара трескались, разваливались... «Да, это не просто так, — думал Хаецкий, оглядывая огромные развалины бетона и стали. — То, чего в Пашканих еще ни один снаряд не брал, сейчас потрескалось, как тыква. Крепнет гвардейская техника, а гвардейцы и того больше! Сейчас глянешь: пушку от земли не видно, а она «тигра» берет...»

Хома с любовью смотрел на подразделения, поднимающиеся по косогору. Пушки, транспорты, кухни путались между пехотой. Как всегда бывает при наступлении, количество всадников быстро возрастало. Комбаты, адъютанты, старшины сели на лошадей. Даже гвардии майор Воронцов, которого привыкли всегда видеть пешим, сейчас был на коне. «Значит, дорога предстоит далекая», — подумал Хаецкий, взглянув на майора. Это был верный

сигнал! Весь полк знал, что замполит садится на коня только в далеких горячих маршах.

Черныш вел роту все выше и выше по изрытому воронками склону среди густого переплетения разрушенных траншей. Он знал, что скоро встретит Ясногорскую и что на марше они будут вместе — может быть, день, может быть, два, может быть, и три, — ему хотелось, чтобы предстоящий марш никогда не кончился... Ноги ступают легко, тело палито бодрой силой, веселый шум стоит вокруг. Глаза бойцов еще горят вдохновением боя, чувство окрыленности охватывает войска. Все выше и выше...

На бетонном укреплении, из которого в разные стороны торчат рваные железные прутья, стоит группа девушек полковой савроты. Среди них — Ясногорская.

— Вот твои «самоварники» идут, — весело толкнула Шуру одна из девушек, которую в свое время Хасцкий прозвал вертихвосткой. Она и сейчас вертелась как на иголках, поблескивая большими казачьими шпорами, выглядевшими довольно целепо на ее саножках. — Смотри, Шура, как Чернышок впилился в тебя глазами. Смотри, он краснеет. Ой, умереть можно!

Черныш, приблизившись, подал Ясногорской руку, и она легко прыгнула на землю.

— А я вас тут уже с полчасца поджидаю, — откровенно говорила Шура, шагая рядом с Евгением. — Сколько здесь сегодня народу проходит!

— Ты знаешь, меня тоже это поразило. Подумать — столько жертв, столько потерь, а приближаемся к финишу более сильными, чем стартовали. По крайней мере, я не помню, чтобы в нашем «хозяйстве» было когда-нибудь больше активных штыков, чем сейчас...

Вражеские трупы, скрюченные, изуродованные, валялись по всему склону. Ясногорская брезгливо обходила их.

— Обрати внимание, Шура, — спокойно говорил Черныш, — почти все лежат головой на запад, а ногами на восток.

— Удирали, — определил Сагайда. — Не удрали.

— Интересно, кто они? — задумалась Шура. — Может быть, среди них как раз те, что пачинали войну, те, что под гром своих барабанов выходили в сорок первом через Бранденбургские ворота на восток? Как они тогда шли! С песнями, с жадными взглядами, с засученными по локоть рукавами. Как мясники. Теперь они утихомирились, теперь им уже ничего не надо.

— Вот этот тип безусловно считал себя созданным для господства над народами, — говорил Сагайда, проходя мимо убитого немца в изорванном офицерском мундире. — И думаю, сидя где-нибудь в мягком кресле, с сигарой в зубах, легко представить себя господином мира. Долго ли? Взять и бросить в мясорубку миллион или десять миллионов простого народа... Пусть гниют в окопах, пусть палятся в госпиталях, а ему что? Ему тепло, ему спокойно, ему подай на тарелке весь мир! Где гарантии, что со временем не вынырнет откуда-нибудь новое чудовище, какой-нибудь новый Гитлер?

— Не выйдет, — категорически возразил Черныш. — Народы поумнели. Теперь они не позволят обманывать себя.

Взошли на гребень высоты, и мир выступил из своих прежних берегов, разлился широким ясным океаном. Черныш вспомнил другие высоты — первую, румынскую, где остался Гай, и другую, трансильванскую, высокую, как грандиозный обелиск... Как бы он хотел, чтобы все, кого он оставил на пути, сейчас были здесь! Не нужно ему ни чинов, ни орденов, ни славы, ни любви — лишь бы только встали те, далекие и прекрасные... Разве не им принадлежит все, что сейчас сбывается? Разве не для них легли вдали светлыми коврами дорожные асфальты? Пусть бы шли они рядом! Пусть были бы здесь... Звал всех, но никто не приходил. Сколько воды утекло с тех пор... О, как это далеко, как давно это было...

На высоте посреди окопов остановился «виллис» командира дивизии. Стоя в машине, генерал что-то энергично говорил комендирам полков, которые слушали его, вытянувшись в седлах. Самиев был среди них самый маленький, зато лошадь у него была выше, чем у других.

Генерал, видимо, был чем-то недоволен. Его как будто не касалась та общая радость, то повышенное, почти хмельное настроение, которое царило сейчас в войсках. Он, комдив, будто и не замечал того, что противник только что сбит со своих позиций, что танки, обогнав пехоту, уже рейдуют за десятки километров впереди, что, наконец, победа близка. В такое время и генералу полагалось бы повеселиться вместе со всеми, пошутить так, как он умел: невзирая на ранги. Но сейчас, вероятно, было еще не время... Генерал стоял в машине возбужденный, побагровевший и почти с раздражением отдавал приказы комендирам полков. Кое-кто, настроившись до этого на

довольно благодушный лад, при взгляде на генерала начинал понимать, что впереди предстоят еще бои, и трудности, и опасности.

Противник, удирая, оставил немало своей техники и боеприпасов. По всей высоте торчал из земли перемятый, искалеченный металл, деформированное тяжелое оружие.

— Будет трофейщикам работы, — переговаривались бойцы, — насоберут.

— Смотрите, зенитки! — кричал Маковей товарищам, надеясь таким пехитрым способом привлечь внимание Ясногорской.

Шура, шагая между Чернышом и Сагайдой, оглянулась на миг, увидела Маковея и приветливо кивнула ему. Но сразу же опять оживленно заговорила с офицерами.

— Цела-целехонька! — не унимался Маковей, похлопывая ладонью теплую, нагретую солнцем пушку. — Еще и заряжена! — Однако Ясногорская на этот раз даже не слыхала его.

Пушка стояла в круглой яме-ячейке, уставив свой длинный хобот в голубую высоту весеннего неба. Телефонист еще что-то кричал, но Ясногорская не оглядывалась.

Тогда парень, не долго думая, припал к механизму пушки...

Прозвучал выстрел. Одинокий и потому удивительно резкий, ошеломляющий среди этой огромной тишины. Раскатился далеко над полями, и эхо еще долго перекатывалось в берегах, в лесах и оврагах. Тысячи людей на мгновение застыли, удивленно прислушиваясь. Казалось, что это прозвучал уже последний выстрел на земле. В высокой синеве распускался белый цветок взрыва. Наверное, этот цветок виден был и из дальних чешских селений, едва проступавших на западе из сплошных садов.

— Что ты делаешь? — спохватившись, накинулись на Маковея командиры.

— Я хотел дострелить вон туда, — смеясь, показывал озорник рукой в небо.

— Куда?

— В самую синеву... В стратосферу!

В конце концов парень и сам не знал, для чего он выстрелил. Может быть, для нее, для Шуры Ясногорской? А может, он салютовал миру, который, приближаясь издалека, уже чуть слышно трубил навстречу людям, которые добывали его...

Полки, стянувшись в колонны, устремились вперед. Рассекая горячие, разомлевшие от зноя поля, навстречу бежал асфальт, сплошь политый свежей водой. Празднично одетые чехи и чешки неутомимо поливали его с утра до вечера, чтобы не пылила дорога, чтобы не падала пыль на освободителей.

Чистые, красивые села и городки, утопающие в молодой зелени, подняли над домами красные советские и трехцветные национальные флаги, трепетавшие, словно вымпелы множества кораблей в огромной гавани. Весь мир стал сразу необычайно ярким и пестрым. Сквозь вдохновенный людской гул безостановочно двигались вдохновенные войска.

— Наздар! — единой грудью восклицала освобожденная Чехия. — Наздар! Наздар! Наздар!

— Ать жие Руда Армада! ¹

Триумфальные арки возникали на пути полков, словно вырастали из плодоносной чешской земли.

Хома Хаетский пролетал под этими радужными арками одним из первых. Грива его коня уже третий день расцвечена пахучей сиренью, автомат обвит цветами и лентами. Его украшали белые худенькие руки освобожденных сестер, чешек и словачек, лица которых подолжнии даже не успевал запомнить.

Наступал всемирный праздник, которому, казалось, не будет конца. У каждого двора на чисто вымытых скамейках стояли ведра с холодной водой и хмельной брагой, а возле дворов побогаче — бидоны с молоком и бочки с пивом. Радостный, энергичный народ без усталости угощал своих желанных гостей. На площадях среди машин и лошадей бесстрашно сновали ребятишки с полными ведрами, наперебой протягивая каждому кружку, наполненную от души — до самых краев!.. И какое счастье светилось в ясных детских глазах, когда боец, наклонившись с седла, брал кружку и, улыбаясь, пил добрыми солдатскими глотками.

— Я опиваюсь в эти дни, — хвалился Хома перед товарищами. — Не могу никому отказать, у каждого пью.

¹ Да здравствует Красная Армия! (чешск.)

Всякий раз, угощаясь, он успевал перекинуться с чехами хоть несколькими словами. Прежде всего интересовался, давно ли прошли здесь немцы.

— Час назад... Полчаса назад... — отвечали чехи, мрачлея при одном лишь напоминании об оккупантах.

— Чудно! Чудно мне, братцы! Всего полчаса... Когда вы успели флагов столько наготовить, да еще и вывесить?

— О пап товарищ! Прапоры у нас готовы еще с сорокового года, — дружно признавались чехи. — Шесть лет мы ждали этого благословенного дня. Мы знали, что вы нас не забыли, что вы придете и свободная Чехословакия будет!

— Уже есть! — вытирая усы, говорил Хаецкий с таким видом, будто передавал тут же эту Чехословакию в руки своим собеседникам. — Держите крепко, бо дорого стоит!

Чехи отвечали хором, будто присягали:

— Пап товарищ, будем как вы!

Полк Самиева в этом наступлении делал по полсотни и больше километров в сутки, однако ни один боец не отстал. Все подразделения были на колесах. Автоматчики мчались вперед на велосипедах и мотоциклах, припадая на крутых виражах чуть ли не к самой земле. В грохочущих, похожих на колесницы повозках тесно сидели веселые, усыпанные цветами пехотинцы, выставив во все стороны примкнутые к винтовкам штыки. В голове колонны неслась конница и полковая артиллерия, готовая по первой команде вступить в бой.

Несколько раз в сутки вспыхивали короткие, молниепосные стычки с вражескими заслонами, после чего дорога снова становилась свободной, и полк опять принимал походный строй, опять сжимал крылья своих боевых батальонов, словно птица в стремительном полете. Главные механизированные силы немцев бежали на Прагу, остальные, не поспевая за ними, сворачивали с основных магистралей, рассыпались по лугам-берегам, зарывались в стога сена, волками бродили в лесах, собираясь в бандитские шайки. Там за ними охотились неутомимые чешские партизаны. Трудно было избежать палачам суда в эти дни, когда над ними, как судьи, поднялись целые народы!

Как-то в полдень полк приближался к большому чешскому городу, выросшему на горизонте лесом заводских труб. После вселых белых поселков, которые то и дело

кокетливо вытягивались вдоль шоссе, панорама индустриального города, за долгие годы насквозь прокопченного и усыпанного заводской сажей, показалась Хоме необычной для этого края. «Такая маленькая страна, — и такие крепкие заводы! — с восторгом думал Хома, проникаясь еще большим уважением к чехам. — Жилистый народ, такой, как и мы!»

Немцев в городе уже не было, но след их еще не выветрился: темные городские окраины мрачно полыхали огромными пожарами. Горели длинные заводские корпуса, пылало круглое железнодорожное депо с проломленным черепом крыши. Некоторые строения уже совсем сгорялись с землей, превращенные силой взрыва в сплошные развалины. Даже степы уцелевших построек снизу доверху были в зигзагах трещин, образовавшихся, видимо, во время бомбежки. Отряды черных мокрых рабочих, вооруженных брандспойтами, пытались тушить пожары, но их усилия не давали почти никаких результатов. Все вокруг полыхало пламенем, дышало удушливым жаром.

«Когда они успели учинить такой погром?» — гневно думал Хаецкий о немцах, подъезжая к бетонированному заводскому забору, покосившемуся от удара воздушной волны. Близкое пожарище пахло ему в лицо, словно южный палящий суховец.

Едва Хома остановил коня, как его окружили выманные сажей возбужденные рабочие. От них Хома узнал, что заводы были разбомблены всего лишь час назад и сделали это не немцы, а «летающие крепости». Это от их бомб образовались между цехами такие воронки, что на дне выступила подпочвенная вода, — ею пользовались сейчас рабочие, из брандспойтов заливавшие пламя.

В первый момент Хома был искренне восхищен такой работой авиации союзников. «Молодцы, вот так давно бы надо!..» Но рабочие вскоре охладили его восторги. Оказалось, американцы налетели на заводы, когда немцев здесь уже не было.

— Выходит, промахнулись, — с сожалением сказал Хома. — Не рассчитали.

Рабочие держались другого мнения. Видимо, этот падеж их не только не восхищал, но даже вызывал чувство горечи и возмущения, хотя они и старались сдерживать его, как могли. Хома уловил в их голосах эти горькие нотки и был озадачен. В чем дело? Можно допустить, что летчики ошиблись, войдя в азарт, не разобрались

в спешке... Но почему рабочие так беспокоятся об этих предприятиях? Разве мало жил вытянули капиталисты из них, из этих рабочих, разве мало саж наглotalись они за свою жизнь ради чужих прибылей?! Пусть горит!

В беседе, однако, выяснилось, что дело обстоит не так просто, как на первый взгляд казалось Хоме. Далеко не так, товарищ! Терпеливее других втолковывал это Хоме простоволосый коренастый юноша в промокшей от пота майке. Его грязная, огрубевшая в работе рука спокойно лежала на седле Хомы. Тугие жилы надулись на ней, сияя, как реки на карте. «Тоже двужильный», — сразу окрестил чеха подолянин, считавший себя двужильным.

Юноша, как и многие чехи, довольно свободно говорил по-русски.

— Правду сказал советский товарищ — вытягивали из нас жилы эти заводы. Было такое, вытягивали. Но не все вытянули, еще и для нас кое-что осталось. — Юноша весело взглянул на Хому. — И саж наглotalись вволю. Да, это правда. Но отныне говорим: «Довольно!» Хозяева фирмы, господа акционеры удрали доживать свой век где-нибудь в заграничных виллах. Все это мает стать людovým, народным. Все будет конфисковано. Вся Ческо-словенска отпыше есть хозяин тотем заводам.

«М-да, — задумался Хома. — Выходит, не зря рабочие тушили пожары. И не зря они в претензии к господам американам за их запоздалые бомбы...»

— Они и на фронте выше всего ставят свой бизнес, — мрачно сказал кто-то в толпе рабочих.

Хома не понял слова «бизнес», однако не стал спрашивать у чехов, что это за зверь. Лучше он позже спросит об этом у своего замполита. Сейчас, выслушивая сдержанные жалобы рабочих, Хома чувствовал себя довольно неловко. Был он из тех, кто за ответом в карман не полезет, но здесь впервые ему не хватало слов для ответа. Он, как солдат, хотел бы взять на себя всю ответственность за действия союзников, но в данном случае он этого сделать не мог. Однако и хулить американцев ему не позволяло собственное достоинство, достоинство честного союзника. И тут, возле разгромленных, пылающих заводов, Хома впервые серьезно насторожился, пытаясь постичь не совсем понятные ему действия «летающих крепостей».

«Как же быть с вами? — колебался он. — Что вам сказать на это?»

— Мы разберемся, — пообещал он наконец, имея в виду прежде всего себя и Воронцова, и сердито дал шпоры коню.

Хома догнал майора Воронцова уже за городом, когда полк, прогремев сквозь тысячеголосый гомон центральных площадей, просверкав серпами-подковами сквозь бурю музыки и цветов, снова вышел на асфальтовую загородную дорогу. Леса и холмы, как живые, расступались перед полком, а дорога, залитая солнцем, сама стелилась — разворачивалась вдаль.

Майор ехал по обочине и читал на ходу письмо. Сгорбившись в седле, углубившись в чтение, он в этот момент мало чем напоминал строгого командира. Внимательно водил прищуренными глазами по строчкам, время от времени хмурясь или улыбаясь.

Это была какая-то особенная, непривычная для него улыбка, нежно-приветливая, почти ласковая. Майору, видимо, нелегко было разбирать мелкий почерк, и Хома с сочувствием подумал, что, будь это где-нибудь дома, за столом, Воронцов, наверное, вооружился бы надежными очками.

— Как там поживает ваша жена, товарищ гвардии майор? — спросил Хома, вежливо отковыряв. — Бригадир не обижает? Дает соломы для хаты?

— У нас там соломы нет, товарищ Хаецкий, — улыбнулся Воронцов, аккуратно складывая письмо. — У нас тайга крутом, на сотни верст... Да и письмо не от жены, кстати. Сын пишет.

— А-а, сын... Тот, что в армии?

— Тот... Коля. Самый старший мой.

— На каком он сейчас?

— На Первом Украинском. Был под Берлином, а сейчас, надо думать, уже в Берлине. Если, конечно... жив, — глухо произнес майор последнее слово. — Он уже танковой ротой командовал...

Хаецкому казалось странным, что рядом едет не просто Герой Советского Союза с майорской звездочкой на погонах, а пожилой человек, отец, у которого уже взрослый сын, и он волнуется о сыне так же, как и другие люди. Больше того, как и другие, он бывает порой беззащитен, нуждается во внимании и поддержке. Разве не беззащитен он сейчас, когда судьба его сына, может быть, зависит только от случайного попадания или промаха вражеского артиллериста? Чем он может сейчас защитить себя

от тучи тревожных мыслей, обступивших его? Чем он может в эти минуты помочь себе — так, как помогает каждому человеку в полку?

— Не волнуйтесь, товарищ гвардии майор, не очень переживайте, — смущенно утешал замполита Хома. — Все будет в порядке с вашим сыпом... Броню наших тапков нелегко пробить.

Некоторое время Воронцов ехал, не отвечая Хоме, беспомощно моргая па солнце рыжими ресницами. Потом порывисто повернулся к Хаецкому.

— Нелегко, говорите, пробить? Но пробьет, говорите? — оживившись, спрашивал он, словно почувствовал неожиданную поддержку. — А это, пожалуй, верно. Как-никак, они все же в машинах, не то что мы, голая пехота, царица полей...

— Жив, жив будет, товарищ замполит, — еще решительнее уверял Хома.

Воронцов приблизился к нему, понизил голос:

— Знаете, я тоже так думаю... Уже полгода провозовал благополучно, а тут каких-нибудь несколько дней — и конец!..

Воронцов посветлел, выпрямился в седле и снова стал тем крепким, подтянутым Воронцовым, которого Хома привык ежедневно видеть в полку.

Они как раз въезжали на невысокий холм. Отпустив поводья, дали свободу вспотевшим лошадям. Однако лошади не воспользовались этим и сами торопились вперед, стремясь быстрее одолеть крутизну и выбраться на ровное место.

— Оказывается, товарищ гвардии майор, те заводы разбомбили вовсе не немцы, а паны американцы, — заговорил наконец Хома о том, что грызло его всю дорогу. — Налетели в последний час и трахнули! Как по-вашему, это у них бизнес или не бизнес?

Воронцов удивленно посмотрел на Хому.

— Где вы это слово подхватили?

— Оно давно при мне, — не моргнув глазом ответил подоляк. — Науку за плечами не носить... Только до сих пор не очень понимаю, что оно должно означать, это слово. Гешефт?

— Что-то вроде этого, — ответил Воронцов, сразу мрачней. — Все заокеанские капиталисты на бизнесе держатся.

— Держатся?.. Ну и пусть себе держатся, пока не сорвутся. Но, патку мий, при чем же тут чешские заводы? Разве они уже стали костью кому-то поперек горла?

— Может быть, и стали, товарищ Хаецкий.

— Как же это получается?

— Очень просто. Представьте себе: кончится война, империалистические хищники снова примутся за свое. Очевидно, опять развернется борьба между соперниками, между конкурентами. Тогда и эти чешские заводы могут стать для кого-нибудь помехой. Почему же не расправиться с ними заранее, тем более в такой горячке, когда под видом военных действий можно безнаказанно учинить настоящий погром своим будущим соперникам? Почему не сделать на этом, как говорится, бизнес?

Слова замполита направили мысли Хаецкого в неожиданное русло. До сих пор он, как и многие его товарищи, представлял себе послевоенный мир почти иллюзорно, в какой-то туманности, видел его как бы через золотую дымку близкой победы, сквозь цветы и музыку и пьянящую радость последних дней войны. Там должна начаться жизнь, совсем непохожая на прежнюю; там общечеловеческое счастье забьет миллионами живительных источников, там праздникам не будет конца — ведь все люди станут наконец настоящими людьми! После того, что народы пережили, что увидели, — не может быть иначе!

И вдруг Воронцов своей спокойной, твердой рукой как бы приподнял эту туманную дымку, и Хома на миг увидел в далекой глубине послевоенного бытия мир, охваченный тревогами, неутрачивающей враждой, холодным, жестоким расчетом...

Все это было для Хома настолько неожиданным, что он невольно положил руку на свой автомат, как перед близкой опасностью. Краем глаза Воронцов заметил этот инстинктивный солдатский жест.

— Теперь вы поняли, что такое бизнес?

— Да, уразумел.

— Но нервничать из-за этого не стоит. Господин бизнес молодец против овец... а против дружного фронта народов он ничего не сделает.

Речь замполита прервал вестовой, прискакавший галопом от головы колонны.

Майора срочно вызывал командир полка.

Хаецкий остался один со своими мыслями. Около часа ехал он, глубоко задумавшись, ни с кем не заговаривая.

Пробежал суровым взглядом по войскам. Подразделения, доукомплектованные в последнее время, шли и шли сомкнутыми рядами, теряющимися вдаль.

Распространяя горячие аппетитные запахи, тряслись за своими подразделениями солдатские кухни. Обед давно готов, но приказа раздавать его не было. «Перетомится все в котлах,— пожалел мимоходом Хаецкий, угадывая по запаху, что находится в том или ином котле. — Кажется, опять не будет остановки...»

— О чем задумался, земляче? — Кто-то с налета сзади огрел лошадь Хомя. — Гоня, не давай мочиться!

Это Казаков. На взмыленном рысаке, с гранатами и флягой на боку.

— Слышал, Хома? В Праге восстание, народ дерется на баррикадах!

Хома насторожился, как птица.

— Ты откуда знаешь?

— Знаю. Вот тут, в лесничестве, чехи рассказывали... Пражская радиостанция уже в руках патриотов. Все время передает: «Руда Армада, на помощь, Руда Армада, на помощь...» Красная Армия, на помощь, Красная Армия, на помощь...

— Так, может, это к ним мы так и спешим сейчас? — оживился подоляниц. — Замполита зачем-то спешно позвали к «хозяину». И комбатов тоже. Глянь, там уже переходят на гвардейский аллюр!

— Видно, услышали. Услышали!

Казаков рванулся дальше, на скаку выкрикивая во весь голос:

— Прага восстала!.. В Праге баррикады!.. На помощь братьям! На выручку!

Хаецкий гикнул и дал шпоры коню. Скорее, скорей бы! Далекая, исстрадавшаяся Прага зывала к нему, тянулась навстречу, тревожила душу хором живых человеческих голосов: «На помощь!» Этот трагический клич восставшего города заслонил собой все мысли и интересы Хомя. Он уже ни о чем не думал, ничего не слышал, кроме призыва, обращенного лично к нему: «На помощь, Хома, на помощь!»

Через поля, через реки явственно слышал Хома голос восставших братьев. Представлялись они ему в виде тех невольников, которых он недавно освобождал из пылающего пакгауза на австрийской станции, видел далеких

пражцев задыхающимися в огне и крови, и спешил, спешил...

Распалившись, гневно кричал на скаку и людям, и лошадям, и моторам:

— Быстрее, быстрее! Иначе им — хана! Если мы не выручим, то не выручит никто!

Шоссе бурлило. Кухни тряслись с нетронутыми, перетомившимися борщами. Полк заметно набирал скорость.

XXVI

Все были охвачены мыслью о восставшей Праге.

Для Казакова чешская столица была не просто стратегическим пунктом, важным военным объектом или «узлом дороги». Прага для него была прежде всего гордым, непокорившимся городом. Казакову рисовались улицы в задымленных баррикадах, задыхающиеся, залитые кровью братья повстанцы, женщины и дети с кошелками патронов, как когда-то, в дни Парижской коммуны... Товарищи по борьбе, единокровные братья... Как не спешить к ним на выручку, как не вцепиться с налета в отступающего врага, чтоб оттянуть его от Праги на себя? Казаков смотрел на все это как на свое личное дело, обычное и естественное. Точно так же он, не раздумывая, бросился бы на улице защищать ребенка от бешеной собаки или кинулся бы в реку спасать утопающего. Действия полка были направлены именно к этой цели, и поэтому приказ, отданный полку, казался Казакову его собственным приказом.

Вообще, если бы Казакова спросили, где кончаются его сугубо служебные, официальные дела и где начинаются дела личные, он только пожал бы плечами. В полку уже давно все стало его личным делом. Однополчане были кровной родней, оружие — профессией, знамя — семейной святыней.

В бою Казакову приходилось действовать большей частью самостоятельно, и он, не колеблясь, принимал нужные решения на свой страх и риск. При этом его не пугало, что он может ошибиться, споткнуться, хотя за малейший промах ему пришлось бы расплачиваться первым и, может быть, даже собственной головой. Казаков беспощадно гнал из разведки людей, пытавшихся на каждый свой шаг получить санкцию начальства, чтобы

потом, в случае неудачи, иметь оправдание. К таким типам Казаков относился с презрением. Сам он всегда был готов отвечать не только за себя, но и за действия всей части. Раньше, когда полк еще, бывало, терпел поражения, проигрывая отдельные бои, Казаков обвинял в этом в первую очередь себя и готов был нести позор проигранного боя. Зато теперь он принимал приветствия гостеприимных чехов непосредственно в свой адрес, но переносил их на кого-нибудь старшего. Разведчик, он был ухом и глазом полка и понимал это почти буквально.

Выходя в разведку, Казаков отрекался от всего, сразу возвышался над простыми смертными и уже чувствовал себя богом. Боевое задание никогда не казалось ему тяжелым, скорее оно было для него благословением и пропуском в царство желанных подвигов. Он чувствовал, что ведет разведку не только от себя, но и от имени того нового мира, который послал его вперед, поддерживая своего отчаянного посланца во всех его мытарствах.

Может быть, поэтому Казакову все удавалось, всюду ему сопутствовала гвардейская удача.

Подчиняясь дисциплине, Казаков, конечно, выполнил бы любой приказ командира, даже тот, который был бы ему не по душе. Но гнал ли он тогда бы так немилосердно своего коня, как сейчас, устремившись на Прагу?

Птицей летел за врагом, в хипном напряжении полостребиному припав к развевающейся гриве коня, всем телом подавшись вперед.

Не жалел ни себя, ни коня, ни своих ребят. Призыв изнемогающей Праги неотступно звенел у него в ушах, звонким эхом летел над ним всю дорогу.

Ночью гитлеровцы неожиданно оказали упорное сопротивление. На нескольких километрах по фронту разгорелся тяжелый бой с участием танков и самоходок. Все полки дивизии вынуждены были развернуться в боевые порядки. Офицеры водили пехоту в неоднократные ночные атаки. Казаков тоже водил свою братву, гремя в темноту ночи:

— Даеть Злату Прагу!

Лишь перед рассветом удалось сломить противника, и полки, надев чехлы на еще теплые стволы пушек, снова двинулись вперед.

Полк Самиева в колонне дивизии шел головным, и Казаков, вырвавшись на рассвете со своими разведчиками вперед по звонкой автостраде, надеялся, что окажется

па ней первым. Но автострада, вопреки его ожиданиям, была уже освоена: незадолго до того по ней пропеслись на Прагу танки — «тридцатьчетверки». Казакова мучила ревность пехотинца, он ощущал себя чуть ли не обзепиком и незаслуженно укорял коня, который никак не мог стать «тридцатьчетверкой». А танкисты, перехватив пальму первенства, стремительно уходя вперед, оставляли на автостраде, словно в насмешку разведчикам, свежие следы своей работы: разгромленную немецкую артиллерию, дотлевающие в кюветах машины да грязные толпы гитлеровцев, которых конвоиры-чехи гнали в тыл по обочинам автострады. Пленные брели молча, понуро, намкнув по пояс в обильных утренних росах.

Казаков, завидуя танкистам, был вместе с тем искренне доволен, что они так быстро продвигались вперед.

— Хоть и отбивают наш хлеб, зато на выручку Праге успеют, — утешал он своих «волков». — Не дадут братам задохнуться!..

— А может, там уже союзники? — высказал предположение самый молодой среди разведчиков — Славик, которого «хозяин» даже не называл «волком», а только «волчонком».

— Могут, конечно, и они ворваться, если нажмут на все педали, — согласился толстошей ефрейтор Павлюга. — Союзникам, кажется, даже ближе, чем нам...

Казаков покосился на Павлюгу своим рысьим, зеленоватым глазом.

— На союзников надейся, а сам не плошай. Ясно?

— Ясно.

— Аллюр три креста!

Перебрасываясь на скаку словами, разведчики в то же время внимательно осматривали местность. Впереди им ничто не угрожало: там уже действовали танки. Опасность могла появиться только с флангов, слева или справа. Туда, конечно, танкисты не имели возможности сворачивать, оставляя эти просторы фронтовым чернорабочим — пехоте. Но и на флангах никаких признаков опасности не было.

Все ярче занимался рассвет. Тугой ветерок щекотал разгоряченные лица разведчиков. В предчувствии солнца заволновались в низинах белые туманы. Холодноватая даль еще мягко синела, но все вокруг уже прояснилось, приобретало естественные, завершённые очертания. Восток расцветал высоким венком рассвета. Вот уже — далеко

справа, между лесными массивами — загорелись на горных вершинах голые камни. Обжогенные солнцем вершины сразу как бы приблизились к разведчикам. Вот и слева, перебегая в волнистых полях от поселка к поселку, солнце окрасило маковки церквей, высокие деревья, пропеллеры ветродвигателей на пригорках. Раскинутые в равнинном раздолье селения и отдельные фермы забелели фасадами, радостно заиграли навстречу солнцу светлыми стеклами. А оно, могучее светило, все больше заполняло собой мир, все дальше бросало вперед утренние свои лучи, ударяя ими вверх и в стороны. Доброе солдатское солнце, оно опережало полки, всюду выставляя на их пути свои сверкающие утренним румянцем вежи.

Разведчики шли на галопе по этим солнечным вежам — вперед, вперед...

Иногда оглядываясь, ребята видели полк. Он двигался колонной, подминая под себя автостраду, которая, словно на волнах, то прогибалась в долинах, то поднималась на невысоких пригорках. На расстоянии полк казался серым, одноцветным: серые люди, серые лошади, серые пушки... Едва заметное, как тонкая антенна, древко знамени все время покачивалось над головами всадников. Знамя, как всегда на марше, было в чехле.

Справа над автострадой нависали леса, прохладные, промытые росой, пропахшие свежей зеленью. Спускаясь с далеких гор синими оползнями, а ближе — крутыми зелеными обвалами, они останавливались у самой дороги, как бы в раздумье: перешагнуть ли ленту автострады и спуститься дальше в поле или остаться на месте?

Пока полковая колонна была на виду у разведчиков, они скакали уверенно и беззаботно. Но вот уже четверть часа, как полк, скрывшись за поворотом леса, не показывался. Казаков обладал острым чувством расстояния, и, по его расчетам, полк, идя заданным темпом, уже должен был выйти из лесу, показаться на опушке. Но блестящая изогнутая дуга автострады оставалась безлюдной.

Казаков, настороженно съезжившись в своем седле, приказал товарищам пустить коней шагом. В лесах, уже залитых солнцем, стояла тишина. Она не нравилась Казакову, он чувствовал в ней что-то коварное. Как на грех, никто не попадался на пути: ни военные, ни штатские. Далеко слева вставал на горизонте легкий белый дым — догорали какие-то скирды. Прислушавшись, Казаков от-

четливо уловил редкие очереди пулеметов, топко долетавшие издалека. Лошади ступали медленно, разведчики с возрастающим беспокойством поглядывали назад.

— Что это значит? — первый не выдержал Славик, раскрасневшийся от скачки. — Почему их до сих пор не видно?

Павлюга поднялся на стремянах и, оглянувшись, подтвердил:

— Не видно.

— Может, «привалились»? — мрачно предположил Архангельский, широкоплечий, коренастый, издали в седле всегда напоминавший старого коршуна. — А может быть, и в самом деле что-нибудь случилось?

Товарищи подозрительно посматривали в зеленые глубины пезнакомых лесов.

Просхали с километр, до следующего поворота, и Казаков дал наконец команду остановиться.

— Подождем, — пояснил он, сдерживая недовольство. Такие остановки всегда его раздражали.

Соскочили с лошадей, стали прохаживаться, разминая затекшие ноги.

— Ручаюсь головой, что с ними ничего плохого не случилось, — уверял Павка Македон, весельчак и красавец, задушевный друг Казакова. — Вы же знаете, как мое сердце в таких случаях сигнализирует! Безошибочно!

Казаков не раз убеждался в том, что Павкино сердце действительно обладает удивительной способностью угадывать на расстоянии беду или удачу полка.

— Ну, уж если твое сердце сигналист, — махнул рукой Казаков, — то загорай, братва!..

Пользуясь случаем, Архангельский пошел обследовать подбитый невдалеке немецкий броневик. Павлюга, вынув из кармана плитку пивных дрожжей, принялся кормить ими своего скакуна, угощаясь заодно и сам. Тем временем Казаков и Македон, скинув пилотки, расстегнувшись, пошли к ближайшему дубу умываться. Умывались они своим давним разведческим способом: с дерева. Трясли густо покрытые листьями ветки, осыпая себя густой росой, свежая на глазах, брыкаясь и балуясь под ветвистым зеленым душем. Вскоре к ним присоединился и Славик, соблазненный этой богатырской купелью. Македон, вскидывая мокрым черным чубом, уверял, что росяная купель,

особенно на восходе солнца, придает разведчику силу и красоту.

Вдруг все насторожились, услышав неистовую беспорядочную стрельбу где-то позади себя, за лесным полуостровом. Не было сомнения, что эта стрельба имеет прямую связь с задержкой полка.

— Бой! — выкрикнул Казаков, мрачней. — Вы слышите: бой!

Разведчики, подхватив автоматы, стремглав бросились к лошадям. Как всегда в таких случаях, им казалось, что в полку внезапно случилась какая-то беда и надо спешить к своим как можно скорее. На бегу Казаков метнул уничтожающий взгляд на замешкавшегося Македона и свирепо схватил своего рысака за храп.

Уже поставив ногу в стремя, Казаков вдруг остановился. Товарищи тоже застыли возле лошадей. Стрельба была необычная. Она нарастала, приближалась с непонятной, загадочной стремительностью. Такого удивительного летучего боя разведчики не слыхали за всю историю полка. Они привыкли к заземленным огненным рубежам, к продвижению вперед шаг за шагом, они знали, что даже победоносная пехотная атака не может перемещаться в пространстве с такой неимоверной быстротой. Это было нечто большее, чем атака.

Держа настороженных лошадей в поводу, разведчики устремили взгляды на дорогу. Веки у Казакова нервно подергивались. Стрельба слышалась все ближе, все громче.

И вот из-за леса вылетели наконец маленькие силуэты первых всадников, за ними показалась голова колонны — и разведчики ахнули! Полк выглядел необычно, он был какой-то обновленный, торжественный, озаренный. Эту озаренность придавало ему развернутое полковое знамя, ярко пламенившее над колонной. Впервые за долгие месяцы боев с него, с боевого знамени, был снят чехол. Почему? По какому поводу? Разведчики переглянулись, еще не веря своим глазам, будто испугавшись догадки, осенившей их всех одновременно. Неужели наступила наконец та долгожданная минута? Стояли в каком-то радостном оцепенении. Никто не мог промолвить ни слова, каждый был потрясен до глубины души.

А полк приближался, и развернутое знамя, развеваясь в полете, пылало над людьми прекрасным пламенем.

Вся колонна на полном скаку палила в небо из тысяч карабинов и автоматов, палила из чего попало, салютуя в своей неудержимой радости, шалея от восторга. Взлетали в воздух солдатские пилотки, мелькали на солнце белые голуби листовок; всадники подхватывали их на лету.

Разведчики, придя в себя, бросались друг другу в объятия.

— Победа, товарищи!!!

— Победа!!!

— Победа!!!

Со слезами радости на глазах они поздравляли друг друга, любовно произнося это великое и еще не совсем привычное слово.

Каким безопасным, надежным, просторным сразу стал окружающий мир! Уже смерть не угрожает тебе на каждом шагу, уже ты заговорен от ран и увечья, уже открылись перед тобой все дороги в прекрасное, светлое будущее. Такое огромное солнце еще никогда не светило тебе. Небо такой нежнейшей синевы еще никогда не высилось над тобой. Такая радостная, всепроникающая весна еще никогда не ступала по земле. Каждым своим стебельком, каждой выпрямившейся веткой она посылает тебе, труженику войны, свой зеленый салют.

До краев переполненные счастьем, наэлектризованные его хмельной окрыляющей силой, разведчики снова сели на лошадей.

— А теперь... куда? — спросил Павлюга Казакова.

Лошади сами поворачивали назад, ржали навстречу полку. словно спохватившись, Казаков дернул повод и направил своего рысака снова на запад. Разведчики пригнулись в седлах, глубже потянули пилотки, чтобы не сбило их ветром.

— Вперед! — крикнул Казаков. — На Прагу!

Он еще не знал, что в это же утро в Прагу вступили советские танкисты, сделавшие героический переход из-под Берлина на помощь восставшему городу.

Вызывая на автостраде, полк спускался в зеленую, до краев налитую утренним солнцем долину. Вдохновенно стрелял в небо многочисленным оружием, не целясь, не готовясь, не стремясь кого-нибудь убить. Тот и не тот, чем-то прежний и уже чем-то будущий.

Обновленный, торжественный, озаренный...

— Передайте по колонне, — командовал Самиев офицерам, ехавшим за ним, — прекратить стрельбу, беречь боеприпасы!

Когда этот приказ, гася на своем пути стрельбу, докатился наконец до Маковей, парень удивился. Вероятно, недоразумение? Может быть, кто-то в горячке перепутал приказ? Но товарищи уже ставили оружие на предохранители, и Маковей сделал то же самое, сразу возвращаясь к реальной действительности.

Известие о победе вначале совершенно ошеломило парня. Ему казалось, что все теперь пойдет по-новому, что отныне люди должны руководствоваться в жизни совсем иными правилами, чем до сих пор. Должны снять с себя всякие ограничения, забыть обо всем будничном, заговорить другим языком. Ведь сегодня все вокруг было иным, неповторимым фантастически прекрасным.

Началось это утром на восходе солнца. Известие о победе догнало полк на марше, и взволнованный, побледневший Самиев, вырвавшись вперед, к знаменосцам, на лету командовал им:

— Знамя из чехла!

Взглядом, полным счастья и готовности, Вася Багиров принял команду, ловким движением сорвал огрубевший, как солдатская ладонь, чехол, и шелковое багряное пламя вырвалось из-под него, упруго залопотав на ветру.

Полк ответил на это всеобщим салютом.

Маковей и стрелял, и плакал, и смеялся, не слыша ни себя, ни других. Тут же посреди дороги возник короткий митинг. Бойцы на ходу соскакивали с седел, что-то радостно кричали друг другу, крепко обнимаясь, целуясь, теряя свои выгоревшие под всеми солнцами пилотки. Маковей тоже целовали, щекотали усами какие-то счастливые люди, и он кого-то целовал, кого-то поздравлял, возбужденный, взволнованный, влюбленный во всех и во все. Как-то невзначай увидел сквозь бурлящую толпу Черныша и Ясногорскую. Они тоже поцеловались, видимо, впервые, долгим и крепким поцелуем, на людях, при всех. И никто этому не удивился, и Маковей не вспыхнул ревностью — ведь сегодня все можно делать, все разрешалось, потому что все самое лучшее в мире начиналось с этой минуты...

Она занята другим, к ней сейчас не подступить!.. Смеясь и плача от радостной полноты чувств, Маковей бросился к своему верному коню, в жгучем неистовстве повис у него на шее, возле которой столько раз грелся в жестокие морозы и вьюги, по-детски восторженно мечтая о таком вот, как сегодня, весеннем солнечном утре... Все свершилось, сбылось!

Обняв коня, как друга, ощущая на своей щеке его теплую бархатную шею, Маковей, сам того не замечая, все время не сводил глаз с Ясногорской.

А Шура, поцеловавшись с Чернышом, тут же почему-то заплакала, закрыв лицо своими маленькими белыми руками. Маковей сам готов был заплакать вместе с ней... Поцелованная, грешная и недосыгаемая, она была сейчас для него краше, чем когда-либо...

Все кипело вокруг, играло красками леса, блеском оружия, светом человеческих лиц...

Майор Воронцов с трубочкой бумаг в руке уже стоял перед бойцами на оружейном лафете. Глаза его в пучках золотых морщин какое-то мгновение беспомощно мигали, словно привыкая к солнцу, потом вдруг глянули на гвардейцев и заблестели славными, добрыми отеческими слезами.

После короткого митинга полк снова двинулся вперед, не только не уменьшив темп марша, а еще сильнее припоровив коней, радостно салютуя на скаку. Вот тогда-то разведчики и услышали буйную, летучую, быстро нарастающую стрельбу.

И вдруг: «Прекратить стрельбу, беречь боеприпасы!»

Эта команда «хозяина», обдав Маковея боевым холодком, как бы вернула ему утраченное на время ощущение реальности, вывела его из самозабвения, из того сказочно-чудесного вихря, в котором он летел, посылая салюты лесам, лугам, небу, солнцу. Маковей понял, что с приходом праздника их наступление не может остановиться, оно должно продолжаться до тех пор, пока на пути еще есть враги.

А они были. Немецко-фашистские войска из группы генерал-фельдмаршала Шернера отказались капитулировать и поспешно отступали на запад. Их надо было привести в чувство. Эта задача выпала на долю армий 2-го Украинского фронта, в составе которого шел и полк Самиева.

Кроме высшего начальства, никто не знал маршрута полка, но все почему-то думали, что идут на Прагу. Может быть, потому, что каждый сердцем был там, с восставшими чешскими патриотами.

По дороге Маковей то и дело поглядывал на Ясногорскую. Она ехала вся в лентах и венках, ритмично колышавшихся на ее груди. И сама она была как весенний распутившийся цветок. Такой она стала, проехав первый городок, встретившийся на пути полка после митинга. Местное население, восторженно встречая полк, Ясногорскую приветствовало с особой, трогательной нежностью. Чешские девушки заплели ей косы, убрали ее цветами, будто невесту. Девушка-воин, она своим видом восхищала их, казалась им необычайной, как из песни.

Белолицая, хрупкая, словно снегурочка среди весны...

Иногда Маковей стыдливо гарцевал на коне перед Шурой, а она задумчиво улыбалась ему из-под венка. Иногда он ехал следом за ней, как верный ее оружепосец, желая и боясь услышать, о чем говорила Шура с Черпышом. Но опасения его были напрасны: не было любовных признаний, беседовали они о марше, о Праге, о победе, читали стихи. Маковей слышал, как Шура взволнованно читала наизусть:

И вечный бой!
Покой нам только снится...

Подхватив эти слова, Маковей скакал, уже напевая их на собственный импровизированный мотив.

А леса зеленели удивительно мирно, а села мелькали приветливо, а шоссе уходило вдаль, лаская взор, сверкая, как солнечная дорога в полдень на море. Раскаты далеких орудий на флангах уже не вызывали представления о крови и смерти, в их глухом добродушном громе кадровикам слышались учебные выстрелы на летних лагерных полигонах. Полковое знамя то ныряло красной птицей в тенистую чащу зеленых лесов, то вновь вырывалось на просторы, залитые душистым солнцем, высоко развеваясь в прозрачных степных ветрах. И даже когда знамя скрывалось за изгибом леса, все чувствовали его там, впереди себя.

Все было сегодня поразительно свежим, необычным, праздничным. И воинственные гвардейские лозунги зву-

чали для бойцов по-иному. Вот приближаются к Маковой две доски в виде икса, прибитые на перекрестке:

«Добьем фашистского зверя!»

«Добьем...» Кто-то уже приложил к лозунгу руку, зачеркнув первое слово и размашисто написав сверху: «Добили!»

Неужели доби́ли?

Маковой видит разгоряченного Сагайду, который, осадив своего вороного на перекрестке, задержался на секунду перед иксом, как перед непонятным дорожным указателем.

— Неужели доби́ли, Маковой? — догоняя телефониста, кричит Сагайда. — Неужели мы с тобой уже едем... в мир?

Сбив на затылок свою черную кубанку, он оглядывается с таким видом, будто только что пришел в себя.

Маковой напевает:

— Едем, гвардии лейтенант, едем, едем...

— А клены какие пышные, Маковой! А дубы! И листва на дубах... И небо над нами синее... Небо, Маковой, ты видишь? Чистое, как до войны!..

— А вон кирха вдаль виднеется... И село выплывает из-за горизонта! Да какое белое! Интересно, как оно называется? Кто там живет?

— Может быть, то Гринава плывет к нам навстречу, спешит из-за горизонта на великий праздник?! — Сагайда, широко улыбаясь, машет вдаль рукой: — Быстрее, Гринава, полный вперед!

— Вы еще не забыли ее, лейтенант?

— Кого? Ее? Вовек не забуду!

— Представляете, что там делается сегодня? А что у нас дома делается! А в Будапеште!.. Езус Мария, что только делается сейчас на белом свете! Мне сейчас хочется всюду побывать! Всюду сразу: и дома, и здесь, и на Дунае! Всех обнять, всех поздравить! Даже обидно, что ты... неделимый. Если б как солнце! Вы знаете, я сейчас люблю... все! А вы?

— Я? — Сагайда решительным жестом отбросил за ухо свой растрепанный чуб, задумался. Все тело его дышало жаром. — Если б мне власть, Маковой... Сегодня я воскресил бы всех наших, всех погибших в войне... Ах, если бы они встали! Если бы дожили, Маковой!..

— А вы сами думали дожить до этого дня, лейтенант? Помните, как вас бронетранспортеры окружили в замке? Я уже вас тогда похоронил было...

— Я тебя, Маковей, тоже не раз хоронил, когда ты побежишь, бывало, на линию... Вообще мы с тобой дожили, наверно, чисто случайно. Ведь на каждого из нас горы металла выпущены, — давно могло где-нибудь долбануть... Но главное не в этом... Главное, что наступило то, к чему мы с тобой стремились. И наступило совсем не случайно... Неппнуемо!

— Конечно, если б не я, так кто-нибудь другой сидел бы сейчас в моем седле. Ведь полк всегда будет... Но до чего же хорошо! Смотрите, сколько пароду валит...

Вдоль автострады шумит пестрая ярмарка. Из окружающих сел узкими полевыми дорогами тянутся и тянутся к шоссе крестьяне. Босоногие дети, аккуратные матери, веселые хозяева... На велосипедах, на лошадях, на волах, пешком... Спешат посмотреть на серые толпы пленных, спешат приветствовать ярко-зеленые, как май, колонны победителей.

— Взгляните, гвардии лейтенант: вон какой-то чех в очках нашего Ягодку обнимает... По щекам гладит, прижимает, как родного сына... А у Хаецкого маленькое чепеца в седле... И второго мальчонку взял... Смотрите, как смеются и хватают его за усы... И нисколько не боятся...

— Вот в этом и весь секрет, Маковей. — Сагайда задумался, свесив обе ноги на правое крыло седла. — В этом именно наша великая сила и наше великое счастье.

— В чем?

— В том, что не завоевателями, а друзьями приходим мы к народам. В том, что путь наших армий не был отмечен ни виселицами, ни концлагерями, ни фабриками смерти... В скольких хатах за нас молились! Из скольких окон нас выглядывали! За это, Маковей, стоило страдать в окопах и умирать в атаках. Откровенно говоря, он был прав...

— Кто — он?

— Брянский. Мне кажется, что это именно он однажды весной сказал мне где-то в белом цветущем садике... Ну, вроде Гринавы... Мы с ним сидели под яблонькой, пили молоко...

— В Гринаве Брянского уже не было.

— Не только, говорит, ненависть, а прежде всего любовь двигает наши армии вперед. Горячая братская любовь ко всем трудящимся людям на земле. Да, это он так сказал мне...

Сагайда, расстегнув воротник, медленно поглаживал

рукой свою волосатую вспотевшую грудь. Потом, словно о чем-то вспомнив, достал из бокового кармана блокнот, стал перелистывать его, все время улыбаясь сам себе с добродушной таинственностью. Вдруг просветлев, Сагайда повернулся к Маковей, бережно вынимая из блокнота своими толстыми пальцами что-то хрупкое, похожее на фигурный вензель из синего тонкого стекла.

— Узнаешь?

С трудом узнал Маковей в засушенном этом цветке первую поросль словацкой весны, синюю улыбку далекой Гринавы.

— Небовый ключ?

— Да... Небовый ключ...

В предобеденную пору полк встретил несколько машин с надписями на бортах: «CSR»¹. Хозяева машин, энергичные симпатичные юноши, оказались участниками пражского восстания. Бойцы обступили своих братьев по оружию.

— Куда? Откуда?

— На Братиславу, из Праги!

Оказывается, славные эти ребята везут братьям в Словакию сообщение о том, что Злата Прага уже свободна: сегодня ее освободили советские танкисты.

— Как это произошло?..

Произошло это на рассвете. Озверевшие фашисты еще тиранили многострадальную Прагу, расстреливая на площадях ее лучших сынов; еще выпущенные фашистами гранаты грохотали в подвалах Панкраца, убивая беззащитных женщин, детей и стариков; еще новые раненые стонали в подземельях ратуши и пулеметные очереди решетили окна «Людového дома»; еще вооруженные до зубов бандиты шли на штурм баррикад, гоня впереди себя заложников, — еще все это было, когда в горячий клетот уличных боев неожиданно ворвался могучий гром советских моторов. Грозными, всесокрушающими потоками, на максимальной скорости танки влетали в чешскую столицу с северо-запада, со стороны Берлина, и с юго-востока — от города Брно. Неслыханный по темпу, несравненный по героизму многосуточный марш бронетанковых частей Рыбалко, Лелюшенко, Кравченко достиг своей цели: Прага была спасена от разрушения, а жители ее — от гибели. Из тяжелых фугасок, дремавших под влтавскими

¹ Чехословацкая республика.

мостами и под фундаментами города, в последнее мгновение были вынuty запалы. Сотни тысяч неугомонившихся обреченных фашистов были зажаты в железное кольцо окружения.

— Прага жива, Прага ликует! — радостно рассказывали чехи. — Воля советского народа выполнена...

У Маковea сразу отлегло от сердца. Свободна!.. Спасена!.. Уже слышался ему праздничный гомон славянской столицы, шелест победных знамен, музыка, и солнце, и цветы на площадях. Пролетев на коне мимо Ясногорской и Черныша, Маковей обрадовал и их счастливой новостью.

— Прага освобождена! Танкисты-рыбалковцы вступили в нее с севера!

Теперь уже, казалось, можно было не спешить. Теперь уже можно было — наконец-то! — расседлав коней, пустить их на луга, почистить оружие и залить маслом стволы — щедро, надолго. Теперь уже можно было заняться и самим собой. Рассунониться, освободиться от солдатских ремней, побриться, выкупаться, попеть на досуге... Вдали заманчиво сипеют на лугах озера, зовут, зазывают Маковea своей свежей, прохладной влагой! В этот день небо как бы расслоилось, огромными пластами осело на землю, озерами засипело на ней повсюду.

— Хома, — кричал телефонист Хаецкому, поравнявшись с ним, — ты видишь, какие озера?

— Вижу, Маковей: синие!

— Не я ли вам говорил, что в этот день все реки на свете станут такими!.. И Дунай, и Морава, и Днепро, и Волга!.. Правда, как льны цветут? Скинуть бы с себя все и побултыхаться в тех льнах!..

— Помолчи, я тебе говорю! — неожиданно гаркнул подорянин на парня. — Слышишь, команду передают!

Команда налетела, ударила, как гром среди ясного неба:

— Танки справа!

Это было девятого мая, в полдень.

XXVIII

Полк как раз входил по автостраде в широкую раздольную лощину. Насыпь дороги пересекала ее. Слева лощина была на многие километры покрыта лесами, которые, обступив ее с двух сторон, тянулись зелеными яру-

сами далеко в горы. А справа от автострады все поле пылало на солнце красными маками.

Красные маки!.. До самого горизонта пылали они на лугах, пишем не сеянные и радующие всех. Вдали за лугами, за светлыми озерами белело какое-то село с высокой граненой башней костела. Казалось, война совсем обошла этот тихий, нарядный, как оранжерея, уголок чешской земли. И вот в этой огромной оранжерее, наполненной теплыми, нежными запахами разомлевших цветов и трав, внезапно свалилось на бойцов грозное предупреждение:

— Танки справа!

Казаков первым подлетел к командиру полка, рапортуя ему с каким-то сердитым, угрожающим видом, будто своему подчиненному. Самнев, выслушивая разведчика, тут же отдавал офицерам боевые приказы. Рота автоматчиков, бросив у дороги свои велосипеды и мотоциклы, метнулась в лес — в засаду. Стрелковые подразделения батальонов, пулеметные роты и взводы бронебойщиков тоже один за другим исчезали в лесу, занимая боевые порядки вдоль долины, по которой, глухо грохоча, где-то двигались к автостраде вражеские танки. Остальные подразделения полка с пушками и минометами, с лошадьми и повозками, со всем сложным боевым хозяйством ринулись с высокой насыпи вправо, заполняя собой всю буйно цветущую просторную долину. Полк молниеносно превратился из мирного, походного в ошетинившийся, жестко-деловой. Вдоль автострады, которая на случай боя могла служить бойцам противотанковым барьером, стали артиллеристы и минометчики.

Уже сняты чехлы с минометов и орудий. Уже горячие гонцы полетели в дивизию. Уже в цементной трубе, проложенной под полотном дороги, врачи развернули медпункт.

Люди притихли в привычном молчаливом напряжении.

А может быть, обойдется без боя?

Маковей, пабив патронами обоймы, лежал у самой бровки асфальта рядом с Хаецким и другими однопольчанами. Он следил за противником. Хома, сопя, долбил для себя на склоне насыпи ячейку. Механизированная вражеская колонна, выползая из глубины леса, двигалась по середине балки прямо на Маковей. Она была еще далеко, урчала глухо, но этот зловещный гул рвал Маковею сердце. Неестественно страшно было ждать в этот праздничный день взрывов, стонов и чьей-то крови. Жутко

было ощущать, как смертельная опасность, приближаясь с каждой секундой, словно грабит тебя, проглатывая огромный цветущий мир, сплыву озер, красные маки, рушит высокое, только что воздвигнутое здание праздника. Еще несколько минут назад бойцы слышали золотой благовест над землей, слышали праздничный, охватывающий материки шум народов. И все это должно затихнуть перед мрачной силой, снова выползающей из лесу сюда, к автострате.

Уже невооруженным глазом видно: два средних танка впереди, за ними несколько бронетранспортеров, а дальше — вереница черных крытых автомашин.

Колонна не сделала еще ни одного выстрела.

— Может быть, это и не немцы? — обратился Маковей к Хаецкому, который уже удобно улегся в своей ячейке.

— А кто ж, по-твоему?

— Может быть, это союзники вышли нам навстречу? Видишь, не стреляют.

— До союзников еще — боже мой...

— Чего там — боже мой! Ведь у них тоже все механизировано... Они могут за сутки продвинуться знаешь на сколько?

— Знаю... С каких пор скажут, да никак не доскачут...

— Неужели ж немцы? — Маковей не хотел верить своим глазам. — Почему ж тогда они не стреляют? Ведь они видят наших лошадей...

Маковей оглянулся. Лошади, брошенные пехотинцами на произвол судьбы, разбрелись по долине и спокойно паслись. Оседланная гнедая кобылица Ясногорской, подняв голову, тихо ржала. А буланый Маковей, по колени бродя в красных маках, спокойно пощипывал траву рядом с конем Сагайды. Конь Черныша бил копытом землю.

Маковей отыскал глазами Черныша. Лейтенант, глядя в сторону леса, стоял навтыяжку возле насыпи перед своими готовыми к бою минометами. Седая женщина, врач санроты, о чем-то спрашивала его, вытирая руки, а он сквозь зубы отвечал ей. Возможно, врач спрашивала его о Ясногорской. Шура вместе с пехотой Чумаченко была где-то в лесу, по ту сторону автостраты.

— Много же их прет, — заметил Хаецкий, внимательно следя за молчаливым движением колонны. — Наберется не меньше полка.

— Они, наверно, надеются, что мы их не тронем, пропустим без боя, — соображал телефонист. — Где-то, видно, задержались, а теперь спешат на асфальт.

— Асфальт теперь не для них. Им остались только болота да чащи лесные.

— А может быть, идут сдаваться? — утешал себя Макowej, сиюсь разгадать намерения блуждающей вражеской колонны.

То, над чем он ломал себе голову, командиру полка было понятно с самого начала. Окинув взглядом «колбасу» (как мысленно назвал Самиев колонну), он сразу определил ее характер, огневые средства, тактические возможности. Опытный глаз без труда мог заметить, что эта громоздкая, неуклюжая колонна, растянувшись на километр или больше того, но представляет собой постоянную боевую единицу, что сформировалась она наспех, из остатков разных, где-то разгромленных частей. По характеру движения колонны легко было определить, что она уже не чувствует на себе твердой руки единого командования. Только этим и можно было объяснить хаотические заторы, то и дело возникавшие в результате своеволия водителей. Огневые средства колонны, возможно, даже сильнее, чем у полка Самиева. Но сейчас это не могло быть решающим. Сейчас действовали другие факторы, более значительные, нежели количественное соотношение стволов. И разное моральное состояние личного состава, и разный уровень дисциплинированности, и даже леса, обступившие балку, ограничивавшие врагу возможность маневра, — все это отметил и учел подполковник Самиев.

Замаскировавшись с офицерами на опушке, он внимательно изучал быстро приближающееся механизированное скопище врага. Ясно, «колбаса» спешит вырваться на автостраду, чтобы податься к американцам. Захваченные в последнее время пленные откровенно заявляли, что, удирая к американцам, эсэсовские головорезы надеются получить у них отпущение всех своих преступлений. Ведь они не успели пройти с огнем и виселицами по заокеанским штатам, они еще только мечтали об этом. Их надеждам помешал Сталинград. Сейчас «колбаса» тоже, видимо, спешит вырваться на большую дорогу, чтобы устремиться на запад. Конечно, дело может обойтись и без боя. Если колонна согласится капитулировать, Самиев примет капитуляцию. Обезоружит, направит в тыл. Или

гитлеровцы и в самом деле питают надежду, что полк Самиева пропустит их, не тронув? Тогда они его, конечно, тоже не тронут. Но для командира полка такой вариант был неприемлем. Честь советского офицера не позволяла ему уступать фашистам дорогу, уклоняться от опасности.

Следя за колонной, Самиев ждал сигнала капитуляции. Вот-вот взвьется над передней машиной белое полотнище... Ведь им уже ясно видно, что дорога перехвачена, занята советскими войсками. Несколько броневиков и легковых автомашин, обгоняя колонну, мчатся по балке. Тупорылые, как бульдоги, они рыщут у самого леса, словно обнюхивая его.

Не командование ли колонны едет капитулировать?

Вдруг передний броневик с хода стеганул по опушке. К нему присоединились другие. Танки наводили хоботы орудий прямо на автостраду.

Самиев, подскочив, как на пружинах, энергично махнул кулачком офицерам-артиллеристам: давай!

Пушки загревели. Лошади, пасшиеся в долине, подняли головы, наострили уши и сразу стали похожи на диких.

XXIX

Над всей долиной стоял дым. Не оранжерею, не теплицу, а огромную свежую воронку напоминала она теперь. Воздух нагрелся, погустел, иссеченная металлом зелень опушек заметно поредела. Там, где еще полчаса назад двигалась грозная колонна, теперь в беспорядке догорали разбитые машины. Черные остовы их оголялись металлическими костями, оседали, тлели.

А в лесах, на восток и на запад от балки, еще трещали выстрелы. В бой вступали подразделения других полков, прибывавших на помощь Самиеву. Как теперь выяснилось, механизированная вражеская колонна, которую только что разгромили самиевцы, была лишь передовым отрядом потрепанного эсэсовского корпуса, пробивавшегося лесами к автостраде. После разгрома своего авангарда гитлеровцы, бросая в панике технику и тяжелое оружие, массами ринулись в леса. Сбиваясь в отдельные большие и малые группы, они искали там спасения. Но всюду их встречали огнем гвардейские засады.

— Всех на аркан! — скороговоркой частил Сампиев, высылая свои подразделения наперерез отступающим. — Чтоб не ушел ни один!

Закинутый аркан стягивался все туже. Бой, распавшись на несколько мелких стычек, догорал в лесах отдельными очагами.

Черныш, оставив у минометов одних наводчиков, повел свою роту на подмогу пехотинцам. Ему хотелось попасть в восточную часть леса: там действовал батальон Чумаченко, где-то там была и Шура. Но Сампиев бросил минометчиков вместе с полковыми артиллеристами и ротой связи совсем в другую сторону — в западный сектор леса.

Эсэсовцы защищались упорно, сдавались неохотно. Некоторые, не бросая оружия, торопливо натягивали в кустах гражданскую одежду, срывали с себя награды и знаки отличия.

На протяжении часа минометчикам несколько раз приходилось пускать в ход гранаты, идти врукопашную. Уже были ранены Иона-бессарабец, ординарец Черныша Гафизов и командир второго взвода Маркевич. Однако, несмотря на потери, настроение у бойцов было повышено-боевое. Кто-то пустил слух, что среди эсэсовских недобитков пныряют, маскируясь под рядовых, известные военные преступники, и Хома хвалился, что собственноручно поймает хоть какого-нибудь завалящего геббельса. Но, как назло, ему попадались одни только ефрейторы и обер-ефрейторы.

После короткого жаркого боя минометчики возвращались из леса триумфаторами. Они гнали впереди себя пленных в десять раз больше, чем было в роте бойцов. Эсэсовцы брели в своей обвисшей опозоренной униформе, опустив глаза в землю, тупо покорившись своей судьбе, потные, оборванные, как сборище истощенных лесных бродяг. Особенно повезло на этот раз Маковею: ему удалось захватить живьем генерала, когда тот, сопя, в кустах натягивал на свою прусскую лапу элегантную чешскую туфлю. Он так и не успел обуться и ковылял перед Маковеем босой, в тесных гражданских штанах. Артиллеристы шутя предлагали Маковею обмен: давали ему за босого генерала двух оберстов с Железными крестами. Маковей соглашался было на обмен. Но братья Блаженко отсоветовали:

— Не падо, Маковей, не меняйся. Веди своего люцифэра сам. Благодарность получишь от «хозяина».

— Но ведь он босой, — беспокоился телефонист. — Туфли не налазят, а сапоги где-то пропали, пока я его обыскивал. Как в воду канули. Кто взял? Никто не брал. «Хозяин» может подумать, что это моя работа.

— Не волнуйся, Тимофенч, — успокоил телефониста Хаецкий. — У меня тоже один босой!.. Черт его знает, где он чеботы потерял...

— Так у тебя же ефрейтор!..

— Это он только на вид ефрейтор, — объяснил подолынин. — А ты перелицуй его, посмотри, что у него там под сподом... Я уверен, что это не простая штучка! Видишь, как он нежно ступает босыми пятками по сухим кочкам? На пальчиках! По-моему, это какой-нибудь передетый Кох, а может быть, даже Гудернан. Вихвиль яр война? — обратился Хаецкий к своему босоногому пленнику, шедшему в толпе.

Тот, оглянувшись, молча поднял четыре растопыренных пальца.

— Четыре года! — воскликнул Хома. — Так ты, значит, все прошел, халамидник! По-первах небось хорошо было идти, задрав голову, зеньками весь мир зажирал! Направо: «Матка, яйки!» Налево: «Матка, млеко!» Когда шел к нам, не думал про такой аминь! Думал, что на слабых нарвался, ведь они, дескать, войны не хотят. А как растревожил, так и сам не рад! Приходится босиком скакать по колючей чешской земле. Скачи, скачи, волоцюга, перемеришь голыми пятками мир, узнаешь, какой он широкий! Не влезет ни в чью глотку!

— Что ты их агитируешь? — упрекал Хому Денис, шагая рядом с Чернышом. — Ты же видишь, они еще в себя не пришли.

— Разве я агитирую? — возражал Хаецкий. — Я только объясняю, какая она есть, наша правда! Не трогаешь нас — мы смиренные и мирные, затронешь — пеняй на себя.

На автостраде снова былолюдно. Со всех концов леса возвращались подразделения, возбужденные, распалившиеся, бодрые. Как будто не из утомительного боя выходили, а только сейчас собирались в бой. Гнали косяками пленных, несли какие-то трофеи, волочили по земле фашистские знамена. Оседланные лошади, с налитыми кровью глазами, испуганно металась по долине, вырывались на асфальт. Уздечки в цветах, гривы в лентах...

Маковей узнал среди них и лошадь Шуры. Запаленно хряпая, она летела без своей всадницы вдоль автострады, и седло на ней, повернувшись на подпругах, сползало вниз, болталось на животе.

Передав генерала братьям Блаженко и сразу же забыв о нем, Маковей кинулся ловить Шурину лошадь. Сагайда и Черныш бросились к нему на подмогу. Но дрожащая, встревоженная лошадь не далась им в руки: опалив лопцов горячим дыханием, она проскочила между ними и, звонко выстукивая подковами, помчалась вперед.

Внизу, возле виадука, медсанбатовские машины забирали раненых.

«Как их много! — вздрогнул Маковей. — Лежат на дороге, выходят, окровавленные, из лесу... И, кажется, большинство из нашего батальона. Даже комбата Чумаченко офицеры ведут под руки. Без фуражки он совсем седой... А кого-то несут на плащ-палатке... А кому-то уже копают край дороги могилу... И Шовкун идет с забинтованной головой... Что ж это такое?»

Шовкун, заметив минометчиков, быстро пошел к ним навстречу. Приближался, позванивая медалями, забрызганными яркой, еще свежей кровью. Маковейу стало страшно: глаза Шовкуна были полны слез.

На этом обрывалось последнее ясное восприятие Маковей. Дальше все уже пошло кошмарной коловертью, пролетали в сознании только отдельные, болезненно яркие обрывки окружающего. Мир наполнился угаром, как огромная душегубка.

На рябой трофейной палатке автоматчики несли Ясногорскую.

— Он выстрелил ей в спину из-за дерева, когда она перевязывала нашего комбата... Двумя разрывными подряд.

«Кто он? Почему из-за дерева? Почему в спину?» — думал телефонист, слушая суматошный гомон вокруг, куда-то торопясь за товарищами, путаясь в цепкой прибитой траве. Не заметил, как очутился в тесной толпе и, ступая нога в ногу с другими, молча побрел за палаткой. С каждым шагом сознание его проваливалось в удушливый мрак. А перед ним среди солдатских пропотевших спин ритмично плыла поднятая палатка, проплывала в туманную безвестность — сквозь бесконечный угар, сквозь конское ржание, сквозь команды, уже звучавшие где-то на опушках, будто ничего и не случилось.

А на палатке лежит навзничь какая-то незнакомая Маковсею девушка. Расстрепанная, спокойная, в изорванных венках, в измятых погонах. Нет, это не она! Плышет и плывет, покачиваясь, словно на волнах тумана. Голова бессильно клонится набок, а чья-то рука, загорелая, испаранная до крови, время от времени поправляет ее. Кто это? Чья это загорелая рука с разбитым компасом на запястье? Лейтенант Черныш. Без головного убора, сгорбленный, накрест перетянутый через спину пропотевшими ремнями... Бредет рядом с палаткой, то и дело спотыкаясь, отставив назад острые локти, словно толкает впереди себя что-то каторжно тяжелое.

Да, это действительно она лежит, раскинувшись устало и неудобно, в венках, которые забыла снять перед боем!.. Нет венков, нет цветов — одни лишь стебли, оборванные, залитые кровью...

Лежит, как живая, естественно белая, спокойная. Смотрит на Маковсея удивленным, неподвижным, раз и навсегда остановившимся взглядом. Вот-вот шевельнутся полуоткрытые губы, оживут в тонкой улыбке, а рука сожмется, чтобы подняться... «Поднимись, улыбнись, вздохни! На, возьми мою силу, мою кровь, мое дыхание!»

Слезы текли по щекам Маковсея.

Перешли автостраду, побрели среди пылающих маков, остановились на склоне долины, у дороги. Яма была уже готова. Возле нее, прикрытые палатками, лежали погибшие в этом бою. Ясногорскую положили рядом с ними и тоже прикрыли палаткой до самых глаз. Похоронная команда со скрежетом счищала с лопат сырую землю. Этот скрежет обжигал Маковсея. Он словно только сейчас постиг все, что произошло. «Яма! Яма!!» В ужасе отшатнулся от нее, кинулся прочь, отбежал на несколько шагов, упал лицом в примятую густую траву. Дав себе волю, заплакал навзрыд, зарываясь лицом в спутанные зеленые космы травы, удивительно похожие на девичьи распушенные косы-косички...

Зачем, зачем это произошло? Почему он выстрелил ей в спину двумя разрывными подряд? Кто этот он и где он сейчас? Поймали ли его, уничтожили?

«Маковей, возьми меня на руки и понеси по белому свету!.. Унеси меня в дальнюю даль, где уже нет войны, где их никогда не будет, где гремит музыка свободы...»

А может быть, он, тот, что стрелял из-за дерева, еще бродит где-то в лесах, подкрадывается тайком к золотым

городам, с ненавистью прислушивается к радостному гомону народов?

«Маковей, сделай для меня то, сделай для меня это...»

«Встань, и я все сделаю! Живи, и я все сумею!»

«Разыщи того, кто стрелял из-за дерева! Покарай, засуди его, уничтожь. Тогда я оживу и приду к тебе и всюду буду твоей спутницей...»

Маковей поднял на ноги троекратный салют, которым полк провожал в братскую могилу Ясногорскую и ее товарищей.

Уже было произнесено прощальное слово, уже люди разбегались по своим местам, выполняя команды, снова собираясь в дорогу. Вот промчался мимо раскрасневшийся Сагайда, вот пробежал, пригнувшись, Черныш, неловко тыча пистолет в кобуру и не попадая в нее. У дороги среди пылающих маков остался свежий холмик земли с маленьким обелиском; пятиконечная звезда венчала его.

От влажной могилы еще шел пар, она дышала из-под обелиска дрожащим прозрачным маревом. Огромное солнце, согревавшее в этот день далекую трансильванскую сопку, грело своими щедрыми лучами и эту пирамидку свежей, парной земли, черную, внезапно выросшую у дороги на расстоянии пушечного выстрела от Праги.

Будет так: под вечер из окружающих сел придут на поле боя чехи и чешки. Они найдут братскую могилу погибших, любовно обложат ее красными маками. Молча, как в немой присяге, всю ночь будут стоять они над ней со свечами в руках. И то, о чем передумают чешские девушки в эту майскую ночь, уже не забудут они никогда. Никакая жара не высушит цветы на могиле: ежедневно смеемые, они всегда будут живыми.

А еще позднее в истории полка под датой 9 мая 1945 года появилась лаконичная запись:

«Бой в долине Красных Маков».

Команда «строиться!» вывела Маковей из тяжелого забытья. Он сразу вспомнил, что у него есть автомат, что у него есть копь по кличке Мудрый, что где-то на повозке лежат его аппараты и мотки красного кабеля.

Где же Мудрый?

Мудрого подвел к нему Роман Блаженко. Сам поправил седло, сам подтянул подпругу.

На марше, когда полк двинулся своим привычным порядком в прежнем направлении, рядом с Маковеем очутился Черныш. Потемневший, заросший, не молодой уже, как прежде, а как-то сразу постаревший. Крепко, словно навсегда сжаты губы. Сухой антрацитовый блеск в запавших глазах. Голова опущена на грудь, плечи остро подняты, словно лежат за ними устало сложенные крылья...

С километр ехали молча, колено к колену. И даже это суровое молчание сближало их. Потом как-то невзначай переглянулись покрасневшими скорбными глазами.

«Маковей, это ты рядом со мной?»

«Это я, лейтенант».

«Ты любил ее?..»

«Да».

И оба вдруг поняли, что отныне будут до боли близки и дороги друг другу, еще ближе и дороже, чем раньше.

Всю дорогу их видели рядом.

В первом же поселке, через который проходил полк после боя, минометчики увидели Шурину лошадь. Она стояла на площади среди громкоговорителей, высоко подняв голову, окруженная чехами и чешками. Сбруя на ней уже была в порядке, седло на месте. Радостные, шумливые, как птенцы, ребятишки толпились вокруг лошади, наперебой хватались за стремяна, просили отцов, чтобы посадили в седло. Взрослые подсаживали их по очереди. Каждую минуту в седле появлялся, счастливо оглядываясь вокруг, новый светловолосый всадник или юная храбрая всадница. Вся залитая солнцем, площадь звенела детским щебетом.

XXX

Тем временем вековой бастион славянства на западе — чешская красавица столица шумела радостным праздником.

Злата Прага...

В этот день она была действительно золотой.словно все предыдущие вёсны, украденные у нее оккупантами, сейчас возвращались к ней щедрой, утроенной звонкостью, роскошью солнца, полководьем музыки.

Шумные человеческие речи затопили пражские сады, улицы, площади. Торжественно выстроилась вдоль про-

спектов зеленая стража каштанов — почетная стража весны.

От края до края цветет Вацлавское предместье, этот пражский Крещатик... Знамена, музыка, песни...

Стоит на Староместском майдане врезанный в века Ян Гус, осматривает свой старинный град. Еще никогда этот славянский город не был таким молодым и солнечным. Еще никогда такой счастливый шум не клочкотал здесь от края до края...

Стоят на Карловом мосту огромные скульптурные фигуры, суровые святые и воины, смотрят на ярко разукрашенные набережные, на спокойные воды Влтавы. Сегодня Влтава не хмурится ни одним облачком, потому что не хмурится небо над ней.

Ликует Мала Страна. Уже не падает тень на Злату Уличку, узкое, извилистое пристанище средневековых мечтателей-алхимиков... Сегодня она стала по-настоящему золотой, не в мечтах, а наяву. Сегодня она вся купается в солнце, и радость бурлит здесь такими же яркими волнами, как и на широких пражских площадях, на залитых солнцем проспектах...

Стоят на проспектах и улицах десятки тысяч пражан, еще бледных от хронического недоедания, буйно опьяневших от чистого воздуха свободы. Прекрасный проспект, очищаясь от баррикад, становится просторнее, вытягивается вдаль, убегает куда-то за город, будто к самому солнцу.

Прага звенит, поет, ликует, упоиваясь радостью весны и победы.

Все радиостанции транслируют советские марши.

Сквозь гром овадий, сквозь неутихающее на протяжении километров тысячеголосое «наздар!» проходят танки победителей. Украшенные зеленью, усыпанные цветами, они проплывают сквозь человеческое море как огромные живые клумбы. А на танке, в замасленном шлеме, с развернутым знаменем в руке, стоит добродушный русский паренек, улыбаясь народам своей широкой уверенной улыбкой:

— Порядок в танковых частях!

Так вот он какой, боец Советской Армии... Десятилетиями на него клеветали. Десятилетиями народам мира говорили о нем неправду. Теперь он, услышав призыв изнемогающей Праги, пришел сюда железным маршем, высоко выпрямился на своей разукрашенной цветами

машине, и народы могут наконец посмотреть на него вблизи. Озаренный сияньем Сталинграда, вооруженный посланец молодого мира, он стал для них надежным образцом, показав, как надо защищать свою свободу и честь, как надо карать врагов человечества. Великий справедливый, он собственной грудью защитил народы от разбойничьего потопа, от разгула кровавых палачей.

Теперь он стоит на танке, гордо держа в руке знамя своей отчизны. Багряная тень шелка ложится на юношеское лицо, переливается в озорных умных глазах, повидавших многое, вобравших в себя полмира..

Танк пролетает Вацлавским предместьем, и тысячи поднятых рук рвутся вперед за знаменосцем. Они хотели бы поднять его вместе с танком и понести, как свою надежду, через весь город. И очень скоро произойдет именно так: на одной из городских площадей свободные руки пражан водвинули высокий пьедестал и подружат на нем этот советский обстрелянный танк, отлитый из уральской победоносной стали...

Злата Прага...

Никогда еще не была она такой золотой. Поэзия свободы, солнечная гроза революций слышались в ее триумфальном клекотанье.

В скромный домик на Гибертской улице, где когда-то состоялась Пражская партийная конференция, в комнату, где тридцать три года назад побывал великий Ленин, шли и шли делегации воинских частей: Днепропетровские и Трансильванские, Берлинские и Будапештские, Белградские полки и дивизии посылали сюда своих представителей. Густо загоревшие, бывалые воины, в орденах и медалях, с венками и флагами в руках, поднимались за проводниками-чехами на четвертый этаж, на высокий командный пункт гениального стратега революции. Несли ему великий рапорт, докладывали об исполнении его заветов. Задумчивые, притихшие, с пилотками в руках, стояли среди венков и знамен, разглядывая отсюда самые далекие горизонты истории, свое прошлое и свое будущее. И эта скромная сумеречная комната, полная торжественного музейного холода, казалась им вознесенной над миром выше дворцов, выше небоскребов.

За окном раскрывалась панорама свободного города, плывущего в разливах солнца, в плеске знамен. Сколько охватывает взор, плещутся они — на балконах домов, на

крышах, на башнях, на куполах, касаясь множеством крыльев топкой голубизны небосвода. Трехцветные чехословацкие и рядом с ними, как их старшие братья, — красные советские, с серпом и молотом. Вот он, триумфальный поход ленинизма, воплощенный материально, видимый и ощущаемый уже всей планетой!

Одной из первых в этот день комнату Ленина посетила группа танкистов. В книге впечатлений оставили свою короткую запись, которая заканчивалась столбиком подписей на полстраницы. Среди других стояла и подпись гвардии лейтенанта Николая Воронцова. Молодой офицер-танкист, сын замполита Воронцова, оставляя свою запись, конечно, не знал, что через несколько часов ее прочтут разведчики самиевского полка и привезут майору радостную весть о сыне.

Полк вступил в Прагу под вечер. На рысях проходил по людным рабочим окраинам, получив уже новое боевое задание, направляясь дальше на запад.

Рабочие разбирали последние баррикады, поднимали опрокинутые трамваи. Женщины и дети с криками и проклятиями гнали за город толпы растрепанных, одичавших посадников-швабов. Чтоб не смердело фашистским духом в золотой Праге! Чтоб не гнездилась здесь опостылевшая тевтонская агентура! А по крышам и чердакам дружно сновали рабочие-подростки в повых фуражках народной милиции. Упорно выискивали одиноких фашистских крыс, насквозь прочесывали родные окраины, радостно кричали сверху подходящему полку:

— Наздар!

Мостовая звенит.

Летят и летят ряды озаренных солнцем лиц, обветренных и загоревших, закаленных стужами и зноем. Летят, впервые увиденные Прагой и уже навеки родные ей... Видит она в большой гвардейской колонне и сурово настороженного Васю Багирова с древком в руках, и возбужденного Казакова, и майора Воронцова, который оглядывает бойцов, словно спрашивая самого себя: который из них ему дорожке, который для него самый родной? И каждого ласкает теплым взглядом, и каждым гордится, и каждого чувствует сыном... Рядом с Воронцовым скачет маленький горячий Самиев на высоком коне... А дальше — играет золотыми погонами новый комбат, заменивший Чумаченко... Едут Черныш с Макоем, оба задумчивые, оба грозно нахмуренные. За

ними плечом к плечу двигаются Сагайда и Ягодка. Дальше высятся братья Блаженко, Роман и Денис, как два отлитых из бронзы гиганта. Мчится на своем резвом жеребчике Хома Хаяцкий, решительно поводя усами, зачарованно осматривая Прагу. Строго покрикивает, закинув голову, обращаясь к молодой чешской милиции:

— Ищите по всем щелям, по всем дымам!.. Не давайте им вить гнезда! Выводите их на площади и судите великим судом. Чтоб знали, какая доля разбойников ждет! Чтоб наказали всем внукам и правнукам — до десятого колена!..

Рота за ротой проходит полк, гремит и звенит по пражской мостовой. Ряды уже заполнены, по ним уже не видно, чего стояли полку плацдарм и Долина Красных Маков, Альпы и тысячи других боев. Проходит он, сдерживая в себе свои великие боли и радости, неся в себе непоколебимые присяги и мечты.

Рядовой и обычный, похожий на десятки других полков, проходящих здесь в этот день.

Монолитной, сомкнутой колонной при развернутом знамени, лицом к солнцу...

Таким пройдет он через всю Прагу, вырубая на стенах чешской столицы свои знаменитые указы. Таким уйдет он за город — в золотое марево далеких незнакомых дорог.

Всем испытанный.

Готовый ко всему.

РАССКАЗЫ

I

Вижу, как ты выходишь из своей горной хижины и смотришь вниз.

— Тереза! — зовет мать, а ты стоишь не откликаясь.

— Тереза!

А ты улыбаешься кому-то.

Ветер гуляет в Рудных горах. Звепит сухая весна, гудит зеленый дуб на склонах, и вымытые камни смеются солнцу.

— Тереза! Кого ты высматриваешь?

А ты вскидываешь руки, словно хочешь взлететь.

— Мамця моя! Пан бог видит, кого я высматриваю!

Высокое небо над тобой гудит от ветра, как голубой колокол.

II

На что ты засмотрелась? Во что вслушиваешься?..

Было морозно и пустынно, когда я постучал в твоо окно. Слышал, что в доме не спят, но никто мне не отвечал: там советовались. Из-под навеса бил снег и засыпал мне глаза. Белый ветер стонал в пустоте гор.

Я постучал еще раз. Осторожно, так, словно и в самом деле этот стук могли услышать там, далеко впизу.

— Кто вы?

Что мне сказать? Кто мы?

— Свои, — говорю и не слышу собственного голоса. Третьи сутки вместо воды мы ели снег.

— Свои, — хриплю что есть сил.

Тогда в доме зазвенело так, словно солнечный луч сломался об оконное стекло.

— Мама, то русские!

Медленно открылась дверь. Я вошел в комнату, держа автомат наготове. Нажал кнопку фонарика. В полосе электрического света замерла у стола испуганная мать, а ты возле высокой кровати застыла в удивлении, закрыв грудь распушенными косами.

Я погасил фонарик и сказал, чтобы завесили окна.

Мать зажигала лампу, и спичка дрожала в ее руке. Ты встала на стул, босая, чтобы закрыть окна.

Я стыдился смотреть на твои белые стройные ноги, но, отведя глаза, все равно видел их все время.

Соскочив со стула, ты стала передо мной. Только сейчас я заметил, как разодран мой белый халат. Ты тоже была в белом платье, а на руке чернела повязка.

— Так это такие... русские?

— А какими вы их представляли?

— Такими...

Ты протянула мне руку. А мои были красные, застывшие, в грязных бинтах. Бинты нам служили и рукавицами, которые мы потеряли, мытарствуя в проклятых скалах.

— Кто у вас бывает?

— Сегодня никого не было, господин солдат, — отозвалась мать.

Она стояла возле кафельного камина и печально смотрела на меня.

— А по ком вы носите траур?

— По нашему Франтишеку, — говорит мать.

— По Чехословацкой республике, — говоришь ты.

Выхожу во двор, миную кошару, где постукивают овцы, и тихо свищу. От скирды сена отделяется Илья, белый как привидение. Замерз, ругается и спрашивает:

— Что там?

— Можно.

— Братъ и «баян»?

— Давай.

Входим в комнату. Увидев печь, Илья улыбается. Ставит около двери «баян», отряхивается, удивленно вслушиваясь в славянскую речь.

— Так мы ж как дома! — восклицает он. — Я все понимаю!

— Мы тоже все понимаем. Мы словаки.

— Наконец-то кончилось это «нэм тудом»¹, — говорит Илья. — Мы будто снова на родине.

Мать показывает на наш сундучок возле порога.

— Что это у вас?

Ты догадываешься:

— Радио.

— Радио! — Мать всплескивает руками. — Прошу падо, не падо его в доме! Вы будьте, а его не падо. От него у нас все зло. Оно забрало нашего Франтишека.

Ее сын Франтишек всегда сидел над присмником до глубокой ночи. Слушал и Лондон и Москву. Неосторожный, хвалился на работе тем, что слышал. Но припили собаки-тисовцы, разбили радио и схватили Франтишека. В прошлый четверг расстреляли его на карьерах. Штап-дартенфюрер говорит — партизан. Для них что словак, то и партизан. Скажите, пожалуйста, какой из ее мужа партизан? Лесник себе — и все! А тоже схватили и погнали рыть немцам окопы. «Прошу: не падо новой беды!»

— Мамаша, — утешает Илья, — оно немое.

— Не падо, панове солдаты!

Илья берет рацию и уносит из хаты.

Теплой волной дышит камин, греет, как спирт. Чувствую, как с дрожью выходит из меня горный холод. Из осторожности мы трое суток не разводили огня. Мы то ползли, как белые ужи, в камнях, высоко над шоссе, то забирались на самый кряж, откуда видны были все батареи в тылу противника. Вызывая время от времени «Симфонию», передавали все, что было нужно.

Часто меняли стоянки. Это нас изводило. Перекочевывая из ущелья в ущелье, мы не раз, особенно ночью, срывались в какие-то пропасти. Будь меньше снега, мы, наверное, свернули бы себе шеи. А так только изодрали руки, сбили колени, изорвали халаты и, что самое обидное, повредили рацию.

— Вот к чему приводят эти полеты, — мрачно констатировал Илья, окончательно убедившись, что рация не заговорит.

Впрочем, задание было выполнено, и этой ночью мы решили перебраться к своим.

Ты налила в таз теплой воды. Я пытался размотать свои руки, но онемевшие пальцы не слушались.

— Дайте я!

¹ Не понимаю (венг.).

Пальцы твои были ловки и полны нежного тепла. Было совсем не больно, когда ты отдираала окровавленный бинт. Ты бросила его куда-то в угол, а мои руки, распаренные и какие-то необычно легкие, завязала марлей, сухой и мягкой.

— Просим, панове из России, к нашему столу, — говорит мать. — Горячий кофе.

Ты подавала.

— Пожалуйста, еще одну кварту, — сказала ты, когда я выпил. — Мы ж вас долго ждали... товарищ!

И пристально смотрела мне в глаза. Я ощутил, как тыходишь в мое сердце.

III

Курим, спим, покачиваемся.

Шестьдесят часов мы не смыкали глаз.

— Спите, — говоришь ты, — я встану на стражу.

Мы смеемся и поднимаемся с дивана.

— Куда? — Ты смотришь умоляюще.

— Нет времени, Тереза.

Мать, бледная и печальная, что-то шепчет, как монахиня. «Молится», — думаю я.

— Мамаша, — говорит Илья, — мы еще придем!.. С «катюшами» и с пушками. Я поставлю вам новый при-смник, и вы будете слушать весь мир!

— Дай бог! — шепчет она. — Терри, проводи гостей.

Мы выходим в слепящий ветер, оставляя и свет, и тепло, и человеческую ласку.

Далеко внизу, как в подземелье, гремит фронт.

Туманные зарева пламенеют за Модры Камнем. Модры Камень — это по карте. Мудрый Камень — называют местечко бойцы, потому что мы долго не можем его взять. Справа и слева высоты, как бастионы.

Ты идешь впереди, закутавшись в платок, легко перепрыгивая с камня на камень. Останавливаемся над шоссе, словно над белой пропастью. Внизу чернеют немецкие машины, и шоферы приплясывают возле огня, размахивая руками. Снежные волны клубятся над костром.

Ты объясняешь, как лучше пробраться к мельницам, и, сняв варежку, подаешь на прощанье руку.

— Как вас зовут?

Топкая, чуткая рука дрожит и согревает меня. В этот

момент я посмотрел на горы, на отточенный ветрами камень, и он был для меня уже не таким чужим.

— Мы еще встретимся, Тереза. Мы не можем не встретиться!

Ты стояла задумавшись.

— У меня такая думка, что сама судьба свела нас здесь.

— Ты будешь ждать?

— Пусть господь бог видит, что буду.

IV

Я вернулся.

Уже Модры Камень был наш, и шоссе наше, и горы наши. Еще издали я увидел, что на знакомом дворе нет ничего. Чернело пожарище, и голый дымоход поднимался над ним.

Подойдя ближе, я увидел мать. Согнувшись, она копалась в пепелище, выбирая палочкой и перетряхивая какой-то недотлевший мусор. Внимательно осмотрев его, тут же бросала и снова копалась; и видно было, что ей это совсем не нужно и делает она это только для того, чтобы быть чем-то занятой.

— Добрый день, — сказал я.

— Добрый день, — ответила она и опять склонилась над пеплом; она меня не узнала.

А когда я ей напомнил, кто я, она уставилась на меня, и ее сжатые бескровные губы задергались. Покачнувшись, она схватилась рукой за кафельный камин, который только и остался от ее жилья. Выплакалась, рассказала:

«Они пришли на следующий день утром искать моего мужа.

— Он удрал с работы! — кричали полицейные. — И ночью был здесь!

— Не был он тут, — отвечала Тереза.

— Это неправда! — кричали они. — Мы видели следы на снегу. Ты сама провожала его с кем-то, потому что оставила и свои мелкие следы.

И начали все перетряхивать на чердаке, и в сенях, и в комнате, били посуду и нашли тот окровавленный бинт.

— Чья это кровь? — придрались они.

— То моя кровь, господа полицейные, — сказала Тереза.

— Как так?

— Я порезала руку.

— Обманывай дураков! — закричали они. — Свежая кровь! Тут были партизаны.

Когда старый шваб услышал это слово, он сразу сказал:

— Иди с нами!

И повели Терезу на Микулов.

Я едва поспевала за ними. А она идет впереди и не плачет, а только оглядывается.

— Возвращайтесь, мамуня, — говорит, — вам трудно идти в гору.

А когда всходили на кряж, она чаще стала оглядываться.

— Чего ты туда пялишь глаза? — кричали ей.

— Я хочу посмотреть на Модры Камень.

— Оставила там кавалера?

— Да.

Взошли на самый хребет, к шоссе, где оно поворачивает на Микулов, еще немного — наша сторона скроется с глаз. Остановилась моя Тереза, белая-белая, и пристально смотрит сюда, в нашу сторону. А они гонят:

— Иди!

— Господа, дайте посмотреть еще одну минуту. Хочу взять Модры Камень на память с собой.

— Ты не на вёсницу¹ смотришь, — заметили они, — ты в другое всматриваешься. Где у тебя кавалер?

Я тоже вижу, что она смотрит куда-то в другую сторону.

— Эй, — вдруг подскочил один, — она смотрит на Россию!

И оба ударили плетями. Она отбивается от плетей, а сама все смотрит, смотрит... А уже видно было далеко внизу, на горизонте, как стреляют русские.

Схватили ее под руки и бросили вперед. Толкали, и подгоняли, и грозили:

— Не оглядывайся!

А она молча вытирает кровь с лица и все-таки оглядывается.

— Гей, секи ее! — закричали те и погнали быстрее.

А я побежала за ними, споткнулась, упала на камень и горовала там до ночи...»

¹ Деревня (словацк.).

Померкло в памяти, стерлось все. Даже то, что называют позабываемой первой любовью. Почему ж эта случайная встреча, один взгляд, почему он не меркнет и, чувствуя, никогда не померкнет?

Ты как живая. Потому что далекие Рудные горы всюду идут за мной, приближаются с каждым днем. Вижу их, они уже забиты снегом, а зеленеют, согретые весенним солнцем, и поляны, как синие озера, зацветают первым цветом весны, который по-вашему называется «небесный ключ».

Я закрываю глаза и вижу: ты опять ступаешь на деревянное резное крыльцо в легком белом платье с черной повязкой на рукаве и смотришь вниз, за Модры Камень, где когда-то проходила наша оборона. Теперь всюду проросла буйная трава. Через бывшую нейтральную зону едут по асфальту словаки на спокойных повозках. Едут и смотрят, как поднимается от земли и, поблескивая, тянется к солнцу виноград.

В такие часы мы часто встречаемся с тобой и, усевшись на теплом камне, подолгу разговариваем.

Тереза. Где вы так долго были?

Я. Все уже кончилось. Теперь нас ничто не разлучит.

Тереза. Никогда?

Я. Никогда.

Тереза. Как это хорошо, что мы будем всегда вместе! Я так долго ждала вас после той зимней ночи: мне кажется, не меньше тысячи лет!

Я. А мне кажется, что я столько же шел к тебе.

Тереза. Дайте мне вашу руку. Вы чувствуете, как эта тысяча лет переместилась? Теперь она впереди нас, правда? Пока будут зеленеть эти горы и светить солнце, мы будем жить. Мы так богаты!..

Я. Мы теперь не будем спешить, как тогда зимой. Тогда мы почти ни о чем не успели поговорить. Лютый ветер бесновался в скалах, он мешал нам.

Тереза. Теперь у нас есть время! Сейчас я вам скажу все, что не досказала тогда. Слышите? Потрескивают зеленые хребты гор, греясь на солнце. А небо над нами, весеннее и высокое, гудит от ветра, как голубой колокол.

Старшина батареи 45-миллиметровых пушек Яша Гуменный, вернувшись утром с переднего края, приказал своему повару Кацо пробежать по бункерам и, собрав обитателей, немедленно вести к нему. Кацо с автоматом поверх засаленного халата козырнул на этот раз с особым усердием. Очевидно, хотел этим подчеркнуть, что и без объяснений понимает всю сложность создавшегося положения.

Двор был пуст. Ездовые, свалив ночью ящики со снарядами посреди двора, поехали за новым грузом и до сих пор не вернулись. Оставшись один, старшина некоторое время стоял, задумавшись над штабелем ящиков, потом начал выливать из сапога жидкую грязь. От нее несло острым запахом лесных болот и перегнивших водорослей.

Батарея Гуменного переправилась этой ночью с третьим стрелковым батальоном, которому была придана. За Моравой сразу начинались леса и болота, и противник, не задерживаясь, оставил их, зацепившись лишь за дамбу в семи километрах от берега. Там был населенный пункт, на окраине которого высился сахарный завод, укрепленный сразу до самой крыши вражескими пулеметами. Всю ночь пехота, путаясь в лесных зарослях, шлепая по ледяной воде, продиралась по пятам гитлеровцев. Местами вода доходила по пояса, и бойцы брели молча, поднимая оружие над головой. Только низкорослые иногда приглушенно кричали о том, что тонут, и тогда к ним на помощь спешили высокие правофланговые. Наконец с рассветом вышли к дамбе и закрепились вдоль нее.

Артиллеристы-сорокапятники, сопровождавшие пехоту, всю ночь на руках тянули свои пушки. Коней, переправленных с вечера, пришлось оставить, потому что, пройдя несколько сот метров, они увязли в грязи, окончательно

выбились из сил и не могли дальше сделать ни шагу. Мрачно встречали бойцов заморавские леса.

Кроме легких пушек, никакая другая артиллерия не переправлялась на этом глухом участке фронта с труднопроходимым противоположным берегом. Левее, километрах в десяти, строился мост, и более тяжелые орудия двинулись туда вместе со всем полковым транспортом.

Вот почему сейчас в этом селе, кроме обоза Гуменного и батальонных кухонь, не было никого. Гуменный тоже всю ночь тащился с батареей до самой дамбы, чтоб знать, где будет огневая. Туда он должен теперь доставить боеприпасы. Доставить... Попробуй доставить, если случилось так, что все его люди в разъезде и он сидит посреди своего двора один на своих снарядах!..

Вытряхнув из сапог грязь, старшина достал сухие портянки и обулся. Над приморавскими лесами поднималось солнце, огромное и ласковое. От старшины, залитого грязью, шел пар, как от весенней земли; ему нестерпимо хотелось спать. Борясь со сном, навалившимся на него, Яша видел, как в воротах, энергично и широко шагая, показался Кадо. За ним вприпрыжку едва поспевали мадьяры в черных фетровых шляпах, с пустыми мешками в руках.

Гуменный поднялся им навстречу, нетерпеливо выслушивая рапорт повара. Потом, обращаясь к крестьянам, спросил, кто из них понимает по-русски. Из толпы вышел бойкий, обожженный солнцем дедок.

— Я был русский плен, — весело заговорил он. — Тамбовская губерния, Екатеринославская губерния...

При этом старичок не без превосходства оглядел своих односельчан: он явно гордился тем, что был в русском плену.

— Земляк, — заметил старшина.

— Земляк, пан офицер!..

Мадьяр называл старшину офицером, очевидно, на том основании, что у Яши из-под фуражки выбивался пышный и волнистый чуб, а рядовые, как известно, должны быть острижены.

За рекой, в районе дамбы, ударила батарея, как-то повесенному звонко и совсем не страшно. Однако этот звук заставил старшину вадрогнуть. За первым залпом докатился второй, и батарея смолкла. Гуменный знал, что теперь там осталось тридцать восемь снарядов. Мало!

Через старичка старшина коротко объяснил мадьярам, чего хочет: он просит, чтобы они помогли поднести снаряды его канонирам на передовую.

Мадьяры некоторое время стояли молча. В своих блестящих сапогах и узких, круглых, как трубы, штанах они папоминали стайку тонконогих журавлей. Покашливали, переминаясь с ноги на ногу, и молчали. Старшина смотрел на них с превосходством военного человека, который облечен чрезвычайными государственными полномочиями.

Снова ударила легкая батарея. Гуменный секунду стоял неподвижно, приложив к уху ладонь трубочкой. Мадьяры тоже прислушивались.

— Швабы, — сказал наконец дедок-«екатеринославец» и погрозил кулаком на реку. — Герман — стерва, вишисто забрал!

Мадьяры дружно загудели, подтверждая, что это действительно так. Однако на предложение старшины никто из них не ответил ни согласием, ни отказом. Колеблясь, они переглядывались между собой, а Гуменный, видя их нерешительность, едва сдерживал закипавшее в нем раздражение.

— Так вы не согласны помочь моим канонирам?

Тогда вперед выступил представительный мадьяр лет под тридцать, с белой шеей и красивой черной бородой. Како шепнул старшине, что это местный учитель, «господин профессор», потому что в его квартире все стены заставлены книгами. Мадьяры смотрели на учителя с нескрываемым уважением и, видимо, ждали, что он скажет. А учитель мрачно взглянул на реку, потом обратился к своим односельчанам с короткой и торжественной, как тост, речью, из которой Гуменный понял только два слова: демократия и цивилизация.

«Только и слышишь от них про это, — сердито подумал старшина об учителе. — Меньше бы слов, да больше дела!..»

Но тут учитель повернулся к нему и величественным жестом протянул раскрытый мешок.

— Клади! Мы не хотим, чтобы швабы вернулись из-за Моравы!..

Гуменный открыл ящик и положил в мешок учителя снаряды. Вторым подошел старичок-«екатеринославец» и, подмигнув старшине, тоже раскрыл свой «сак».

— Гоп, мои гречаники! — приговаривал он словами когда-то заученной песни. — Гоп-гоп-гоп!..

Наполнив все мешки, Гуменный набил свой ранец и скомандовал:

— Марш!

Переправлялись по три человека в маленькой лодочке. Гуменный сел первый и взял весло. Какая радость — взяться впервые весной за весло, когда река перекатывается под солнцем, полногрудая и свежая, дышащая силой и здоровьем! Голубая река несла маленькую лодку, стремясь отбросить ее по течению вниз, в спокойную тишину берегов, в мягкую оживающую весну, до самого Дуная. А Гуменный греб наперерез, беззвучно раскалывая веслом тонкую голубизну неба, отражавшегося в воде.

Переправившись, он остался ждать на берегу. Обратную лодку повел мадьяр, который, видимо, был превосходным рыбаком. Он артистически орудовал веслом; и старшина, следя за ним, проникался к гребцу уважением, какое всегда вызывали в нем работающие люди.

Морава мягко билась о берег. Деревья дремали под солнцем. Устав за ночь, Гуменный присел на трухлявую сырую корягу, глядя на противоположную сторону, где Кадо управлял посадкой. Берег был высокий, обшитый камнем, на нем стояло село, красивое, не разбитое, мирное. Белые домики радовались весеннему солнцу. Старшина вспомнил землянки на родной земле, вырытые на пожарищах. Там целые села перешли жить под землю. «Настроим и у нас когда-нибудь такие домики, — думал он. — Не бесконечно же будет тянуться эта война. Копчим, вернемся домой. Возьмем в руки топоры, пилы, рубанки. Запахнет свежей стружкой...»

В лодке, приближавшейся к берегу, сидел учитель с трубкой в зубах. Его борода сейчас была уже не так красива, она даже стала как будто меньше.

«Любит цивилизацию, — подумал Гуменный, — так пусть хоть раз намет свою спину для нее. Разве мешок со снарядами так тяжел ради этой высокой цели?»

Когда все переправились, Гуменный еще раз пересчитал подносчиков, и они двинулись в лес узкой просекой. Летом, возможно, кое-кто из них ездил здесь на волах за сеном, а сейчас просека, как и весь лес, была затоплена весенней талой водой. Молодая вода еще пахла снегом, как первые подснежники. Деревья стояли вокруг голые, но уже чувствовалось, что им хочется зазеленеть. Было тихо, и солнце мирно лежало на водяных полянах.

Передовая молчала.

Старшина со своим ранцем шел впереди, разгребая погами покрытую рябью воду, доходившую до коленей. За ним, словно журавлиный клин, растянулись мадьяры. Сгибаясь под своей ношей, они изредка перебрасывались невеселыми словами. Учитель был уже по уши в грязи. Он тяжело дышал, спотыкаясь о подводные коряги. Ему цивилизация, кажется, доставалась труднее, чем другим.

— Дьорше! ¹ — энергично покрикивал старшина, когда кто-нибудь отставал.

Он шел впереди легкой, оленьей походкой, и на сердце у него было легко и радостно, потому что он чувствовал себя более сильным, более крепким, чем «господин профессор» и его односельчане. К тому же батарея молчала — значит, там все было в порядке. А вокруг весна бродила по лесу, над озерами, невидимая, но физически ощутимая.

Когда попадалось незатопленное место, Гуменный разрешал несколько минут передохнуть. Садился на пересохшую землю, которая, казалось, играла, бродила под ними в глубинах, словно запроващенная дрожжами и хмелем. Старшина угощал мадьяр табаком, и они жадно курили, думая каждый о своем. «Господин профессор» уже не имел желания произнести речи. Он сидел на пне, стараясь отдышаться, и его брюшко, которого раньше не было заметно, теперь тяжело поднималось под пиджаком. Лицо его приобрело кислое выражение. Только старичок, побывавший в Екатеринославской губернии тогда, когда Гуменного не было еще на свете, не впадал в отчаяние. Потешно жестикулируя, он рассказывал старшине, какие там, в далекой губернии, хорошие были девочки. Одна из них, Маруся-Маричка, и до сих пор жила в его сердце.

— Теперь она уже бабуся, — заметил Гуменный.

Но венгр не соглашался: Маруся-Маричка была для него вечно молодой!

Чем меньше оставалось до переднего края, тем более мрачными становились взгляды подносчиков, а старшина, наоборот, все больше веселел. Когда неожиданно послышалось татаканье пулеметов, подносчики настороженно стали озираться во все стороны. Гуменного забавляла эта псобосповающая, преждевременная тревога, и он покрикивал еще энергичнее:

— Дьорше!

¹ Быстрее! (венг.)

Вдруг ударила немецкая батарея. Высоко над лесом в прозрачном весеннем воздухе просвистел невидимый снаряд и грохнул, разорвавшись где-то далеко среди деревьев.

Магьяры остановились, их испуганные взгляды замес-
тались и под конец вопросительно остановились на стар-
шине. Словно только этот высокий стройный юноша с от-
крытым, простодушным лицом мог принести им спасение.

— Далеко, — засмеялся Гуменный. — Марш!

— Давай! Давай! — мрачно пошутил какой-то усатый
длинноногий юморист в штанах-трубах.

Неожиданно в районе дамбы подпалась сумасшедшая
стрельба. Застучали винтовки, затарахтели автоматы, за-
чухали минометы, Гуменный сразу стал серьезным и на-
пряженным. Точно вздохнула его батарея. Он считал ее
выстрелы, легко отличая их от выстрелов немецких ору-
дий. Казалось, голос своей батареи он узнал бы среди ты-
сячи похожих.

Зазвенел, вибрируя, воздух над самой головой. Взрывы
ударили совсем близко, вода поднялась фонтанами, весь
лес затрещал.

— Ложись! — скомапдовал Гуменный.

Но его уже никто не слышал. Необстрелянные, не при-
выкшие к огненному шквалу, добровольцы — подносчики
снарядов — повернули назад и кинулись паутек. Они бе-
жали молча, обгоняя друг друга, спотыкались, падали, при
каждом взрыве бросались то в одну, то в другую сторону.
Гуменный погнался за ними.

— Стой! Стой! — кричал он, но никто не оставался.
— Ложись!

Но никто не ложился.

Старшина видел, что противник уже переносит огонь
дальше, к реке, и бегущие попадут как раз под него. Но
как им это объяснить? Как им растолковать, что они со-
слепо бегут к своей гибели, что сейчас для них единствен-
ное спасение в том, чтобы броском кинуться вперед, к ог-
невой, или в крайнем случае залечь на месте? Нагнав
«господина профессора», который бежал, задыхаясь, по-
следним, Гуменный заставил его лечь.

— Лежи!

Нагнав другого, третьего и тоже силой заставил лечь.
Огненный шквал уже вздымался на пути их отступления,
и остальные подносчики метнулись назад. Гуменный и их
уложил на землю. Магьяры лежали, вытягивая головы

над водой. Видимо, они уже проклинали ту минуту, когда согласились добровольно идти на передовую с этими снарядами для советских артиллеристов. Старшина с удовлетворением отметил, что никто из них не бросил боеприпасов. Возможно, в панике люди совсем про них забыли, руки прилипли к мешкам и не выпускали их.

Гуменный лежал, напряженно прислушиваясь к шуму передовой. И не успел еще развеяться газ от взрывов, как он поднялся и пошел вперед. Все остальные послушно двинулись за ним. Теперь до их сознания уже как будто дошло, что своим спасением они обязаны этому юноше. Они видели, какой бешеный огонь бушевал там, куда они еще недавно бежали. И если бы старшина не догнал их и не уложил на землю, наверное, многих недосчитались бы сейчас. Поэтому они смотрели на русского юношу с удивлением и доверием. Когда Гуменный пошел быстрее, они тоже ускорили шаг, словно боялись отстать от него и погибнуть. Теперь они все следили за его рукой, как оркестр за палочкой дирижера. По его сигналу поднимались, ложились и снова вставали.

— Он, этот юноша, знает больше, чем мы, — неожиданно заявил «господин профессор» соседу, вытирая пот. — Он лучше нас видит, лучше нас разбирается в этом содоме. Нас уже, наверное, разорвало бы, если бы не он.

Новый артналет опять заставил их залечь. Гуменный считал глухие выстрелы вражеской батареи и знал, сколько должно быть разрывов. Но, вероятно, на этот раз в сплошном грохоте услышал не все. Только он поднялся из грязи и раскрыл рот, чтобы подать команду двигаться, как неожиданный столб земли и пламени закрыл от него весь мир. Его как будто камнем ударило в грудь и повалило навзничь.

Когда дым растаял, он увидел над собой синюю ясность недосигаемого неба и обожженную, расщепленную верхушку дерева. Оно еще дымилось.

«А меня, наверное, веткой свалило», — спокойно подумал Гуменный, пытаясь подняться. Но тут же почувствовал, как что-то теплое расплывается по его груди. Глянул на ватник, увидел выдернутую вату, потрогал дырочку. Она была небольшая. «Мелкий осколок», — подумал, успокаиваясь.

Сквозь жаркую стрельбу пехоты и пулеметные очереди он снова услышал залп своей батареи. «Родная, неутомимая!..»

Старшина сразу встал на ноги. Сколько у них еще осталось снарядов? Он уже сбился со счета.

В груди покалывало при каждом вздохе. Гуменный оглянулся на людей, которых вел, стараясь угадать по выражению их лиц, видели ли они, что его ранило. Но лица мадьяр по-прежнему были перепуганные и замкнутые. Видимо, они ничего не заметили, и это совсем успокоило старшину.

— Марш! — скомандовал он, двинувшись вперед.

Каким-то детским, неосознанным жестом положил руку за пазуху, нащупал горячую, пульсирующую ранку и крепко зажал ее, чтобы не изойти кровью.

Перевязывать было нечем и некогда. Да и кто сделал бы это здесь? Он не хотел, чтобы венгры видели его рану.

«Что, если бы меня убило? — подумал вдруг Гуменный, и ужас охватил его. — Конечно, они все бросили бы снаряды и повернули обратно. Ведь только я один знаю дорогу к переднему краю».

А передний край гремит и гремит. Старшина представляет себе, как командир батареи на коленях стоит над самой насыпью и командует, словно сурово молится: «Огоны! Огоны!» Он командует, уверенный, что снаряды придут, и все расчеты знают, что придут. «А если б убило?..»

Гуменный оглядывается, и ему кажется, что его спутники идут быстрее. Он не замечает, что, наоборот, это он идет медленнее. Ранец становится все тяжелее и тяжелее. «Намок, — думал старшина, — снаряды намокли», — и сразу же сам замечает, что это нелепость: разве снаряды могут намокнуть?

Ему захотелось пить. Он снял фуражку, зачерпнул на ходу у себя из-под ног серой, как дым, воды и выпил. Надел мокрую фуражку — голове стало хорошо, свежо, и все вокруг продолжало сесть, как дым.

Даже чистая голубизна неба стала седой.

Оглянулся.

Чернобородый учитель идет совсем близко. Как будто бредет сквозь дрожащий туман. Почему он спешит? И почему он сейчас так странно смотрит на Гуменного? Смотрит прямо, не мигая, и глаза у него большие, блестящие, круглые, словно оба вставные. Вот-вот он скажет старшине: «Дьорше!» — и захочет в глаза.

Гуменный пересчитывает людей: все ли идут? Не удрали ли кто-нибудь в лес? Нет, идут все. И внимательно

смотрят на него. И как будто уже не так кричат, не так пугаются, когда где-нибудь среди трескучих деревьев падает тяжелая мина. Неужели они видели, что его ранило? Лишь бы дойти, донести снаряды. Без помощи батарея не устоит, враги захватят дамбу, перебьют батарейцев возле умолкших, еще теплых пушек и, рассыпавшись по этим лесам-дебрям, утопят батальон в Мораве.

«Хоть ползком, но буду двигаться, — думает старшина. — Только б хватило крови, чтобы не потерять сознания...»

Он снова оглядывается, глубоко дыша. Идут все: длинноногий в штанах-трубах, веселый «екатеринославец»... А учитель просто наступает Гуменному на пятки. Он уже не так потеет и стонет, как будто поход придает ему силы.

Старшина почти не чувствует боли. Ему только все труднее дышать, и он хватается ртом воздух, словно зевает. Он не может напиться так, чтобы утолить жажду. Вода плещется у самых колесней, однако он уже боится нагнуться, чтобы не упасть. Бредет, высыхая, сгорая изнутри, и гонит прочь мучительное искушение. Не смотрит на воду, а только слышит, как она хлопает внизу.

Хоть он и крепко зажимал рану, однако кровь, горячая и липкая, растекалась уже по животу, сползала ручейками под ремнем в брюки. Чем дальше, тем труднее было поднимать ноги. Может быть, голенища уже полны крови и поэтому они такие тяжелые? Перепутанных корновиц и коряг стало слишком много, хотя на рассвете он легко и свободно шел здесь с передовой. Какой звонкий и веселый стоял тогда лес по пояс в воде!

Было тихо, солнечно и как-то вяло, а неясные деревья качались от верхушек до самой воды, прыгали, как на экране. Или, может быть, это только их отражения качались в воде изломанной зыбью? Старшине хотелось сесть, окунуться в воду по шею — пить и спать, спать и пить! Все вокруг мутнело, словно придавленное тяжелым летним зноем.

А батарея была уже совсем близко, где-то вон за теми деревьями. Гуменный уже насчитал больше выстрелов, чем было снарядов на огневой. Где они достают снаряды? Или он уже считает выстрелы противника и все складывает вместе?

Он зачерпнул воды рукой. Когда пил, увидел, что «господин профессор» обернулся и что-то сказал мадьярам. Гуменный одним глазом искоса следил за учителем, за

его блестящим бритым затылком. Опять демократия, опять цивилизация... Что он им бубнит? Не уговаривает ли, часом, бросить снаряды и возвращаться за Мораву?

— Давай! — хрипит старшина, оглядываясь и подгоняя отстающих. Лицо у него белое, как гипс. — Давай!

Мокрые космы чуба беспорядочно свисают на глаза, и он с трудом поднимает руку, чтобы откинуть их.

Батарей бьет, стреляет, зовет его, как живая: «Скорей, скорей, старшина, потому что мне трудно!»

Идут.

Учитель за спиной что-то снова говорит своим. Те гудят, бормочут и утвердительно кивают. Старшина оглядывается и видит, как надвигаются прямо на него учительская черная борода, и «екатеринославский» дедок, и тот длинноногий верзила в штавах-трубах. Что они хотят делать?

А «екатеринославец», размахивая своей глиняной трубкой, заводит с ним разговор. Он говорит, что «господин профессор» объяснил им все. Они знают, почему «тувариш офицер» держит руку за пазухой... Ведь за ним на воде все время остается кровавый след. Учитель говорит, что позор, если русский юноша будет идти со шрапнелью в груди, а они не помогут ему. Затем учитель говорит, что нужно им на своих плечах испытать, что такое борьба за демократию и цивилизацию, а не смотреть спокойно, как она распускается на воде молодой кровью. Только тогда они узнают, чего стоит цивилизация и как ее надо защищать! Иген! ¹

Они сейчас заберут снаряды у «тувариша офицера» и понесут их сами. А он пусть показывает дорогу.

Расстегнули ранец на спине у Гуменного и разобрали снаряды.

Старшина смотрит на спутников и страшным усилием воли удерживается на ногах. Его удивляет, что лица, наплывающие сейчас на него сквозь морозящую муть, все хмурые и не злые, а по-настоящему добрые.

Двое взяли Гуменного под руки. Снова двинулись вперед. Не было на свете ничего, кроме водяной дороги, свещающейся впереди. Он продолжал видеть ее между деревьями, задыхаясь в горячем тумане.

— Сюда, — говорил он время от времени. — Сюда... Деревья, казалось, сжимали его с обеих сторон.

¹ Да! (венг.)

Вскоре, выгибаясь огромной подковой вдоль опушки, показалась дамба. На ней чернели окопы, сохли под солнцем серые шинели, перекликались бойцы. Из окопов они видны были только по грудь, словно солдаты росли из земли.

Под дамбой стояли батальонные минометы и 45-миллиметровки. Когда мадьяры, ведя Гуменного под руки, вышли из-за деревьев к батарее, кто-то из бойцов крикнул:

— Гляньте: старшина!.. И гражданские!

Учитель с гордостью ответил:

— Нэм, цивиль¹.

— Санзай, фельдшера! — крикнул своему ординарпу командир батареи, сразу поняв, в чем дело. — Фельдшера, быстро! Сюда!

А к мадьярам он вежливо обратился:

— Доброе утро!

Вместо приветствия они ответили хором:

— Спасибо!

С непривычки они еще путали слова благодарности и приветствия и часто употребляли одно вместо другого.

— За что они благодарят? — удивленно спросил командир батареи и, обведя взглядом своих бойцов, повторил: — За что спасибо?

Обессиленного старшину товарищи усадили на землю, быстро начали раздевать. Он вынул из-за пазухи руку, судорожно сжатую в кулак.

Кулак был весь в запекшейся крови.

Командир батареи молчал, словно это было ответом на его вопрос.

¹ Не штатские (венг.).

I

Слепой, с обожженным лицом доцент стоял на кафедре. Он читал, а студенты конспектировали стоя. В аудитории не было ни столов, ни стульев: все пожгли оккупанты.

В перерыве девушки не бросились наперегонки к балконам, как когда-то, до войны. Теперь двери туда были забиты наглухо: разрушенные балконы едва держались. А дальше, за аварийными балконами, зеленели верхушками каштаны, щедро освещенные весенним солнцем.

Доцент, постукивая палкой, медленно и величаво спускался с кафедры. В тот момент он услышал, как кто-то твердым, четким шагом пошел ему навстречу. Подошел, остановился.

Если бы доцент обладал зрением, он увидел бы перед собой юношу-офицера, который недавно появился в институте.

— Дмитрий Иванович, — сказал юноша. — Вы меня помните? Вы были бойцом моей роты.

— Вы... вы...

— Я — Горовой.

— Лейтенант Горовой?!

— Нет, уже гвардии капитан Горовой. А теперь, собственно, студент... Горовой.

— Я рад вас встретить здесь, — сказал доцент, протягивая руку. — Но что это? Вы подаете мне левую?

— Правой... у меня нет.

Обожженное темное лицо доцента сжалось в мучительной гримасе. Несколько секунд оба молчали.

— Так вот опять судьба свела нас, Дмитрий Иванович,

- Зачем вы величаете меня по отчеству?
- Тут все так зовут вас.
- Прошу вас, обращайтесь ко мне, как тогда, просто: товарищ Глоба.

II

Глоба помнил Горового очень хорошо. С воспоминанием о молодом вспыльчивом лейтенанте у него долгое время связывалось ощущение горечи и обиды.

Это было в тяжкий август сорок первого года.

Как-то ночью роту Горового вместе с другими подразделениями перебрасывали с одного участка фронта на другой. Ночь была темная, сеялся густой дождь. Рота шла форсированным маршем, люди падали от усталости. Когда голова колонны бесшумно останавливалась, задние, по инерции, накатывались на передних, тыкались носами в спины товарищей и просыпались. Они спали на ходу. Перед этим у бойцов было несколько бессонных ночей.

На коротких привалах не искали сухого места, его не было, падали там, где заставала команда, и сразу же засыпали — в грязи, на дороге. И только командиры не могли позволить себе такой роскоши: они дежурили, поглядывая на часы.

Глоба помнит, что за пять минут привала он успевал и лечь, и прикрыть полую шинели винтовку, и поправить под головой каску, уснуть и даже повидать сны. Сновидения были яркие, роскошные. Это создавало впечатление, что он спал долго. Когда его кто-нибудь будил, толкая сапогом в бок, не верилось, что прошло всего пять минут.

Но вот на одном из привалов Глоба заснул, и его не разбудили. Он нарочно улегся на дороге, чтоб споткнулись о него, когда будут двигаться; случилось, однако, так, что на него никто не наступил, а команды он не слышал: ночью тронулись без шума.

Глоба проснулся, когда около него уже никого не было.

Стояла непроглядная темень, упорно сеялся дождь. Глобе стало жутко, жутко от своего одиночества. Он почувствовал себя выброшенным на безлюдную незнакомую землю. Вскочил на ноги и изо всех сил закричал в темноту:

— Эге-ге-гей!..

Стоял, прислушиваясь. Ждал, что кто-нибудь откликнется. Но никто не откликнулся.

Повернулся в другую сторону.

— Эге-ге-гей!..

Ночь молчала.

Тогда он рванулся и побежал. Скользил, падал в грязь и снова бежал, а разбитая дорога чавкала и словно вскрипывала ему вслед.

Зачернели какие-то кусты на обочине. Мокрые, колючие. Терн! Откуда они взялись, эти кусты? Будто выросли тут, у дороги, пока Глоба спал. Раньше он их не видел. В небе ни звездочки, в душе растет беспокойство. Догонит ли он своих, разыщет ли? Глобу охватил страх. Отбиться, отстать — ведь это так глупо, так нелепо... Рота пошла форсированным маршем, рота пошла, наверное, в бой, а он... Что скажут о нем товарищи! Беглец? Дезертир?.. Это пугало больше, чем смерть.

Сердце колотилось. Шинель, мокрая, облепленная грязью, становилась все тяжелее, винтовка мешала бежать, а он все бежал, бежал по этой темной, незнакомой дороге...

— Стой! Кто такой?

Перед ним выросли из темноты две фигуры в касках.

— Свой.

— Кто свой? Куда чепешь?

— Отстал... Не разбудили... Догоняю своих.

— Догоняешь! — засмеялся один.

И другой засмеялся:

— Ветра в поле догоняешь! Они ведь на передовую ушли, а ты...

— И я...

— А ты чепешь в тыл!

Глоба обмер.

— Что вы? Неужели в тыл?

— Да. Прямо в противоположную сторону.

Двое перестали смеяться и спросили, из какого он подразделения. Оказалось, что все они из одного батальона. Эти добрые души тоже отстали — случилось это с ними еще на предыдущем привале. Но они надеялись скоро догнать своих и не особенно тужили.

Дальше зашагали теперь вместе.

Когда они догнали батальон, начинало светать. Лейтенант Горовой к этому времени уже знал, что в роте

потерялся боец. Он то и дело оглядывался на ходу и первым заметил догонявших.

Увидев своего командира, Глоба еще издали радостно заулыбался ему. В эти минуты в его душе появилось какое-то родственное чувство к этому человеку.

Горовой, однако, был настроен по-другому. Стиснув зубы, остановился у края дороги, ожидал.

— Где шатались, Глоба? — свирепо взглянул он на бойца.

— Отстал, товарищ лейтенант... Не слышал...

Командир смотрел на него с нескрываемой ненавистью.

— Не слышали! Оглохли! Враг уже Днепр переходит, а вы не слышите!.. А тут... отвечай за вас! — Он грубо выругался.

— Товарищ лейтенант... — Глоба хотел объяснить, как это случилось, но Горовой, не слушая, подтолкнул его вперед.

— Шире шаг! Догоняй!

Глоба прибавил шагу, еле успевая за товарищами. Ему было тяжело и больно. Он не привык, чтоб с ним так обращались, чтобы его подталкивали, как мальчишку. Его, инженера, преподавателя с сединой на висках, здесь считают возможным подгонять вот таким образом. Хотелось повернуться к этому резкому беспощадному юноше и сказать ему что-нибудь такое, от чего ему стало бы стыдно.

Однако Глоба знал устав и ничего не сказал. Зато слова лейтенанта врезались ему в сердце.

Позже, вспоминая об этом, он старался оправдать резкость молодого, горячего командира. Ведь то были такие трудные дни, нелегко подчас было владеть собой. И ничего необычного не было в том, что этот юноша с воспаленными, красными от бессонных ночей глазами так жестоко поступил с одним из своих подчиненных. Знал ли молодой командир, что этот пожилой, тихий, молчаливый его боец еще три месяца назад обучал в институте сотни таких же, как лейтенант, безусых ребят? Но в конце концов что было Горовому до того, чем занимался Глоба до войны: был ли он уважаемым инженером, хлеборобом или бухгалтером, выдающимся или малозаметным человеком? Лейтенант знал только Глобу-бойца, стрелка своей четвертой роты, за поведение которого он отвечал.

Спустя несколько дней после упорного боя Горовому доложили, что боец Глоба сильно обгорел. Лейтенант помрачнел.

— Как же это оп?

Рассказали, что на окоп Глобы шла вражеская танкетка. Боец выхватил из ниши бутылку с горючей смесью, поднял над головой, чтобы швырнуть, и в этот момент бутылку раздробило пулей. Клубы пламени окутали Глобу, но, стоя в тесном окопе, по грудь в огне, он еще успел выхватить из ниши другую бутылку и метнуть ее во врага...

— Ну, а где же он? — спросил лейтенант.

— Отправили в санбат. Сильно обгорел.

— Вот как, — задумчиво сказал Горовой. Он теперь даже пожалел, что накануне обошелся так строго с этим бойцом.

Вечером лейтенант в числе других потерь списал и Глобу, не надеясь больше когда-нибудь встретиться с ним.

III

В институте Горовой не сразу решился подойти к слепому доценту, хотя с первого взгляда узнал в нем Глобу. Встречаясь с ним в коридоре или на лекции, офицер всякий раз чувствовал себя неловко. Почему-то Горовой до сих пор помнил тот давний случай на марше.

Но в душе он и гордился тем, что командовал когда-то такими людьми. Кто были они, те десятки его бойцов, молодых и пожилых, которые молча рыли окопы на рубежах сорок первого года, которые по одному слову его команды поднимались в атаку, гибли на его глазах или, раненные, уходили в госпитали? Может, там были прославленные трактористы и шахтеры, поэты и инженеры, как этот уже седой теперь кандидат технических наук, что стоит сейчас за кафедрой и на память диктует слушателям десятки сложнейших формул? Может быть... Но тогда Горовой не мог хорошо приглядеться к каждому из них. Это была стрелковая рота первой линии, и люди в ней задерживались ненадолго. Он даже не всегда успевал запомнить их лица, их имена, и пусть простят ему это живые и павшие!

Да, тогда был один фронт, теперь — другой. И что же удивительного в том, что сейчас перед Горовым стоит

один из его прежних рядовых, стоит за новой кафедрой, высоко держа голову, словно полководец. Каждое его слово аудитория ловит на лету.

А ловить трудно. Иногда Горовому кажется, что он так и не сможет одолеть всего. Вот так будет биться, биться, и все-таки останется позади. Не до теоретической физики было ему, когда он пробирался с бойцами через минированное поле к первой линии вражеских траншей... А сейчас... Иногда кажется, что это уже выше его сил. Порой хочется махнуть на все рукой и искать себе другое занятие в жизни.

С Глобой он уже имел несколько бесед, и ни разу преподаватель даже не намекнул на тот давний эпизод. «Может быть, он забыл?» — думал временами Горовой. В конце концов это была мелочь... Вспышка. Потому что, если бы Глоба таил в себе обиду, разве мог бы он с такой доброжелательностью и сердечностью относиться к нему? Где-то, в чем-то это сказалось бы.

Однажды Горовой с девушками-однокурсницами был у Глобы на консультации. Вначале девушки спрашивали Дмитрия Ивановича. Потом он, по своему обыкновению, сам стал их спрашивать, определяя, насколько хорошо усвоен материал.

Дмитрий Иванович сидел за столом прямо, подтянутый, в черной гимнастерке, застегнутый, как всегда, на все пуговицы. Его лицо в рубцах время от времени подергивалось.

Девушка, которую спрашивал Глоба, не смогла ответить. Он спросил другую:

— Вы, Ясенецкая.

— Я тоже... не знаю, — замялась Ясенецкая.

— А вы, Горовой? — с терпеливой вежливостью продолжал преподаватель. — Вы сможете ответить?

Горовой поднялся, краснея.

— Попытаюсь.

Собственно, он тоже как следует не мог ответить на поставленный вопрос, но ответить преподавателю «нет» просто язык не поворачивался.

— Пожалуйста, — сказал Глоба. — Отвечайте.

Лицо его прояснилось. Он был доволен. Даже не видя вышколенного, стройного своего командира, он все же, видимо, гордился им перед присутствующими. Вот, мол, только пришел с фронта и сразу берет быка за рога, а вы...

Девушки о чем-то перешептывались, украдкой поглядывая на этих двух фронтовиков.

Горовой между тем нервничал. Сбился, отвечая, и начал вторично. Дмитрий Иванович слушал терпеливо. А Горовому, чем дальше, казалось, что он уже несет какую-то бессмыслицу, городит черт знает что... Наконец Горовой со злостью махнул рукой.

— Все.

Преподователь встревожился:

— Что все, товарищ Горовой?

— Оставляю!.. Довольно с меня! Брошу институт!

Глоба медленно поднялся.

— Что вы сказали, Горовой? Повторите!

— Я опоздал на четыре года, вот в чем дело. А теперь... теперь не догонишь.

— Не догоните? — повысил голос доцент. — Это вы серьезно?

Девушки о чем-то испуганно шептались.

— Выйдите! Выйдите на минуту, — крикнул в их сторону доцент.

И когда студентки исчезли за дверью, Глоба с раздражением набросился на Горового:

— Хотите искать легкого пути? Тут трудно? Не под силу? А помните?..

Горовой почувствовал, что Глоба заговорит сейчас о том, давнем случае.

И Глоба заговорил:

— Помните ту адскую ночь в степи?

— Помню.

— Помните, как я отстал, как вы мне...

— Помню.

— А помните слова, сказанные вами тогда? «Не слышали... Оглохли. А тут — отвечай за вас...» Так вот. Вы меня тогда многому научили, товарищ Горовой. Вначале я был глубоко обижен, а позже... Позже, думая о вас, я оправдывал ваше поведение, ваш поступок. Вы отвечали за нас, бойцов, перед родиной. Нынче мы, волею родины, поменялись местами. И разве сейчас я не отвечаю за Горового? Разве мне не будет больно, если он, бывший мой командир, отстанет, бросит науку, уйдет на легкий хлеб? Скажите, как я должен буду назвать такой ваш поступок?

Горовой молча стоял перед доцентом навтыяжку.

— Так уж складывается наша жизнь, — продолжал доцент, несколько успокоившись, — что мы все время отвечаем друг за друга. На одном этапе вы за меня, на другом — я за вас. Тогда вы мне крикнули: «Шире шаг!» — так ведь?

— Так, — пробормотал Горовой.

— Это мне помогло. Помогло выдержать и многое другое...

— Там легче было.

— Все, что уже сделано, кажется более легким, — серьезно продолжал доцент. — Я не хотел напоминать вам об этом случае. Не подумайте, что я злопамятен.

— Я этого не думаю, — сказал Горовой. Он и в самом деле этого не думал.

— Так вот, чтобы я больше таких разговоров не слышал! — полупушливо сказал доцент. — «Брошу. Оставлю». Забудьте об этом!

— Слушаюсь.

— Роты уходят... в физику. Да, в физику. И вы, товарищ Горовой, должны догонять.

Горовой улыбнулся.

— Буду догонять.

— Идите!

«А у него есть командирская струнка», — подумал Горовой, исподлобья разглядывая своего бывшего бойца.

В воскресенье утром Илонка выпорхнула из хаты в беленьком платице, логкая и светлая, как мотылек. Засмеялась всему, переполненная счастьем. Вокруг было тепло, мягко, как-то шелково, и радость сама лилась в душу. Всюду, на земле и в небе, сегодня чувствовался праздник.

Отцовская кузница была закрыта. Не стучали цепи на соседских токах. Не скрипели по дороге с поля тяжелые арбы с золотыми снопами. В небе радостно сияло солнце, в костеле уже играл орган.

Возле хаты, обложившись щетками и суконками, яростно чистил свои потрескавшиеся сапоги сержант Лошаков, а его товарищ — веселый и добрый Лукич — умывался у колонки, сам качая воду.

— Здравствуй, Лошаков! Здравствуй, Лукич! — с достоинством приветствовала их Илонка, и они, улыбаясь, ответили своей юной хозяйке:

— Здравствуй, малышка! С добрым утром!

Очень хорошо, когда у тебя есть такие приятели. Все дети Сент-Иштвана признают за Илонкой право гордиться тем, что именно в ее доме живут коменданты, что мать Илонки готовит им завтраки и обеды, а Илонкин отец, искусный кузнец Штефан, курит каждый вечер с комендантами ароматные табаки и беседует с ними, как с братьями.

Чаще всего отец беседует с Лукичом, который сейчас зовет Илонку, чтобы шла качать ему воду.

Подбежав к колодцу, Илонка с увлечением берется за теплый железный рычаг. Ее черные глазенки горят, лущатся. Она готова целое озеро добыть из земли для Лукича! Свежее, родниковое, чистое... Пусть бы смыл рубцы, что легли у него через всю грудь. Но они не смываются:

это следы пивабских осколков. Кто знает... Может, летели лютые осколки прямо в сердце Илонки, но Лукич своей грудью преградил им путь.

Ранней весной, когда война еще свирепствовала в самом Сент-Иштване, Илонка, сидя вместе с другими в глубоком бункере, видела однажды, как упал замертво почти на пороге их убежища неизвестный советский солдат. Он был чем-то очень похож на Лукича. Позже его, насквозь иссеченного осколками, похоронили в центре села в братской могиле. Теперь там густо цветут цветы, посаженные сент-иштванскими девушками.

Отбушевало, затихло... Вот уже несколько месяцев не содрогается от бомб зеленый Сент-Иштван, не жужжат во дворах смертоносные осколки. Отец Илонки уже давно застеклил выбитые окна. Лукич смело намылпвает свои затвердевшие, крепко стянутые рубцы. Прекрасно жить без войн!

В воскресенье Лукич, так же как и отец Илонки, умывается очень старательно, густо памыливаясь раз и другой, набирая полные пригоршни воды, — брызги упругим дождем разлетаются от него во все стороны. Потом, удовлетворенно крикнув, он долго пилит себя армейским полотенцем, растирается и так и эдак до тех пор, пока его загорелое, испещренное глубокими бороздами тело не становится тугим и красным, как перец.

— Хорошо, Лукич?

Илонка, задрав головку, смотрит на него, как в небо, — счастливо и ясно.

— Хорошо, хорошо, дочка... Постаралась.

— Что такое «по-ста-ра-лась»?

Вместо ответа Лукич легко щелкает девчурку по лбу. Орган гудит.

По улице идут и идут крестьяне к костелу. Степенно кивают в сторону Штефанова двора, приветствуя комендантов.

Пожилые хозяева приветствуют раньше Лукича, потом уже Лошакова. А румянощечки девчата, наоборот, прежде всего замечают молодого сержанта. Спотыкаясь на ровном месте, они натягивают свои пестрые шали до самых бровей и, раскрасневшись, проходят как сквозь пламя.

Илонка знает, почему им так жарко. Когда в праздники, после обеда, сентиштванцы собираются влизу, у графского озера, на тапцы, каждая девушка явно хочет, чтобы с нею танцевал Лошаков. А он никому не отдаст

предпочтения и танцует только со своим автоматом, нежно обняв его, как девушку. Все весело смеются солдатской шутке, и только сам Лошаков не смеется. Он как-то умеет шутить серьезно.

Лукич совсем не танцует, да это и не удивительно. Ведь он не парубок, у него дома есть своя восьмилетняя Илонка, только зовут ее как-то чудно: Алепка. В свободное время Лукич работает в кузнице, как отец Илонки. Стиснув зубы, они молча куят в два молота раскаленные лемеха и сошники. А после работы говорят о хозяйстве, о земле и виноградниках, которые раньше были графскими. Когда их распределяли, мама отказывалась брать панское: ей кто-то наговорил, что лишь только советские коменданты уйдут из Сент-Иштвана, как все опять повернется по-старому. Лукич смеялся, слушая мамины страхи. А папа успокаивал ее в тот день такими словами: «Бежика! Кто же нас повернет к старому, если мы сами хотим нового? Графа тебе нечего бояться: будапештские парни надежно засадили его в тюрьму как военного преступника. Я знаю, ты скажешь, что какие-нибудь наследники графа могут появиться из-за границы. Гей, гей!.. Если до чего-нибудь такого дойдет, то мы, честные мадьяры, сами станем здесь комендантами и поговорим с ними своим языком!» Вот так рассудил отец.

Из бункера уже доносится влажный, терпкий запах молодого вина. Сегодня литься ему рекой: сегодня будет отмечен сбор первого послевоенного винограда. В такой день даже маленькая Илонка должна пить вино!

— Илонка, — собирая свои щетки и ваксу, зовет девочку Лошаков. — Хватит тебе там кокетничать с Лукичем. Иди лучше сюда, споем «Катюшу»...

— Тихо или во весь голос?

— Во весь голос.

Девочка визжит и хлопает в ладоши.

— Споем, споем!..

Но петь не приходится. Лошаков и Лукич уже вытянулись, как на параде: во двор вошел лейтенант.

Этот неразговорчивый лейтенант Вечирко, крепкий, скуластый юноша с крутым подбородком, всегда, даже в праздник, нагоняет на других деловитое и серьезное настроение. Для него служба никогда не кончается. Может, так и должно быть: ведь именно он, Вечирко, и есть настоящий комендант Сент-Иштвана, а на Лошакова и Лукича приходится лишь роль, так сказать, гарнизона.

Несомненно, простодушные сентиштванцы допускали неточность, величая комендантами без разбора всю вооруженную тройку, квартировавшую у кузнеца Штефана, — но разве это что-нибудь меняет?

Лейтенант уже успел где-то побывать по своим делам. Дел у него хватает с утра до ночи. Перед кем-то высшим отвечает он за нормальную жизнь и спокойствие Сент-Иштвана, глухого венгерского села, заброшенного далеко от центральных дорог, от больших городов. За всех отвечает, и за Илонку в том числе.

Однако Илонка еще и до сих пор не может так легко сговориться с лейтенантом, как с Лукичом или Лошаковым, хотя офицер разговаривает по-венгерски свободнее, чем они. Обидно, но факт: на забавы и шутки у Вечирко совсем не хватает времени. Эти посетители с разными жалобами и предложениями, эти неотложные дела, какими лейтенант занят все время... Они как бы заслоняют лейтенанта от Илонки, и ей нелегко прорваться к нему. Видит его каждый день, а все как будто впервые.

Вот и сейчас Вечирко не замечает одетой по-праздничному, жаждущей развлечений шалуньи Илонки. Он обращается прямо к Лошакову, что-то приказывает сержанту, коротко, с суховатой четкостью. Видимо, куда-то ехать.

Сержант перебрасывает автомат за спину, выкатывает из сени велосипед.

Куда поедет Лошаков?

Если в графский лес, то оттуда он привезет кому-нибудь из своих товарищей письмо, большой мешок журналов и газет, папирос и портянок. В лесу стоят лагерем много-много Лошаковых и Лукичей с лошадьми, танками и пушками. Если подняться в солнечный день на гору за селом, то можно увидеть вдаль, как они выходят на свои трудные ученья.

А может, Лошаков поедет в местечко, в тамошнюю комендатуру? Если так, то вернется он только к вечеру и будет у него в кармане для Илонки тонкая городская конфетка с яркими кисточками на обоих концах.

«Трудно быть комендантом!» — вздыхает Илонка, серьезным взглядом провожая Лошакова, который уже покатил вниз по улице, распугивая кур. Даже в такой праздник, когда все собираются пить вино и петь песни, он должен быть при оружии, готовый в любую минуту выступить куда угодно, всех оберегая, заботясь обо всех.

Старому Лукичу лейтенант тоже вскоре нашел работу. Он взял его автомат, покрутил в руках, прищурившись заглянул в ствол и где-то нашел пятнышко. Этого было достаточно: чисти, Лукич!

А сам, зайдя в комнату, сел к столу и, достав из полевой сумки какие-то бумаги, углубился в них, строгий и сосредоточенный.

Тем временем Лукич, что-то добродушно мурлыча себе под нос, разложил на завалинке свое хозяйство, разобрал душу автомата на части. Опять пришлось ему вымазать руки в масле. Другой бы ворчал, а он хоть бы что: слово лейтенанта для Лукича выше всего.

Илонка знает, что все трое — Вечирко, Лошаков и Лукич — давние боевые друзья. Как-то вечером Лукич долго рассказывал отцу и соседям о своем лейтенанте. Илонка все слышала, все запомнила, и старший комендант неизмеримо вырос после того в ее глазах.

...Где-то они, советские бойцы, штурмовали крутую каменную гору. Командовал наступлением лейтенант, а Лошаков и Лукич были его подчиненными. Во время боя лейтенанта ранило. Но вместо того чтобы уйти от опасности, он продолжал командовать боем. Его ранило вторично. Тогда он приказал: «Кладите меня на плащ-палатку и несите вперед». Среди тех, кто его нес, были Лошаков и Лукич. На середине горы лейтенанта ранило в третий раз. Однако и тогда он приказал нести себя, командира, вперед. Так его и внесли на самую вершину.

Илонка ясно видит неведомую сопку. В ее представлении она удивительно похожа на родную, знакомую гору, которая высится на далекой околице Сент-Иштвана как лысый остров среди моря виноградников. В свое время эту сент-иштванскую высоту тоже штурмовали советские бойцы. Может, именно там, по ее крутым заросшим склонам, несли своего отважного лейтенанта Лошаков и Лукич.

Даже не верится Илонке, что такой мужественный человек сидит сейчас в ее доме. Он склонился над бумагами и не обращает никакого внимания на чернявую, быстроглазую шалунью, которая то и дело шмыгает под окном.

— Лукич!

— Ась?

— А что видно было, когда вы несли его на гору? Что вы увидели оттуда?

— Откуда?
— С той горы, с вершины?
— А, это тогда... Виноградники, Илонка. На все четыре стороны — виноградники и виноградники...

* * *

За обедом Штефан поделился с лейтенантом слухами, занесенными сегодня в Сент-Иштван дальними прихожанами. Будто где-то за Мором, на хуторах, полиция поймала салашистского бандита. Говорят, будто прибыло несколько таких молодчиков из самого Будапешта и они имеют задание выслеживать и убивать на глухих дорогах отдельных советских бойцов, чтобы потом забирать у них для собственной маскировки документы, ордена и мундиры.

— Зашипили, гадюки, надо быть пасторже! — с пафосом закончил кузнец.

Но вопреки ожиданиям Штефана лейтенант не удивился этим поразительным новостям. И Лукич на них реагировал довольно спокойно. Только переглянулся через стол с лейтенантом, вытер кулаком усы и ничего не сказал. Можно было подумать, что они уже знают обо всем этом, да еще значительно больше, чем Штефан.

Но другие гости загудели, словно потревоженные пчелы. Как? Опять эти вырождаки выползают из своих щелей? Опять хотят накликасть погибель на наши нивы и на наших детей?

— Дудки!

— Не то время!

Дружно зазвенели кружки в натруженных, темных крестьянских руках. Штефан поднялся в красном углу, высокий, плечистый, едва не касаясь головой потолка. За ним поднялись остальные.

— Выпьем за мир!

— За нашего друга — за Советский Союз!

— За здоровье всех, кто не хочет войн!

В доме было полно гостей. Ради праздника сошлись все братья Штефана с женами, с сыновьями и дочерьми. Щедрая Бежика только и делала, что бегала с кувшином в погреб и обратно. В эти часы она существовала только для других, для того, чтобы за кем-то ухаживать, кого-то уговаривать, угощать, — и эта роль, видимо, вполне удовлетворяла ее.

Красавица Илопка, раскрасневшаяся, расцветшая, тоже сидела за общим столом среди своих двоюродных сестер и братьев. Волнистые, черные до блеска косы роскошно спадали ей на плечи, как у взрослой, у настоящей девушки.

Правила вежливости не позволяли ей вмешиваться в разговоры старших, но все, о чем говорилось, она чутко воспринимала своим сердцем и мысленно горячо желала здоровья всем, за кого выпивала ее многочисленная родня, и проклинала тех, кого родня единодушно проклинала.

Сквозь шум возбужденных голосов, сквозь перезвон чарок до Илонки долетали страшные слова о какой-то угрозе нивам и детям, но такой угрозы она не могла себе представить сейчас, в той атмосфере шумной дружбы и безграничного взаимного доверия, которые царили за столом. Ее ничто не пугало в этом прекрасном мире, где столько больших радостей, где столько людей, взрослых, умелых и сильных, и все они вместе — коменданты и хлеборобы — говорят об одном, клянутся единой клятвой. Лучше бы совсем не вспоминать за столом о постылых войнах, которых больше не может быть, — ведь их не хочет никто!

Жаль, что сейчас среди присутствующих нет Лошакова, не звенит его чарка молодецким, красивым звоном... Где он? Почему его нет?

Глаза Илонки темнеют, пробегает в них легкая тучка, но в следующее мгновение они опять светятся радостью.

Где-то на селе глухо ударили бубны, сзывая всех на карнавал. Пора!

Гости начали подниматься.

Вылетев с подругами во двор, Илопка звонко запела старую венгерскую песенку на мотив популярной русской «Катюши».

* * *

Буйный, веселый карнавал с гиканьем и выкриками, с бубнами и цимбалами валит напролом в узкую улочку. Праздничный гул, прогремев по темному селу вдоль и поперек, наконец вырывается за его околицы, в светлые просторы нив и виноградников.

Челом бьем тебе, земля, мать урожая!

Здесь под солнечным ливнем все лето на бесчисленных кустах наливались тяжелые виноградные гроздья, веселя

сердце труженика. В этот год земля щедро отблагодарила сентиштванцев за их неусыпный труд; теперь урожай собран, и облегченные лозы отдыхают, повиснув на подпорках, густо переплетаясь пышной листвой.

Между виноградниками по пыльной полевой дорожке проплывает карнавал. Впереди веселой процессии медленно ступают разукрашенные лошади, запряженные в высокий воз, на котором во всю длину вытянулась огромная дубовая бочка с вином. На ней красуются девочки, обряженные белыми русалками, в венках и лентах, каждая с кружкой в руке. Среди них Илонка.

За возом идут неугомонные музыканты, плывут толпой танцоры, поднимая тучи пыли.

Дорога вьется к соседнему словацкому селу Поставцы. Издавна так повелось: этот день завершается походом в гости к поставчанам, таким же загорелым, жилистым виноградарям и хлебоборам. Поставчане всем селом выйдут на шлях встречать сентиштванцев, и тогда до поздней ночи будет бурлить на лугах под высокими звездами праздник, будут звучать песни, греметь радостные бубны.

Это потом. А пока что курится дорога, бушует карнавал, и далеко белеет Илонка над морем черных широкополых шляп. Плывет, как чайка, как ясная мечта, которую поднял и несет над собою вихреный лес темных, узловатых, натруженных рук. Небо над ней сказочно-глубокое. Илонке далеко видно, ей, счастливой, кажется, будто она плывет по воздуху, летит... Над кружевом платаний, над желтым жнивьем, над разбитыми немецкими танками, что еще кое-где торчат на полях. Далеко слева темнеет могучая гора в пятнах кустарников. Взобраться б на ее вершину!

Илонка ищет глазами Лукича и лейтенанта. Они тоже шагают в этом торжественном походе — не могли же они отказаться, если их просили всем селом!

— Лейтенант! Иди сюда!

Илонка машет коменданту своей кружкой, приглашает выпить. Ведь он еще совсем трезвый!

— Иди, пожалуйста! Выпей до дна!

Лейтенант идет далеко в людской толпе, но Илонке кажется, что он совсем рядом, вот здесь. Никогда раньше она не чувствовала себя с ним так просто и естественно. Он что-то весело отвечает Илонке через головы; за сплошным шумом ей ничего не слышно, но у нее остается такое

впечатление, будто между ними произошел чудесный разговор, стоящий всех других разговоров, к каким она стремилась и какие не могли состояться раньше. Лейтенант как бы неожиданно открыл девочке сразу все свои тайны, и Илонка теперь могла бы, кажется, сама объяснить и даже дополнить то удивительное, героическое, что рассказывал о нем Лукич.

Жаль, что нет до сих пор Лошакова. Он должен быть здесь, как и все. Он имеет полное право на сегодняшний праздник. Кто, как не сержант, был защитником этих густых виноградников, принесших людям столько утех и радостей! Ночами, когда весь Сент-Иштван укладывался спать, Лошаков с Лукичем, вооружившись автоматами, начинали свои обычные обходы, следя, чтобы никакой враг не забрался на плантации, чтобы никто не нарушил покоя мирных жилищ. Мама не раз говорила Илонке, гася лампу: «Спи, доченька, не бойся ничего. — И в темноте, кивнув в сторону окна, добавляла: — Там Лошаков и Лукич...»

На них можно было положиться. Это они шли здесь ранней весной с большими боями, храбро встречая фашистские танки, освобождая село за селом от ненавистных пшавов.

— Илонка, зачерпни нам, хотим пить!..

Девчата и молодичи, растрепанные и горячие после танца, окружают воз. Их лица пышут здоровьем, лоснятся от пота. Илонка вместе с подружками-виночерпиями быстро наполняет кружки золотистым напитком.

— Сэрвус! ¹

Недопитое вино девушки выплескивают высоко вверх.

— Илонка! — вытирая губы, весело говорит одна из молодич. — Где Лошаков?

— Он нам помогал собирать виноград и возить снопы, — полусхутя добавляет другая. — Мы ему обещали магарыч!

Шутки, смех, лукавые огоньки черных глаз.

— В самом деле, где же он?

А он в это время уже недалеко. Мчится навстречу карнавалу по пустынной дорожке между бескрайними виноградниками, везет из городской комендатуры важные вести. Ласточки сопровождают его, на лету заигрывая с ним. Белое сентябрьское солнце мигает и мигает, запу-

¹ На здоровье! (венг.)

тавшись двумя сверкающими клубками в спицах велосипеда.

Вдруг сержанта больно стукнуло в ногу, ниже колена. И сразу же на виноградниках послышался выстрел. Сгоряча Лошаков проехал еще несколько метров, пока не заметил, что из пробитого голенища сочится кровь. Бросил машину, снял автомат, выпрямился, преодолевая боль. Не видно никого. Разогретая тишина, знойный воздух, таинственная клубящаяся зелень бескрайних виноградников. И вдруг опять выстрел. Пуля тонко просвистела у самого уха. Лошаков инстинктивно пригнулся, тяжело выругался: успел заметить, что неподалеку, за кустом, взвился дымок. Старательно прицелившись, Лошаков с колена послал в этом направлении короткую автоматную очередь.

Одним из первых услышал выстрел лейтенант. Его натренированный слух все время был как бы настроен на такие звуки.

— Внимание!

Вечирко решительно взмахнул рукой, и музыка стихла. Зловещая тень пробежала по лицам ошеломленных участников карнавала. Все остановились, примолкли.

— Кто стреляет? Почему?

Лейтенант и Лукич, очутившись сразу впереди других, стояли некоторое время, прислушиваясь, сурово осматривая местность. Илонка замерла на бочке с кружкой в руках, не осмеливаясь в эту минуту надоедать разговорами своим комендантам: такие они стали сразу серьезные, сосредоточенные, непрístupные.

Напряжение нарастало. Женщины растерянно перешептывались. Гневно гудели мужчины. Даже те, кто был уже достаточно навеселе, сразу протрезвились.

Лейтенант и Лукич, о чем-то совещаясь на ходу, быстро пошли вперед. Вслед за ними двигались и остальные. Но это был уже не карнавал. Это двигалась толпа раздраженных, полных глухого роптания людей.

На бочке не осталось никого. Лошади шли сами за толпой. Пустые кружки не в лад позванивали на возу. Девочки-виночерпихи рассыпались среди взрослых, забыв о своих веселых обязанностях.

— Ой, что это?..

Илонка похолодела: она увидела посреди дороги опрокинутый набок велосипед Лошакова. Взмахнула руками, закричала не своим голосом:

— Лошаков убит!

А он между тем, услышав шум, поднялся над виноградными кустами, живой, вспотевший, весь покрытый дорожной пылью, и сделал лейтенанту знак рукой.

Через минуту все были около него. Окружили сержанта тесным кольцом, взволнованно оглядывали, расспрашивали. Илонка стояла, не чуя под собой земли, ошеломленная необычным видом сержанта. Простреленный, окровавленный сапог, наспех перетянутая ремнем нога, покрытая пылью городская конфетка, торчащая из кармана сержанта, — все это было для нее страшным, таинственным, необъяснимым.

В нескольких словах Лошаков доложил лейтенанту, что произошло.

Грозный гул прокатился по толпе. Окруженная горячим дыханием людей, Илонка вдруг ощутила, как растет и в ней бурная, новая, незнакомая сила. Преступник здесь! Где-то здесь под кустами гадюкой ползет неизвестный бандит, может, как раз один из тех салашистов, что хотят войны! Значит, слухи, ходившие по селу, сейчас неожиданно оправдались, превратились в близкую, ощутимую всеми опасность.

Илонка нетерпеливо стиснула кулачки: «Скорее искать его, уничтожить, убить!»

Люди гудели. Тяжело дыша, выдергивали из земли увесистые колья, по которым вился виноград. Кто-то размахивал вырванной из воя люшней.

— Спокойно, — сказал лейтенант, внимательно осматривая под густыми кустами место, где, видимо, еще совсем недавно лежал бандит.

— Отсюда он стрелял, — уверенно объяснял сержант. — Но пока я добрался сюда, здесь уже никого не было. Отполз.

След шел под кустами, уходил в глубину виноградников.

У предусмотрительного Лукича нашолся в кармане индивидуальный пакет. Бежика и несколько молодых женщин принялись делать Лошакову перевязку. Остальных лейтенант быстро разбил на группы, назначил старших и разослал в разные концы виноградников. Надо было успеть поймать преступника до темноты: скоро вечер.

«Если не успеем, то темнота его спасет», — услышала Илонка чьи-то слова.

Возле бочки с вином не осталось никого.

Разделившись на несколько потоков, заходя издалека, люди постепенно со всех концов окружали плантации. Шли, прочесывая междурядья, заглядывая под каждый куст, где мог притаиться преступник. Кто он? Каким ветром занесло его в эти края? С какой целью он стрелял в сержанта? Никто этого не знал. Люди знали одно: стрелять в советского сержанта мог только фашист, военный преступник, поджигатель войны. И для мирных жителей Сент-Иштвана этого было достаточно. В конце концов в этот момент они уже меньше всего думали о Лошакове: они беспокоились за свое собственное будущее. У каждого перед глазами проплывали еще не стершиеся в памяти кровавые ужасы войны, заслонив собой радость нарушенного праздника, разжигая ненависть к виновнику тревоги, вызывая у каждого жгучее желание расправы.

Шли, как на зверя. С колями в руках, с воинственным возбуждением во взглядах.

Лейтенант Вечирко вместе с Лукичом, Штефаном и несколькими крестьянами двигался по следу, который оставил за собой отползающий враг. Видимо, он был ранен: то и дело кто-нибудь замечал на земле пятна свежей крови.

Илонка держалась рядом с отцом. Она нетерпеливо дергала его за руку, тянула вперед.

— Если не успеем, темнота его спасет...

В самом деле, скоро вечер, а виноградники велики, раскинулись на десятки гектаров. Двигаться приходится медленно, осторожно: каждую минуту можно ждать выстрела. Да еще, как на грех, кусты пошли высокие, густые, — сквозь них далеко не увидишь.

— Папа, возьми меня на руки, я буду смотреть.

— Он тебя застрелит: ты в белом.

— Но ведь он удерет. И тогда опять будет война.

Штефан некоторое время раздумывает над словами дочери. Как бы в забытии гладит ее красивую головку.

— Все погорит, и снова полетят на нас бомбы, и мы будем сидеть в грязном, холодном бункере... О, Езуш-Мария!

Лицо кузнеца темнеет. Он поднимается на цыпочки, всматриваясь в просветы между кустами. Нет, так не увидишь далеко!

— Ну, хорошо... Иди.

Он берет Илонку на руки, сажает к себе на плечо.

— Смотри внимательно. Потому что, если не будешь внимательной, он нас убьет.

Илонка напряженным взглядом окидывает плантацию. Но нигде ничего подозрительного. Ей не терпится.

— Наверно, он уже удрал!

Издали огромной живой цепью двинутся навстречу другие сентиштанцы, медленно бредут по груди в густой зелени.

Солнце уже заходит, просветы между кустами наполняются тенями.

— Убежит или не убежит?

Вдруг Илонка вздрогнула всем своим упругим, горячим тельцем и крепко прижалась к отцу.

— Что случилось, дочка?

— Вижу...

Штефан быстро пригнулся. Илонка взволнованно зашептала:

— Выпрямись, папа, выпрямись! Потому что так мне не видно.

— Где он?

— Вон там... Выпрямись!

Штефан выпрямился, обеими руками держа Илонку, как сокола, на плече.

До преступника было еще довольно далеко. Он быстро отползал в глубь оврага, стараясь держаться в тени, иногда тяжело и неловко прыгал от куста к кусту.

Илонка напряженно следила за ним. Оборванный, простоволосый, поблескивая подковами сапог, он отползал, изредка озираясь, и тогда девочка ясно видела его смертельно бледное, перекошенное страхом лицо.

Так вот он какой, тот, кто хочет войны! Это ему хочется убивать людей, перетоптать виноградники, загнать Илонку с матерью в подземелье и навеки завалить там? Дудки!

Отец тяжело дышит, торопясь за лейтенантом.

— Видишь, Илонка?

— Вижу!..

— Не спускай с него глаз... Следи!

— Слежу!

Лейтенант молча идет впереди с револьвером в руке,

Лукич — с автоматом наготове. За их спинами Илонке совсем не страшно.

Идут все быстрее, все стремительней.

— Следишь?

— Слежу...

Где-то далеко в тихом вечернем воздухе весело ударили праздничные бубны. Видимо, поставчане встречным карнавалом уже выходили на шлях.

1951

УСМАН И МАРТА

(Рассказ батареяца)

Больше всего люблю эту пору — раннюю весну, или, как ее называют у нас, «провесінь», с ее молодыми ветрами, с ее чистыми, пылающими в полнеба рассветами. Оживают после зимы красноталы на Трухановом острове, светлеет в ожидании разливов бескрайняя заднепровская даль... Влажные мартовские ветры струятся, летят оттуда на Киев, на Владимирскую горку, пробуждая в душе все то ласковое, милое, далекое, что до этой поры как бы дремало где-то в глубинах, а с первым дыханием весны вновь поднялось и пробивается на поверхность...

Усман и Марта! Где они сейчас? Как сложилась их жизнь? И почему всякий раз именно о них вызывает во мне воспоминания эта нежная, только-только зарождающаяся киевская весна?

Было это в Латвии. После многодневного наступления в условиях изнуряющего фронтового бездорожья нам выпала наконец передышка, и мы остановились батареей на одном хуторе, глухом, полуразрушенном, затеряншемся среди болот и березняков. Хозяин хутора не отличался особой приветливостью, хозяйка тоже была довольно сдержанна, скупа на слово; зато их дочка — белокурая, совсем еще юная девушка — тянулась к бойцам с открытым сердцем и не скрывала своего восторга от прихода наших войск.

Звали девушку Марта. Резвая, быстроногая, она успевала побывать повсюду, носилась по двору во все стороны, мелькая белыми, как лен, косичками, шурша на бегу своей длинной широкой юбкой и фартучком. От ее присутствия весь двор казался нам веселее, одним своим видом она как бы скрашивала угрюмую природу этого края.

За спиной у каждого из нас были сотни фронтовых дорог, множество жестоких, смертельных схваток с врагом, и за это время могли бы зачерстветь в боях наши сердца, однако, видать, не зачерствели, видать, не притупился глаз к красоте, потому что вскоре после прибытия на хутор все мы заметили, что слишком уж ярко рдеют девичьи щеки и что чаще всего Марта, напевая, пробегает там, где стоит самый молодой из нас, подтянутый, стройный, как стебель, ординарец командира батареи Усман.

Воспитанник батареи, он был общим любимцем, от нас у него не было тайн, и поэтому вся батарея знала, что ни одна девушка еще не обнимала, не целовала Усману — все волшебство первой любви было у него впереди. И вот здесь, как видно, наступил и его час!..

Изменился на глазах парень. И не столько изменила его лихая с красным доньшком кубанка, которую ему тут же сшил батарейный портной, сколько изменился он внутренне, в ожидании, в радостном предчувствии чего-то необычайного... За что бы ни взялся, работа кипела у него в руках, и мечтательная, загадочная улыбка не сходила с его лица. Чистит автомат — улыбается автомату, взглянет на лесную опушку — улыбается опушке, ее молоденьким белостволым березкам.

Усман не скрывал от нас своего увлечения Мартой, своих пылких юношеских чувств, и первая их любовь, разгораясь, как утренняя заря, над ними двумя, отбрасывала свои отсветы и на всю батарею. Мы тоже волновались и переживали за них. Каждый батареец считал нужным осчастливить Усмана своими советами и наставлениями, а когда мы видели, как наши юнцы о чем-то разговаривают вдвоем у колодца и Марта, покачивая ведерцем, улыбается Усману через плечо, открыто, ясно, почти по-детски, всем становилось хорошо, у каждого теплело на душе.

Удивляло одно: о чем и как могли они разговаривать, этот смуглый юноша из Самарканда и белокурая латышская девушка? Марта почти совсем не знала русского языка, Усману он тоже давался нелегко, а между тем это был единственный язык, на котором они только и могли понять друг друга.

Наступил банный день. Раньше, когда Усману приходилось готовить баню, он брался за эту работу без всякого энтузиазма: одни хлопоты, одна возня — ничего героиче-

ского... Но на этот раз он даже баню растапливать пошел с радостью, словно там, на огороде, его ждал какой-то праздник. Пустяки, что сырые дрова только шипят и не хотят гореть; пустяки, что до слез наглотаешься едкого дыма, — все это ничего, ничего не значит, если рядом с тобой звездами сияют сквозь дым влюбленные девичьи глаза!..

Кочегарили они вдвоем с Мартой. Вдвоем подносили дрова, вдвоем раздували огонь, примостившись возле топки, как дети. К вечеру баня была наконец готова, и Усман, весь в саже, как трубочист, прибежал к машинам доложить об этом командиру батареи. Вытянулся, запыхавшийся, взволнованный, чем-то радостно ошеломленный, как человек, который неожиданно открыл огромное богатство и сам еще не верит своему счастью.

— Товарищ капитан, разрешите рапортовать!

— Рапортуй, рапортуй!..

— Баня готов!

— Добро.

И комбат и все присутствующие видели, что на этот раз Усман слишком уж чем-то возбужден.

— Послушай, друг, ты там с кем-нибудь часом не выпил?

— Нет, не выпил, товарищ капитан!

— А что же произошло?

— Мы... мы... мы с ней... поцеловались!

Вот это было известие! Комбат оторопел, ошеломленный признанием Усмана.

— Как же это случилось?

— Дым, товарищ капитан! Огонь разводили, дым ударил из топки, ничего не было видно... Сами не заметили, как это у нас получилось.

Бойцы засмеялись, сдержанно улыбнулся и комбат.

— Ну что же... Тебе теперь надо на ней жениться, брат. Ты подумал об этом, Усман?

— А как же! Много-много подумал!

— И что же?

— Только разрешите, товарищ капитан, я готов!

Бойцов искренне веселили запальчивая горячность Усмана, его чистосердечные признания.

— Наконец-то и в нашей батарее будет невестка, — шутили бойцы. — Только какой же поп вас повенчает? Она, кажется, католичка, а ты, наоборот, магометанской веры...

Однако парню было не до шуток, ему надо было готовиться к свиданию. Оказывается, Марта пригласила его на вечер к себе, на хозяйскую половину, вечером он должен быть там.

Дело принимало серьезный оборот. Идти или не идти Усману вечером к Марте? Мнения батарейцев разделились. Одни считали, что это неприлично, что родители могут поднять скандал, другие же, напротив, были решительно за то, чтобы Усман принял приглашение, чтобы непременно пошел, потому что иначе, спасовав, он осрамит, дескать, всю батарею.

Усман ждал, что скажет комбат.

— Можешь идти, — сказал после некоторого раздумья комбат, который и сам был еще сравнительно молодым человеком. — Иди, но чтобы никаких глупостей там, понял? — строго предупредил он счастливца.

Бойцы, столпившись вокруг парня, наперебой давали ему разные советы перед таким важным испытанием:

— Дружить дружи, но обижать не смей... Чтобы нам потом за тебя не краснеть перед родителями, слышишь? Потому что ты молодой, а она ведь и совсем молоденькая...

Вечером Усман был уже на хозяйской половине, и часовые, похаживая под окнами, были свидетелями его триумфа. Видели, как вся семья окружила Усмана вниманием, как сам хозяин, усадив будущего зятя за стол, угощал его какой-то наливкой.

А на другой день батарея получила приказ выступать. Пасмурно, воронье играет в небе, ветер березы гнет... Все уже готово к движению: моторы заведены, бойцы заняли места на машинах. Комбат посмотрел на часы — вот-вот подаст команду... Однако и ему, видимо, не хочется спугнуть тех, за кем сейчас сочувственно следит вся батарея.

Посреди двора, на виду у всех, Усман прощается с Мартой. Они вовсе не замечают ни поникших, опечаленных родителей, стоящих на крыльце, ни того, что за ними паблюдают десятки глаз из кузовов машин: для них, для влюбленных, в это мгновение никого и ничего на свете не существует!

Обильные светлые слезы градом катятся по щекам девушки, а она, улыбаясь, как солнце сквозь дождь, все держит руку парня в своей руке, все вглядывается в него, в своего избранника, который стоит перед нею, словно ослепленный, словно зачарованный...

Наконец комбат оборвал идиллию:

— Усман, пора!

И парень, в последний раз тряхнув руку девушки, кинулся к машине и, подхваченный товарищами, мгновенно очутился в кузове.

Машины набирают скорость. Марта еще некоторое время бежит за ними по обочине, что-то кричит, машет вслед рукой, и льняные ее косички беспомощно болтаются в воздухе. Усман, исступленно вцепившись в борт, побледневший, со страдальческим выражением лица, тоже что-то кричит ей в ответ на своем гортанном, никому здесь не понятном языке... Товарищи, как могли, успокаивали его, однако и сами оглядывались на девушку у дороги с грустью, словно тоже сейчас прощались со своей первой любовью.

С этого дня Усман стал ждать письма от Марты. Да разве только он ждал? Вся батарея ждала теперь этого письма от своей, пусть еще и не «невестки», но уже нареченной. Что она напишет? Как себя поведет?

Письмоносцу не стало от Усмана житья. Парню казалось, что письмо уже давно должно было прийти, что его не иначе как где-то затеряли или по халатности полевой почты вручили не тому, кому следует. Терзаясь ожиданием, он заметно похудел, стал нервным, мрачным, подозрительным.

И вот когда батарея вела бой уже на земле соседней, Эстонской, республики, долгожданное письмо наконец пришло. Весть об этом мгновенно облетела всю огневую. Само собой разумеется, что Усман всем прочтет письмо, со всеми поделится теплом своей далекой любви. Но, увы, случилось непредвиденное: письмо было написано на латышском языке, которым никто из батарейцев не владел.

Как же быть, как прочесть, к кому обратиться за помощью? Не к этим ли северным соснам, не к этим ли белокорым березкам?

Все это не опечалило парня. Главное, что письмо было, письмо, написанное рукою Марты! Ничего, что он не понимал в нем ни единого слова, — ходил сияющий, счастливый. Не забыла все-таки, вспомнила!

Усман носил это письмо у самого сердца, выпимал по несколько раз на день. И смешно и трогательно было видеть, как стоит он где-нибудь на опушке среди стволов березняка и, выпув письмо, радостно «читает», что-то шепчет, будто делится своим счастьем с березами, с болотом, с низкими прибалтийскими тучами.

Так тянулось неделю или две. Батарея уже стала забывать о письме, не до него было ей в это время: бои шли жестокие, немало было горьких потерь... Но вот приходит приказ: батарею вместе с полком перебрасывают на другой участок фронта. Пришлось проезжать через освобожденную Ригу.

Бойцы, ехавшие с Усманом на одном грузовике, заметили, что парень, очутившись в городе, вдруг забеспокоился, что он словно ищет кого-то в толпе возбужденным, плавающим взглядом.

— Что с тобой, Усман?

— Стоп! — вдруг забарабанил парень по кабине, где сидел комбат. — Остановите! Секунда! Один секунда!

Капитан оглянулся и увидел через стекло крайне взволнованное, полное решимости лицо ординарца.

— Чего тебе?

— Марта! Марта! — громко закричал парень, размахивая руками.

Думали, что он и в самом деле заметил где-то в толпе Марту, и, как ни торопилась батарея, комбат счел возможным уделить секунду на сердечные дела Усмана.

Остановились, и Усман, вылетев из кузова, стремглав бросился в толпу на тротуар. Его внимание почему-то привлек солидный гражданин в шубе, который как раз проходил поблизости под руку с двумя дамами.

— Стой! — властно остановил его Усман и, быстро выхватив откуда-то из-за пазухи письмо, протянул гражданину: — Читай!

— Позвольте...

— Читай, читай!..

Возле них скоро образовалась толпа; бойцы смешались с прохожими. Окруженный ими, гражданин в шубе стал громко читать девичье послание, тут же переводя его для Усмана.

Письмо было как письмо. Девушка клялась в своей верности, писала, что образ Усмана все время стоит перед нею, снится ей... Словом, все было так, как бывает в письмах влюбленных девушек.

Восторженными, влюбленными глазами смотрел Усман на гражданина в шубе, слушал, как музыку, как веселую песню соловья, его монотонное басовитое чтение. Сосредоточенно слушала и вся батарея, с уважением слушал и гражданский люд только что освобожденной латвийской столицы. И хотя с горизонта еще доносился ар-

тиллерийский гул, зовя батарейцев вперед, никого не удивило, что батарея, остановившись среди улицы, взволнованно слушает письмо влюбленной девушки, уделяя внимание сердечным делам самого молодого из своих бойцов.

Несколько минут, потраченных здесь, батарея навстречу стала в дороге. Но сколько было разговоров, сколько радости для Усмана! Позже, когда мы были уже в Польше, Усман получил от Марты второе письмо. Оно уже было написано по-русски: девушка училась.

...В боях на Висле меня тяжело ранило, и я навсегда вынужден был расстаться со своими батарейцами.

Со временем затерялись для меня следы Усмана и Марты. Не знаю, где они встречаются сейчас вот эти предвесенние зори, это свежее дыхание молодого мартовского ветерка... Но где бы они ни были, я почему-то уверен, что оба они счастливы.

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Барабаш. Непрерывность движения	5
З п а м е н о с ц ы. Роман-трилогия	
Книга первая. Альпы	29
Книга вторая. Голубой Дунай	180
Книга третья. Злата Прага	301
Р а с с к а з ы	
Модры камель	453
Весна за Моравой	460
Всегда солдаты	471
Илонка	479
Усман и Марта (Рассказ батареяца)	493

Г 65

Гончар О.

Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. Знаменосцы. Роман-трилогия. Рассказы. Пер. с укр. Л. Шапиро. Вст. статья Ю. Барабаша. М., «Худож. лит.», 1973.

504 с.

Пятитомное собрание сочинений известного советского украинского писателя Олеса Терентьевича Гончара на русском языке выходит впервые. Автор включил в него лучшие свои произведения, получившие признание читателя, отмеченные государственными и республиканскими премиями.

Первый том собрания сочинений составили три части знаменитого романа «Знаменосцы» («Альпы», «Голубой Дунай», «Злата Прага») и пять рассказов, написанных в те же годы и перекликающихся с основной темой трилогии.

7—3—3

С(Укр) 2

Подп. изд.

**Александр Терентьевич
ГОНЧАР
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том 1**

Редактор С. Князева

Художественный редактор

Г. Кудрявцев

Технический редактор

Л. Титова

Корректоры Э. Тихонова и Н. Усольцева

Сдано в набор 14/II 1973 г. Подписано
в печать 23/V 1973 г. Бумага № 1. 84×
×108/32. 15,75 печ. л. 26,46 усл. печ. л.
28,1 уч.-изд. л.+1 вкл.=28,15 л. Тираж
100 000 экз. Заказ 656. Цена 1 р. 20 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

**Ордена Трудового Красного Знамени Ле-
нинградская типография № 1 «Печатный
Двор» имени А. М. Горького Союзполи-
графпрома при Государственном коми-
тете Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной тор-
говли. Ленинград, Гатчинская ул., 26.**